

ISSN 0132-0637

Октябрь

9

1989



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1989

СЕНТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

| | |
|--|----|
| Анатолий КУРЧАТКИН. Веснянка. Повесть | 3 |
| Елена ЯГУМОВА. Мы бед своих первооснова. Стихи | 91 |
| Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Стали- на. Продолжение | 94 |

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| | |
|--|-----|
| Борис ПОПЛАВСКИЙ. Дальняя скрипка. Стихи. Вступительная статья и публикация Игоря ВАСИЛЬЕВА | 153 |
| Владимир ПОМЕРАНЦЕВ. Люся. Рассказ | 173 |

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|--|-----|
| Надежда АЖГИХИНА. Противостояние | 181 |
| Владимир ОГНЕВ. «Не исцелиться ранам прежних дней». Трагические страницы поэзии Кайсына Кулиева | 188 |

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

| | |
|---|-----|
| Л. ЛЕВИЦКИЙ. Стоять на своем. * Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ. Волошин ожидаемый и неожиданный | 197 |
| Из почты «Октября» | 204 |

В е с н я н к а

ЖИТИЕ

Глава первая

1

В детстве с Петром Горяевым часто случалась странная вещь. Он шел по улице, посланный матерью в магазин за покупками, или сидел на скамеечке возле подъезда, поджидая своих товарищей по дворовым играм, вдруг слышал сзади, как его окликают, оглядывался, а сзади все было пустынно, никого сзади, — кто его окликал? И голос, что окликал, бывал обычно такой бесцветный, но нежный, мелодичный очень и словно бы отдавался эхом, звенел словно бы певуче, протяжно. «Пе-е-етя-а!» — звал голос, Петр оглядывался и видел, что никого нет сзади, и после уже, немного погодя до него доходило, что это снова то самое, снова это тот как бы из воздушной пустоты сотканный оклик.

Он никому не говорил о голосе. Что-то держало его внутри, не допускало до откровенничанья, будто бы, если б он сказал кому-то об этом из пустоты возникавшем голосе, тот больше никогда бы уже не раздался, не прозвучал за спиной с нежной хрустальной певучестью, а ему это было почему-то нужно, так тревожно и так сладко сжимало сердце, когда, оглянувшись, понимал через какое-то время, что это снова оно, то, — казалось, словно бы кто-то далекий, друг, которого ты никогда не знал, но который есть у тебя, помнит о тебе, не забывает и так вот напоминает тебе, что ты не один, он с тобой, вы вместе. И всякий раз, когда Петр слышал этот словно из воздуха сотканный голос, потом, в те несколько секунд или минут, что голос продолжал еще звучать у него в ушах, с восторгом и упоением мечталось совершить в жизни что-то большое, прекрасное, нужное всем, каждому человеку в отдельности и всему человечеству вместе, хотелось добраться до каких-то таких высот в деле, которым будешь заниматься в жизни, что тебе откроется с них в своем таинственном внутреннем устройстве весь мир.

Потом, когда годы, наслаиваясь один на один подобно кольцам клетчатки у дерева, вытолкнули его в ту пору, что зовется юностью, и будто какой голод напал на душу — читал и читал, все подряд, что ни попадало под руку, и никак не мог утолить этот голод, проваливалось все, как в бездну, как в прорву какую-то, и просило пищи еще и еще, в одной из тех многочисленных книг, что проглатывались им, он прочитал о галлюцинациях, о том, что это такое, какие они бывают и что означают. Он прочитал, и ему стало страшно. Галлюцинации были признаком психической болезни, и выходило, что он болен, раз слышит этот из пустоты возникающий голос, может быть, сейчас еще и не очень, а что будет дальше, что же он, в дурачка превратится? И теперь, когда где-нибудь среди тишины и покоя, в пустынном безлюдье его вдруг окликал этот певучий, бесцветный и словно звенящий голос: «Пе-е-етя-а!» — а он оборачивался, чтобы понять в следующее мгновение, — это опять оно, то, теперь восторг и упоение, вспыхивавшие в нем при звуках этого голоса, мгновенно сменялись ужасом. Как обухом, вновь ударяла мысль о болезни и не оставляла долго, по несколько дней, причиняя страшные, жгутом сворачивающие

душу мучения. Мучения эти были особенно тяжелы оттого, что опять он ни с кем не смел поделиться своей тайной, потому что поделиться означало признаться в своей болезни, а какая болезнь могла быть отвратительнее той, что грозила ему?

Так продолжалось с год или полтора, пока в какой-то статье, в каком-то журнале, случайно оказавшемся в его руках, он не прочитал, что голос, окликающий его, называют в народе веснянкой, что это и в самом деле галлюцинация, но вовсе это никакой не признак болезни, а так вот, оказывается, бывает и у вполне здоровых, нормальных людей, особенно у детей и подростков, и чаще всего весной, когда все в природе просыпается, прорастает глаза, тянет из оттаивающей земли и ярящегося солнца свежие соки жизни, откуда и произошло это название — веснянка. Петр вспомнил, что голос действительно чаще всего окликал его именно весной, вот тогда еще даже снег лежал кое-где в газонах, асфальт был сух, а в газонах лежал... да-да, весной чаще всего... он вспомнил это — и успокоился. И, кажется, с этой поры перестал замечать, окликает ли его по-прежнему время от времени протяжный, какой-то бесцветный, будто из самого воздуха возникающий голос; наверно, окликал. Но он больше не жалел его, чтобы пережить тот томительный, щемящий восторг, что голос дарил раньше, и не боялся его, и потому, если голос даже и окликал, то это мгновенно забывалось, не оседало в памяти.

2

К тому времени, когда прочитал о веснянке, Петр уже оставил родительское гнездо, поступил в институт и жил в общежитии — поменяв один город на другой, похожий на тот, в котором родился и вырос, только с другим названием.

Юности нужен простор, нужна дорога, юности нужно встать на крыло и взмыть в небо, чтобы увидеть с высоты, как она огромна, предстоящая жизнь, сколько в ней всего разного, яркого, непохожего на то блеклое обитание в ней, что тебе предлагало родительское гнездо, если бы ты остался в нем... Не всякий, если родительское гнездо облачено для жизни, покойно и надежно, решается оставить его, — Петр решился. Грудь ему раздирало вожделение полета, тяга неба была сильнее всех прочих чувств, такой же институт, как тот, в который он поступил, имелся и в его родном городе, такой же и чуть другой, чуть иного уклона, и это «чуть» оказалось для него решающим. В этом «чуть» были те самые перехватывающие дух яркость и блеск незнакомой жизни, к которой стремилась, которую жаждала обрести душа.

В жизни, что предстояла, столь огромной, что даже завтрашний день виделся из нынешнего размытой далекой тенью, особое, наиважнейшее, святое место занимало товарищество. Оно стояло на ее распахнутом необъятном просторе, как храм на господствующей высоте, с чистой светлой линией колоннады и ясной в своей четкой простоте линией фронтона над ней. Молитвы, возносимые в этом храме, были самыми жаркими, душа Петра распахивалась там настезь, с упоением принимая в себя каждое новое знакомство, готовая служить ему с песьей истовой верностью.

Вышло, однако, так, что храм пустовал. Вернее, под гулками его просторными сводами постоянно стоял топот десятков ног, но не было никого, с кем можно было бы пройти в святая святых, в алтарь, для откровенных сократовских бесед, что вознесли бы над расстилающейся впереди жизнью в самые солнечные, космические выси. Всем вокруг оказывалось довольно лишь гулкого простора подкупольного зала — совместных вечеринок с танцами, с неизменными попытками кручения бутылочки, совместных походов в кино, совместного выполнения лабораторных, совместных картежных компаний да, случалось, совместных походов на каток, что заливался на центральном городском стадионе и где студентам их института по специальным биркам выдавали бесплатно коньки напрокат.

И оттого из этой нынешней скученно-шумной пчелиной жизни с особой, оплававшей душу тоской вспоминался друг школьной поры, Митя Пеклицев, с которым познакомились в драмкружке Дома культуры, куда ходили одну пору, драмкружок бросили, а друг без друга не могли прожить и дня. Бывало, Петру нужно было ехать за градусником к бабушке

для заболевшего младшего брата, тащиться через весь город туда да потом обратно, — и Митя обязательно ехал с ним, хотя в кармане у него лежали приглашения на вечер в электротехническом техникуме. Бывало, что Мите оказывалось необходимо срочно по порядком ехать на вокзал к поезду, брать какой-то там узел, и Петя тоже тащился на вокзал, несмотря на то, что мог пойти все в тот же родной Дом культуры на встречу с популярнейшим актером, снявшимся в роли танцующего и поющего моряка, желавшего попасть на фестиваль молодежи в Москву, встречу, на которую ломился весь город. И всегда любая дорога была им коротка — не хватало ни расстояний, ни времени наговориться, и будто сплавлялись в этих разговорах в общую, единокостную плоть, и плоть-то эта была уже не плотью, а чем-то летучим, невесомым, неземным.

Митя ждал после школы восемнадцати лет, чтобы поступать в военное училище, а пока пошел на завод учеником слесаря; в зимние каникулы Петра, когда Петр приехал в родной город, все эти дни провели вместе, а в начале лета, в разгар весенней сессии, Митя прилетел к нему самолетом на двое суток — чтобы увидеться перед училищем, если поступит, ведь училище — такое дело: там себе уже не будешь принадлежать.

И вот двое этих суток они ходили по городу, не расставаясь ни на минуту. Петр, упиваясь тем наслаждением, которое давала ему роль гида, возможностью открывать для друга новое, неизвестное ему, таскал Митю от одной местной городской достопримечательности к другой до темной ночи, совершенно не думая о предстоящем экзамене, и на ночь они тоже не расставались, деля на двоих узкую, одноместную общежитскую койку Петра. Внизу на вахте общественный патруль из старшекурсников не пропускал чужака, и Митю затаскивали на третий этаж с помощью бельевой веревки, которую держали всей комнатой. Когда он улетал обратно, их вдруг бросило друг к другу, они обнялись и крепко поцеловались в губы. Никогда прежде не случилось между ними такого, и обоих этот непроизвольный, неожиданный для обоих, какой-то судорожный поцелуй в губы смутил и заставил пережить острое, болезненное чувство неловкости и растерянности. Было в этом их поцелуе что-то противоестественное, неприятное, но и упительное вместе с тем — своей чистотой и честностью, чего не было в поцелуях с девушками.

Петр уже хорошо знал, что это такое — девичий поцелуй. Пока учился в школе, всего-то и вышло поцеловаться два раза, другие рассказывали о своих делах с одноклассниками, с соседками по этажу — дух перехватывало: неужели возможно такое? У самого же и намек на подобное не было. А тут, в институте, в общежитской пчелиной жизни, тут просветился в самом полном объеме в первые же недели и знал теперь, что губы у всех разные и по-разному встречают губы твои, и если к одним девушкам после того, как поцелуешься с ними, никогда больше не тянет, то к другим, что нравилась-то меньше, будто привораживает. Но во всяком поцелуе с девушкой было при этом что-то нечестное, обманное, то ли по отношению к ней, то ли к себе, не понять, но именно обманное: так, словно бы совершал что-то недостойное себя — того, который был лучший в тебе, — словно бы опускался до чего-то худшего в себе, без чего в то же время ты не был сам собой... а вот этот их поцелуй с Митей был чист от всего такого, неприятен для губ и необъяснимо радостен душе.

Время стояло — начало шестидесятых, еще совсем недавний послевоенный убогий облик жизни вдруг ясно и отчетливо для глаза переменялся: уже никто не ходил в брюках с глазками заплат на ягодицах и коленях, это теперь стало окончательно неприлично; исчезли предпраздничные хвосты очередей за мукой у продовольственных магазинов — ее теперь можно было купить и в будни; первые громоздкие телевизоры с подслеповатыми крохотными экранами все заметнее вытеснялись пусть по-прежнему такими же бегемотистыми, но с экранами во всю переднюю стенку; будто грибы после хорошего теплого дождя, полезли во множестве из-под земли панельные картонные пятиэтажки; патефоны и радиолы на вечеринках все заметнее вытеснялись магнитофонами, тяжелыми железными сундуками под названием «Гинтарас» и «Яуза-двадцать»; все больше становилось легковых автомобилей на улицах, все больше невиданных раньше вывесок — «Химчистка», «Прачечная», «Кулинария»... — исчезла оглушительно громыхавшая по булыжной мостовой железными ободами колес телега

старьевщика, оглушительнее колесного грохота вздымавшего в небо: «Кости, тряпье, цветной металл, макулатура!..» Время менялось на глазах, одевалось в иные одежды, пело новые песни и танцевало старый, забытый и оказавшийся таким современным танец чарльстон..

3

Любовью обносило Петра до третьего курса.

Он уже начал даже подумывать о себе — таким вот уродился, с таким дефектом: не дано ему полюбить. Все равно как если бы родился с четырьмя пальцами на руке или с одним ухом. Другие влюблялись на его глазах за прошедшие два студенческих года уже по нескольку раз — до одури, до беспамятства, прямо как горячкой заболевали, — а его обносило. Нравились за это время многие, и две разом, и три, но так, чтобы полыхнул, чтобы охватило его огнем, как солому, — такого не случалось. И с одной из тех, что нравились, были даже какую-то пору как муж и жена, узнал с нею то, о чем прежде лишь грезилось, о чем думалось неотвязно не один уже год, и такая была к ней в груди благодарность, такая плавающая нежность, казалось — не отлепиться; но нет, вдруг повело-потянуло в сторону, тело изнемогало по ней, рвалось к ней, хотело ее рук у себя на спине, ее спешащего, горячего дыхания на шее, а душа с неистовостью, с яростной силой отрывала от нее и оторвала, поборов плоть; благо не чувствовал себя ни в чем виноватым перед нею: была его сверстницей, а опытом тела старше на несколько лет.

И вот, когда уж решил, что так ему и жить дефективным дальше, тут-то и угодил на горячие угли, и взялся огнем в одно мгновение, что там солома, — как порох пыхнул.

Ему давно уже было знакомо ее лицо. Давно глаз выделил ее из многотысячной студенческой массы, толпами перетекавшей по институтским коридорам из аудитории в аудиторию, обильными ручьями стекавшей перед началом занятий к центральному входу с массивными гранитными колоннами. Понятия не имел, на каком она факультете, на каком курсе, да и не тревожило ничего в груди, чтобы узнавать, просто выделил глаз и всегда схватывал ее в толпе, как бы отмечал: ага, вон та самая.

Видимо, не случайно выделил.

Ехал с двумя приятелями, соседями по общежитской комнате, в дальний конец города на прогремевший фильм; непривычный номер трамвая, совсем почти незнакомые виды за окном; пока ехали через центр, все было битком набито, а потом стало понемногу пустеть, свободнеть, и после очередной остановки, вынесшей из трамвая как-то особенно много народа, увидел, перейдя к окнам другой стороны, внизу на сиденье под собой знакомое лицо. Может быть, если б он догадался сразу, что это за знакомое лицо, ничего бы и не произошло, ну, узнал бы и узнал; а он не узнал ее, смотрел на нее, видел, что лицо знакомое, а откуда оно знакомо ему, где раньше видел ее — не мог понять. Лицо ее было связано в его памяти с институтскими толпами, неотделимо от них, оттого он и не мог понять.

— Что вы так смотрите? — спросила она, и он сообразил, что действительно смотрит на нее пристально и безотрывно, что, конечно же, и неприлично и не может быть приятно тому, на кого смотрят так.

— Да вот где-то видел вас, а где, не знаю, — сказал он весело, сам потешаясь над своей беспамятливостью.

— Там же, где и я вас, в институте, — ответила она. — Вспомнили?

Он вспомнил тотчас, едва она произнесла «в институте». Но и то, однако, что выходит, выделила его в многотысячной институтской толпе и она, и это, однако, не повлекло бы его за нею, как на каком поводе, не заставило бы оставить приятелей и пойти вместо кино провожать ее, если б не ее голос. От этого ее голоса, никогда не слышанного им, словно бы что-то вдруг поворотилось у него в груди, поднялось и гулко ухнуло обратно вниз, и он как оглох от этого тяжкого, гулко-гулко звука, какую-то ватной тишиной заложило уши, и в наставшей тишине остался один ее голос. Может быть, другому ее голос показался бы совершенно обычным, он был несильный, чуть глуховатый, как бы притушенный, но ему помнилось, будто он уже знал этот голос раньше, он уже звучал в нем прежде, в несказанно давние времена, до его рождения, в некоей иной, непомни-

мой жизни, и этот голос был ему необходим, этот голос был голосом его счастья, утраченного им в те незапамятные времена и вот так случайно вернувшегося к нему. Как он мог не пойти за своим счастьем?

Она, оказывается, ехала этим номером трамвая домой; родом она была из небольшого городка километрах в восьмидесяти отсюда, а здесь жила у тети, — вот почему Петру никогда не встречалось ее лицо в общежитских кварталах. И имя у нее под стать голосу оказалось совершенно, необычное, волнующее и прекрасное: Ника.

«Ника, — ходил он, повторяя про себя ее имя. — Ни-и-ика». У ее имени был вкус древности, от него веяло Элладой, ранним христианством, Византией, и в ее облике тоже, казалось, было что-то от тех дальних, смывшихся в памяти в какой-то единый ком эпох. У нее был прямой крупный нос, делавший лицо броским и заметным в любой толпе, большие дымчато-сливовые глаза — и в самом деле что-то нерусское было в лице, — и оттого представить ее себе живущей в каком-нибудь втором-третьем веке, даже не новой, а до новой эры, где-нибудь на берегах Средиземного моря можно было без всякого затруднения.

«Гречаночка», звал он ее. «Патрицианка». «Жрица константинопольская». И, смеясь, тут же говорил, что вообще-то никакой константинопольской жрицей быть она никак не могла, потому что Константинополь с самого своего возникновения был христианским городом, а христианскими жрецами, то есть священниками, могли быть только мужчины.

Не могла, так не могла, мне и всего остального хватит, спокойно отвечала она. Она позволяла ему называть себя как угодно и, выслушивая все эти ласковые прозвища, которыми он оделял ее, только улыбалась довольно и как бы поощряюще.

В ослеплении своем Петр даже не знал, совершенно не понимал, пользуется ли он взаимностью. Он сам горел таким пламенем, что в его жарком, ярком свете он уже ничего не мог видеть.

Ника была строга с ним и требовательна, хотела все знать о нем — и кто у него родители, и как он учится, и какие книги сейчас читает, — хотела увидеть всех его друзей-приятелей, специально приходила к нему в комнату познакомиться с его соседями и потом долго расспрашивала о каждом из них. Он рассказывал ей о них, но большинство его рассказов сходило в конце концов на Митю, и получалось из этих рассказов, что Митя — необыкновенный человек, других таких на свете нет, и друг он тоже такой, что не жалко за него в огонь и воду. Она внимательно слушала и про Митю, хмурила брови и лишь время от времени переспрашивала неверяще: «Да, такой необыкновенный? Интересно было бы его увидеть. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А меня ты и так знаешь, говорил Петр. Ты близко от меня, говорила она, лицом к лицу лица не увидеть. «Лицом к лицу?!» — восторженно спрашивал он, бросался к ней, обнимал и пытался при этом пробиться сквозь одежду к ее телу, но она не позволяла ему того. Чаще всего подобные разговоры происходили у нее дома, тетя жила одна, большую часть дня проводила на работе, и они могли бывать наедине. Не надо, нет, перестань, я рассержусь, не допускала она его до себя, если я тебе доверяюсь, так, значит, можно... и все заканчивалось поцелуями, идти дальше поцелуев она ему не разрешала, но с таким упоением отдавалась им, так была в них открыта к нему и жадна, что ему хватало и одних этих поцелуев. И впервые с нею он не испытывал того, что всегда прежде было в его отношениях с другими: словно бы совершал какой-то обман то ли ее, то ли себя — непонятно, но обман — вот что несомненно, что-то недостойное совершал, низкое, унижающее того лучшего в себе, кроме которого не хотел бы иметь в себе больше ничего. Ощущение чуждости и чистоты исходило от тех отношений, что были с нею, полной внутренней ясности и прямоты.

Но вообще они не часто бывали наедине. Ника лишь изредка позволяла ему так вот подняться вместе с нею в квартиру — провожал ее до подъезда, и у подъезда она прощалась; в основном они вместе проводили время: ходили в кино, ходили в театры, обошли все городские музеи и побывали на областной выставке художников в картинной галерее, иногда вечерами выбиралась на Центральный стадион побегать на коньках, бесплатную выдаваемых по институтским биркам, в воскресенье несколько раз покатались в ближайшем лесу на лыжах.

Ника ходила в кино и театры не на любой фильм, не на любой спектакль. Петру полагалось предварительно выяснить, стоящая ли та вещь, на которую он собирается вести ее, и лишь после этого она давала согласие. Для того, чтобы выяснить, приходилось толкаться в очередях у театральных касс, выпрашивать, ловить слухи, бегать по киоскам, искать «Советский экран», уговаривать киоскеров оставить номерок; эти рысканья по киоскам и кассам отнимали не так уж и мало времени, все выходило за счет занятий, а он привык учиться хорошо и получать стипендию, поэтому в конечном итоге выходило за счет сна; неделями напролет, случалось, ходил полусонный, то и дело позорно засыпая на лекциях и каясь после в деканате за свое недостойное советского студента поведение, — но ему все это было не в тягость, одна лишь радость была от этого.

4

На майские праздники, собираясь ехать к себе домой, Ника попросила Петра набрать из общежитских приятелей группу человека в три-четыре и поехать всем вместе с нею. Родители ее жили в собственном доме, на приусадебном участке начиналась пора весенних работ, и она предлагала совместить празднование с помощью в этих работах.

Петр отозвался на ее зов с радостным ощущением близящегося счастья. Хотя у них и не заходило с Никой о том разговора, но если бы в один прекрасный миг вдруг открылось, что она не против связать свою жизнь с его, он бы свою тут же отдал ей — пусть связывает. Приглашение в родительский дом было словно бы неким тайным, символическим знаком, оно означало как бы особое доверие ему, как бы некое признание его прав на знакомство с той ее жизнью, которая человеку неблизкому не раскрывается.

Митю Петр увидел, когда уже взяли штурмом электричку, прибывшую под посадку, как то и положено, с опозданием, заняли места, расположились и в предвкушении удовольствия от дороги все разом, громко, со смехом заговорили. Митя быстрым шагом шел по перрону, напряженно вглядываясь вдаль, шарил глазами по окнам — явно искал кого-то. Был он в парадной форме с крупными, ярким золотом горевшими пуговицами, с ярким шевроном курсантской окантовки на погонах, с яркой зеркальной бляхой туго врезавшегося в талию кожаного ремня.

— Митя! — закричал Петр, высовываясь из окна.

Митя уже проскочил вперед, остановился, обернулся, увидел Петра и, просияв, вскинул руку:

— Ну! Тебя ищу! Ай да я молодец!

Через мгновение он уже был в вагоне, обнимался с Петром, колотил обдирая ему щеку этим самым шевроном встопорщившегося погона, и говорил:

— Удивляешься? Хо, я сам удивляюсь! Сейчас все объясню. Хо, как я обрадовался, когда узнал, куда едем!..

Оказывается, их курс вывезли на весеннюю практику на особый полигон, и полигон этот находился в тридцати километрах отсюда. Оказывается, Митя жил рядышком уже целых полторы недели, но не сообщал о себе, хотел ошеломить внезапностью своего появления.

— Заявляюсь в общежитие, — говорил Митя, похохатывая и оглядывая всю их компанию, — вызываю тебя на вахте, а мне отвечают: только что на вокзал отбыл. Где тебя там на вокзале искать? А вот на такую электричку они пошли. Для человека военного — информация исчерпывающая!

Петр смотрел на него и любовался им. Мите очень шла форма. Она сидела на его ширококостной коренастой фигуре как влитая, он выглядел в ней таким мужественным и сильным, таким настоящим военным, таким решительным и открыто смелым было его широкоскулое, тронутое легкой конопатиной лицо — да любому было бы лестно иметь его в друзьях!

— Так ты, слушай, как, в увольнении? — спросил он Митю.

— В увольнении, конечно, — победным голосом сказал Митя. — На двое суток причем. Как мы сюда прибыли, я тут же к замполиту: у меня здесь брат, где ночевать — имеется. И все! Вот он я, видишь.

Общежитские приятели Петра все знали Митю, помнили, как два года

назад затаскивали его в общежитие через окно на бельевых веревках, и он тоже помнил всех и стал здороваться за руку:

— Привет! Привет! Очень рад.

Дошел до Ники, тоже было протянул ей руку, но своей она ему от-
ветно не протянула. Только кивнула сдержанно:

— Ника.

— А-а! — протянул Митя, убирая руку. — Знаю!

— Вы можете с нами поехать, если это вам можно, — сказала Ника.

— Да, Мить! — заторопился Петр, благодарно взглядывая на Нику: молодец какая, догадалась позвать. — Да, Мить, мы на майские к Нике едем, километров восемьдесят тут, сможешь с нами?

Митя поехал.

Петр чувствовал себя счастливым до какого-то буквально физическо-го блаженства. Мало что он ехал увидеть Никин дом, ее семью, быть представленным ее родителям, но рядом при этом оказался еще и Митя! Он предвкушал, как они уединятся вечером и всласть наговорятся о переменах, что произошли в их жизни за пору, пока не виделись, о том новом, что поняли в мире за эту пору, о событиях, что происходят в стране, и как лично они могут принять в них участие — обо всем том, о чем ему больше не с кем было говорить. При этом уединиться они должны были так, чтобы рядом находилась и Ника; они бы разговаривали, а она находилась бы подле них, слушала и молчала, с потрясением обнаруживая для себя, какая бывает дружба, какой интересный человек Митя, а значит, и он сам, Петр, потому что если бы он не был интересен Мите, то Митя не стал бы дружить с ним...

Но дома у Ники вышло все по-другому. Родители ее встретили его иначе, чем всех остальных, с той особой ласковостью и приглядчивой внимательностью, смысл которой был совершенно ясен ему и приятен: ему хотелось, чтобы родители ее именно так относились к нему. И, желая понравиться им, желая, чтобы они могли побольше узнать его, как-то непроизвольно все время держался поближе к кому-нибудь из них — заправляя вместе с ее отцом парник, шел рядом с ним, окапывая яблони, потом помогал ему лечить их, зачищая железной щеткой и замазывая растопленным варом оголенные места у стволов и ветвей, а когда сообща стали готовить поздний обед, сам не заметив как, оказался рядом с ее матерью, был у нее в помощниках и вечером вместо прогулки сидел за столом в большой комнате, играл в паре с нею на вылет в «дурачка».

С Митей они сошлись только уже перед самым сном. Команде, привезенной Петром, выделили две комнаты на втором этаже, одна побольше — и там заправили три постели, другая поменьше — там две, и они с Митей пошли, естественно, в ту, что поменьше. И вот, когда остались вдвоем, уже раздевались, чтобы ложиться, Митя сказал с восхищением — сам Петр хотел, но еще не успел спросить его мнение:

— Славенькая она у тебя какая! Просто прелесть!

— Да? — с острым, счастливым чувством признательности отозвался Петр.

— Прелесть, прелесть, — подтвердил Митя.

— Понравилась тебе, да? — Петру хотелось услышать от друга подтверждение правильности его выбора, тем более необходимое ему, что он, собственно, и не выбирал.

— Да, а чего ж, чего ж... — скороговоркой согласно пробормотал Митя, и Петр тогда не почувял в этой его скороговорчатой уклончивости ничего странного, ничего не заподозрил. Это позднее, вспоминая тот их разговор, он понял с отчаянием: вон оно где уже было, начало!

И неудивительным позднее казалось уже и то, что так и не вышло у них тогда никакого разговора с Митей, легли, перебросились еще несколькими фразами — и как застопорило все. Но тогда казалось — оттого что устали. Наломались ведь за день, что говорить. Сколько земли перевернули.

На следующий день после обеда Мите уже надо было уезжать. Электричкой до областного центра, а оттуда еще тридцать километров на автобусе до полигона — как раз только к вечерней поверке и успеет.

На вокзал провожать Митю вместе с Петром пошла и Ника. И опять лишь позднее Петр увидел в этом совсем иное, чем ощущал тогда. Тогда

была лишь благодарность к ней за то уважение, которое она выказывала его другу.

А вот то, что она сделала на вокзале, это и тогда больно укололо Петра. Но только укололо, не больше, смысла происшедшего он не уловил.

Митя уже был в электричке; он занял место у окна, опустил его и стоял, смотрел на них сверху. Электричка тронулась и пошла, набирая ход. Она набирала ход довольно быстро, как и обычно электрички, и Петр, сделав шаг, другой, остановился, пошел, махая рукой, в сторону, чтобы подольше видеть Митю, а Ника вдруг сделала несколько быстрых шажков вслед электричке, поравнялась с окном, из которого выглядывал Митя, и, видимо, что-то сказала — судя по тому, что вскинула голову, шла так мгновение, а потом опустила голову и остановилась.

— Что ты ему сказала? — удивленно допытывался Петр у нее на обратном пути.

— Ничего, — пожимала плечами Ника.

— Я же видел, как ничего.

— Ой, Фома неверящий... — Она остановилась, оглянулась быстро по сторонам, не видит ли кто, и быстро поцеловала его в губы. Глаза у нее смеялись, щеки покраснелись. — Я сказала ему, что он настоящий друг. Чтобы еще приезжал. И все. О чем тут рассказывать?

Горько и стыдно было вспоминать после это ее объяснение. Но тогда оно вполне устроило его. Да его бы, собственно, любое объяснение устроило. Потому что ему лишь одно было важно: чтобы оно дало ему возможность успокоиться. Слишком жарким пламенем он горел, был растоплен им до податливой восковой мягкости и послушно готов был принять от Никиных рук любую желаемую ею форму.

А недели через три, когда уже начались зачеты — занятия еще не кончились, но зачеты уже начались и в институтских стенах веяло ветром вольготной сессионной жизни, — сбегаая после сданного зачета по широкой центральной лестнице к выходу, Петр столкнулся на ней с одним из своих приятелей, ездивших с ним на майские к Нике, поздоровались на ходу, и приятель спросил вдогонку:

— Митяя видел уже?

Петр приостановился.

— Как «уже»? После майских, что ли?

— Ну. Сейчас вот, — сказал приятель. — Я с ним минут двадцать назад на крыльце здесь столкнулся. Он вроде тебя ждал.

— А! Сейчас увижусь, значит, — обрадованно ответил Петр.

Была суббота; когда Митю и могли отпустить в увольнение, так именно в субботу, и выходит, ему снова удалось вырваться.

Петр быстрым шагом, едва не бегом пересек вестибюль, выскочил на крыльцо и огляделся.

Крыльцо было широкое, большое, в восемь мощных гранитных колонн, возносящих мощный треугольный фронтон на высоту четвертого этажа, в прохладе крыльца там и сям, группками и поодиночке толкся народ, но Мити нигде видно не было.

Странно, подумалось Петру. Они договаривались, как и где в зависимости от времени дня Мите найти его, когда Митя снова получит увольнение, и сейчас Митя должен был искать его в институте, все правильно. А если он ждал его на крыльце, то, видимо, потому, что посмотрел на доске его расписание, увидел, что скоро Петр должен выйти, и не стал искушать судьбу, бродить по незнакомым ему коридорам. Но куда он поедет сейчас тогда?

Может быть, ждал-ждал, не дождался и пошел в общежитие, подумал Петр.

Но бежать в общежитие, искать Митю там он сейчас не мог. У него было назначено свидание с Никой. Вот у этих же входных колонн через десять минут — через десять минут должен был прозвенеть звонок с занятий, и на это время они договорились. Ника последнюю неделю словно бы избегала его, встречались только на минуту-другую, перекидывались парой слов, и она оставляла его: «Ты знаешь, я готовиться к зачету поехала, совсем не готова. У нас какая-то просто зверская сессия нынче». Он по обыкновению рвался провожать ее до дому, она не позволяла: «Нет, иди сам готовься. Проездишь туда-сюда, сколько времени потеряешь. Не

сдашь — очень мне приятно будет, что из-за меня!» А сегодня зачет у него, зачет у нее, и она согласилась на свидание. Петр уже подготвился к нему, — в кармане у него лежали билеты в центральный кинотеатр на фильм, пойти посмотреть который так все вокруг и уговаривали.

Однако и с Никой он тоже не встретился. Он ждал-ждал ее у выхода, решил, что просмотрел, хотя вот это уж было совсем странно, — ведь, выйдя, она сама стала бы ждать его, как бы они тут просмотрели друг друга! — но все же в конце концов он сбежал к аудитории, где она должна была провести последний час занятий, и застал распахнутую в пустое пуродверь.

Дома у нее на его звонок никто не открыл. Он протаскался по окрестным улицам до возвращения с работы ее тетки, но тетка от его вопросов только разволновалась: «Так она же говорила, что с тобой в кино пойдет. Она же с тобой быть должна?!»

Звонили из автомата вместе с нею одной Никиной подруге, у которой дома стоял телефон, узнавали, была ли она сегодня на занятиях, — была, оказывается; бегали вместе в ближайшее отделение милиции, дежурный оттуда связывался с центральным пультом, делал запросы в такие заведения, от одного названия которых будто клещами стискивало виски.

Рабочие дни по субботам были в те годы укороченными. Никина тетка появилась дома довольно рано, — Ника объявилась, когда двадцатиградусная майская жара полностью уже сменилась вечерней знобкой прохладой и воздух был сумеречно синь.

Тетка закричала на Нику так, казалось, у нее лопнут от крика жилы. Они вздулись у нее на лбу корявыми бугристыми веревками, и все лицо у нее сделалось тяжелого багрового цвета. «Паршивка, гадина, сволочь!» — вот что она кричала Нике, вот какие главные слова были в ее полубесмысленном, озверелом крике, неожиданно для Петра закончившемся долгим истошным всхлипом, перешедшим в заколотившие ее, словно в каком припадке, рыдания.

Закрыв лицо руками, покачиваясь, на заплетающихся ногах тетка ушла в комнату и, слышно было, упала там на диван. Ника стояла в прихожей с побитым несчастным видом, с мертвой неподвижностью держа перед собой в опущенных руках светло-коричневую папку на «молнии», пузато набитую тетрадами, с какими в ту пору полагалось ходить студентам, смотрела невидяще в пространство перед собой, и вот тут, глядя на нее, впервые за последние несколько часов Петр вспомнил о Мите, появившемся у института и пропавшем, и тотчас вспомнил, что Ника быстро шагнула вслед за вагоном, уносившим Митю, и шла несколько мгновений с поднятым лицом, и нынешнее ее исчезновение с пронзительной очевидностью соединилось в нем с исчезновением Мити.

И в то же время все в нем вопило о том, что нет, не может того быть, не может!..

— Ты где была? — неподатливым, пудовым языком проговорил он.

Она как очнулась, вздрогнула, взгляд ее стал осмыслен, и она увидела его.

— А ты здесь чего? — спросила она резко. Но ответ его ей уже был не нужен, что-то она сообразила, пока спрашивала, и глаза ее налились гневом. — Это ты все устроил?! Как ты смел? Кто ты такой, чтобы лезть в мою жизнь? Мало ли где и с кем я была! Уйди отсюда!.. Уйди, и чтоб я тебя больше не видела!

Все, что скрывалось под этими словами, или, вернее, все то, что они скрывали, было Петру совершенно ясно, и вместе с тем некто жалкий и слабый в нем, все продолжая не верить очевидному, отпихивая его от себя, готовый ухватиться в отчаянии за любую надежду, требовал для себя последней, окончательной прямоты.

— Ты что, с Митькой была? — спросил он угрюмо, незаметно для себя, чтобы легче было задать этот вопрос, называя Митю Митькой, как никогда прежде ни разу его не называл.

— Ну и что? — сказала она, глядя на него с гневной ненавистью. — А если мне интересно? Кто ты такой, чтобы мешать мне? Я жить хочу, я еще много увидеть должна, много узнать... и у тебя никаких прав, чтобы мешать мне, понял?! Ты понял?!

Петр шел ночными, бисерно расшитыми огнями фонарей улицами,

грохотали мимо трамваи, шлепали тяжело ребристыми шинами троллейбусы, стремительно пронеслись, иногда зазывающе притормаживая, так-си с зеленым глазком,—он все шел и шел с тупой заведенностью обочины дороги, нигде не переходя на тротуар; почему-то ему мало было просто идти, а нужно еще было идти в опасной, страшной близости от мчавшихся на полной скорости машин, подававших всякий раз то в спину, то в лицо тугой воздушной волной.

Только сейчас, после того, что случилось в доме Никиной тетки, из этой холодной майской ночи, пришедшей на смену пылавшему солнечным жаром дню, ему стало понятно, почему она всегда держала его словно бы на расстоянии от себя, вблизи и в то же время так далеко, что без ее желания никогда не мог просто увидеться с ней, не говоря уж ни о чем ином. Она его совсем не любила, вот в чем дело. Не то чтобы он был ей неинтересен, но именно что интересен—вот и все, видимо. Интересен—и оттого годился для походов в кино и вечерних прогулок, но и не более. И оттого ей было все равно, что он подумает, что станет делать, когда она шагнула вслед за вагоном и, подняв лицо, назначила, должно быть, Мите свидание, а если не впрямую о свидании говорила, то о чем-то в подобном роде; и оттого так грубо, так безжалостно порвала с ним сегодня: «Кто ты такой?! Иди отсюда!»

Но Митя, Митя! Он-то как мог! Ведь все знал от него о Нике, все, все знал, до последней капли, а только она поманила—тут же пошел по запретному, тут же, не раздумывая, и сегодня приехал уже не к нему во-все, а к ней. А он-то еще так обрадовался Мите, кретин!

Транспорта на дороге становилось все меньше, все реже обдавало упругой воздушной волной; потом вокруг наступила полная тишина, и хоть иди по середине дороги. Восточный край неба начал едва заметно набухать светлым, пала роса, стало совсем холодно.

И тут Петр вдруг поймал себя на странном, никогда до того не посещавшем его желании: он хотел, чтобы его окликнул тот нежный, певучий хрустальный голос, что, бывало, окликал его раньше, он шел и все ждал с напряжением, прислушивался—не окликнет ли. Почему-то ему сейчас это было нужно. И думалось: ведь май, весна как раз, почему бы нет? Вспоминал: года два уже не слышал голоса, давно уже—пора.

Но голос не окликнул.

5

Надо было начинать новую, другую жизнь.

Та, которой он жил эти годы, став студентом, и которой продолжал теперь жить дальше, ходя в библиотеку, готовясь к экзаменам, сдавая их потом и механически ощущая довольство хорошими отметками, стала совершенно невыносима, тяжела для души, сделалась бременем, под грузом которого, собрав все силы, сколько-то он мог продержаться, но лишь в надежде, что впереди все будет иначе: жить дальше этой жизнью было невозможно.

Не потому, что он боялся встреч с Никой, той боли, что они неизбежно вызывали бы,—два раза он уже случайно столкнулся с нею и знал, что это будет именно так. В нем рухнул тот храм, что освящал эту жизнь смыслом, от этой прежней жизни осталась одна оболочка, одна форма, лишенная всякого наполнения, и продолжать жить ею—значило обманывать самого себя, лгать себе, делая вид, будто бы ничего не изменилось внутри, все осталось, как есть. Ника была болью, которую можно было перетерпеть; разверстой, точащейся кровью, полыхающей дикой, нестерпимой болью была рана, нанесенная Митей. Как теперь было жить без храма? А выходило, что нужно без него. А оттого нужно было найти для начала хотя бы какую-то другую, непохожую на нынешнюю оболочку жизни, втиснуться в нее, осмотреться в ней, и со временем, может быть, обнаружился бы в ней какой-то свой смысл, открылось бы взгляду какое-то иное святилище.

Но инерция этой прежней жизни еще тащила его, и он сдал экзамены и поехал со стройотрядом в деревню на заработки—все, как планировалось раньше, и после стройотряда на оставшуюся неделю каникул, как опять же планировалось раньше, прилетел навесить родителей, чтобы к сентябрю улететь на учебу.

И тут, в родном городе, на родных, осененных ушедшим детством улицах, ему была уготована встреча с Митей. У Мити тоже были каникулы, и он тоже проводил их в родительском доме.

— Салют, Петя! — встал он с околоподъездной скамеечки навстречу Петру, когда тот, отягощенный двумя набитыми картошкой громадными авоськами, возвращался с базара.

В голосе его было покаянное смущение.

Петра как ударили в поддых. После той майской ночи он не мог себе представить встречи с Митей, им не о чем было говорить, а если о том — так ни к чему.

— Салют, — повторил Митя, протягивая руку, не осознавая, видимо, что Петр ему просто не может подать свою. Потому что обе заняты грузом. А Петр вместо того, чтобы пройти мимо, почему-то остановился и с каким-то непонятным самому себе чувством неловкости кивнул:

— Здравствуй.

Потом, вспоминая этот миг, он понял, почему остановился и ответил на приветствие Мити: в нем не было ненависти к Мите, не было на него обиды, одна только боль, и покаяние в голосе Мити заставило пожалеть его.

— Слушай, Петь, — быстро, скороговоркой, заискивающе заглядывая к нему в глаза, заговорил Митя. — Я вообще, понимаешь, чувствую себя, конечно... сам понимаешь, как чувствую... не должно ничего между нами... ну, почему она должна стоять между нами! Ну, понимаешь, когда баба сама на тебя... ну, ты же сам мужик, ты понимаешь, тут каждый мужик одинаково поступил бы... а у меня с нею... ну, три раза всего и виделась, и ничего вообще и не было такого... ну, просто незачем нам, Петь... дай руку, Петь, нельзя же нам...

Он стал отбирать у Петра одну из сеток, чтобы освободить ему руку, и Петр, не испытывая ни малейшего сомнения в правде всех этих слов, что произносил быстрой, захлебывающейся скороговоркой Митя, и по-прежнему не чувствуя в себе никакой ненависти к нему, ничего, кроме жалости, позволил Мите забрать у себя авоську и подал руку.

— Ну, вот так, — с радостным облегчением сказал Митя, сжимая ему руку и все так же заискивающе заглядывая в глаза. — Давай по-прежнему, Петя. Что из-за бабы, ей-богу? Чтобы баба между нами! Да, Петя?!

— Да, давай, — сказал Петр, отнял руку, взял авоську и кивнул Мите. — Пока.

Митя суетливо отворил ему подъездную дверь, заскочил следом в тамбур, открыл вторую, и Петр вошел внутрь. Митя, он слышал, держал дверь сзади открытой, словно бы ждал чего-то.

— Пока, — повторил Петр, слегка обернувшись. Ничего в нем не изменило это пожатие. Он пожалел Митю, потому что тому тоже было плохо; он увидел это — и пожалел, но изменить что-либо в себе он не мог. А сказанными словами Митя только закрепил совершенное. «Из-за бабы! Ты ж сам мужик...» Если бы Ника вдруг оказалась для Мити тем же, чем была для него, — тогда другое дело, тогда бы... но ведь только «баба», баба — и все! Да, три раза лишь и виделась, — наверно, так, откуда больше, ведь он не свободен, он курсант, только в увольнения и мог встречаться с нею. А потом, видимо, их практика на полигоне кончилась... И вот из-за того, что помнилось, будто его ждет легкая удача, рискнул, поставил на карту ту близость, что была между ними. Предпочел близости одной близость другую...

Петр стоял на балконе, высыпал в овощной ящик картошку из авосек и с вынимающей душу тяжелой, гнетущей болью чувствовал: все, прежней жизни для него быть больше не может. Он не может вернуться туда, где произошло все это, он не может вернуться к той пустой оболочке, что ждет его там, и тащи его кто туда на аркане — он не вернется.

В тот же день он сходил на почту и послал в институт на имя ректора заказное письмо, где просил академический отпуск по семейным обстоятельствам. Отпуск ему нужен был лишь для того, чтобы перерубить связь с той, прежней жизнью, сжечь мосты и не иметь возможности вернуться назад. Но что ему делать в его новой жизни, как ему жить в ней и какой она должна быть, — этого Петр не знал.

Глава вторая

1

Спустя три года он жил за тысячи километров от родных краев, в городе на берегу Тихого океана, неофициально прозывавшемся советским Сан-Франциско, был женат на женщине старше его на семь лет, имевшей двух детей, и работал инженером на одной из кафедр того института, который заканчивал по вечернему отделению.

Подав тогда заявление об академическом и уезжая долгим, неторопливо влекущимся через всю страну поездом на восток, он собирался осесть где-нибудь в Сибири, думалось о Дивногорске, о Красноярской ГЭС, — в те годы в газетах много писали о гидростроителях, стройки ГЭС объявлялись ударными комсомольскими, — где, казалось, и есть жизнь, полная смысла и высокого внутреннего напряжения, так именно там. Ехал он плацкартным вагоном, занимая верхнюю боковую полку; на третьей, багажной, полке над ним, почти не спускаясь оттуда, ехал могучего вида квадратный мужик лет тридцати с какими-то пришибленными, будто чужими глазами; Петр обратил внимание, что мужик, кроме того, что не спускается со своей верхотуры без нужды, еще и не ест ничего, пригласил его к своим колбасе с сыром, мужик тотчас с готовностью согласился, и за трапезой обнаружилось, что он рыбак, был в отпуске, прогулялся подчистую, до голого кармана, и сейчас едет милостью знакомого проводника, который, если ревизия, объявит его «зайцем». Глаза у мужика были такие пришибленные, и так жалко он гляделся на этой своей третьей багажной полке под самым потолком, в духоте и жаре, что Петр стал приглашать его всякий раз, как принимался за еду, они мигом сошлись, рыбак, перескакивая с пятого на десятое, рассказал о своей жизни, о бабах, с которыми жизнь сводила его, Петр поделился с ним своими настроениями, и рыбак принялся звать Петра с собой. По-его выходило, что рыбацкая работа — самое то, что нужно Петру, крестьянин да рыбак — вот два дела, что ни в какое сравнение с другими на земле, буквально в руках его держишь, этот твой смысл, вырастил да поймал — и держишь, а напряжение такое — позвонки хрустят.

Кончилось тем, что в Красноярске, до которого был взят у Петра билет, они вышли оба. Петр купил на вокзале два билета до Владивостока, и, пробродив сутки по Красноярску, они поехали дальше, теперь уже оба на вторых полках, законным способом. Приезжаем, сразу шлепаем с тобой в отдел кадров, говорил Серега, как звали рыбака, под моим началом будешь, натуральным мариманом тебя сделаю. А должок свой, вот только аванс получу, должок тут же верну, за мной никогда не заржавеет.

Во Владивостоке Серега исчез прямо с вокзала, заскочив на минутку в галюн, и Петр ходил по городу, искал этот Рыбтрест, оформлялся в отделе кадров самостоятельно.

С Серегой он повстречался вновь года полтора спустя, когда уже работал на судоремонтном заводе, повстречался, где и положено было повстречаться, — на барахолке, искал себе приличную осеннюю курточку, а Серега как раз таковой и торговал. Ну, ты даешь, тоже мне, вспомнил, со спокойной ласковостью в голосе сказал Серега, когда признал Петра. Друзьям одалживаешь — думай, а мы с тобой кто? Я бы и так, без всякого билета со знакомым проводником доехал, кто тебя просил?

Спустя эти полтора года Петр уже не держал на него сердца, купил у Сереги курточку за требуемую сумму, и Серега, тоже в знак своего хорошего отношения к нему, повел его угостить с вырученных денег в ближайшее кафе. Мариман, запомни, говорил он Петру в кафе, держа наготове рюмку, чтоб чокнуться, только своему брату мариману бывает должен. А ты поштормил разок — и наутек? Значит, правильно я от тебя смылся тогда. Вот таскался бы в море, я бы тебе вернул. Своему бы вернул, а тебе — фиг. Для маримана кто не свой — того нет!

Петр слушал его, видел теперь, что Серега снова втирает ему очки, пытаюсь облагородить свой тогдашний обман, но эта новая Серегина ложь оставила его совершенно равнодушным. Не ощущал он в себе никакой бо-

ли от того обмана. Смешной был обман, мелкий. Разве можно сравнить с Митиным? Если обманул Митя, почему, в самом деле, не мог Серега?

Впрочем, сейчас, задним числом, он был, пожалуй, даже благодарен Сереге. За то, что пошел по его совету в море — и там, в море, ему открылось в самом себе такое, чего без этого морского опыта он бы узнать не смог.

Шести месяцев, проведенных им на среднем рыболовецком траулере — СРТ, — оказалось для него вполне достаточно, чтобы никогда больше не захотеть того вновь. В чем правдив был Серега в поезде, так это в своих речах о работе: работа была такая, что действительно выкладывался в ней до полного изнеможения. Как пошла рыба — только и молился о том, чтобы она скорее кончилась, проклятая. Потому что казалось, не выдержишь, не осилишь и в самом деле хрустнешь где-нибудь в позвоночнике. Конечно, и радость была от этого страшного напряжения, какую потом, задним числом, дает всякая тяжелая работа, когда она наконец кончена, о, какая радость была, какое полное, какое великое удовлетворение!

Однако не его это оказалось. Совершенно не его, напрочь. Ему, оказывается, нужна в работе была еще цель абсолютно бесплотная, нематериальная, цель, которую невозможно было бы подобно палтусу, камбале, сельди взять в руки, но которая при этом была бы так же реальна, как укол, который получал иглой плавника, неосторожно взяв палтуса голый рукой.

Что это за цель, как ее обозначить, каким словом выразить, он не знал. Но в той прежней, студенческой жизни он ощущал ее, чувствовал ее постоянное присутствие во всем, что ни делал, владел ее знанием — без всякого выражения ее в слове. Оказывается, прежняя оболочка жизни, которую он так жаждал сменить, была идеальным вместилищем этой цели!..

Серега от водки жарко запылял лицом — «захорошел»; и, захорошев, начал требовать от Петра объяснения, почему это ему не понравилось на тралфлоте, чем это ему не понравилось; стучал кулаком по столу и, шумно дыша, наваливался на столешницу грудью, чтобы оказаться к Петру ближе лицом, но объясняться с ним Петр, разумеется, не стал. Да иди-ка ты, встал он из-за стола, когда Серегины приставания приобрели форму каких-то непонятных угроз и сделались вконец невыносимы. Дошел уже было до раздевалки — вернулся и бросил на стол свою долю денег за съеденное и выпитое. Не хватало только того, чтобы Серега думал потом, будто этим своим угощением возвратил ему тот поездной долг. Не нужно было Петру никакого возврата. Он Сереге ничего не одалживал. И если Серега понимал все как одалживание — это его дело.

А на судоремонтный завод он устроился в тот же день, как получил трудовую книжку из отдела кадров «Рыбтреста». И с какой-то пугавшей его самого судорожной торопливостью постарался вернуться к прежней, студенческой оболочке жизни: хотя подвернулась возможность снять недорого вполне приличную комнатуху, поселился в общежитии и, не дав себе ни дня на раскачку, принялся оформлять перевод на вечернее отделение местного института, который, кстати, имел даже точно такое же название, как тот, в котором он учился прежде.

2

Оформляя перевод, Петр и познакомился со своей женой. Она работала референтом у ректора, и в первое же свое появление в ректорской приемной Петр ощутил ее дружеское, доброе участие в своей судьбе: открыто и ясно улыбаясь ему, она со всею возможной подробностью объяснила, что от него требуется, какие документы, какие справки, в какой срок необходимо все это представить, и тут же сама взялась сделать половину того, что требовалось; она была необыкновенно красива, ярка, и яркая эта ее красота несла на себе печать глубокого жизненного благополучия, — у Петра даже и мысли не появилось о ее женском интересе к нему.

Но спустя месяца два после ректорского приказа об его зачислении она окликнула его в коридоре и, подойдя, улыбаясь все той же своей открытой, ясной улыбкой, но с оттенком мягкого упрека в ней, сказала:

«А что же это вы и не заглянете? Поступили — и все, забыли? Нельзя о друзьях забывать...»

Впрочем, он и тогда еще ничего не понял, и позднее она очень любила говорить об этом моменте: «А ты и в самом деле удивился, значит? Какие мы такие друзья, подумал?!» — ей доставляло удовольствие вспоминать его ошеломленным, смущенным и ничего не понимающим. «Ты мой мужчина! Ты понимаешь, ты мой мужчина! — говорила она ему в постели с жадной, требующей истомленностью. — Я тебя как увидела, я сразу поняла: вот мой мужчина! Я опытная женщина, я по твоим глазам увидела... о, как ты мне все это делаешь... мне так никто до тебя не делал, мой мужчина!..» Его коробило, что она столь открыто, не таясь, говорит о своей женской опытности, о том, как у нее было с другими мужчинами, но сам-то он был не очень опытен и решил для себя в конце концов, что так оно и должно быть, так положено, тем более что сравнение получалось в его пользу, и при этом как бы признавалось его высшее и окончательное право на нее.

Ощущать, что он обладает таким правом, было ему необходимо. Та недолгая физическая близость с женщиной, что была в прежней его жизни, дала ему, оказывается, лишь самое общее знание об этих отношениях, она была, оказывается, лишь слабым оттиском того головокружительного наслаждения, которое могла дать и которое он узнал вот теперь. Он узнал его, и оно сделало его своим данником, он привязался к женщине, открывшей ему вход в этот новый храм, с той самой песей истовой верностью, которой жаждал когда-то в дружбе. Вся жизнь его превратилась теперь в одно служение ей — облегчать ее вовсе не такой уж благополучный и устроенный быт, как то казалось при первом взгляде на нее, угадывать и осуществлять ее желания, выполнять различные ее, порою до смешного пустячные, порою забравшие у него все его силы поручения, — и служение это делало его жизнь исполненной смысла, радости и высшего счастья. Он ходил за продуктами в магазины, стоял там в очередях, забирал из детсада ее мальчиков и гулял с ними до ужина в парке, толкаясь на барахолке в поисках французской косметики для нее, вез на такси ее телевизор ремонтировать в ателье...

Как оказалось, что он женился на ней, он не очень и понял. В той счастливой оглушенности, в которой он находился, мысль о женитьбе просто не приходила ему в голову, ни о каком официальном оформлении их отношений не заговаривала и она, но ей хотелось, чтобы он постоянно был рядом, не возникал и исчезал, а был бы подле нее всегда. «Мне нужен дом. Понимаешь, дом?!» — говорила она, и он после смены на заводе возвращался не в общежитие, а к ней, и к ней возвращался после вечерних занятий в институте, и в конце концов совсем переселился в ее дом, и выяснилось, что иметь свой дом, жить под одной крышей с женщиной, которая дает тебе такую радость жизни, такое полное счастье ее, — вот самая-то высшая радость, самое высшее счастье, и после этого переселения официальное оформление их отношений произошло словно бы само собой.

Теперь жизнь сделалась не просто служением ей, а служением дому. Только теперь до него стал доходить тайный, глубокий смысл ее слов: «Мне нужен дом», — только теперь он осознал, что это такое — дом — в человеческой жизни.

У него был дом в детстве, без особого достатка, как он понимал из нынешних своих лет, без какого-либо особого, своеобразного уклада и неукоснительно должных соблюдаться внутренних, заведенных в нем правил, но вместе с тем вполне благополучный, теплый и добрый, каким и должен быть дом, в котором растут дети, однако то был не его дом, это был дом родительский. И вот появился свой.

Возможно, он и не ощутил бы всего этого с такой ясностью и остротой, начнишь его семейная жизнь в общежитской комнате или снятом углу, с полупоходным бивачным бытом, что и бытом-то, бывает, назвать невозможно, но она началась в громадной двухкомнатной квартире старого, революционной постройки здания, со множеством всяких подсобных помещений и закоулков, с высокими, украшенными по фризу лепной потолками, доставшейся его жене от родителей. Отец ее занимал крупный пост в здешнем пароходстве и умер от инфаркта, когда она только-только закончила школу, мать была молодая, года через полтора вышла замуж за летчика

гражданской авиации из Ленинграда, и так вот его жена стала владелицей этой роскошной квартиры, из которой ее уже несколько раз пытались выселить, и только помощь матери из Ленинграда, обращавшейся оттуда с просьбой о заступничестве к старым друзьям отца, помогла ей отбивать атаки.

— А теперь мне никто не страшен. Теперь я никого не боюсь. Теперь я под защитой! — говорила она Петру, когда у них заходил разговор об этом, глядя на него смеющимися требовательными глазами. — Защи-тишь?

— Непременно, — отвечал он, совершенно не зная, что бы он пред-принял для защиты, но действительно чувствуя в себе готовность сделать для нее, для их до-ма, что она подарила ему, абсолютно все. Расши-рится в лепешку, но сделать.

О прошлой ее жизни, о жизни до него, он практически ничего не знал, — она не рассказывала, не хотела того и морщилась, отказываясь, если, бывало, он спрашивал ее о чем-нибудь напрямую. Все свое знание об этой ее прошлой жизни он почерпнул из эмоционально-сумбурных, отры-вочных ее воспоминаний о разного рода событиях, когда-либо происходив-ших с нею; воспоминания эти от случая к случаю вырывались из нее обычно в качестве какого-нибудь поучительного наставления ему.

Всяких поучений от нее приходилось слышать Петру весьма немало, — все же она была старше его на семь лет, и это сказывалось.

Мальчикам ее было шесть лет и три. Первого она родила вне брака, на младшего получала алименты и, случалось, ночью, в близости, говори-ла Петру с жаром и отчаянием, словно бы внушая и убеждая: «Я знаю, ты хочешь от меня своего ребенка. А если не хочешь, то скоро захочешь, я знаю! Я тебе рожу, обещаю. Но подожди пока, пока не торопи, мне нуж-но убедиться в тебе, не торопи!..» Петр ничего не отвечал ей на это. Он не понимал ее. Ему вовсе не хотелось непременно своего ребенка. Она по-дарила ему до-м, и этого было вполне довольно ему, вполне достаточно; он привязался к ее мальчикам, ему доставляли удовольствие игры с ними и вообще всякая возня, он сажал их на горшок, научился мыть и лечить, когда они болели, ему было дорого, что оба они мало-помалу стали назы-вать его «папа Петя», а когда приходил забирать их из садика и они, ра-дуясь его появлению, бежали к нему и висли у него на шее, в груди де-лалось горячо от любви и нежности, и не в силах сдержаться он крепко прижимал их к себе, тискал и целовал, — они были его до-мом, и он чувствовал их своими сыновьями.

3

Инженером на кафедру устроила его жена. С ее референтского места просматривался насквозь весь институт, и хотя благорасположение ректора вовсе не находилось в прямой связи с благорасположением ее, ей было достаточно высмотреть подходящую вакансию, чтобы вакансия эта оказа-лась отдана мужу.

Петру было неловко идти работать в институт, где он еще учился, занимать должность, к которой он был совершенно внутренне не готов, и заранее было неловко от того, что все вокруг будут смотреть на него как на мужа референтши ректора, зная, что он взят сюда ее ходатайст-вом, и когда она сообщила ему о своей договоренности, об устройстве его на кафедру, помучившись некоторое время сомнениями, сделать это он от-казался. Он отказался, не видя в своем отказе ничего оскорбительного, но лицо у нее вдруг сделалось каменным, высокомерным, красота ее стала какою-то жесткой, неживой, и таким же высокомерно-каменным, жестким голосом, какого он еще никогда не слышал у нее, она сказала:

— Вот как? То, что твоя жена просила за тебя, одалживалась, — это допустим, не в счет. Но ты что, думаешь, я хочу иметь мужа ра-бочего?

Устраиваясь на завод, Петр не имел никакой рабочей специальности и был сначала учеником слесаря, потом сдал на разряд, и дважды уже, ко-гда обнаружилось, что он учится в институте, ему предлагали перейти сменным мастером, но оба раза он отказывался. Ему хотелось работать самому, а не ходить, шуршать нарядами, и он надеялся, закончив инсти-

тут, найти место где-нибудь в технологической или ремонтной службах, а еще лучше — в КБ.

— Я, кстати, через полгода диплом получаю, — сказал он, не понимая, что с ней такое, не до конца даже веря в серьезность ее слов.

— Допустим. И кем будешь? Инженеришкой, каких сотни и тысячи? Все так же в грязи на заводе возиться? Благодарю. Мне это абсолютно неинтересно — иметь подобного мужа.

— А какого тебе интересно?

— Ой, боже мой, мы надулись! Мы надулись. — Лицо у нее помягчело, она улыбнулась, подошла к нему, забросила ему руки на плечи и, приблизившись лицом, потерлась своим носом об его. — Такого, как ты, интересно. — Отстранилась и, не снимая рук с его плеч, глядя ему в глаза, сказала: — Любой будет мой, если захочу. Не веришь? Напрасно! Такие добивались меня... все, что угодно, для меня. А мне — нет, мне не нужно. Но мне нужен интеллигентный дом. Понимаешь?

— Как это? — Он не понял.

— Дом со степенью. Кандидатской. Потом докторской. Вполне под силу тебе. Пойдешь сейчас на кафедру инженером, оботрешься там, притрешься, в научные сотрудники перейдешь, а тема для кандидатской тебе будет — это я обещаю.

Впервые тогда Петр ощутил на себе ее твердую, направляющую руку и почувствовал, что сопротивляться ей нет у него сил: оказывается, он слишком дорожил жизнью, которую обрел, а она, похоже, дорожила чем-то совсем иным, чем нынешняя их жизнь. Впрочем, он ничего не имел против работы в институте, тем более против работы научной, наоборот, — об этом он просто и мечтать не смел, единственно, что вот неловко было...

Но с той поры помимо своей воли он стал присматриваться к жене, анализировать ее, глаз понемногу начал замечать в ней то, что прежде было просто недоступно ему, и он увидел, что теперь, когда они живут одним домом, когда начальная пора их отношений уже минула, она уже совсем не та, что в ту, первую пору.

Тогда она так и светилась, яркая ее, броская красота будто играла всеми цветами радуги, она была ласковой, веселой, нежной — вся как праздничный голубой, солнечный день, теперь же этот внутренний веселый свет словно бы притух, освещаемая им красота ее как бы потеряла прежнюю праздничную радостную игру, и во всем ее поведении, в манерах, интонациях, в общем ее настроении появилось теперь некое постоянное, устойчивое недовольство. Прежней, ласково-благодарной, распахнуто-открытой к нему всей душой, становилась она лишь тогда, заметил он скоро, когда получала какой-нибудь подарок. Это могла быть и вещь, о которой она мечтала, что-нибудь вроде той же французской косметики, которую он купил ей на толкучке, но прежде всего какое-нибудь радостное для нее событие жизни.

Именно радостные события жизни были для нее настоящими подарками. И жить она могла, лишь непрерывно получая их. Влюбила его в себя — и это был подарок. Он снял с нее, переложив на себя, множество бытовых хлопот, возился с ее мальчиками, давая им такой необходимый опыт мужского общения, стал ее мужем официально — все это была сплошная, непрерывная цепь подарков; но на этом цепь и оборвалась. А подарки все так же были нужны ей, возможно, она не отдавала себе в том отчета, но жить без них она не могла, и ей стало скучно жить, неинтересно, и она принялась оглядываться по сторонам в поисках этой остроты, этого необходимого ей перца жизни... Должно быть, «интеллигентный дом» был одним из запланированных ею подарков, что она хотела, пусть и не в самом скором времени, но получить от судьбы; и, выходит, преподнести его ей обязан был от имени судьбы опять он.

Однако какие-то подобные подарки были нужны ей и сейчас, они отсутствовали — шла обычная повседневная жизнь, — и, накалываясь, недовольство стало переполнять ее, все чаще выплескиваться наружу.

— А ты совершенно не яркая личность. Никакого блеска. Совершенно серенький. И что я в тебе нашла? — вдруг ни с того ни с сего, восхищенно-недоумевающе пожимая в улыбке плечами, говорила она ему — где-нибудь на подступах к ночи, когда мальчики уже спали в своей комнате, все вечерние дела по дому переделаны, и они сами собирались

ложиться, он стелил постель на раскладном диване-кровати, а она, начав было раздеваться, сидела с полуогненным плечом в кресле под торшером и смотрела на него оттуда.

Она стала постоянно говорить что-нибудь вроде этого, но раньше Петр не понимал ее, восхищение в ее голосе перекрывало для него все остальное, что звучало в нем, перекрывало даже и собственно смысл ее слов, тем более что немного спустя, когда постель была застелена и у нее уже было обнажено не только плечо, она шептала ему с жарким томлением: «Мой мужчина!.. О, какой мой мужчина!..» — теперь же, когда она стала ясна ему, он прекрасно понимал, что значат ее слова, что они выражают. Подарки, что могла дать ей жизнь его появлением, были исчерпаны до дна, и недовольство, переполняющее ее, естественным образом отражалось и на нем.

Впрочем, понимая все это, он как бы и не понимал всего до конца. Вернее, понимал умом, и не более того, а чувства его тут молчали. Отмечал для себя оскорбительность ее слов, их обидность для него, а чувства ничего не испытывали. Слишком он дорожил этой их жизнью, слишком она была нужна ему, необходима — все равно как необходим для дыхания кислород. Заставь его кто обосновать эту необходимость логически — да зачем? почему? — не смог бы того. А лиши его сейчас этой жизни, стал бы задыхаться без нее. Как стал задыхаться в свою пору после всего, происшедшего с Никой и Митей. Так тяжело он отходил от того удушья, чтобы снова желать себе подобного...

4

Работой своей он был счастлив. Чувство неловкости, забывавшее первые месяца два, как пришел на кафедру, все остальные чувства, мало-помалу рассосались, любопытствующие взгляды, которые он встречал поначалу едва ли не всюду, куда ни повернись, тоже понемногу исчезли, и ничто ему не мешало быть счастливым.

Специальность, по которой он заканчивал институт, называлась «Металлорежущие станки и инструменты»; по этой специальности была и работа. И оказывается, работа, что ждала его здесь, была именно той, которой просила душа.

— Петя! — перехватывал его еще в коридоре по пути к комнате кафедры, где полагалось в большой, амбарной книге с болтающейся на суровой нитке сургучной печатью отметить свой приход, замдекана, пожилой седовласый человек с орденскими планками на пиджаке. — Слушайте, Петя, очень вас прошу, оставьте все дела, какие у вас есть, сходите в мастерские, у вас там контакт с ними... У кафедры хоздоговор, надо систему опробовать, а они две недели зуборезный отремонтировать не могут, шестерни выточить невозможно, все дело стоит. В конце концов вы сами там глянете, если они не в состоянии... у вас контакт, они вам позволяют...

— Схожу, хорошо, — с удовольствием соглашался Петр. — Я знаю, что у них с зуборезным. Там гидравлика барахлит, капитально нужно ремонтировать, и им возиться надоело.

— Ну, сходи, сходи, — с облегчением уже говорил замдекана, незаметно для себя переходя в этом облегчении на «ты». — Гидравлика или что... Ты уж сам тогда. Сам.

— Да, конечно, сам, — отвечал Петр. — Им возиться надоело, они и ждут, что кто-то придет да сделает.

Он входил в комнату кафедры, расписывался в прошнурованной, с болтающейся сургучной блестящей книге, что прибыл на работу, и еще не успевал отойти от стола, на котором лежала книга, его снова останавливали.

— Петр Григорьевич, — говорил, просительно улыбаясь, аспирант кафедры, груболицый, лысолобый молодой человек, — вы не забыли? В три часа вы мне обещали.

— Помню, — отвечал Петр, всю эту недолгую минуту после встречи с замдекана как раз и прикидывавший, успеет ли освободиться в мастерских к трем часам. Зная почти наверняка, что именно там придется делать с зуборезным, он видел, что мог и не успеть. — А если попозже? — спрашивал он аспиранта. — Часа в четыре, в начале пятого?

— Так ведь это уж и рабочий день к концу, — по-прежнему просительно улыбаясь, сокрушенно говорил аспирант.

— А задержимся. Если вы не против, — говорил Петр. — Я тогда домой забегать не буду, сразу потом на занятия. Не против?

— Да а я-то чего ж против буду? — довольно отвечал аспирант.

— Ну и отлично, — говорил Петр.

И возился потом с зуборезным, чтобы освободиться хотя бы в начале пятого, без обеда; отлаживал затем с аспирантом его установку — и опять до упора, до самого начала своих институтских занятий; и получалось в итоге, что ел второй раз за день уже в двенадцатом часу ночи, вернувшись домой.

Здесь, в институте, впервые с той поры, как сжег мосты между прежней своей жизнью и этой, которой жил теперь, он снова обрел наконец то, что имел в годы учебы на дневном отделении. Просто исполнять работу, как бы отбывая ее, он не мог — ему нужно было получать удовлетворение от нее. А оно приходило к нему, как он понял теперь, проследив всю свою взрослую самостоятельную жизнь, когда он ощущал свою полезность. Смешно вспомнить, но когда учился на дневном отделении, то ведь стремился как можно лучше сдать сессию именно из-за этого. Не только из-за стипендии, которую бы дали даже и с тройками, а именно из-за того прежде всего, чтобы ощущать: вот, ты сделал дело, которым занят сейчас, наилучшим образом. Общество, в котором живешь, заинтересовано в том, чтобы ты больше знал, больше понимал, — и надо постараться. И главное, делал это, стремился как можно лучше сдать сессию с а м, по своей воле; не было обстоятельств, которые вынуждали бы поступать таким образом, давили бы прессом, выжимали бы из тебя все, на что ты способен; с а м так поступал, по одному своему желанию.

В рабочие его обязанности здесь, в институте, входило следить за исправностью оборудования, принадлежащего кафедре, — и не больше; никто не требовал от него чего-то сверх сил, никто не заставлял выкладываться до дна. До него, по сути, никому не было дела, никому он не был нужен. Но он-то хотел как раз выкладываться, как раз это нужно было ему. И как это обнаружилось, сразу работы оказалось выше головы и всем оказался нужен: и доцентам, и аспирантам, и студентам. А в самой работе, которой он теперь занимался, ничего не было известно даже на шаг вперед — все на откуп твоему умению и под твою ответственность. И вот то, что это было именно так, сошлось именно таким образом, делало для него каждый рабочий день праздником.

В дипломный отпуск, когда наступило его время, он не пошел, чтобы не остаться без зарплаты, и работал, и готовил диплом — все одновременно; спал по пять, по шесть часов, было тяжело, измотался, но ощущение счастья не оставляло.

— Ой, какой ты еще мальчишка! Ой, какой мальчишка!.. — глядя на него с наставительно-сожалеющей улыбкой, покачивая головой, сказала жена, когда не в силах держать в себе это счастье невысказанным, смущаясь и запинаясь, косноязыча, он попытался выразить его словами благодарности ей, что она настояла на его переходе сюда, что переломила его, убедила. Дело происходило на пароме, неторопливо влекшем их через тихую воду всемирно известной бухты к противоположному высокому берегу, — было воскресенье, и они с обоими мальчиками поехали на педагогическую прогулку: подняться с ними на самый верх сопки, дать им увидеть с открытого места панораму их родного города, перетекающего домами с сопки на сопку до самого горизонта, увидеть панораму забитой судами всего мира до уличной тесноты кривоколенной бухты, что и родила на этих сопках век назад этот их родной город.

— Совершенно мальчишка, — повторила она, вздыхая. — Но, в общем, конечно, прекрасно, что ты доволен. Это всегда хорошо. Только не забывай, что работы ради самой работы никогда не бывает. Для мужчины особенно.

— Ну, это безусловно, — сказал он. — Ведь и ешь не ради того, чтобы есть. Важна цель, ради которой работаешь.

— Да, правильно, — наставительность в ее голосе подавила все остальные интонации. — И цель у тебя есть: диссертация. Кандидатская, а потом докторская.

— Ну да. Но это побочная цель. Личная. — Выходило, будто она экзаменует его, а он старательно пытается сдать экзамен как можно луч-

ше. — Я имел в виду ту цель, ради которой и делается работа. Тот итог, к которому она должна привести.

— А я о чем? Именно об этом же! — Она все улыбалась — она вообще умела говорить даже самые обидные вещи с улыбкой, — только в улыбке ее появилось теперь тоже нечто наставительное. — Об итоге. Не надо лишь разделять: личный, общественный. Не будешь думать о себе, никто о тебе не подумает. Оглянись! Ты что, не видишь ничего вокруг? Не понимаешь? Время идеалистов — все, ушло. Если оно было когда-нибудь. Но сейчас время — нужно быть вдесятеро раз трезвее, чем прежде.

— Что значит «трезвее»... — начал было он, но она оборвала его:

— Боже, как с глухим! — И улыбка наконец исчезла с ее лица. — Совсем мальчишка, совсем!.. — И теперь в голос ее не было ни восхищения, ни благосклонности, одно сожаление.

— Ну да, я моложе тебя... — помолчав, через паузу снова начал он, и снова она оборвала его:

— Нельзя жить одним сегодняшним днем! Понимаешь? Или нет?

Паром причаливал. Толкнулся с тупой мягкой силой в дебаркадер, толкнулся еще раз, еще, замер, вокруг все разом оживились, зашевелились, и мальчишки, спокойно до того сидевшие у него на коленях, каждый на своем, тоже оживились, вскочили с коленей, затараторили, и Петр воспользовался всем этим, чтобы прекратить разговор, не стал отвечать жене. Ему было больно, что его благодарность всколыхнула в ней лишь эти ее глубоко запрятанные недовольство и раздражение, но вот ответить на ее последний упрек ему и в самом деле было нечего. Потому что это именно так и было: он жил сегодняшним, текущим днем, — действительно так.

Эта нынешняя его жизнь доставляла ему такую радость, до того счастливо было жить ею, что он не хотел заглядывать вперед: а что там будет? Да зачем было заглядывать, когда день нынешний сам, как по направляющим рельсам, должен был привести в день завтрашний? А уж что он будет представлять из себя, этот завтрашний день...

Правда, Петр ощущал и сам, что жизнь вокруг с той еще совсем недавней поры, когда он подобно цыпленку, раздолбившему клювом скорлупу своего яйца, выломился из тесных школьных стен на яркий, вольный ее простор, как-то непонятно изменилась. Она явно, ощутимо для глаза все дальше уходила от прежней послевоенной убогости, люди обновляли мебель, выбрасывая старую, служившую еще их бабушкам и дедушкам, клубились в очередях за коврами, мужчины и женщины ходили в дорогих немнущихся нейлоновых рубашках и блузках, покупали импортные туфли за тридцать и сорок рублей, которые раньше могли месяцами пылиться в витринах, в ней прорезались даже как бы и некие черты роскоши: в магазинах возникли специальные отделы подарков, там продавались всякие чеканки, рисованные циновки, декоративные, разнообразных форм свечи, затейливые подсвечники к ним из дерева и металла, и стало положено иметь дома эти ненужные для практического употребления вещи в качестве украшения.

Но дело было не в этой вещной стороне жизни и не в том, что никто теперь не стал бы обрезать обладателю длинных волос посреди улицы излишние сантиметры его прически или раздирать по швам яркую цветастую рубаху, не в том, что никто теперь не запрещал танцевать в общественных местах что-нибудь вроде чарльстона, и если его не танцевали, то лишь потому, что танцевали вместо него нечто уж совершенно умопомрачительное, прыгая, изгибаясь всем телом и заламывая руки; дело было в некоем преобразении самих людей: все вокруг словно бы не жили, а лишь ждали чего-то, чтобы начать жить, все заглядывали туда, вперед, в завтрашний день, ожидая настоящей жизни там, впереди, к ней, к будущей, готовя себя и прибирая, а эту, нынешнюю, проживая как бы начерно, наскоро, несколько не стыдясь своей неряшливости в ней, неопрятности и не тяготясь ее бессмысленностью.

Но ему-то что в конце концов было до того! Ему-то как раз нравилось жить в нынешнем дне, им и для него, сжигать себя в нем до угляй, до золы, всего без остатка, ничего не приберегая на будущее, не пряча, не занача; так ему нравилось, так хотелось, так ему было нужно, — и он так жил.

Как вечерник защищал диплом и сдавал госэкзамены Петр зимой, в пору шквальных мокрых ветров, а в самом начале осени, в недолгую неделю золотого ласкового тепла, его призвали в армию. Несколько раз за время, что жил здесь, ему уже приходили повестки, с вечерних отделений брали, но не со старших курсов, и всякий раз вызов оказывался ошибочным. Как имеющего высшее образование призвали его на год вместо обычных трех — с тем, чтобы по демобилизации он сдал экзамены на офицерское звание.

Неделя перед уходом была тяжелой.

— Ты что, с ума сошел? — с холодным удивлением сказала жена, когда он сообщил ей о повестке. — Какая тебе армия? У тебя семья, ты семьей должен содержать.

Впервые, может быть, за все время он вспылил:

— Что значит «с ума сошел»?! Я что, сам иду? Меня призывают! Меня никто не спрашивает: семья, не семья...

— Ой! Ой! — В глазах ее появилась смягчающая усмешка. — Поглядите на него. Не троньте его. Священный долг!.. — Должно быть, его вспышка привела ее в замешательство, настолько она не ожидала от него ничего подобного — оттого и заслонилась этой смягчающей усмешкой, но в следующий уже миг от замешательства в ней не осталось и следа. Усмешка из глаз исчезла, и они сделались каменно-надменными, точно такими, какими он видел их у нее тогда, когда она требовала от него пойти работать в институт. — Ну, и угораздило меня! — сказала она, немигающе глядя на него этими каменно-надменными глазами. — Вот влипла! — И в голосе ее — все, как в тот раз, — тоже была эта каменная холодная тяжесть.

— Что тебя «угораздило»? Во что ты «влипла»? — Впервые с ним было такое, что все в нем от ее слов бурлило и клокотало, вставало на дыбы, и обуздывать себя, не позволять вырваться наружу тому, что бурлило, стоило громадного труда. Слишком плохо было сейчас ему самому, чтобы сохранять хладнокровие. Повестка рассекала нынешнюю его жизнь на ту, что до нее, и ту, что будет после, но для того, чтобы та, что «после», настала, нужно было преодолеть словно бы некую пустоту, шагнуть в нее — и суметь найти в ней опору...

— Угораздило. Угораздило, — не отвечая на заданный им вопрос, проговорила она, все так же глядя на него: на него — и как сквозь него, будто его тут и не было.

— Что замуж за меня вышла? — не столько догадался, сколько предположил Петр.

— Совершенно верно, — подтвердила она.

— Силой я тебя, по-моему, не волок.

Застывшее в каменной неподвижности красивое ее лицо на мгновение оживилось легкой гримасой довольства:

— Силой меня, запомни, многие хотели завлечь. В том и суть: влипла.

На такой вот ноте, на какой начался, разговор и закончился, и все последовавшие за ним дни шли под его знаком. Недовольство, бродившее в жене, тем разговором словно бы оттиснулось в форму, — и она была с ним раздраженно-холодна и отчужденна.

Но за три дня до указанного в повестке срока, впервые вместе, прилетели отец с матерью. По отдельности в пору отпуска они уже прилетали — познакомиться с его женой, увидеть, как он живет, — а тут взяли на работе несколько дней за свой счет специально. Младший его брат служил в армии уже целый год, они проводили его до самых военкоматовских дверей и хотели точно так же проводить Петра. Женидьба его была им, он знал, неприятна, однако они старались не показывать этого даже Петру, не говоря уж о его жене, и более того: еще, когда он только женился, выяснив и: писем, что у нее двое детей, стали присылать им каждый месяц по пятьдесят рублей — сумма, которой не присылали ему и в пору его «дневного» студенчества. И теперь, в тот же день, как прилетели, вечером, за ранним ужином с долгим чаевничанием, они объявили что будут по-прежнему присылать эти деньги — сюда, разумеется, на семью, а не в армию,

где Петру, судя по младшему сыну, вполне будет достаточно на месяц и пятерки.

И вскоре, как они объявили об этом, неожиданно для себя Петр обнаружил, что и во взгляде жены, и в выражении ее лица нет уже и следа недавней надменной ее отчужденности, она улыбочива, радостна, легка движениями и ничего ей не трудно: ни метнуться торопливо за сахаром к буфету, ни сбежать в детскую, утихомирить там рассорившихся мальчиков. И такой она осталась до ночи, и в глухой ее темени, рядом с тихим, сонным дыханием мальчиков, спавших в своих кроватях, была у них близость, которой она не допускала со времени того их разговора, и шептала ему со счастливой требовательной благодарностью, словно бы прощая его: «Ой, мой солдатик! Обиделся на меня, да? Ой, надулся, ой, дурачок!..»

Кроме этой, еще две ночи оставалось ему провести дома, а в обе она была с ним прежней, той, которая привязала его к себе, присушила, которой он служил, совершенно прежней, и все повторяла, будто катая во рту языком необыкновенное лакомство: «Мой солдатик! Ой, мой солдатик!..»

Причина перемены, происшедшей с ней в тот вечер, была ему абсолютна ясна, ясна и должна бы быть обидной, но и опять никакой обиды в нем не было. Слишком он дорожил ею такой, слишком нуждался в ней такой, да и совсем близко уже стоял к краю той пустоты, в которую предстояло шагнуть...

6

Часть, в которую он попал, находилась немногим более, чем в часе езды от города. Он-то боялся, что, как это было с братом, угонят бог знает куда, через всю страну, а выпало вон как. Оказывается, таких, как он, годовиков, далеко не отправляли, хотя, конечно, чтобы час с небольшим от дома — это уж просто повезло.

Но совершенно напрасно радовался он этому везенью. Лучше бы его не было. Так бы унесло за тридевять земель — и сидел бы себе в казарме, и думать о том не смея, чтобы побывать дома, погреться у родного очага, а тут с первого дня, как прошел карантинную баню, обернул вокруг ног портянки да сунул их в тяжелые кирзачи, с первого этого дня засосало под ложечкой, затомило душу: рядом же! И пока точно нельзя было вырваться домой, потому что в карантинную пору, до принятия присяги, никаких увольнений не полагалось, все ждалось заменой собственной поездки ее приезда, и хотелось, чтобы приехала не одна, а с обоими мальчиками, и потом бы ребятам из одного с тобой отделения на их вопрос сказать довольно: «Мои, а чьи же!»

Но за все два с половиной месяца карантина она приехала всего раз, где-то на исходе первого месяца, и одна. Он просил ее приезжать еще и взять с собой мальчиков, она обещала, и так это обещанием и осталось. Ну что, ради чего, чтобы постоять там рядом десять минут на виду у всех, ответила она ему письмом на очередную его, тоже, естественно, письмом пересланную мольбу. И писем этих пришло от нее за всю карантинную пору — два письма в ответ на его добрые полтора десятка. Все равно как милостыню выпрашивал их у нее. Некогда мне писать, некогда, неужели не понимаешь, выговаривала она ему все в том же письме, где отказывалась приезжать. Это у тебя там время девать некуда, сам по себе — и никаких забот, а у меня здесь столько всего, и то сделай, и то, кручусь, как белка в колесе, разрываюсь, ведь от тебя теперь помощи нет.

Вот когда его прошибло обидой и болью. Да неужели он для того только и нужен ей был — для постели да чтобы был облегчать? А нет ни того, ни другого — так и медного гроша он уже не стоит, и нечего тратить на него даже чернила, не говоря уж о времени, чтобы приехать. То есть сам по себе, как человек, имеющий свое назначение в жизни, а значит, свои обязанности в ней и свои права, он для нее не существует, а существует только как некая функция с определенным набором задач, и не более того. Выходит, он нечто вроде утюга, или там мясорубки, или телевизора — если нужна развлечься, — выходит, он что-то вроде вещи для нее, одушевленной неодушевленности, так?!

Увидел он ее только уже в декабре, получив увольнение. Увольнению

предшествовала неделя громадных по меркам армейской жизни событий: принятие присяги, перевод из карантина в подразделение, первое назначение в караульный наряд; сама подача рапорта «по команде» о предоставлении увольнения тоже была таким событием, мучительно истомившим неведением: дадут? не дадут? — обида и боль как бы истолклись этими событиями, смолотлись ими и развеялись, и он ехал рейсовым автобусом в город, не испытывая ничего, кроме счастливого возбуждения от близкой встречи.

Дома, однако, он ее не застал. За мальчиками присматривала ее подруга, незамужняя и бездетная ее сверстница, работавшая непонятно кем в управлении порта, но всегда, во всяком случае, одетая во все заграничное, она как-то тускло удивилась Петру, открыв ему, и на его вопрос о жене ответила такой невнятицей, что он совершенно не понял смысла того, что она сказала. Услышав его голос в передней, мальчики стремглаз вылетели к Петру из глубины квартиры, повисли у него на шее, забралась к нему на руки, стащили шапку, стали трогать колючее сукно шинели, разглядывать желтые, блестящие, надраенные им перед увольнением асидолом пуговицы, и когда они, наконец, отпустили его, давая ему раздеться, подруга без всякого напоминания с его стороны снова принялась объяснять, почему его жены нет дома, а вместо нее здесь она, и объясняла теперь вполне вразумительно. Оказывается, жена ушла то ли в магазин, то ли на склад, а может, еще куда-то — в общем, в какую-то очередь за обоями. Пора делать ремонт, обоим не достать, и вот сегодня, в субботу, ей где-то там обещали... что это, однако, за место, чтобы направить туда Петра, подруге было неизвестно. Но, во всяком случае, ушла она не до вечера: в два часа ей, подруге, уходить, так что уж к двум-то... а до двух осталось совсем ничего.

Все так и оказалось, жена действительно уходила за обоями — она появилась с тремя большими их, даже на вид тяжелыми, связками. Но неслала она только одну из этих связок, а две другие внес за нею в квартиру некий незнакомый Петру молодой человек, как-то смятенно заметавшийся глазами, когда увидел Петра, и которого она тут же, не представляя его мужу, отослала:

— Все, большое вам спасибо, Саша. Очень помогли, выручили. Все-го доброго, спасибо.

И когда дверь за этим Сашей захлопнулась, повернувшись к Петру, сказала с небрежно-спокойным удивлением:

— Почему не предупредил? Я бы не пошла никуда, дома тебя встречала.

Не обрадовалась, не бросилась к нему, как он ждал, — словно какие-нибудь два дня минули со времени их последней встречи, а не полных два месяца. И будто не понимала, что никак он не мог предупредить ее об увольнении: да он еще утром сегодня не был уверен, отпустят ли!

— Это кто это был? — спросил Петр, кивая на захлопнувшуюся входную дверь.

— Любовник, — сказала она с той интонацией, которая подразумевала совершенно противоположное по смыслу. И передернула плечами. — Не могла же я сама тащить такую тяжесть. Пришлось попросить.

Ну да, наверное, это было правдой: не могла она, конечно, тащить три таких связки, конечно, нужна была помощь. Но почему такой силовой прием при защите?

— Я тебя ни в чем не обвинял, — сказал он. — Только спросил.

— Но подумал, — отпарировала она.

Продолжить им не дали вырвавшиеся в переднюю мальчики; и хорошо, что не дали. Так, слово за слово, бог знает, до чего бы могли пойти, а в ласковой воркотне и мимоходной возне с ними, провожая заспешившую уходить подругу, как-то незаметно, мало-помалу и быстро отмякли оба, оттаяли, стали нарочно, но будто вслучай задевать друг друга, касаться руками, переглядываться, и только дверь за подругой захлопнулась, будто их кто толкнул друг к другу, и таким растворяющим все обиды, таким сближающим было их объятие!

После обеда отравили мальчиков погулять во двор и тут же легли в постель. И опять она говорила прерывистым, жарким шепотом: «Ой,

мой мужчина! Боже, какой мой мужчина, с ума сойти!.. — И еще говорила: — Не хочу тебе изменять. Совершенно не хочу... Хочу только с тобой! — А потом, когда встали и одевались, чтобы спуститься к мальчикам во двор, уже в передней, остановившись одеваться, замерев, вдруг сказала: — Ну, никак ты не мог не пойти в армию?! Никак?! Ой, какой ты молодой... такой молодой, мальчишка совсем! Так долго твоей докторской ждать! — И смотрела на него любящим, с ума его сводившим взглядом, так что смысл ее слов, их суть были ему совершенно непонятны, неважны, это лишь он только и видел, это лишь и было ему важно — ее светящийся любящий взгляд.

Но после, когда потянулись новые дни и недели ее молчания, миновал Новый год и дождался ее приезда к нему сюда он уже отчаялся, а ему самому вырваться из части никак больше не удавалось, все, что она говорила в то их свидание, все эти ее слова стали всплывать в нем без всякого флёра интонаций и взглядов, в самом их прямом, обнаженном смысле, и он ужаснулся тому, что за ними стояло. «Не хочу тебе изменять...» словно бы кто заставлял ее изменять! Толкал на это, совсем уже дотолкал до края, а она вот все сопротивлялась! И опять говорила ему об его молодости. «Мальчишка», «докторской»... Да словно она не знала о разнице их лет с самого начала! И потом, что же будет после, если он не оправдает всех этих ее надежд, не защитит не только докторской, но и кандидатской?..

В новое увольнение, которое он получил только уже в последние дни января, Петр ехал взвинченный, злой, и оттого ли, что он приехал в таком состоянии и все оно было у него на лице, или еще отчего, хотя жена и оказалась дома и встретила его у порога, свидание не в пример прошлому тоже вышло злое, тяжелое и окончилось ссорой. «Совершенно забыла меня», — сказал он ей вместо приветствия, стараясь, чтобы получилось не укором, а шуткой, и привлекая ее к себе для объятия. Но, видно, не очень-то у него это получилось шуткой, потому что она не дала обнять себя, уперлась ему в грудь руками. «Только, бога ради, без сцен! — сказала она с отчитывающим недовольством. — Мне еще сцен не хватало! Я тебе не изменяю, а больше ни за что попрекать ты меня не имеешь права. Ясно?» Он смолчал, понимая, что если ответит, то весь нынешний день будет уже непоправимо испорчен, но это произошло и так.

Его злая взвинченность никуда не ушла из него и то и дело прорывалась наружу, возможно, она бы и исчезла без остатка, растворилась, как соль в воде, в домашней обстановке, рядом с мальчишками, но жена все оставалась той, какой сделалась в ответ на его неловкую шутку, — холодно-замкнутой, на казых в а ю щ ей, — и он не мог пересилить себя, и она также не делала ему навстречу ни шага. Ни о какой близости не могло быть и речи, раздражение от этого вскипало все круче, круче... и стало невыносимо. Готовил с ней вместе на кухне обед, чистил картошку и вдруг почувствовал: все, больше не может находиться с ней рядом, делает сейчас что-нибудь скверное, отвратительное, о чем будет после жалеть, — и швырнул нож в очистки, очутился в передней, обулся, надел шинель... Она вышла к нему с надменно вскинутыми бровями: «Ты полагаешь, что с такой женщиной, как я, можно вести себя по-хамски? Совершенно напрасно. За меня нужно держаться». «Подержись-ка за себя сама, — ответил он. — Посмотрим, что выйдет».

Уже на завтра послал он ей полное униженного отчаяния письмо — с мольбой о прощении и обещанием, что впредь такого не повторится. В ответ пришли письма мальчиков. Старший нынче пошел в первый класс и написал целых две тетрадных страницы о своих школьных делах, а от младшего было несколько листков с рисунками, один из которых являл собой несуразного вида, длиннорукого человека со звездой на лбу, и внизу листка коряво было начертано: «Это ты».

Письма мальчиков означали как бы прощение. Но вместе с тем они означали и нечто вроде ультиматума признать в обмен на это прощение ее право не отвечать ему; и Петру ничего не оставалось, как молчаливо принять ее ультиматум. Правда, одно послание от нее он все же получил — поздравительную открытку ко Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота 23 февраля, но и все, ничего больше.

Он жил ожиданием следующего увольнения и получил его на свой день рождения, в середине недели, на двое суток — пропасть времени, чтобы наладить их отношения, помочь ей в домашних делах, насладиться возней с мальчиками...

В город он приехал уже поздним вечером и по дороге к дому, преодолевая в студеной темноте торопливым шагом бесконечные спуски и подъемы его улиц, думал о том, что мальчики уже, должно быть, спят и увидит их только завтра. Но на звонок его из-за двери спустя долгие минуты отозвался голос старшего мальчика: «Кто там?» Странно как, подумал Петр, называя себя.

Дверь распахнулась, и мальчик, одетый уже по-ночному в пижаму, запрыгнул на него, обхватив его за шею, а вслед ему выскочил из глубины квартиры младший, тоже в пижаме, и, не решившись запрыгнуть на Петра с ходу, протянул к нему снизу руки, прося тоже поднять его к себе наверх. «Папа пришел! Папа в увольнение пришел!» — говорили они впереводку друг друга. «А мама где же?» — спросил Петр.

Жены дома не оказалось. «Мама поздно придет», — сказал старший. «Она сейчас часто поздно приходит», — сказал младший. «Мы сами ложимся», — с гордостью сказал старший. «Ага, сами», — с этой же гордостью подтвердил младший.

Петр с трудом заставил себя повозиться с мальчиками еще минут пять и отправил их обратно в постели, из которых они и выскочили к нему. Они просили рассказать им на ночь сказку или какую-нибудь быль из солдатской жизни, он отказался. Не в состоянии он был ничего рассказывать им сейчас. «Поздно, поздно, нет», — только и повторял он.

Жена появилась приблизительно час спустя.

Она открыла дверь своим ключом, Петр быстрым шагом вышел ей навстречу, — за спиной у нее в потемках лестничной площадки маячил какой-то молодой человек. «Ты?!» — увидев Петра, с улыбкой удивления, молча, одними глазами проговорила жена и, не переступая порога, повернулась к молодому человеку:

— Спасибо, Миша, очень вам благодарна. Всего вам доброго, до свидания.

Ступила в переднюю, закрыла дверь и все с той же улыбкой удивления, ласковым недоверчивым голосом сказала:

— Как это ты так? Какая неожиданность!

— Где ты была? — едва сдерживая себя, спросил Петр.

— Где я бы-ла-а!.. — идя к нему, пропела, дурачась, жена, подошла, положила руки на плечи и коснулась губами его губ. — Где я была, там меня нет, — тем же дурашливым тоном сказала она.

— И где тебя нет? — настаивая на ответе, сказал он.

Мгновение она продолжала смотреть на него с улыбкой, потом улыбка как-то враз, единым неуловимым движением ушла с ее лица, и оно сделалось тем, ненавистным Петру — каменным, бесчувственным, холодным. Она отстранилась от Петра и сняла руки с его плеч.

— Это нужно было быть такой дурой, как я, — сказала она, глядя мимо Петра и начиная раздеваться. — Только такая дура, как я, могла это сделать! Это надо же, он полагает, что этих несчастных пятидесяти рублей вполне достаточно, чтобы семья его могла нормально жить! Нет, это надо же!

— Что ты несешь?! — не имея больше сил сдерживаться, яростным шепотом — но и в таком состоянии он помнил о мальчиках — закричал Петр. — Где ты была, я тебя спросил!

— Работала, — ответила она спокойно и холодно. — Мне устроили семинар в университете на вечернем. Жена у тебя все-таки не машинистка, у нее высшее философское образование, не забывай.

— А что это еще за Миша был?

— Мой студент. Ведь тебя нет рядом, чтобы встретить. Или ты думаешь, в нашем городе в одиннадцать вечера женщине можно одной разгуливать, и ничего?

Она разделась, переобулась и прошла мимо Петра на кухню. Он стоял некоторое время, не двигаясь, чувствуя себя до предела униженным

и виноватым. Так все, конечно, и было, как она сказала. А то, что этот Миша проводил ее до самой двери, а не просто до подъезда, так ведь и до двери нужно дойти. А она и в самом деле трусиха, уж ему ли не знать.

— Прости меня, — пришел он к ней на кухню. — Прости, не сердись. Я просто ревную. Представь себя на моем месте. Представляешь? — Он попытался обнять ее, привлечь к себе, она не далась.

— А, — сказала она с досадой, — не в этом дело: ревнуешь, не ревнуешь. Мне это абсолютно все равно, это меня не трогает.

Ему вспомнились ее слова в прихожей: «Только такая дура, как я, могла это сделать...» — и до него дошли, о чем они.

— Ты что, жалеешь, что вышла за меня замуж?

И тут произошло неожиданное, давшее ему было миг острого, пронзительного, горячего счастья и тотчас же швырнувшее его в такой огонь, что минувший час ожидания ее показался ему часом райского блаженства. Она вдруг сама бросилась к нему на шею, с каким-то исступлением обняла его, прижалась щекой к его щеке и заговорила, задыхаясь, сквозь стон, словно в изнеможении, больно перебирая ему волосы на затылке:

— Я подлая! Ой, ты не знаешь, какая я подлая. Я сама не знала, я только с тобой до конца поняла. Я иссушу тебя, я все соки из тебя выпью!.. Мне все мало, я получу, и мне еще нужно. Еще и еще. Пью и не напьюсь. Я вампир, я страшная женщина, со мной никому хорошо не будет! Ой, верь мне, правда, я тебе потому говорю, что люблю тебя! Мне все мало, все мало... знаю, что дурно делаю, а остановить себя не могу! Я подлая, ой, тщеславная. Мне столько надо, я сама не знаю, сколько! Уходи от меня, уходи, пока цел... пока говорю... а то иссушу, всего выпью, не уйдешь — ненавиждать начну, рогатить тебя стану, мне все мало!..

— Что ты мелешь, что ты мелешь? — с зашедшимся сердцем, механически поглаживая ее по плечам, бессмысленно повторял Петр.

— Ой, правду, ой, правду! — как рыдая, говорила она. — Всего тебя выпью, так уже было... я не понимала.

Да неужели же можно, зная про себя подобное, жить такой дальше, думалось Петру все оставшиеся месяцы службы. Да не может этого быть, наговорила на себя, очернила... только зачем? Специально, чтобы он оставил ее? Но вспоминалось, как он открыл про нее, что ей постоянно нужны подарки от жизни, а иначе ей становится скучно, неинтересно, она начинает томиться, рваться куда-то, неизвестно куда и зачем, и получалось, что именно об этом, называя себя вампиром, она и говорила.

В увольнении он больше не ездил — все было кончено между ними в тот вечер; даже и ночевать не остался, надел шинель, бродил полноценно по городу и, замерзнув, спал после на лестничной клетке незнакомого дома. И вообще не брал больше увольнений, никуда, даже в ближайший поселок, куда вся часть ходила по субботам на танцы в клуб, — ему это было не нужно. В караулах, в пору долгих ночных смен, когда кажется, что земля остановила свое вращение и объявляя ее темь никогда не рассосется, неотвязчиво преследовала одна и та же страшная мысль: а не застрелиться ли? — до того было тяжело. Руки будто сами собой снимали автомат с предохранителя, передергивали затвор — и так ясно представлялось, как сидит там, в своем тесном уютном гнезде патронника, желтенькая литая пуля и только торчит наружу, готовая послушно принять на себя смертельный удар бойка, плоская попка гильзы тоже с желтеньким капсюлем... Его всего передергивало от этого видения, и он торопливо отсоединял магазин, оттягивал затвор, брал выскользнувший на белый свет патрон и направлял его обратно в рожок. Этого еще только не хватало, этакой дури... нет у него такого желания, нет! Это лишь искушение, это лишь оттого, что в руках такая простая машинка для убийства, а он хочет жить, хочет, хочет, ему нравится жить!

Но тяжело было — будто держал на плечах небесный свод. Как душу из груди выдавливало. Что же теперь после армии, куда? Неужели не видеть ему больше мальчиков, не возиться с ними, вдыхая запах их волос, не держать у себя на коленях, перехватив рукой через грудь и тесно прижимая к себе, не пойти никуда вместе, держа в ладонях их маленькие ручонки... Ладно, если бы он терял только ее. Если бы просто женщину,

любовницу. Но ведь не только ее. А все, что любил, что ему сделалось необходимо, без чего жизнь не имела для него смысла: до м!..

И было ему еще невыносимо одиноко. Его возраста среди его призыва не оказалось больше ни одного человека во всем подразделении, все в основном молодые девятнадцатилетние ребята вскоре после школы, да им служить три года, а ему один, и в свою пору он ни с кем не сошелся. Хотелось поделиться с кем-нибудь своей болью, открыться кому-нибудь, но открываться было некому.

Книги лишь и спасали. Ходил в библиотеку по два, по три раза в неделю, таскал их оттуда в казарму целыми пачками и, в какой бы наряд ни шел, обязательно брал с собой чтение, и только свободная минута — тут же раскрывал на заложенном месте. Даже в юности, кончая школу, не читал столько, сколько читал сейчас.

8

В сентябре, сразу после приказа министра обороны о демобилизации, как того требовали установленные правила, Петра отправили на краткосрочные офицерские курсы. Курсы находились при другой части, ехать туда из города нужно было совсем не так, как в его родную часть, и каково же было изумление Петра, когда дневальный, вызвав его из учебного класса, сообщил, что на КПШ его ждет жена.

Он бежал по засыпанной песком и кирпичной крошкой, плотно утрамбованной красноватой дорожке, и все внутри захлебывалось тревожной и ликующей надеждой: приехала мириться! А зачем ей иначе было появляться здесь? Ведь она не знала, где он сейчас, а значит, сначала побывала там, в той части, оттуда вновь через город поехала сюда, — это какая дорога! Нет, ей очень нужно было, раз она одолела такую дорогу. А для чего нужно было, кроме как мириться с ним? Другой причины он придумать не мог. И чувствовал: все, все ей простит, все забудет, даже и те ее слова, что станут рогатить его...

Но жена приехала сообщить ему, что она подала в суд заявление о разводе, ему придет повестка, и она просит его в назначенный день обязательно появиться в суде, иначе их не разведут и отодвинут слушание дела на целый месяц.

Он смотрел на ее красивое, родное, любимое лицо и думал со странным, отстраненным удивлением, что вот оно все то же у нее, что и в ту пору, когда она была его женой не только по документам и шептала ему со счастливым требовательным томлением: «Мой мужчина! О, какой мой мужчина!» — и вот оно все то же, а она уже не та, не прежняя — недоступная, чужая, — и, выходит, теперь уже навсегда будет такой.

— А что за спешка? — спросил он. — Ну, отодвинут на месяц, что страшного? — И попросилось внутри уколоть ее: — Или ты снова замуж выходишь?

— Совершенно верно, — сказала она.

«Все, не надо ни о чем больше!» — взмолился он про себя сам же перед собой, а вслух уже вырвалось:

— Что, доктор? Кандидат? Не чета нам, инженеришкам?

— Пусть тебя это не интересует.

— Так интересует ведь.

— Ну и напрасно. Тебя это уже не касается. За кого надо, за того и выхожу.

Она говорила спокойно и даже с улыбкой, той ясной, открытой чужой улыбкой, какой улыбалась ему в самую начальную пору их знакомства, но в голосе ее пробивалось нетерпеливое недовольство.

И снова Петр не смог сдержать себя.

— Что, будешь эки пить?

Теперь она поморщилась, и в голосе у нее появилась высокомерная наставительность:

— Не выношу мелочных мужчин. Мало ли что тебе женщина скажет! Женщина сказала — понимай наоборот.

— Так, может, ты приехала не за разводом, а наоборот?

Она помолчала, глядя на него с недоумением, поняла и засмеялась. Видимо, она уже перешагнула в себе через все их прошлое, освободила

себя от него, и оттого мысль о том, чтобы вернуть все вспять, показалась ей смешной.

— Нет, не наоборот, — сказала она. — Что было, то было. И конечно. Все!

По тому, как она сказала это, с какою-то веселой легкостью и как-то даже по-театральному разведя на последнем слове руками, он понял, что она действительно перешагнула уже через все, его больше нет для нее и нужно подводить черту и ему. Взнуздать себя, пересилить и подвести. Это только и остается.

— Ладно, сделаю тебе последний подарок, — непонятно для нее сказал он. — Проверь только, чтобы повестку верно отправили. Без нее меня не отпустят. Ну, и я... свидимся еще разок.

9

Через два месяца с небольшим, в мозгло-студеную ветреную ноябрьскую пору он бродил по советскому Сан-Франциско в последний раз. В руках у него был небольшой фибровый чемоданчик, в котором помещалось все его добро, с этим чемоданчиком пять лет назад он приехал сюда, с ним же и уезжал. Проездное требование было у него выписано до города, где родился, вырос и из которого вырвался в свое время в какую-то, казалось, совсем иную, чем обещало родительское гнездо, новую, яркую, громадную жизнь, и вот возвращался туда обратно. А куда было еще? Где еще его ждали? А ему нужно было сейчас место, где бы его ждали, где бы обрадовались его появлению, где бы он почувствовал, что жизнь его нужна не только ему самому, а и другим... Как мало, оказывается, бывает в иной час нужно душе.

К дому жены, который был несколько лет и его домом, ноги выносили раз пять. Стоял, смотрел на подъездную дверь, на скамеечку рядом, смотрел на окна квартиры, вот занавеска задернулась — сердце так и прыгнуло: кто задернул? Просило и уговаривало: наплевать на все, войти в подъезд, подняться по лестнице... Но не позволил себе этого, не вошел; и не стал встречаться ни с кем ни из заводских, ни из институтских. Рвать — так уж рвать. Рвать нужно было единым махом, без оглядки.

Самолет летел, летел и летел — уже который час, стояла за окном ночь, огни в салоне были притушены, все кругом спали, и Петр тоже уснул, с чугунной, одуревшей от надрывного моторного воя головой, но вдруг в какой-то миг проснулся, не понимая, много ли, мало ли он проспал, — от жуткого, переворачивающего душу, пронзительного чувства недоуменной отстраненности от себя самого: вот этот человек в зеленом солдатском мундире, перетянутом ремнем из ломкого кожзаменителя, — это он? И все, что было с этим человеком, — это было с ним? Это он был женат на яркой, красивой женщине, которая говорила, что он захочет от нее ребенка, обещала родить его, а вместо того подала в суд заявление о разводе? Это он держал на коленях, чувствуя их своими сыновьями, двух мальчиков, совершенно чужих ему по крови? Это он имел работу, которой был счастлив, мечтал вернуться к ней и потерял вместе с женой и ее? И ходил в море на траулере, и работал слесарем на заводе, и жил еще в другом городе, учился в другом институте, был влюблен в девушку по имени Ника, поступившую с ним жестоко и низко, и имел друга Митю, устроившего из их дружбы свинарник... Это все он, никто другой, все это с ним было?! Все это его судьба, ничья другая? И получается, это уже с ним навсегда — вот это все, навечно, на всю жизнь, что еще впереди, никак не избавиться от этого, нести в себе... а сколько же еще всего наберется?

Самолет летел в ночной мгле, ведомый к цели точными навигационными, начиненными электроникой приборами, ревел моторами, все кругом спали, сморенные долгим путем и аэрофлотовским обедом из бройлерного цыпленка, а Петр сидел, бодствовал, сон оставил его напрочь, и в голове крутился навязчиво и недоуменно, повторялся беспрестанно один и тот же вопрос: все это он, все это его судьба, ничья другая?

Глава третья

1

«Пе-е-тя-а!» — позвал Петра сзади голос, он вздрогнул и обернулся, понимая в тот же миг, что оборачиваться не нужно было, это веснянка. Кончался март месяц, солнце обрушивало на землю с голубого влажного неба всю свою жаркую огненную силу, булькали повсюду, несли в своих клокочущих руслах растопленные снежные покровы ручьи, асфальт тротуаров почти везде был уже сух, радостен ноге, а он шел как раз тем местом, где в детстве чаще всего окликал его голос, — вдоль большого темного дома с высокими стрельчатыми окнами различных торговых заведений по первому этажу, дом был поставлен на взгорке, и оттого тротуар подле него, отделенный от проезжей части широким пологим газоном, получался как бы вознесен над окружающим пространством, и получался вознесен вместе с ним и ты.

Однако голос принадлежал вполне реальному человеку. Мужчина махал рукой, догоняя Петра, и, увидев, что Петр обернулся, снова позвал его:

— Пе-е-тя-а!

Мгновение было — Петр не мог узнать, кто это, потом пронзило: город его студенческой юности, гремющий по незнакомому тогда маршруту трамвай, и Никино лицо с дымчато-сливовыми глазами, глядящими на него снизу вверх: «Что вы так смотрите?» «Да вот где-то видел вас, а где, не знаю!» «Там же, где и я вас, в институте». Он тогда ехал в кино с двумя приятелями, даже не приятелями, а так, сокурсниками, общежитскими сожителями, и вот один-то из них и шел к нему сейчас.

— Здоров! — бросил он с размаху руку Петру для приветствия. — Вот у меня глаз — как у орла! Иду по той стороне, вдруг секу, через всю улицу, кто-то знакомый. Кто? Иду дальше — и соображаю: Петька Горяев! Петька Горяев, надо же, тетя Матрена! Не может быть, думаю, откуда? Побежал на переход, бегу за тобой, думаю, ты, не ты... а это ты!

— Здравствуй, здравствуй, — улыбаясь ответно, жал ему Петр руку и мучительно напрягался, все пытался вспомнить, как зовут его. — Это мой родной город, почему же мне не быть здесь? Я здесь живу.

— А, так ты, значит, сюда укатил тогда! А я здесь четвертый год уже, как распределился, а я понятия не имел, жалко!

— Нет, я только осенью приехал, — сказал Петр, все так же не в состоянии вспомнить имени студенческого приятеля и оттого испытывая острое чувство стесненности и зажатости. — Я во Владивостоке жил.

Студенческий приятель присвистнул:

— Тью-ю! Занесло куда. А институт, значит, все, так и похерил тогда?

— Почему «похерил»? Я во Владивостоке закончил. Работал там, перевелся туда и закончил.

Петр сказал это и обнаружил, что ему доставляет внутреннюю радость, особое удовольствие, что он может ответить на подобный вопрос именно так, как ответил, — что закончил, не бросил, — институт был необходимой частью той жизни, какой ему хотелось прожить, самой ясной, понятной частью, и не хватало еще только того, чтобы он не осилил этого самого ясного и понятного

— А где работаешь? — спросил приятель.

Петр назвал завод, и приятель снова присвистнул:

— Нет, это надо же, тетя Матрена! Так мы с тобой через одну проходную крутимся. И до сих пор не столкнулись!

Теперь, когда он во второй раз помянул непонятно к чему тетю Матрену, Петр вспомнил, что и тогда, в институте, было у него это при словье, и тотчас вспомнилось, что за глаза его так и звали — Тетя Матрена, и вспомнилось его настоящее имя — Володя. Володя Пожарчиков.

— Через одну проходную? — вслед Володе изумился он. — Действительно, тетя Матрена! — Имя приятеля студенческих лет вспомнилось, ему разом сделалось легко, свободно, никакого напряжения внутри, и потому изумление его вышло каким-то даже чрезмерно бурным.

— Кругла земля! — Пожарчиков смотрел на Петра весело и доволь-но, было видно, что бурное изумление Петра оказалось ему приятно. — Кругла, ничего не скажешь! — И коротко посмеялся: — Ты, случаем, не че-рез Америку обратно прибыл, нет?

— Нет, — сказал Петр, ответно улыбаясь его шутке, — в Америке не бывал, не довелось. Хотя земля кругла, действительно... А ты, я по-нимаю, раз отработал три года и остался, решил уже насовсем здесь оставаться?

Пожарчиков неопределенно шевельнул бровями:

— Насовсем или нет... — У него было темно-худое, костистое и очень подвижное лицо, оно у него все время так и ходило ходуном. — Да где-то же в конце концов нужно привариваться. Ну, здесь, уж раз сю-да забросило. Не ахти, конечно, какой городишко, ты меня извини — это твой родной город, но не ахти, прямо скажем: завод на заводе, заводом погоняет, все для производства, вечером даже пойти развлечься некуда, в кино на любое дерьмо билеты заранее покупай. Да, с другой стороны, где лучше? Везде одно. Уж здесь, так здесь. Без разницы. Кстати, наше-го института на заводе весьма даже немало, целое у нас институтское зем-лячество тут. Собираемся иногда, общаемся. Надо и тебе познакомиться. Ты все-таки тоже наш. Ты где, кем работаешь?

Петр работал в отделе главного технолога, занимался приспособле-ниями и оснасткой, и, услышав об этом, Пожарчиков сочувствующе по-морщился:

— Глухое место. Не то. Не повезло тебе. Весьма глухое.

— Да нет, ничего, — сказал Петр. — Я, конечно, недавно совсем, не огляделся еще, но вроде ничего, можно интересно работать. Присматрива-юсь пока, а там, глядишь...

— Брось, что там нравиться может! — перебил его Пожарчиков. — Рутинный отдел, рутиннее нет, сиди там, рисуй эти свои приспособления... Но не беда, ладно, вот познакомлю тебя с нашими, авось перейдешь получ-ше куда-нибудь.

Сам он, как оказалось, проработав два года по специальности в отде-ле главного механика, работал теперь в КИПе — отделе контрольно-изме-рительных приборов, — заместителем начальника группы.

— А чем КИП-то хорош? — удивился Петр.

— Хорош, хорош! — сказал Пожарчиков. — Не сечешь ты еще, я ви-жу, ни в чем толком. Вот встретимся путем, чтобы не торопясь, я тебе страхну пыль с ушей.

Они обменялись телефонами, распрощались и пошли каждый в свою сторону, и какие-то недолгие секунды, как повернулся и пошел, у Петра было странное ощущение обмана: словно бы никто его не окликал, ника-кой встречи только что не было, как он шел, так и шел, ярилось солнце, напоенный светом и вешней влагой прозрачный, чистый воздух прорисовы-вал окружающий мир с пьянящей графической четкостью, и вот из этой воздушной пустоты лишь сейчас должен был соткаться голос — тот, что в прежние времена окликал его здесь, — вот мгновение, еще мгновение — и позовет с хрустальной певучестью: «Пе-етя-а!»

Но он миновал дом на взгорке с его высокими стрельчатыми окнами магазина «Одежда», магазина «Посуда, хоз. товары» и диетической сто-ловой, и странное это ощущение обмана вымылось из него. Надо же, ду-мал Петр, действительно кругла земля, вот так идти и встретить человека, с которым знался совсем в другом городе, за несколько сот километров отсюда... Он пошарил в себе в поисках ответа на заданный самому себе вопрос: а вот с кем бы из прошлой своей жизни хотел бы встретиться вновь, случайно или не случайно — неважно, главное, вновь, — и обнару-жил, что нет, в общем-то не хотел бы ни с кем.

От прошлого не осталось у него никаких нитей. Все было оборвано, перерезано, не взято в нынешнюю его жизнь ничего.

Эти четыре месяца в родительском доме были им прожиты одиноко, замкнуто, словно бы в некоей воздвигнутой им незаметно для самого себя глухой монастырской келье: ни с кем не общался, не заводил знакомств и не отвечал взаимностью на попытки к сближению, которые делал кое-кто из тех, с кем он вместе работал, — в основном его возраста молодые, не обремененные семейными узами мужчины, что постоянно собирались

где-то компаниями, ходили после работы вместе пить пиво, организовывали всякие туристские вылазки на природу и были при этом так же постоянно озабочены поддержанием надлежащего численного состава женской половины своих мероприятий.

Он большей частью ходил в библиотеки. В районную, где его уже прочно знали и оставляли на просмотр свежие номера литературных журналов, и в городскую публичную, где чаще всего сидел в зале, читая книги, что по причине их редкости не выдавали на руки, делая из них многочисленные выписки, и в заводскую техническую, где брал подчас за один раз по пять, по шесть книг, чтобы через неделю взять новую порцию. В техническую библиотеку последнюю пору он стал ходить особенно часто — работа подобно воронке день ото дня затягивала в себя все глубже, все глубже, он понемногу осваивался в ней, и она с каждым днем все стремительнее стала распахивать перед ним все новые и новые свои горизонты, до того совершенно закрытые для него, и сколько ни узнавал, все ему было мало, хотелось узнать побольше и о том, и о том, проникнуть во все связи...

Он побывал во всех цехах, где применялись его приспособления, облазил их вдоль и поперек, изучая станочный парк, и, чтобы знать степень износа станков, добрался даже до их паспортов у механиков. Он не отдавал себе отчета, зачем ему это нужно — в плане практическом, — так от него требовала его натура. Так он работал там, в той, прежней жизни во Владивостоке, так теперь работал и здесь. Единственно, что там он жил, ощущая, как через него словно бы бежит, перетекает время подобно электрическому току, бегущему по проводу, там он жил каждым наступающим, идущим днем, а теперь, здесь, он жил как бы вне времени, не чувствуя его. День вчерашний, день идущий, день будущий — все они для него были сейчас как бы чем-то одним, вернее, их как бы вообще не было, ни прошедшего, ни идущего, ни будущего, время как бы замерло, остановилось, оно стало для него чем-то вроде невесомости, когда ни верха, ни низа и все в равной степени и верх и низ.

Еще он ходил в кино, за редким исключением — в ближайший районный дом культуры, потому что там из-за того, наверное, что фильмы шли не новые да только по субботам-воскресеньям, всегда почти было не очень много народу и можно было купить билеты прямо перед началом сеанса. И сейчас он тоже шел в клуб, чтобы посмотреть фильм, который давно уже хотел увидеть и все пока не получалось, — «Никто не хотел умирать» литовского режиссера Жалакявичуса, как и обычно — один, вполне довольствуясь обществом самого себя и не испытывая никакой потребности в компании.

2

В фойе, в ожидании, когда распахнутся двери зала, разрешая войти внутрь, стоя по незаметно возникшей привычке с заложенными за спину руками и в распахнутом пальто у одной из угловых квадратных колонн, подпиравших потолок, он поймал на себе взгляд двух девчушек того неопределенного, то ли шестнадцати-, то ли семнадцатилетнего возраста, когда они уже и не подростки, и еще не девушки. и это ощущение их возрастной неопределенности усугубляют старые, полудетского кроя пальто, из которых чаще всего они уже выросли, но вынуждены пока носить. Девчушки, встретясь с его взглядом, тут же, обе одновременно, отвернулись от него и прыснули. Что такое, подумал Петр, с одеждой, что ли, что не в порядке. Он оглядел себя — нет, все было в порядке.

Дали звонок, двери распахнулись, он зашел внутрь, нашел свое место, сел и увидел, что с другой стороны ряда идут к нему те две девчушки. И в этот момент та, что шла первой, тоже заметила его и снова, как там, в фойе, так вся и переполнилась несдерживаемым смехом, повернулась, остановившись, к подруге, что-то сказала ей, и вторая, глянув из-за ее плеча на Петра, также зашлась в этом судорожном, несдерживаемом смехе.

Петр, когда она глянула на него, заметил ее глаза: кругло-большие, светло-прозрачные, далеко отстоящие от переносицы и как-то необыкновенно вынесенные из глазниц вперед — словно бы стрекозы.

Их понукнули сзади, они прошли еще кресла три, сели, пропустив тех, кто шел за ними, и после, пока свет горел, Петр время от времени сам непроизвольно взглядывал на них и еще два вновь сталкивался с ними взглядами, и оба раза они всполюшенно отворачивались и прыскали. За что-то они выделили его среди всех, пришедших на сеанс, и что-то в нем явно было смешно им.

Дуры молодые, самонадеянные, с досадой подумалось Петру. Девчушки мешали ему. Все эти последние четыре месяца по возвращении в родительский дом он жил в состоянии какой-то тугой, железной сосредоточенности, возникшей в нем будто помимо его воли, он въявь ощущал, как она подобно обручу, стягивающему бочонок, что-то держит в его душе, не дает развалиться, а девчушки своим странным вниманием словно бы напоминали ему о ненормальности этого его состояния, напоминали о том, что кино — это не только сплошная духовная работа, но и развлечение, удовольствие; он же сейчас не чувствовал вкуса ни к каким развлечением.

Но свет погас, начался фильм, и Петр тотчас же забыл о девчушках. Литовская деревня первых послевоенных лет, а скорее всего первых месяцев после войны была на экране, одна, прежняя жизнь кончилась, а другая, новая, не настала, это была словно бы не жизнь, а между-жизнь, щель, которую предстояло заделать и в которую, пока она не была заделана, могла провалиться и затеряться в ней безвозвратно любая человеческая жизнь. И оттого человеческая жизнь в этом междужизнь не стоила и гроша; жизнь отбиралась у человека, будто выплескивалась вода из ведра, которую нетрудно будет набрать из колодца как-нибудь после; отобрать жизнь у другого было таким же естественным и простым делом, как отправить природные надобности организма; жизнь отбиралась у человека потому, что тому, кто отбирал, неистово хотелось жить самому, жить лишь по своей воле и своим желаниям, не зная воли и желаний чужих...

Зачем ему нужен был этот фильм, ради какой цели смотрел он его? Ведь он шел на него, зная, о чем он будет, именно потому и шел, что знал, о чем; не ради развлечения, не ради того, чтобы убить время, шел, — нет, именно потому, что знал, о чем, и некая сила внутри требовала от него увидеть этот фильм, вобрать его в себя, наполниться его знанием. Что это за сила была? Что за потребность? Сколько? — года три, четыре было ему в ту пору, к которой относилось действие фильма. Почти пусто в памяти от той поры, так, детские лишь обрывчатые впечатления, да и другая жизнь шла тогда у его родителей, совершенно не похожая на эту, — тут не узнавание было, не прикосновение к прошлому своей крови... или что, чужая эта жизнь незнаемо для него самого была и в нем, была и его жизнью?

Экран потух, в зале зажегся свет, Петр, стиснутый толпой, дотолкался до выхода и по длинной, узкой громающей железной лестнице спустился на улицу. Солнце уже скатывалось к горизонту, не грело, воздух остыл, и налетал порывами, дул, затихал ненадолго и снова возникал мозглый, студеный ветерок.

Петр поднял воротник, натянул поглубже шляпу и сунул руки в карманы. Домой идти не хотелось. Он еще оставался в той чужой, подсмотренной тайным соглядатаем жизни, что прошла на экране, он еще был в ней, внутри, не избавился от нее, и грудь прошивало мучительным чувством сходства не с кем другим, как вот с тем униженным, угодившим, будто между жерновами, между противостоящими сторонами, что сначала — где-то там, за рамкой фильма, — был лесным бандитом, а потом стал председателем Совета, для того лишь и стал — чтобы умереть. Заблудившийся, ошалевший от своих блужданий, потерявшийся человек — это был он, Петр... ну, не он, не он, конечно, в буквальном смысле, но если попытаться представить себя на чьем-нибудь месте, то выходило, что ближе всего из всех героев фильма ты именно к нему, не к кому другому...

Бред какой, идиотизм какой, с какой стати — именно к нему!.. Петр остановился, огляделся, куда его занесли ноги, вынул руки из карманов, нагнул шляпу еще глубже на уши, запахнул пальто на груди плотнее и, снова сунув руки в карманы, пошел дальше.

Все дело в том, что тот заблудившийся, пришибленный, оттого, что он такой пришибленный и потерявшийся, вызывает к себе самую большую,

самую крутую жалость, — вот от этого и все прочие чувства. Вот от этого, от этого — да, лишь от этого!

Он уже далеко ушел от клуба, никого из вытекшей вместе с ним после сеанса толпы вокруг не осталось, она рассосалась, растеклась по улицам. Надо бы было поворачивать в сторону дома — неуютно сделалось на улице, стало натаскивать откуда-то облака, глухо заволакивать ими недавнюю просторную синь, и еще этот сырой ножевой ветер, достающий до тела сквозь все одежды... Но домой по-прежнему не хотелось. Вернее, хотеться-то, пожалуй, как раз и хотелось, но не тянуло. Не тянуло, вот что.

3

Он не знал, что все это окажется так. Откуда ему было знать. Он ехал в родительский дом, думая, что возвращается и в свой дом, а обнаружилось, что его дома здесь больше не было. Здесь был дом его детства, его отрочества, его смутных, неопределенных мечтаний о будущей, взрослой жизни, которую предстоит вылепить для себя, а нынешним его домом этот дом не был и быть никак не мог. Он вырос из него, как давно вырос из своих детских и подростковых одежд, он уже жил взрослой жизнью, а здесь снова нужно было быть мальчиком, подростком, как бы снова надевать ту, мальчигово-подростковую одежду, из которой у него чуть не по локоть торчали руки и немного не до колен ноги. Это был дом родительский, и лишь дом-лоно, вскормивший и вспоивший его, но пуповина была перерезана, душа его пустила свои корни и могла кормиться теперь только теми соками, что добывала сама.

Ему было тяжело в родительском доме. Своим сообщением о разводе он, похоже, буквально очастливил родителей — так это и прорывалось в их письмах, — и они ждали его, очень ждали, и первые недели две по встрече были одной радостью — и для них, и для него. Нужно было время, чтобы ощутить себя чужим в родном доме, свою окончательную отрезанность от его корней, но раньше того ощутили его инородность родители: он начал ловить на себе их настороженные изучающе-недоуменные, словно бы испуганные взгляды, и смысл этих взглядов дошел до него лишь тогда, когда он почувствовал эту свою инородность сам. Он был их сыном и не был тем их сыном, которого они знали, которого провожали когда-то из дома в самостоятельную жизнь, он был кем-то другим, незнакомым им, и этот незнакомый пугал их, тревожил. Они хотели его видеть таким, каким замыслили увидеть, а этот, вновь появившийся рядом с ними, на замышленного не походил совершенно.

Их собственная самостоятельная жизнь еще в самом своем начале была насмерть ушиблена нищетой, убожеством военного тылового быта, и вещное, материальное благополучие, степень жизненного комфорта, неуклонное его возрастание сделались для них мерилом жизненного успеха и складности судьбы. Петру помнилось, каким счастьем стывался в семье набор новых, тонкого звенящего стекла стаканов с матовым тиснением загадочных ягод и листьев по кайме, цена которых, как он потом, много после, увидел в магазине, была двадцать копеек за штуку, но старыми деньгами, правда, за штуку два рубля. Помнилось и накрепко, до смерти, наверно, врезалось в память, как появился у них в доме шифоньер на пузато-изогнутых ножках, огромный, трехстворчатый, с зеркалом во всю среднюю створку, тремя выдвигаемыми ящиками внизу и блестящими, радужными ручками из стали и оргстекла, — мать привезла его из мебельного магазина в полуразобранном виде на телеге, специально устланной для мягкости слоем душистого кудрявого сена, все соседи, оказавшиеся на этот час в наличии по своим квартирам, тотчас высыпали на улицу, мужчины, с уважительной осторожностью очищая части шифоньера от сена, принялись таскать их к ним в квартиру, а женщины, завидуя охая, стали поздравлять мать, просить разрешения прийти посмотреть на шифоньер, когда он будет собран, спрашивали, сколько мать отдала за него. «Тысяча сто один рубль да пятьдесят рублей возчику», — тоже охая, отвечала мать, и он узнал позднее, что сумма эта равнялась тогда немного не месячному доходу их семьи, но оханье матери в отличие от оханья соседей было исполнено той глубокой, сильной радости, что, прячась в тайная тайных души, боится самой себя, боится показываться наружу,

опасаясь какой-нибудь суровой расплаты за свою несдержанность, и в то же время не в силах не высунуться.

Эти тонкие, с матовым тиснением по кайме стаканы и всякая прочая хозяйственно-посудная мелочь, этот шифоньер с узкой сверкающей пластиной зеркала посередине, а потом письменный стол с затянутой коричневым дерматином столешницей, никелированные кровати с панцирными сетками вместо прежних заржавленно-облупившихся чудовищ с визжащими пружинами, сколько их ни смазывай маслом, объемистый книжный шкаф с застекленными дверцами вместо прежней рассохшейся шаткой этажерки, на которой книги безбожно пылились, — все это было для них как бы компенсацией за отнятую после первого же боя ногу отца, так что всю остальную жизнь ему пришлось возиться с протезом, за безобразные латаные-штопаные одежды матери, в которых ей пришлось проходить самые лучшие свои женские годы, за все их молодое неустройство, недоедание, раннюю физическую и душевную изношенность, все это давало им цель, наполняло жизнь смыслом и страстью, и они не представляли, что может быть в жизни как-то иначе... Они не представляли, и им хотелось, чтобы их сын достиг большего в жизни, чем достигли они, — большего благополучия, большего комфорта, — только, конечно, честными способами, своим трудом, и то, что он воспринимал материальное благополучие как нечто естественное, вроде воздуха и воды, само собой разумеющееся и мерил свою жизнь какими-то совсем иными мерками, хотел от нее чего-то совсем иного, было тяжело для них, мучительно, непонятно.

Через месяц, пожалуй, после его появления дома между ним и родителями случился первый разговор обо всем этом, невнятный еще, весь состоявший из недомолвок и междометий, потом, когда он уже работал, случился второй и третий, — ничего конкретного родители от него не хотели, он им просто не нравился такой, каким открылся, они боялись за него такого, и как было им не бояться: ведь он их сын.

Нового разговора Петр не допустил. Дело было за ужином, — встал, извинившись, оделся и ушел в библиотеку.

Больше родители не возобновляли тех разговоров, но будто какая стена воздвиглась между ними и ним с того раза, она была прозрачная, и они прекрасно видели друг друга, совершенно свободно проникал через нее звук, и они могли беспрепятственно разговаривать, но заступить на чужую сторону было невозможно. Родители и он жили вместе, под одной крышей, ели за одним столом, и он отдавал им все свои деньги, — и жили словно бы раздельно. Может быть, не следовало возвращаться, может быть, завербоваться куда-нибудь, уехать, спрашивал себя Петр в иную минуту. Спрашивал и тут же обнаруживал в себе ответ. Зов дороги в нем исчерпался, он уже не звучал в нем, не сжималось сладкой тоской сердце при воспоминаниях о вокзальных перронах, вот если бы только какой-то случай, что подхватил бы его и понес... но откуда ему было взяться, случаю?

Ладно, вот брат приедет, будет видно, думалось Петру. Родительская квартира была двухкомнатная, родители в одной комнате, он в другой, и сам в ней себе хозяин, но осенью, отслужив положенные ему три года, возвращался из армии брат, и тогда в комнате они оказывались вдвоем...

4

Налетевший порыв ветра поднял все же с головы шляпу, он едва успел подхватить ее и почувствовал, что продрог, даже весьма, до озноба — не был он одет для прогулок под этим ножевым, мозглым ветром, — и нужно все-таки, как того ни хочется, поворачивать домой.

Он повернулся, и на него едва не налетели шедшие за ним чуть ли не по пятам две девушки-подростка, вскрикнули исполошенно, метнулись в сторону, сдавленно захихикав, одна при этом быстро глянула на него, и по ее выпуклым, прозрачно-серым, как-то необыкновенно далеко оттянутым к вискам, словно бы стрекозьим, глазам, он узнал тех, из клуба.

Все продолжая давиться смехом, они торопливо, даже пробежав несколько шагов, шмыгнули ему за спину, через некоторое время он оглянулся — и увидел их спины. Девчужки ушли уже довольно далеко, беснующийся ветер, заметывая на бок, полоскал полы их не по росту коротких пальто.

Не столкнусь он с ними после фильма на улице, так бы он и забыл их, этих девчушек, то, как они глазели на него там, в клубе, и, крестясь с ним взглядами, изнеможенно прыскали и отворачивались, забыл бы напроц, до полного их исчезновения из памяти — и встретиться как-нибудь с ними, полностью в тех же самых обстоятельствах, в том же самом клубе, ни за что бы не узнал, не вспомнил их. А так этим уличным столкновением они словно бы закрепились в памяти, застряли в ней, и, когда жизнь снова свела его с ними, он их вспомнил, узнал.

Но, впрочем, она не скоро свела его с ними, много еще воды утекло, пока свела, а вот с кем, не откладывая в долгий ящик, устроила новую встречу, так это с Пожарчиковым.

Вернее, Пожарчиков сам устроил ее. Через неделю после этой их случайной, такой неожиданной встречи у коричнево-серого большого дома с широкими стрельчатыми окнами торговых заведений по первому этажу. Позвонил, сказал сначала: «Проверка связи!» — позадал вопросы, из тех, вразумительных ответов на которые обычно не требуется: «Как жизнь? Как дела? На что жалуешься? Здоровье в порядке?» — вынуждая и Петра спрашивать его что-то подобное, и когда все это уже вконец стало невыносимо, вдруг выяснилось, что звонит он вовсе не ради проверки связи.

— Ну чего, помнишь, я тебе говорил: у нас тут вроде землячества. Вот мужики как раз завтрашнюю субботу на костерок выехать собираются, лесным воздухом подышать, я о тебе сказал, они не против, чтоб и ты с нами.

Петру вспомнились те отдельские компании, что так же вот под субботу сбивались для выезда на природу.

— Что, с бабами? — спросил он.

— Какое с бабами, тетя Матрена! На кой черт они? — отозвался Пожарчиков. — Без всяких баб, мужская компания. Это мы с тобой холостежь, а там мужики семейные, им от баб как раз отдохнуть надо.

Было бы что-нибудь похожее по смыслу на те загородные выезды, в которые Петра завлекали и раньше, он бы наотрез отказался. Но тут действительно проглядывало что-то совсем иное, непохожее, и он ответил Пожарчикову согласием.

5

Собирались на вокзале. Условленное место было у пригородных касс, и по тому, как все еще издали нацеленно шли к нему, ясно было, что место это как точка встречи всем хорошо знакомо. Собралось человек пятнадцать. Потом уже, в электричке, Петр посчитал — вместе с ним было семнадцать.

Те, кто помоложе, подходили с рюкзаком за плечами, те, что постарше, — с портфелями и сумками в руках, а один, пожилой, с лилово-тяжелым отекившим лицом пришел со сквозящей авоськой, в ней на боку, болтая внутри себя овальным пузырем воздуха, лежала бутылка «Столичной», стояла рядом, завернутая в лохматую желтую бумагу, выглядывая из нее сморщенно-округлым концом, толстая палка вареной колбасы, и, притиснув их к краю, занимал главное место в авоське какой-то большой, из множества газет пакет.

«Алексей Тимофеич, Алексей Тимофеич, вам-то... после операции... — забрал у пожилого авоську Пожарчиков. — Вам вообще пустым следовало... вот додумались, опять, наверно, что-нибудь там супружница приготовила!» Сам он был экипирован для загородного выезда честь по чести: альпинистская выворотная штормовка оранжевой стороной наверх, резиновые оранжевые сапоги на толстой рубчатой подошве, замшевая коричневая кепочка с коротеньким козырьком на голове и, конечно, рюкзак. «Вот, Николай Аверьяныч, познакомьтесь, это Петя, тот самый, — представлял он Петра всем вновь подходившим. — Тоже наш, нашего полку прибыло. Вот, Михаил Николаич, знакомься...»

Петру блаженно жали руку, улыбались ему, оценивающе оглядывали. Среди пришедших был и один из замов главного технолога, средних лет высокий сумрачно-насуспенный мужчина, Петр видел его преледе лишь издали и всего несколько раз. А тут они оказались лицом к лицу.

Пожарчиков сказал, где Петр работает, и зам. технолога, задержав на Петре свой насупленный взгляд дольше, чем все остальные, пробормотал с интересом: «А, вон как. Ну-ну».

Ехали, как выяснилось для Петра уже в электричке, на дачу к тому самому пожилому с лиловым отекившим лицом; на дачу, впрочем, только как на перевальный пункт — что-то там оставить, что-то, наоборот, взять, — и двинуть к намеченному месту, в лес, на то самое место, говорили все, именно на него, чудное место, какой вид, а вода в речке какая!

Снег в лесу еще не сошел, от его пористых, слюдянисто-просевших тощих сугробов ударяло в ноздри крепким свежим запахом талой воды, земля оголилась лишь на открытых, доступных солнцу полянах, уклонах, всхолмьях, и шли к тому месту, высматривая эти плешины оголившейся земли и перебираясь от одной к другой. То место оказалось как раз такую вот освободившейся от снега полянкой на берегу узенькой вертлявой речушки, еще не снявшей с себя зимней ледовой шубы. Разложили посредине поляны костер, натаскав из леса елового сушняка, Пожарчиков, обвязавшись для страховки веревкой, конец которой держали на всякий случай сразу трое, выбрался на изъеденный весенним теплом лед, меняя пешню на топор, топор на пешню, стал долбить в нем лунку, пробиваясь к воде, лед выдержал, не треснул, и, наполнив большой, дочерна закопченный снаружи котел водой, Пожарчиков выбрался с ним на берег под дружные победно-радостные крики. «Молоток, Владимир Петрович! — кричали вокруг, приветствуя его. — Сразу видать, нашенская закалка! Добро-го молодца по походке узнаешь! Каков в ученье, таков и в бою!..» «Знай наших, тетя Матрена!» — довольно отозвался жарко раскрасневшийся от работы Пожарчиков, неся котел к разгорающемуся костру повесить его там над огнем.

Дух вольного артельного единения витал над поляной. Все чем-то занимались, сами находя себе дело, никого не нужно было понукать лезть в лесные заросли, в хлюпающий скрытой водой снег за сушняком — нашлось для того вполне достаточно добровольцев, — и Петр, совершенно на равных, тоже был взят в этот круг артельного единения: к нему обращались за помощью и сами брались помогать ему, звали, прося поддержать компанию, туда и сюда, по-свойски, с грубоватым добродушием шутили с ним — держались с ним как с добрым, старым знакомым.

Но странный внутренний холод ощущал он под этой открытостью и доброжелательством. Он чувствовал, что они ведут себя с ним подобным образом, пока он в н у т р и этого круга, его часть, его составное звено, а выйди он чуть-чуть за его пределы, сдвинься наружу буквально на какой-нибудь микрон, — и оболочка благорасположения тут же прорвется, обнажив тот самый ощущаемый им каменный холод. Его не было для них вне этого круга — самого по себе, — он существовал для них только его частью, то есть частью самих себя, поскольку и они были частями круга, в том, что он являлся элементом круга, и заключалась для них вся его ценность.

— А? Что? Хорошо? — оказавшись в какой-то миг рядом с ним, приобнял его на бегу за плечи Пожарчиков. — Ты пошустри, пошустри! Показать мужикам себя нужно! Чтоб ты им запомнился. Чтобы потом, до дела дойдет, не тужились бы: кто такой?!

Петр отшутился:

— Да тебя все равно не перешустришь.

— Э! — протянул Пожарчиков. — Это уж каждый как может. Соцсоревнование!

Из леса приволокли сломанную, должно быть, осенним буреломом, но не упавшую на землю, задержанную соседними деревьями, повисевшую зиму в воздухе и оттого не тронутую вешней водой сухую сосну, живо, в несколько топовор разделили ее на кряжи, раскатали их вокруг осевшего, играющего жаром углей костра, вольно расселись на них, стали доставать из рюкзаков, сумок, портфелей домашние припасы, и всех особенно интересовало, что там в авоське, упакованное в газеты, у лиловолицего: «Алексей Тимофеич, расколитесь! Алексей Тимофеич, ну, чтоб настраиваться-то, что там супружница? Алексей Тимофеич, а, Алексей Тимофеич?!»

Лиловолицый удовлетворенно похмыкивал, достал из авоськи бутыл-

ку, отдал ее, не глядя, тому, кто первый принял, отдал сверток с колбасой и связал ручки авоськи над газетным пакетом узлом. «Буде, буде, — приговаривал он. — Вот дело начнется, вот тогда. Нечего раньше времени горяченькое студить». «Котлеты?» — высказал предположение зам. главного технолога. Обращаясь к лиловолицему, он даже прояснялся взглядом, оживал и как бы веселел. «Какие котлеты? Чтобы Алексей Тимофеич просто котлеты? Низкий полет — котлеты!» — тут же хором ответствовали заместителю главного технолога.

Бутылки были вскрыты, закуски нарезаны, вывалены в алюминиевые миски, положены на принесенные клеенки, распределены равномерно вокруг всего костра, и тут лиловолицый развязал авоську, растрепал пакет, внутри которого оказалась громадная синяя эмалированная кастрюля, а внутри нее — еще одна кастрюля, и из той, когда открыл ее, закурчавило в свежий, напоенный влагой воздух горячим, духовитым, особо аппетитным на этом лесном воздухе парком. «Голубцы!» — ахнули все один за другим. «Давай-давай, налетай-пошевеливайся», — довольно улыбаясь, сказал лиловолицый, беря из кастрюли для себя два голубца и представляя распоряжаться ею дальше другим.

Судя по всему, он был центральной фигурой на этом сборе, но не выпячивал себя, не лез вперед, наоборот, как бы умалчался даже, отодвигался в тень, и так уж выходило просто, что вновь и вновь оказывался на свету.

У костра, за голубцами, за водочкой, за колбасой, за рыбными консервами, бросив в котел пачку чая и зачерпывая из него прямо своими кружками, просидели часа три. Сидели, говорили, ели, кто-нибудь вставал, подтаскивал сушняку, налаживал прогоревший костер, кто-то уходил в лес облегчиться, кто-то с кем-то менялся местами... а говорили, обратил внимание Петр, все в основном о работе, но не так, чтобы о том, чем занимались, об этих своих проблемах, а о людях, с которыми связаны были по работе, — кто каков нравом, кто чем силен, а чем слаб, с кем какие случаи были, кто как провалился, а кто как, совсем уж, казалось бы, был в яме, тем не менее выпутался, — ругали одних и хвалили других, а особенно ругали, обратил внимание Петр, директора, Давыдов была его фамилия, чесали его почему зря, а потом в какой-то момент он уловил, что Сизоненко, фамилия, которая была ему хорошо известна, главный инженер, и этот лиловолицый, Алексей Тимофеич, — это одно и то же, лиловолицый и есть Сизоненко, и о Сизоненко тут, у костра, говорили одно хоршее, с восклицательным знаком, так вокруг и стояло: «А Сизоненко ему! А вот когда они с Сизоненко схватились! Жаль, у Сизоненко тогда сил не хватило!»

Лиловолицый сидел наискось от Петра, человека через два, несколько раз Петр ловил на себе его быстрый скользящий взгляд, взгляд этот как бы ждал от него чего-то, какого-то словно бы действия, «пошустри, пошустри!» — вспоминалось Петру, когда он ощущал на себе этот взгляд. Ему и в самом деле не особо сиделось, хотелось двигаться, делать что-то, и он чаще других поднимался поправить костер, расшевелить уходящий в угли огонь, сходил даже в лес, приволок громадную охапку сушняка, которого и без того было вполне достаточно, но те, брошенные на бегу слова Пожарчикова подразумевали, как было абсолютно ясно Петру, нечто совершенно другое.

Когда вернулись к даче, лиловолицый попросил зам. главного технолога и еще двоих уделить ему десять минут, подняться с ним на веранду, ненадолго, ненадолго, она хоть за день и нагрелась на солнце, а все равно больше десяти не выдержим, похмыкал он. Они ушли, закрыв за собой дверь, а остальные остались толкаться на улице, ждать их, всем уже не терпелось к электричке, домой, сесть, поехать, надыхались уже свежим воздухом до звона в голове, но стояли, курили, переминались с ноги на ногу — ждали, и пришлось ждать не десять минут, а чуть не час.

На привокзальную площадь в городе выходили уже совсем при вечернем, низком солнце, блекло и холодно выглядывавшем из-за домов. На площади все разом распались на группы по двое, по трое, и Петр оказал-

ся вместе с Пожарчиковым. «А? Что? Доволен? — сказал Пожарчиков, когда они остались вдвоем. Им было совсем по пути, на одном трамвае, до одной остановки, прямо сама судьба соединяла их. — Будь благодарен. Я, пока на них вышел, пока к ним пробился, все ногти себе сорвал. А ты на готовенькое, гляди, только сам не оплошай». «В каком смысле — не оплошай?» — спросил Петр. Во всем, что ни говорил Пожарчиков о землячестве, была для него какая-то невнятность, невразумительность, казалось, Пожарчиков недоговаривал что-то, скрывал, объясняясь намеками; или же это он просто не понимал чего-то, что самому Пожарчикову было яснее ясного? Как не понимал и того, откуда она, эта тяга к земляческому объединению, откуда оно во всех этих собравшихся сегодня людях, чувство землячества. В самом себе он не обнаруживал от него и следа. Не потому, что родина его, его «земля» была как раз здесь, а не там. Наоборот, с такой тоской, с такой вынимающей душу печалью вспоминался порою город начального студенчества, что впрямь хоть заплачь, но почему из этой тоски должна была родиться в нем тяга к тем, кто тоже учился там? Если бы все они, скажем, вдруг очутились волею судьбы на чужбине, в хаосе чужого языка, чуждых привычек и нравов — тогда другое дело, тогда бы подобная тяга друг к другу была понятна, естественна и необходима, но тут-то? На чем оно держится, это землячество, что их всех скрепляет в него?

Пожарчиков не отвечал Петру на его вопрос долго, слишком долго, Петру показалось даже, Пожарчиков по какой-то непонятной причине не расслышал его, и он повторил: «В каком смысле — не оплошай?» — но нет, Пожарчиков все слышал, Петр еще говорил — Пожарчиков прервал его: «Ты что, не сечешь совсем ничего, что ли?»

Теперь, в свою очередь, слишком, наверно, долго не отвечал Пожарчикову сам Петр. Что значит «совсем ничего», думал он.

И пока думал, Пожарчиков хлопнул его по плечу, приобнял и, коротко хохотнув, отпустил.

— Э, тетя Матрена! — сказал он. — Давай, ладно, в общагу ко мне зарулим. Поглядишь, как живу, и посидим, поговорим.

В общежитии он занимал небольшую комнату, в которой всего и могли поместиться кровать, узкий обеденный стол, пара стульев и подбористый шкаф-сервант, служивший ему, видимо, и буфетом, и шифоньером, да еще находилась комната в такой части построенного эдаким тупоносным кораблем здания, что наружные стены расходились в ней под тупым углом и вся она получалась как бы треугольной, но это была отдельная комната, он жил в ней один, сам себе хозяин, и Петр позавидовал ему.

— Кой черт хорошего! — отозвался на слова его зависти Пожарчиков. — Общага есть общага, сегодня один, а завтра, глядишь, подселят к тебе, и не пикнешь. И гроб какой, видишь? — обвел он руками комнату. — Надоело здесь до смерти. Но кантуюсь пока, куда денешься! Вот осенью завод дом сдавать будет, по освобождению в коммуналке метров двадцать мне обещали.

— Однако! — снова позавидовал и изумился Петр. Он знал, что и семейные с детьми ждут коммунальных комнат, не могут выехать из общежития годами, а чтобы дали одиноким — о таком он вообще не слышал. — Это как это ты такое обещание сумел вырвать?

— А чего мне его вырывать! Мне его и так дали. — Пожарчиков извлек из рюкзака оставшуюся от выезда на природу непочатую бутылку «Московской», поставил ее на стол, достал из шкафа-серванта стаканы, хлеб, банку рыбных консервов. — Я что, зря шуструю, что ли? — засмеялся он, останавливаясь хозяйничать и глядя на Петра весело-довольным, как бы требующим ответа взглядом: ну, понял?

И потом, когда сидели за столом, говорил, сунув руки крест-накрест под мышки, наваялся грудью на ребро столешницы, помогая словам оживленной игрой своего темно-худого подвижного лица:

— Ты как понимаешь, один проживешь? Не проживешь. По одному только в туалет ходят. Один ты — тьфу, на тебе в морду и утрись, а сопля распустишь, тебя же и съест их заставят. Я тоже, пока понял, поглотил их... Но все, все, никто меня больше... что думаешь, всем этим мужикам так вот радостно друг друга видеть? Да тут есть — так ненавидят друг друга, удушили б. Но не тронут, никогда не тронут, ни в жизнь. Связаны-

повязаны. Нужны друг другу. Каждый каждому нужен, понятно? Где скопом трое навалятся, там в одиночку десятерым не сдержать. Я уж убедился. И, думаешь, только мне Сизоненко нужен? Как бы не так! Он, может, побольше, чем я в нем, во мне нуждается. Производство какое, знаешь? Дыра на дыре, дырой погоняет. А он за работу его отвечает? Отвечает. Да с Давыдовым у них... ему поскользнуться нельзя, Давыдов ему тут же фитиль вставит. Если я навстречу ему не пойду, все по правилам, по инструкциям, — не будет у него производство работать. Ясно? Ну, не то чтобы я лично, я вообще — если у него таких людей своих не будет внизу, в этом смысле. Я в КИПе сейчас, думаешь, это мне нужно было? Я не против, работенка не пыльная, но я б на нее никогда не вышел, если б не мужики. С контрольно-измерительными на заводе завал, все старье, всего не хватает, все ремонта требует. А со мной мужики горя не знают. Со мной они всегда исправными приборами обеспечены. Кто нет, а они обеспечены. Обеспечены они — обеспечен и Сизоненко, ясно, тетя Матрена? Связаны-повязаны, все нужны друг другу, каждый каждому. Только не думай, что мужики за тебя так вот и ухватятся сразу. Ты пока, хоть и земляк, ни на что не годен еще. Ты показать должен, что хочешь вместе с ними. Доказать! Они это увидеть должны. Пошустрить должен, я ж говорю. Людям ведь всегда всякая там помощь нужна. Мелкая такая, тьфу — не помощь, а без нее никак. Один в квартире ремонт делает — мебель ему передвинуть. Другой новую получил — ту же мебель ему на машину да с машины. А то на даче кому полы перестелить... Ты к ним тянешься, они видят это и уж тут тебя не оставят. В яму какую провалишься — вытянут. Я уж видел... А один — хоть ты прав, не виноват совсем, никто и не пожалет. Сиди там, сгнивай, сам виноват, тетя Матрена!..

— В общем, что же, — спросил Петр, — если мне человек неприятен, если, я знаю, он скотина последняя, я с ним все равно лобызаться должен? Дружить с ним, поддерживать его?

Пожарчиков со снисходительной усмешкой на губах выразительно подвигал бровями.

— А ты в свое отношение к нему собственный интерес внеси. Нос у тебя есть, нюх работает? Вот и расчухай, что тебе твой интерес велит. Сразу легче станет. Не для него будешь делать, а для себя. Тебе ж на перспективное место надо переваливаться? Надо. Чтобы не приспособлениями этими... приспособления эти на высокую орбиту тебя не выведут. Тебе в какую-нибудь группу по новой технологии надо... перспектива там. Бери институтские разработки, приспособивай к производству, приспособил — почет тебе и уважение, фамилия твоя в многотиражке, во всех отчетах, на всех уровнях фигурирует. Вопрос о выдвижении поднимется — она тебя сама собой вверх потащит. Расчухиваешь? А попробуй давай перевались без помощи. Сам по себе. А, тетя Матрена? То-то!

— А не хочу я никуда переваливаться! — Разлитая по стаканам двумя порциями бутылка «Московской» уже почти исчезла в их желудках, да было ведь кое-что принято там, на свежем лесном воздухе, и Петр, помимо своего желания, ответил Пожарчикову с громогласной преувеличенной горячностью, которой в чувствах его вовсе не было. Ничего не затронули слова Пожарчикова в его душе, все в нем оставалось холодным и спокойным. — Чего мне переваливаться! Я тут, на своем месте оглядеться хочу. Я только оглядываться начал, и куда-то переваливаться! Нужно мне!

— Дурак! — закричал Пожарчиков. — Дурак, понял? Ни хрена не смыслишь, понял? О себе не позаботишься, о тебе никто не подумает, понял? Мы с тобой почин двинем! Почин, расчухиваешь, тетя Матрена?! Выступим инициаторами, кому б по кумполу, а нас поддержат, три года — и мы в дамках!

— Какой такой почин? — громогласно удивился Петр.

— Любой! — Пожарчиков ударил кулаком по столу. — Чтоб поддержали, главное, а Сизоненко поддержит — верняк. Три года — и мы в дамках!

— А, это там что-нибудь вроде движения за новую технологию, борьба за увеличение...

— Ну! — снова закричал Пожарчиков. — Одному не с руки, вдвоем — самое то! Понял?

— А почему одному не с руки?

— Вес еще не тот. Понял? Хочешь поставить мат противнику, умеи хорошо считать. Знаешь закон шахмат?!

Так, крича друг на друга, они просидели в комнате у Пожарчикова до полной темноты, вычистили хлебом банку с минтаем до жестяной голизны, поднялись, Пожарчиков проводил Петра до вахты внизу, погрозил на прощание пальцем: «Понял?!» Петр добрался до дома, ухнул с ходу в постель — и, вставши назавтра с тяжелой, чугунно-больной головой, начал прежнюю свою жизнь, которой жил до минувшей субботы и в которой совершенно не имелось места этому студенческому землячеству, что готово было принять его в свои члены, только покажи собственную готовность стать им.

Пожарчиков еще не однажды звонил ему, звал помочь кому-то — то навесить дополнительные секции батарей парового отопления, то перенести в другое место газовую плиту на кухне, — звал и еще на одну встречу, подобную той, в которой Петр принял участие, — Петр не откликался на его призывы, и спустя какое-то время Пожарчиков звонить перестал. Случалось и столкнуться где-нибудь в заводууправлении, а то и просто на улице, и сначала Пожарчиков возобновлял тот их общежитский разговор, принимался упрекать Петра за нерешительность и отступничество, потом, когда перестал звонить, прекратил при встречах и все прежние разговоры, только и осталось: «Как живешь? Здоровье в порядке? Что успехи?» — а еще после уже и не останавливались, столкнувшись, жали друг другу руки, иной раз даже молча, и расходились.

7

Жизнь катилась, переходя из ночи в день, изо дня в ночь, подобно колесу с железной неудержимостью влекла с собой, и день с ночью складывались в сутки, сутки к суткам — складывались месяцы... С началом лета, одолив часть необходимой суммы у родителей, Петр купил велосипед и стал много реже бывать в библиотеках — вернувшись с работы, наскоро перекусывал и потом часа четыре крутил педали, изъездив весь город и порядком изучив его окрестности. Велосипед назывался «Турист», он был из легких алюминиевых трубок, с тремя скоростями, выкрашенный в приятный для глаза ясный голубой цвет, и Петр очень полюбил его, он испытывал к нему какое-то щемящее чувство привязанности и преданности, словно велосипед был неким живым существом вроде собаки, и когда в велосипеде что-то начинало поскрипывать, постукивать, заедать, испытывал нечто похожее на муки совести: в этих поскрипываниях ему чудился будто бы укор за недостаточно верную и глубокую любовь. В августе, на излете к сентябрю, посылали на две недели в подшефный колхоз на уборочную; погода все две недели стояла сухая, солнечная, нагоняло, случалось, за ночь на небо облака, но к полудню все уже растаскивало, и снова сквозь блекло-сизую, какую-то крупитчатую августовскую хмарь светило солнце — и та физическая, разнообразная подсобная работа, которой пришлось заниматься после городской, голодной на физические усилия жизни, была всласть и в радость, тело радовалось усталости, что доставляла она, и две эти недели после возвращения в город оставили по себе благостно-счастливые, благодарные воспоминания.

Двухнедельное отсутствие на работе освежило глаз и обострило слух, — Петр неожиданно для себя обнаружил, что за прошедшие месяцы на работе у него, оказывается, сложилась, отлилась в форму и уже утвердела определенная репутация, и по этой репутации он выходил замкнуто-холодным, может быть, даже высокомерным, слишком много мнящим о себе человеком, с излишне большими претензиями к жизни и окружающим людям, хотя вроде бы и неплохим работником. Обнаружить подобное было неприятно и тяжело, уж больно велика она оказалась, дистанция, между этой его репутацией и тем, чем он являлся на самом деле, но ничего другого, как жить с этой репутацией и дальше, не оставалось, и он лишь перестал уклоняться от всяких общеотдельских мероприятий вроде коллективной игры в лотерею или приобретения билетов для коллективного похода в театр на терпящий бедствие спектакль, да когда составлялись списки дружинников от отдела, попадать в которые никто не хотел, дал свое согласие без всяких уговоров.

Осенью, почти в ту же пору, что и он сам в прошлом году, демобилизовался, приехал брат. И сразу с ним, едва не с первого дня, как того и опасался Петр, не заладилось. В чем было дело, почему? Ведь у обоих у них были одни родители, в одной семье росли, вся-то разница — в возрасте, но брат, однако, вышел совсем другим. Его влекло как раз то, что никогда не представляло для Петра особой ценности: веселье жизни, ее удовольствия — ему нужно было, чтобы жизнь вокруг него шла каруселью, и это было для брата главным в ней, это было для него ее смыслом и целью.

Он вернулся, и тотчас в доме все заходило ходуном. Появлялись какие-то парни, какие-то девицы, приносились бутылки, магнитофоны, гитары, ревели динамики, звенело стекло стаканов. Возвращаясь с работы, Петр находил их с братом комнату задымленной до того, что слезились глаза, пол был в сигаретных окурках и раздавленных ошметках еды, письменный стол завален грязной посудой и объедками, а под ним — звенящая батарея опустошенных бутылок. Исчезнувший брат возвращался ночью, с грохотом валился на свой диван, охал, стонал, поднимался и шел в ванную, там долго, с шумом лилась вода, смолкала, брат снова появлялся в комнате, но не ложился, сидел на диване и, раскачиваясь, бормотал проклятия. Устраиваться на работу он не спешил и, когда родители заводили с ним разговор об этом, уклончиво похмыкивал, а уж если они слишком допекали, взрывался и возмущенно объяснял, что ему даже по закону положено три месяца на устройство, а по закону три месяца так просто не дадут, значит, они нужны, три месяца, для психологической перестройки — вот для чего, и у него сейчас как раз такая перестройка, он должен отдохнуть, расслабиться.

Петр с ним о его дальнейшей жизни не разговаривал. Он уже пробовал было говорить и понял, что бессмысленно. А, ответил ему брат, живем один раз. Ну, что толку, что ты все тянул куда-то, хотел чего-то? Только лучшее времечко упустил. В жизни нужно ловить кайф. Ради него и жить. А все прочее бред.

Об институте, без которого Петр ощущал бы себя в жизни словно неполноценным, словно бы калекой, безруким или безногим, брат даже и не думал, после школы поступал, не поступил, пошел в ПТУ, окончил его, успев перед армией поработать полгода, и никакой учебы больше в своей жизни не предполагал.

Существовать им вместе, в одной комнате было немислимо. Поначалу Петр еще обольщался, что вся эта карусель — на первые недели две, пока послеармейская свобода особенно пьянит и нет отказа в родительском кредите, а потом все утихнет, сойдет на нет. Не через две недели, а через три, чуть больше, карусель действительно поумерила свое бешеное вращение, но на нет оно не сошло, оно лишь приобрело более замедленный ритм. Слишком несхожи они были с братом, слишком по-разному ощущали жизнь, чтобы жить вместе, и Петр понял, что пора, которую он все отодвигал на будущее, эта пора настала.

Нужно было вновь оставлять родительский дом. И оставить его с тем расчетом, чтобы больше уже не возвращаться в него.

Но уезжать куда-то, вербоваться его по-прежнему не тянуло. А может быть, прожитый год закрепил его здесь, не отпускал уже отсюда без особой на то нужды? — и он сходил на прием к зам. директора по быту, попросил у него разрешения поселиться в общежитии. Но как имеющему метры в родительской квартире ему отказали, и тогда, побегав некоторое время после работы по всяким адресам, что удалось раздобыть, он снял за тридцать рублей комнату в индивидуальном доме на окраине города и переселился в нее. Комната оказалась холодной, со сгнившим полом, и пришлось ее скоро переменить. И в новой он тоже не задержался, потому что хозяева не пускали его на кухню и даже не разрешали пользоваться электроплиткой, боясь, что он больше нажмет, чем уплатит. За зиму он сменил четыре места, устал от этих бесконечных переездов и порядком из-за них потратился, так что не смог вернуть родителям долг за велосипед; но несмотря ни на что в родительский дом он не вернулся.

На пору отпуска, что дали ему в январе, сразу после Нового года, отдельский профгоспредложил Петру путевку в заводской дом отдыха. Петр согласился, уплатил за путевку положенное, подал уже и заявление

на отпуск, а когда настало время идти в него, обнаружил, что ни в какой отпуск идти он не хочет. Оказывается, нисколько он не устал от работы, нисколько не тянет его отдохнуть от нее, наоборот — жалко отрываться, жить без нее едва не месяц, ходить там до опупения на лыжах, есть в три горла и спать до одури, когда можно здесь всласть заниматься ею.

Ему нравилось работать. Он обтоптался, освоился, огляделся на той площадке, что была отведена ему, почувствовал плотность ее почвы, ее размеры, вопящие о себе ее нужды, — и нравилось оставлять на этой площадке следы своего топтания по ней. Копание в технической литературе, изучение станочного парка, конструкций машин, узлы которых шли через него, — ничто не пропало даром, все в какой-то миг сошло в нем в некое прозрение, в высшее некое понимание: идеи хлынули из него, будто в нем вдруг забил какой-то родник. Сложный внутренний паз в одном изделии, что делался на строгальном станке, он предложил делать на фрезерном, удешевив операцию в шесть раз, — и только-то понадобилось довольно простенькое приспособление, надежно крепившее изделие для фрезерной обработки. В лапе крепления одного механизма его странным образом насторожила одна фаска, единственно ради которой лапу после отливки и возили в механический цех, чтобы затем уже отправить на сборку, — выяснилось, что фаска нужна лишь для соединения лапы с корпусом и получать ее механообработкой вовсе не обязательно, можно прямо в отливке...

Так он и не поехал в дом отдыха, вернув путевку в профком, и, договорившись с начальством, взял отпуск денежной компенсацией. Начальство тому было лишь радо.

Он видел, что вокруг начали поглядывать на него с недоумением и любопытством, теми недоумением и любопытством, с которыми глядят на непонятное, удивляющее и несколько пугающее. Какое-то время он приписывал эти взгляды той своей репутации, что сложилась, помимо его воли, сама собой еще прежде, но причина оказалась иной. «Смотри, не надорви пупок-то!» — проходя мимо его стола и похлопав его по плечу, ни с того ни с сего сказал вдруг ему такой Балахнычев, один из тех, кто приглашал его когда-то на увеселительные прогулки. Сказал — и пошел дальше, не задержавшись ни на мгновение и даже не обернувшись. «В Герон Соцтруда метишь?» — услышал Петр в другой раз от другого сотрудника, и также это было сказано вдруг, без повода: подбежал в столовой, когда стояли в очереди, к группе своих, попросил: «Ребята, тороплюсь, возьмите к себе», — и вот тот обернулся, посмотрел, посмотрел и выдал: «В Герои Соцтруда метишь?»

Лишь тут до Петра дошло, что означали взгляды, которыми глядели на него. Никто вокруг сверх того, что было положено ему по обязанностям, не делал. И вроде как полагалось даже ухитриться не сделать и того, а после при случае рассказать со смешком, что должен был сделать то-то и то-то, но не сделал и делать не собирается, пусть оно катится все... «Работа не ..., сто лет простоит», — было любимым присловьем у мужчин. «Работа не волк, в лес не убежит», — говорили женщины.

Но Петр так не мог. Он никого не осуждал и вовсе не стремился выделиться, встать надо всеми, просто сам он иначе не мог. Ему нужно было ощущать свою пользу — каждодневно, постоянно, — видеть, что отпущенное ему природой переливается в какой-то вещественный результат. Даже если бы он вдруг почувствовал, что ему грозит повальное отчуждение буквально всех, с кем он работает вместе, иначе он бы не смог. Это было где-то вне, выше него — то, что заставляло его быть таким.

Глава четвертая

1

Из отделения милиции их группу дружинников направили в городской парк. Дежурить выпадало раз в месяц — фланировать взад-вперед по указанным улицам, три, четыре, пять часов подряд, до полного отупения, вязываясь время от времени во всякие дурацкие пьяные стычки у магазинов, разгоняя слишком уж расшумевшиеся компании подростков,

необъяснимо сбивавшихся в громадные табуны, — и назначению в парк все дружно обрадовались. Все какая-то новизна, свежесть впечатлений, и эти положенные четыре-пять часов дежурства пройдут побыстрее.

В парке, когда пришли туда, еще работала детская площадка с аттракционами, крутились карусели, повизгивали несмазанными шарнирами лодки качелей, взметываясь в небо и тут же ухая вниз, парковые дорожки были полны женщин с колясками и просто с детьми, но постепенно-постепенно их становилось все меньше, все меньше, и в какой-то миг они исчезли совсем, а дорожки заполнились молодежью, и на танцплощадке грянула музыка.

«Шейк» назывался танец, что исполнял оркестр. Лет еще шесть-семь назад, в первые годы учебы Петра в институте, за такой танец можно было свободно схлопотать выговор по комсомольской линии. А сейчас музыканты гремели им далеко за пределы танцплощадки, — и ничего, белый свет продолжал стоять, как стоял до того.

Дежурить в парке оказалось еще скучнее, чем просто на улице. На улице была какая-никакая, а свобода перемещения, можно было зайти в магазин, постоять в очереди, выпить газировки, а то купить мороженое, свернуть куда-нибудь во двор и, пока ешь его, посидеть на лавочке, отдохнуть от надоевшего фланирования. Здесь же приходилось крутиться все по одним и тем же нескольким дорожкам, и некуда свернуть, чтобы освежиться передыхом, все на виду и на виду, пугая своими нарукавными красными повязками с надписью «Дружинник» потенциальных нарушителей общественного порядка, и в конце концов прочно застряли на танцплощадке. На танцплощадке разворачивалось особое, неповторимое действие векового таинства выбора, действие, истинный смысл которого был накрепко закрыт от его участников физическим удовольствием, доставляемым мышечной работой рук и ног под звуки музыки, и который обнажался лишь при взгляде со стороны; и было интересно наблюдать за этим действием со стороны — за всей этой ритуальной механикой приглашений, отказов, раздумий, согласий, за этим мгновенно, как молниевая вспышка, свершающимся в ы б о р о м, который неведомо для человека, заранее, еще до его появления на свет, был вложен в него самой природой; а кроме того, если где и могло сейчас вероятней всего произойти то, ради чего они были снаряжены на дежурство, то, конечно же, здесь.

Группа их состояла из пяти человек, трое мужчин и две молодые женщины. У той, что помоложе, довольно скоро обнаружился на танцплощадке знакомый молодой человек, и она, посмущавшись немного, сняла повязку и пошла с ним танцевать. Другая, завистливо повздыхав и поглядывавшись, спросила требовательно: «Что, мальчики, кто из вас первый меня приглашает?» «Пойдем, сбцаем», — тут же отозвался один из их мужской тройки, Балахнычев, тот самый, что нынче зимой, проходя мимо его стола, бросил Петру: «Смотри, не надорви пупок-то». Они тоже ушли, влившись в колышающуюся, топчущую толпу посередине площадки, и последний спутник Петра, еще немного потоптавшись рядом, сказал ему: «А давай и мы, чего мы!» — и пошел вдоль штaketникового забора площадки, выбирая себе партнершу.

Петр остался стоять на месте. Его не тянуло танцевать. Какая-то пустота была там, где должно было гнездиться в нем желание в ы б о р а, никакого побудительного толчка не исходило оттуда.

Так и шло оно, их дежурство: встречались в перерыве между танцами, были какую-то пору вместе, обходили для порядка время от времени всю танцплощадку, и снова четверо отправлялись танцевать, а Петр оставался на краю колышущейся толпы маячить своей красной повязкой. Поймали между тем, не особо к тому стремясь, пятерых безбилетников, пытавшихся перелезть через забор, но отводить в милицейскую дежурку при парке не стали, вывели просто за калитку и отпустили, пригрозив, не дали начаться двум дракам, а случившуюся проворонили, пробравшись к ее месту, когда там никого из дравшихся уже не было.

В одиннадцать вечера музыка с ткла, танцы закончились. Танцплощадка стала быстро пустеть, и снова стало людно на парковых дорожках, но ненадолго — минут через пятнадцать опустели и они. Горевшие до того повсюду фонари погасли, остались лишь кое-где светиться желтым мерклым светом одинокие лампочки.

«Ребята, напоследок давайте вот тот край проверьте, — попросил милиционер из дежурки. — Я в эту часть, а вы в ту, там обычно спокойно бывает, но все же, для порядка».

Они двинулись, куда он указал, — дорожки были совершенно безлюдны, пусты скамейки, стоявшие по укромным местам в зарослях кустарника, тихо было кругом, тихо и темно, и две их женщины-дружинницы, трусая, нервно поеживались и поойкивали.

Тяжелую, глухую возню в дальних кустах, слабые, словно бы задушенные звуки голосов оттуда за этими их ойканьями и посмеиваньем, за шебуршанием под ногами дробленого шлака, которым были засыпаны дорожки, могли и не услышать. Но вышло так, что у одной из женщин развязался шнурок на туфле, она почувствовала это, попросила всех остановиться, нагнулась, завязывая, наступило мгновение полной тишины, и в этой тишине тот, происходивший в кустах шум стал явствен для слуха.

— О-ой! — теперь уже в настоящем испуге выдохнули одна за другой их женщины.

Петра так и бросило с дорожки в сторону того черно густевшего в парковой темени пятна кустов.

— Идиот! — догнал, схватил его сзади Балахнычев. — Мента сюда нужно. Пику в ребро получишь сейчас!

— Мальчики, там... Мальчики, вы слышите... Ведь там... Ой, там, наверное... — жарко частили, причитали задыхающимися голосами женщины, и этот их шепот-крик запрещал им бежать куда-то за милиционером, искать его где-то, а требовал от них взять все на себя.

— Да чего... — пробормотал третий в их команде мужчина. — Устроить крику побольше... А! Свисток же! — вспомнил он и полез, торопясь, в карман пиджака.

И все тотчас вспомнили, что при выходе на дежурство в отделении милиции им выдали на всякий случай милицейский свисток, и все по очереди, пока шли в парк, баловались им, передавая из рук в руки.

Свисток обнаружился в кармане у Балахнычева.

— Со свистком попробовать можно, — решаясь, протянул он. — Пошли, что ли? — Сунул свисток в рот и выпустил в тишину вокруг дробную залихватую трель.

Петр снова рванулся к пятну кустов, слыша позади топот других ног, Балахнычев за спиной снова засвистел, и в кустах раздался звеняще-хриплый крик:

— Атанда!

И сразу там захрустело, затрещало, и одна за другой стали вываливаться оттуда черные быстрые фигуры. Петр набежал, схватил оказавшуюся перед ним фигуру обеими руками в обхват — и тут же откуда-то сбоку получил в голову страшный, вмиг сваливший его на землю удар.

Сознание он не потерял, но все у него в голове гудело колоколом, и сквозь это гудение он слышал непрекращающуюся трель свистка. Потом он почувствовал, что его поднимают, — это были их женщины, — он поднялся и увидел, что Балахнычев чиркает спичками в кустах, а там, в кустах, оказывается, скрыта беседка, и мгновенный неверный свет спичек выхватывает в темноте беседки двух девушек, прячущих глаза, всхлипывающих и что-то делающих со своими платьями, словно бы пытающихся сделать их длиннее, чем они есть на самом деле.

Женщины, не сговариваясь, обе одновременно оставили его и кинулись внутрь беседки.

— Ну, мы хоть вовремя? Обошлось, девочки? — услышал он их голоса там.

Девушки, всхлипывая, отвечали что-то нечленораздельно-благодарное.

— Курвы без котелков, — сказал голос Балахнычева. — Не варите мозгами, куда претесь, а у нас вон мужика из-за вас чуть не убили! «Это про меня?» — слабо подумалось Петру.

— Ничего, жив? — возникая перед ним, спросил тот, третий мужчина из их группы. — Чем они тебя так?

— Чем? — бессмысленно, с трудом переспросил Петр. Его подташнивало, во рту, казалось, стоял желудок со всем его содержимым. И вспомнил железную тяжесть удара, и понял, что и в самом деле ударили ч е м - т о,

кастетом, значит, или наладошником. Он дотянулся рукой до места удара, в ладонь легла круглая, отозвавшаяся горячей болью шишка, но крови не было — значит, ударили наладошником. — Фу, черт! — выругался он. Теперь до него дошло, по какому краешку провела его судьба минуту назад. Два-три сантиметра, и удар пришелся бы в висок.

В стороне дорожки послышался топот ног, запрыгал, заметался свет фонарика, мазнул своим острым лучом по глазам — и стремительно замелькал в их направлении, приближаясь вместе с топотом и пронзительно заверещающим в какой-то миг свистком.

Это был милиционер.

— Чего?! — закричал он еще на бегу. Остановился, метнул свет с Петра на его товарища по нынешнему дежурству и снова обратно на Петра. — Поймали кого? Удалось? — И сплюнул, получив ответ. — Твою за ногу! Опять эта беседа, снести б ее! Что за девки-то хоть?

Не дожидаясь ответа на этот свой вопрос, он шагнул в беседку, быстро обежал лучом всех, кто был в ней, и упер его в жмущихся друг к другу, разом закрывших лицо руками девушек.

— Ой, ну уберите же! — прерывающимся от слез, тяжелым голосом попросила одна из них.

— Ничего, — продолжая светить, сказал милиционер. — Трусы снимать сюда лезла — не боялась. Ничего! Мне вас теперь запомнить надо, буду знать шалашевок!

Та из девушек, что просила убрать свет, отняла руки от лица и словно бы посылалась через этот ослепляющий ее свет увидеть говорившего. Лицо ее было перекорежено стыдом и ужасом. Другая от слов милиционера лишь еще сильнее втиснулась лицом в руки, будто хотела спрятаться, исчезнуть в них бесследно. «У-у!.. У-у!..» — вырвался у нее из-под ладоней низкий, утробный, страшный звук.

— Что вы говорите, разве можно так? — осторожно, неуверенно, как боясь сделать что-то не то, сказала милиционеру, услышал Петр, та из их женщин, что была помоложе и первой ушла танцевать. — Ведь с ними сейчас такое едва...

— А как они здесь оказались? Силком их сюда тащили?! — отозвался милиционер, продолжая светить девушкам в лицо. — Жалеть их еще! Отправим сейчас в отделение, пусть там ночь покукуют!..

Петр, глядя сквозь черную кисею трепещущей листвы на освещенных резким фонарным светом девушек внутри беседки, почувствовал странное беспокойство. Ему почудилось, он знает их. Во всяком случае, вот эту, что открыла лицо, с такими приметными, так далеко оттянутыми к вискам, так вынесенными из глазниц вперед, будто стрекозными глазами...

— В какое отделение... вы что! — закричала она, слепо глядя перед собой этими своими стрекозными глазами, и из них текло двумя ручьями, и губы у нее прыгали. — С ума сошли, что ли?! Вы тех поймайте... а мы то что?!

«У-у!.. У-у!..» — рвалось из-под ладоней у другой, и Петр увидел — ногти впились ей в кожу на лбу с такой силой, что кое-где уже выступила кровь.

— В отделении, там и будут разбираться, что вы да при чем! — сказал милиционер и скомандовал, дернув лучом в сторону: — Давайте пойдём!

И тут, когда на короткий миг девушки исчезли в темноте, Петр вспомнил: фильм о людях, никто из которых не хотел умирать, но которые могли сохранить свою жизнь только ценой чужой отнятой жизни, фойе заводского дома культуры, смех при взгляде на него, и потом еще столкновение на улице, и снова этот непонятный смех...

По-прежнему держа произвольно руку на вспухающей подле виска шишке, он шагнул в беседку, отеснил от милиционера Балахнычева с тем, третьим мужчиной и тронул милиционера за рукав кителя:

— Слушай, дружище. Перестань, какое отделение. Хорошие девчонки, я их знаю. Соседки мои по дому.

— Ну-у?! — метнул теперь милиционер луч фонаря на него. — Соседки по дому? Добрый какой! Христосик! Тебя чуть на тот свет из-за них не отправили, а ты — покрывать их? Этих-то?!

2

— А что, в самом деле ваши соседки по дому?— когда девушки были отпущены, убежали, а они сами тоже уже вышли из парка и шли быстрым шагом по улице в отделение сдавать повязки, спросила Петра одна из их женщин— не та, что пыталась вступить за девушек перед милиционером, а другая, всю пору, что были в беседке, промолчавшая. — Ведь вы вроде бы где-то в индивидуальном доме снимаете?

— Да какие соседки! — сказал Петр, удивляясь про себя, что ей известно, где он живет. Работали они в одном отделе, но никогда прежде, до этого вот дежурства, никакие дела не сводили их вместе, и они только здоровались, не больше того. — Понятия вообще не имею, кто такие.

— А вы так убеждали, что мы все даже поверили.

— За других говорить не нужно, — сказал Балахнычев.

— Нет, я тоже поверил!—восхищенно отозвался третий мужчина.

— И я!—добавила другая женщина. С такой экспрессией, словно бы это было очень важно—определить сейчас, насколько убедительно выглядел обман, к которому прибег Петр.

— У меня личная обида, — сказал Петр. В голове у него все еще гудело, место удара полыхало горячей болью. — Кто меня свинцом огрел, те будут в постелях спать, а кто не трогал, тех на нары. Нет уж! Пусть по справедливости. Корыстные мотивы— движитель всех добрых дел на земле, известная же истина.

— Ой, какой вы циник!—воскликнула женщина, затеявшая весь этот разговор. — Вот, оказывается, ваша разгадка. А то вы со стороны таким всегда загадочным мне представлялись!

— Сфинкс! Истинный сфинкс!— не преминул откликнуться Балахнычев.

— Пирамида Хеопса, — отбился Петр, не очень-то понимая, как она воспринимается, его шутка, насчет корыстных мотивов, действительно ли как шутка или всерьез. Не понимая и того, всерьез ли это было сказано об его цинизме и загадочности, или опять же такую вот шуткой.

А ведь что удивительно, подумал он, ведь не встретись он с ними тогда на фильме и не запомнись они ему, сейчас бы, наверное, ничто не толкнуло б его заступиться за них: выдумывать про соседство, клясться, ручаться... наверное бы, ничто не толкнуло. Не из чего ему было бы взяться, этому толчку. А так вроде бы и действительно как знал их, и был оттого ответствен перед ними, и должен был выложиться до дна, чтобы вытащить их из беды, в которую угодили. По своей воле они оказались в этой беседке или не по своей, сами пришли или не сами — в любом случае попасть в милицию приятного мало. Как они скользнули к выходу, как что есть духу припустили прочь, когда милиционер внял его увещаниям и отпустил их! А вот не сведи их тогда судьба в том фойе, не привлеки они его внимание, не обгони затем на улице...

— А та, что глазастенькая, ничего себе, недурна, аппетитненькая такая, — сказал Балахнычев. — Прямо адресок взять просилось.

— Поэтому, видимо, Петр Григорыч за них и заступился, ага?— с лукавостью произнесла женщина, что знала, где он живет, и считала его загадочным.

— Конечно, — сказал Петр. — Я у нее и адресок незаметно взял.

— Ой, какой скорый, какой скорый!— сказала женщина. Там, на танцплощадке, вспомнилось Петру, она потребовала: «Что, мальчишки, кто из вас первый меня приглашает?»— И какой ловкий! Какой ловкий, надо же!

Скорой и ловкой оказалась она. Неделю спустя она уже была любовницей Петра, имя ее оказалось Алла, и, как выяснилось, она вовсе не состояла в дружине, а пошла на дежурство специально, взамен кого-то, чтобы он после проводил ее до дому; так оно и вышло—проводил. Сдали повязки, вышли на улицу, темно и пустынно кругом, попросила боязливо: «Петр Григорыч, проводите», — и он проводил. Ему не пришлось прикладывать никаких усилий к сближению, ему оставалось лишь принять ее в свои руки, как созревший плод, что отделяется от ветки, только коснись его.

И весь год потом, всю осень, зиму, весну и почти все лето, он

стоял в очередях, закупая для ее семьи продукты: она приходила к нему на свидания, будто бы отправляясь в обходы магазинов, он ей рассказывал, где что покупал, и она возвращалась домой, к мужу и шестилетней дочери, нагруженная авоськами и сумками, снабженная подробными сведениями о месте и обстоятельствах покупок. Деньги за купленное она ему не отдавала, выходило, вроде как за то, что она изменяла с ним своему мужу, он содержал ее семью. Во всяком случае, в смысле питания.

О муже ее и дочери, от которых она приходила к нему и к которым уходила, с которыми была связана у нее, за исключением тех нескольких часов в неделю, что она проводила с ним, вся ее остальная жизнь, Петр старался не думать. Чтобы не думать совсем — так не выходило, и когда она с обычным своим лукавым бесстыдством вдруг поминала их, он ощущал себя грязным и низким, похожим на Митю в той истории с Никой, и представлялось, что Алла — это его жена, изменяющая ему, пока он в армии, а сам он и есть тот, с которым она ему изменяет... И все же не углубляться в эти мысли о муже и дочери удавалось. Слишком сильна была воля тела, слишком трудно было противостоять ей, и сколько ни мучился греховностью и низостью того, что совершал, поделаться с собой ничего не мог: наступал срок — и шел по магазинам, сверялся с полученной памяткой: яблоки, свекла, капуста, творог, сыр, молоко, колбаса...

А в самом конце лета, все так же в августе, его снова отправили на уборочную в подшефный совхоз, и там он встретился с той, со стрекозьими глазами.

Бригада, в которую он входил, жила в дальнем отделении совхоза, в небольшой деревушке на крутом берегу холодного быстрого ручья, в котором до судорожного душевного восторга упоительно было умыться по утрам; жили все вместе, в одном доме, напротив, видимо, брошенном хозяевами, скотлив для спанья вдоль глухой стены нары и составив вокруг печи углом два больших стола для трапез. Столовой в деревне не имелось, приходилось готовить еду из выписанных бригадиром продуктов самим, бригада подобралась сплошь из мужчин, охотников до стряпни никого не обнаружилось, и только разобрались что к чему, что за житье здесь будет, тут же принялись клянуть, чтобы с центральной усадьбы прислали для кухонных дел хотя бы одну женщину.

И вот как-то утром, освеженный студеной водой, миг окончательно проснувшийся, чувствуя, как наждачно горит обожженное холодом лицо, с полотенцем через голое плечо и умывальными принадлежностями в руках, поднявшись от ручья и вскочив в избу, Петр увидел сидящих за их фигурным столом двух молоденьких девушек, удивился им, не сообразив, кто они такие, поприветствовал, одна вдруг вся, вместе с ушами, тяжело, багрово полыхнула румянцем, опустила глаза в стол, подняла на Петра и тотчас же вновь опустила, — и он узнал ее.

Как выяснилось позднее, оказывается, она уже год почти после окончания школы работала лаборанткой на их заводе и даже несколько раз видела его у проходной.

Их доставили сюда так рано попутной машиной, они только вчера вечером прибыли с новой группой, устроились вроде на житье у хозяев, а сегодня их подняли ни свет ни заря и сказали, что они поедут в дальнее отделение.

Петр старался как можно меньше сталкиваться с нею. У него было чувство, будто он знает некую ее грязную, стыдную тайну, стыдную и для нее, и для него, потому что он не должен был знать этой тайны, есть знание, которое унижает, и это было как раз такое.

«Здравствуйте, Лена, — говорил он утром, увидев ее первый раз после ночи. — Спасибо!» — поднимаясь из-за стола после еды, и это были все его слова с нею за целый день. А она, ловил он на себе ее взгляды, смотрела на него с тем восторженно-покорным светом в глазах, что зажимают женщины, когда хотят выказать мужчине свое благорасположение. «А я бы ничего не имела против, если бы ты...» — читал он в ее взгляде. Сука, думал он про нее в такие моменты, пошлая сука! Вспоминалось неволью то происшествие в парке, и в голове ворочалось: а прав был, поди, милиционер, нужно было лезть... чуть только не сыграл из-за нее, идиотина такой, в ящик. «Кому добавки?» — спрашивала она и смотрела на него, и он, если даже и не наелся, никогда не подставлял тарелки.

И, видимо, скоро до нее дошел смысл его холодности, — он перестал ловить на себе ее взгляды, наоборот, когда случайно встречались глазами, тут же торопливо, с какою-то боязливостью отводила свои и, спрашивая о добавке, старательно избегала ненароком взглянуть на него.

Ну, слава богу, думалось Петру.

Стоял уже сентябрь, уже выпадали ненастные, холодные дни, в которые с трудом заставляли себя выбираться из дома и ехать в поле, хотя в минувшую погоду пору любая полевая работа была властью; в сухие, да особенно если еще ясные, с чистым, безоблачным небом дни непринужденно старались как можно подольше побыть на улице: уж звезды светили в полную свою силу, сочно-желтым маслянистым ночным блеском сияла луна, а все толпились на улице, играли в шахматы, карты, домино, а то и просто разговаривали о том о сем — обо всем. Случилось, что Петр оказался последним оставшимся на улице, все уже, как ни тянули свое пребывание на воздухе, исчезли в доме — зябко стало, сыро, от ручья на деревню, вскарабкиваясь по склону, полз туман, а он все что-то не мог пересилить себя, отправиться в дом, в тяжелую его духоту, напоминавшую о годе, проведенном в казарме, стоял, смотрел на молочную серебриющуюся мглу, поднимающуюся от ручья, и вдруг ощутил в темноте рядом с собой кого-то еще, повернулся и обнаружил, что это Лена.

— Петр Григорьевич, — тут же, как он повернулся, торопливо проговорила она, — зачем вы так?!

Петр не ответил ей. «Что — так?» — подумалось ему с раздражением, но у него сделалось привычкой не разговаривать с ней, и ему как-то не пришлось даже в голову, что нужно ответить.

— Вы меня считаете нехорошей, так, да? — не дождавшись от него ответа, снова заговорила она. — Вы думаете, что я какая-нибудь... что я тогда там оказалась... — В голосе ее прорывалась решимость отчаяния. — Я вовсе не такая, вовсе! Я даже на танцы совсем не хожу, я всего два раза была, и тогда тоже — только зашли и вышли! Потому что там пристают всякие... всякое говорят... мне это все противно! Но ведь интересно все-таки, хочется знать... вот и пришли. И Колька Боровиков из нашего класса, мы его как облупленного знаем... у одного, говорит, «Кэмел» есть, ну, сигареты такие американские, знаете... хотите, говорит, попробовать. Я и не курю совсем, только так, балуюсь, а Оля дымит, о, говорит, «Кэмел», давай пойдем, надо попробовать, нельзя такой возможности упустить. Я и не думала про Кольку... ведь из нашего класса, я его как облупленного... полчасика нас там продержал: «Сейчас придет! Сейчас придет!» — а потом как пришли... и никакого, конечно, «Кэмела»... — Тут, на последних словах, в голосе ее пробились слезы — и мгновенно овладели им. — Зачем... зачем вы так... смотрите на меня... не разговариваете... я не заслужила... — прерывисто, с трудом выговорила она.

«Как облупленного» торчком торчало в Петре, будто отгломившись от всего остального, сказанного ею, и застряв в нем. «Как облупленного...» Пошлость этого сравнения не корбила ее. При том, что она ничего не выдумывала в своем рассказе, он это чувствовал. Так оно все, наверно, и было — пошли две дурочки затянуться «Кэмелом», полчаса сидели ждали и дождались... Так все, наверно, и было. Можно, конечно, и врать с подобной искренностью, но не до этих же слез, не до истерики этой...

— Да не все ли вам равно, Лена, как я на вас смотрю? — сказал он. — Нормально смотрю. Не обращайтесь внимания.

— Я не могу... не обращаться... — все так же прерывисто и как-то сердито отозвалась она. — Мне обидно. Потому что это... я на вас еще раньше внимание обратила. Вы не помните... вы не знали... не замечали нас... мы с Олькой тогда только в девятом еще учились... вы все время в клуб на фильмы ходили, по субботам все время... и мы на вас еще тогда обратили... вы всегда один были, и такой серьезный... и руки всегда за спиной держали...

Вот они что, осенило его, давились со смеху, достаточно им было встретиться с ним взглядом: оказывается, он у них был под наблюдением! Руки он за спиной держал — вон на что обратили внимание!

Петр засмеялся невольно.

— Может быть, Лена, мы с вами, случаем, соседи по дому?

Это он вспомнил те свои слова тогда в парке — и она поняла его.

— Ой, вы нас тогда... Вы нас спасли... мы вам так благодарны... мы молиться на вас... а вы! — Она заплакала.

Стояла перед ним, взмывала и всхлупывала, дергая головой, закрыла лицо ладонями и тут же отняла руки, сжала их перед собой в кулаки — и все стояла, не убегала, как, казалось, была бы должна; будто обнажилась перед ним и не стыдилась своей наготы.

— А вы!.. А вы!.. — говорила она сквозь рыдания.

— Лена! Ле-ена! — взял ее за плечи и погладил Петр. Он чувствовал себя обязанным сделать так — этим движением он как бы укрывал ее наготу, набрасывал на нее некий покров. — Ну что вы, Леночка, разве можно такое значение...

Мгновение, как он взял ее за плечи, она оставалась недвижимой, потом стремительно подалась к нему, обхватила его за шею и легла ему головой на грудь. И в том, как она это сделала, была какая-то безоговорочная уверенность в своем праве поступить так.

— Я не могу... я не могу не обращать... — лежа у него головой на груди, говорила она. — Я на вас еще раньше... давно... я вас так мечтала как-нибудь встретить, а вышло... вон как вышло...

«Этого еще не хватало, этого только», — с досадой стучало в Петре. Оказывается, эта любительница «Кэмела» была издали тихо и тайно влюблена в него!..

Но уже два дня спустя, вместо того чтобы протолочься вечер во дворе их общежития, играя в карты и домино, он, уступив ее просьбе, гулял с нею за околицей, рассказывал ей о дальнем российском городе, советском Сан-Франциско, о всяких смешных случаях, происходивших с ним в пору армейской службы и плавания на сейнере — не особенно, впрочем, рассказывая их, — она, в основном молча, слушала, время от времени взглядывая на него, и, когда он встречался с ее взглядом, он видел в нем тот самый восторженно-покорный свет открытого обожания. Заговорили о фильме, на котором он заметил их с подругой, она принялась было ругать фильм, он не согласился, и она тут же стала хвалить, говоря, что это в общем-то не ее, это Олькино мнение, а ей как раз фильм понравился, но Олька считает, что она больше понимает в кино, и заставляет думать по-своему...

Петру было смешно слушать ее — такая детская наивность звучала в этом лепете. Такая дикая непосредственность юной самоуверенной неопытности, полагающей, что ее хитрости совершенно не видны снаружи.

И так за оставшийся срок они гуляли еще раза три, может быть, вышло бы и больше, если б позволила погода. Петру были приятны эти прогулки. Давно уже душа просилась вдоволь побродить по деревенским окрестностям, но в одиночку много не набродишь, как не набродишь и в компании с человеком неблизким, а тут выходило, что, куда бы ни пошел, избранный маршрут был так же угоден твоей спутнице, как и тебе самому, и какая-нибудь неожиданно открывшаяся лужайка в лесу доставляла ей своим живописным видом такую же радость, что и тебе. Ничего, что могло бы означать что-то большее, чем просто дружеские, доверительные отношения, какие возникли между ними после того вечера, он не позволял себе, да и не было в нем на то желания, и, когда, уставши ходить, они сидели где-нибудь в стогу и ели прихваченный с собой черный хлеб, посыпанный солью, и она в каком-нибудь движении ненароком касалась его, ничего ответно не откликалось в нем.

Он думал, что по возвращении в город их тут же размечет в стороны и поведет каждого своей дорогой, той, по которой он шел прежде, а если она попытается как-то продлить их отношения там, он не пойдет ей навстречу — этого еще не хватало, думалось ему, зачем ему это.

А через неделю после возвращения в город, проводив свою обремененную набитыми сумками любовницу, он испытал такую тяжелую, гнетущую тоску по какой-то иной жизни, чем та, которой он жил, такое глубокое и тягостное отвращение к себе нынешнему, и так ему было скверно, так дурно, что, не отдавая себе ясного отчета в своих действиях, зашел в автомат и позвонил по телефону, записанному на клочке бумаги, всунутом ему в карман, когда уезжал из совхоза. Ему нужно было почувствовать себя иным, чем он был сейчас, лучшим, и, оказывается, таким он мог быть рядом с детской ее смешной любовью.

К телефону ее не позвали. Ее не было дома. Ее не было в городе. Она была в деревне на уборочной.

«А, — сообразил он, выходя из будки, — ведь она позже приехала, и, значит, сменить ее там должны ровно на столько же позднее...»

Она вернулась, они встретились; фильм, на который он позвал ее, назывался «Ограбление по-итальянски» — смешная, животики надорвешь, цветная кинокомедия, — Лена хохотала, забыв о нем, вся уйдя в невзаправдашнюю экранную жизнь, а он глядел на нее искоса, на ее свежее, чистое лицо и думал: что, может, судьба? Что из того, что он ее не любит, он уже любил других, и что из этого вышло? И, может быть, любви, этого странного чувства, в каждого человека наливает природа свою меру, и он уже просто исчерпал свою, израсходовался до дна? Есть любовь ее, и надо лишь пойти ей навстречу, ведь любовь, если так разобраться, — это только затравка, приманка, насаженная на крючок, чтобы заглотить его, дело ведь не в любви, дело в том Храме, в который вводит любовь на крючке, дабы ты справлял в нем необходимую жизненную службу: родил и растил детей и работал бы до седьмого пота в надежде передать детям этот Храм более красивым, более богато убранным — более совершенным. Двадцать семь лет. Пора наконец затворить за собой все двери, заложить засовы, чтобы не мешали, не отвлекали никакие посторонние шумы и звуки, и засучив рукава ввязаться за работу. Будет семья, будет дом — спокойнее станет душа, обретшая необходимое ей, в ней высвободится место для главной радости — той, что может дать лишь р а б о т а. Ему, во всяком случае. Кому как, а ему, что теперь уж совершенно очевидно, лишь она...

С женщиной по имени Алла, бывшей в продолжение года его любовницей, он больше не встречался, стойко вынеся все оскорбления, которыми она одарила его напоследок, он встречался в течение всей осени и всей зимы с Леной, приучая себя к ней и привыкая к ее любви, весной сделал предложение, родители ее запротестовали, говоря, что ей еще рано, но она, как и во всем прочем, оказалась решительна и тут — ушла от них, пришла жить к Петру, и между Первомаем и днем Победы они поженились.

Глава пятая

1

Беды посыпались на Петра после выставки его станочных приспособлений в заводском Доме культуры. Шум от выставки был большой, многотиражная газета напечатала о ней статью на целую страницу, с описаниями приспособлений, с рассказом о самом Петре, и поместила его фототрафию. При закрытии выставки обнаружилось, что украдено приспособление для обработки конусных поверхностей, действительно одно из удачнейших у Петра, токарь с его помощью мог точить и внутренний, и внешний конус совершенно бесхлопотно, и газета, воспользовавшись этим, написала о Петре еще раз — не столько уже, впрочем, о нем, сколько о нужде в таких приспособлениях на заводе, о проблеме их изготовления, о необходимости что-то решать, изменять, улучшать... «Что, сфинкс, — когда вышла газета со второй статьей, проходя мимо Петра, хлопнул его по плечу Балахнычев, — хочешь все ж таки Героя Соцтруда получить?»

Он был неплохой мужик, Балахнычев, с годами у них с Петром установились дружеские даже отношения, которые ограничивались, правда, работой, и его слова о Герое Соцтруда имели характер как бы ритуальный.

«Чего там, я согласен на медаль», — ритуально же отозвался Петр читатой из «Теркина».

А несколько дней спустя, подойдя к отдельской доске приказов прочитать свежий приказ с расчетом увидеть там свою фамилию, фамилии своей он там не увидел. Присутствовали фамилии всех других, которые должны были поминаться в этом приказе, и не имелось только фамилии его.

Петр стоял перед доской потрясенный. Перечитывая столбик фамилий в десятый раз, знал, что нет, нет его там, не пропустил он себя,

в самом деле нет, а сознание отказывалось верить. Очень он ждал этого приказа.

В отдел прибавили несколько ставок, и как-то разом ушло на пенсию сразу три человека, начались выдвигения, перемещения, и по нынешнему приказу Петр должен был сделаться старшим инженером, и соответственно тому должна была увеличиться у него зарплата.

Мужчина должен хорошо зарабатывать, иначе он не мужчина, говорила и говорила, попрекала его беспрестанно последнее время жена. От той влюбленной в него девочки, готовой на что угодно ради жизни с ним, не осталось и следа. Куда и делось все? Первую пору их жизни она слушала, ловила каждое его слово, пыталась во всем, в каждой мелочи поступать сообразно с его взглядами, но как-то быстро ушло из нее это желание — словно бы все равно стало, что он там будет думать о ней, как она будет перед ним выглядеть. Иную минуту ему теперь начинало казаться, что и не было никакой ее влюбленности, все это он себе придумал. Но если то была не влюбленность, то что?

И другие, посмотри, говорила она, не пашут ведь столько, сколько ты, а зарабатывают! А ты пашешь — ни в кино со мной, никуда, — так если б еще получал больше!

Вот он и хотел больше. Прийти домой и выложить между прочим за ужином: «Мне сегодня старшего инженера дали. Сорок рублей прибавки по окладу плюс премия... рублей шестьдесят всего».

Да и вообще, что же, не помешали бы они, эти шестьдесят рублей. Жена ждала второго ребенка, полгода назад получили наконец собственную комнату в коммуналке, надо обставляться, шкаф, стол, кровать, стулья — ведь ничего нет, хоть бы тебе и было плевать на деньги, так ведь без денег — ни бутылку молока, ни ситца на пеленки...

Взбешенный, он вошел в выгороженную в общей комнате конторку начальника сектора и спросил с порога: «Это чем я так плох оказался? Что вдруг такое? Мальчишкам, вчера из института пришли, им старших, а я не дорос?!» Начальником сектора был парень его возраста, пришедший в отдел откуда-то со стороны года четыре назад, вскоре как Петр женился, ничего тогда не понимавший в технологии, и Петр его все опекал поначалу, все объяснял ему азы, делал за него, случалось, добрую часть работы, — он спокойно, сочувственно и недоумевающе развел руками: «Я ни при чем. Не знаю, в чем дело. Тоже удивлен. С а м тебя почему-то из списка вынес».

С а м был главный технолог. Тот высокий, сумрачно-насупленный, с которым Петр познакомился на «костерке», когда его приглашал Пожарчиков, только в ту пору он еще был одним из замов главного.

В приемной у главного технолога Петр просидел часа три. В кабинет входили и выходили люди, вносили и выносили бумаги на подпись, стопы синек, папки, раза два выходил в приемную Сам, взглядывал на Петра, но не приглашал, хотя о Петре ему и было уже доложено.

Петр вошел к нему в кабинет — он как сидел за своим столом, так и остался сидеть, не привстал, не ответил на приветствие, несмотря на то, что не здоровался и там, в приемной, и только когда Петр подошел к самому его столу, молча махнул рукой на стул с внешней стороны стола. Стул этот в отделе назывался Лобным местом.

— Мне бы хотелось знать, Владимир Владимирович, — сказал Петр, слыша, какой пережатый, неестественный у него голос и не в силах сделать его нормальным, — почему моей фамилии нет в приказе о назначениях.

— А что, должна была быть? — с хмурым удивлением поднял брови Сам.

Смысл этого удивления не дошел до Петра.

— Я знаю, что должна.

— Вот как? Интересно. А я и не знал.

Петр потерялся. Выходило, что он пришел разговаривать о предмете, ни вид, ни название которого ни о чем не говорили его собеседнику.

— Как так? — пробормотал он.

— Так. Как, — сказал Сам. — Никто вас никуда не выдвигал.

Петр шел от него в свою комнату, и его буквально качало. Он ниче-

го не понимал. «Мне бы хотелось знать...» Разбежался. Знать ему захотелось, идиоту! Было бы что знать. А если вот так: нечего узнавать! Никто никуда не выдвигал, вот так!

Он вошел в конторку начальника сектора, забыв притворить в нее дверь. Бывший его подопечный сидел на своем крутящемся кресле, снабженном колесиками, выехав из-за стола, пил чай из стакана в подстаканнике и вел какую-то беседу с обычным своим сочаевником, появившимся у него, как он стал начальником сектора, одним из тех самых недавних студентов, что по этому приказу в отличие от Петра делались старшими инженерами.

— Главный говорит, что на старшего меня никто не представлял, — сказал Петр, становясь над бывшим своим подопечным, глядя на него сверху вниз и чувствуя, что может сорваться, заорать, еле удерживая себя от того. — Не представлял? Соврал?

— Закрой дверь, — как бы не обратив внимания на его появление, попросил начальник сектора сочаевника, проследил взглядом, как тот мгновенно, не ставя стакана с чаем на стол, подхватился со своего стула у стены, подлетел к двери, захлопнул ее и уже неторопливо пошел обратно, и только после этого начальник сектора поднял глаза на Петра. — Что ты, Петр Григорьевич, в самом деле? — сказал он. — Представлял я тебя, был ты в списках, ничего не вру. Ты и в проекте приказа фигурировал даже, сам видел. — Голос его был так же ровно-спокоен, как и тогда, когда Петр приходил в первый раз, только вместо сочувствия теперь в нем звучало что-то вроде неудовольствия.

— Выходит, тогда главный врет? — сказал Петр. — Выходит, он?

— За него я тебе ничего не могу ответить, — все с этим же спокойствием сказал начальник сектора. — Что касается меня, могу только повторить то же самое еще раз. Не веришь мне, пойдй к секретарше, спроси, был ты в проекте или нет, она все печатала, она знает.

«Я лично перед тобой чист, чист совершенно, — говорили его поднятые к Петру глаза, — чище быть невозможно, и с какой стати я еще должен оправдываться перед тобой?!»

Стыдно, унижительно было идти к секретарше, спрашивать ее, действительно ли стояла его фамилия в проекте, однако пошел, преодолел себя.

И выяснилось: так оно все и было, как говорил его бывший подопечный, — стоял в первоначальном тексте. А как подписывать приказ — карандаш главного вычеркнул его, и не ради кого-то другого, нет, никого не вписал вместо, а только вычеркнул — и все.

Ночью Петр, по-обычному скоро заснувши, вдруг обнаружил себя лежащим с открытыми глазами, на спине, с обращенным к потолку лицом — будто и не засыпал, и в голове толкалась, крутилась, проворачивалась безостановочно все одна и та же мысль: что за дьявольщина?! Почему главный вычеркнул его, зачем ему это нужно было, что за дьявольщина?! Ладно, что строил из себя этакого удивленного, ничего не ведающего — так ему было проще, не нужно объясняться; ничего не знаю, ни о чем не имею понятия — и какой с него спрос, раз не имеет понятия! Но вот почему вычеркнул, с какой стати, что за дьявольщина?!

Жена тихо дышала рядом, у нее было во сне совсем легкое, еле слышное дыхание и таким оставалось сейчас, в беременности. Петр повернул голову, посмотрел на нее — она тоже лежала на спине, и живот ее, носящий новую жизнь, выступал под тонким шерстяным одеялом ясным округло-покатым холмом. Слабый лунно-фонарный свет улицы положил ей тяжелые, черные тени в подглазьях, в углах губ, и выражение ее лица казалось страдальческим. «Если б еще получал больше!» — мгновенно вспомнилось ему.

Что за дьявольщина, крутилось в голове, что за дьявольщина!

Осторожно, стараясь не делать резких движений, чтобы не разбудить жену, он поднялся с постели, тихо прошел к кровати сына, ненужно поправил на нем одеяло, постоял над ним и сел на стул подле кровати, оставшийся здесь с вечера, после предночной сказки, которую он рассказывал сыну.

Этот да еще два таких стула, их с женою тахта, сделанная им из обычного пружинного матраса, к которому он приколотил ножки, старый,

ободранный круглый стол и вот железная укороченная кровать, на которой спал сын, были всей их мебелью. Снова просить деньги у родителей, как в свою пору на велосипед, за который так и осталось не отдано, — родители есть родители, пусть поднатужатся? Или молчаливо согласиться на подачку от тестя с тещей, согласившись тем самым и на полную зависимость от них в будущем, зависимость, которую ему усиленно навязывали все эти годы и от которой он столь же усиленно и успешно до сих пор отбивался?

Что за дьявольщина, что за дьявольщина, будто на магнитофонную ленту записанное и гоняемое кольцом по кругу, толклось в голове.

Сколько так просидел на стуле, Петр не знал; лег — и все не мог уснуть, уснул уже, видно, совсем под утро и поднялся по звонку будильника ватный, разбитый, с большой головой.

И то же случилось следующей ночью, снова обнаружил себя лежащим лицом вверх с открытыми глазами, снова не спал до утра, и снова проходил день на ватных ногах, и после третьей такой ночи ноги сами собой привели его к Пожарчикову.

2

Последние года три, как-то так получилось, ни разу не сталкивались с Пожарчиковым, не видел его ни вблизи, ни издали, но знать о нем — основное знал. Жена работала не где-нибудь, а в КИПе, сидела на регулировке электроизмерительных приборов, и все киповские новости приходили к нему в самом свежем виде. Пожарчиков уже года два был начальником отдела, сменив на этой должности ушедшего на пенсию старика, который будто бы был еще вполне бодр, уходить не хотел, но его вынудили подать заявление; незадолго до того, как сделаться начальником КИПа, Пожарчиков женился, обзаведясь через два месяца после женитьбы сразу двойней, а вскоре, как стал отцом, переехал из своей коммуналки в новую двухкомнатную квартиру. Еще в пору, когда жена не была ему женой, Петр имел неосторожность сказать ей, что вместе с Пожарчиковым учился в институте, и теперь Пожарчиковым она часто попрекала его. «А вот почему он начальник, а ты нет? — говорила она. — Ты пашешь — и нет, а он, знаешь, какой лентяй?!» «Я пашу, мне некогда о карьере думать», — отшучивался обычно Петр. «А вот как он, один совсем, комнату получил, а нам, втроем, столько стоять пришлось? — говорила она в другой раз. — И квартиру, гляди, получил — только у него родились». «Не завидуй, чужое, оно только издали привлекательно», — снова отшучивался Петр. Но слишком часты стали эти ее попреки, все более агрессивны делались раз от разу, и все труднее становилось ему и внутренне оставаться спокойным к ним; видимо, и внутри что-то сдвинулось в нем с места, пошатнулось, загуляло, если так ждал этого приказа, так предвкушал, как принесет домой новость...

Пожарчикова, было мгновение — он не узнал. Он пришел к Пожарчикову как к старому институтскому приятелю, без всякого телефонного звонка, секретарша сказала, что здесь и никого у него нет; открыл дверь, вошел, и человек за столом, поднявший на него глаза, показался ему незнакомым. У Пожарчикова было костисто-худое, темно-бескровное, но удивительно подвижное лицо, подвижное даже тогда, когда он молчал, просто смотрел на тебя, у этого же лица было каменной, твердой неподвижности, с каменно-недвижным холодным взглядом — не Пожарчикова лицо.

И все же это был он, Пожарчиков.

— Какими судьбами, — без выражения, без всякого восклицания в голосе, будто бы даже не разжав губ, проговорил он в ответ на приветствие Петра. И только когда Петр вывалил ему все до конца и попросил его, о чем собирался просить, на мгновение в нем проглянул прежний Пожарчиков, — усмешка пробежала по губам, заблестели глаза, и передернуло туда-сюда острые, худые скулы. — А чего ты прискакал ко мне? — сказал он. — Ты ведь не захотел с земляками дружбу водить, чего ж прискакал? Когда тебя червячков копать звали — ты в кусты, а сейчас рыбки отведать хочешь? Никто тебе ее не поднесет, не жди. С какой стати.

— Я тебя прошу не о помощи. — Петр глядел на его вновь захлоп-

нувшееся, наглухо задраившееся незнакомое лицо и потрясенно понимал: тот, прежний Пожарчиков и этот, новый—два разных человека, и будь он знаком с этим новым Пожарчиковым, ни за что бы не пошел к нему.—О помощи я не заговаривал. Я только хочу узнать, в чем дело. Неужели я старшего инженера недостойн? Узнай, тебе это несложно.

Пожарчиков некоторое время молчал.

— Хорошо,—ответил он наконец.—Узнаю. Любопытно, чем ты так досадить умудрился... Но и все. Больше ни на что не надейся. И это—учитывая старую дружбу.

Со всей серьезностью сказал о старой дружбе, без тени шутки, с каменно-недвижным, холодным лицом.

Вспоминая после их разговор, Петр обнаружил, что за всю их встречу этот новый Пожарчиков ни разу не помянул то и дело поминаемую им прежде «тетю Матрену». А ведь это прозвище его было, прозвищем к нему пристало; не очень приятное вышло прозвище, но даже и оно не заставило его в свою пору отказаться от любимой присказки. А тут нá вот: ни следа не осталось!

Через неделю Пожарчиков позвонил Петру по рабочему телефону.

— Ну что, не звонишь, не интересуется уже тебя, в чем там у тебя дело?—спросил он.

— Как не интересуется!—Петр за эту неделю уже несколько раз с трудом осиливал себя не позвонить Пожарчикову самому, не напомнить о себе.

— Приткий ты больно,—сказал Пожарчиков.—Выставки тебе всякие организуют, паблисити в газете делают... понятно?

— Ну... и что?—Слишком короток оказался ответ Пожарчикова, Петр ничего не понял.

— Хочешь, чтоб я разжевал и в рот тебе положил?

— Ну... разжуй,—запнувшись, попросил Петр.

Пожарчиков помолчал, видимо, обдумывая, разжевывать ли.

— Что тут непонятного для умного человека!—сказал он потом.—Выставка у тебя в доме культуры была? Какие-то железки свои выставлял?

— Ну,—по-прежнему ничего не понимая, сказал Петр.—Была.

— В газете тебя превозносили? Да не раз, а два раза: побольше бы нам таких, да куда начальство смотрит.

— Ну, если это можно считать—превозносили, считай—превозносили,—терпеливо ответил Петр.

— Вот тебя и подстригли, чтоб не высовывался,—сказал Пожарчиков.—Да что-то ты там еще про инструментальный запас напорол, про обходные технологии, а об этом вообще не положено говорить.

Теперь Петр начал наконец понимать, в чем дело.

— Это что, военная тайна, что не положено? Это кто такие запреты наложил? Это среди них, твоих владимир владимычей, не положено. Трясутся за свои места и ни за что больше, боятся, что гнойники вскроются—и им отвечать. Так они ж все равно вскроются, сколько их ни запудривай.

Он умолк, и ровный, без всякого выражения холодный голос Пожарчикова сказал ему в трубке:

— Вот ты как заворачиваешь. Чего ж ты хочешь тогда, чтобы к тебе относились по-человечески? Всяк сверчок знай свой шесток, вот и сиди. Будь здоров.

Пожарчиков положил трубку, не дожидаясь ответного прощания Петра,—как перерезал последнюю нить, что еще связывала их.

Первое желание было—набрать его номер и высказать ему то, от чего он отрезал себя. «По-человечески»?! Сиди, значит, молчи—и тогда по-человечески? Не делай ничего, не заступай за означенное—и ты хорош, на тебе премию, на повышение! А шевелишься, заступаешь—тут же плох: как так без начальственного благословения, секир тебе башка, чтоб знал?!».

Но он не набрал номера Пожарчикова, удержал себя, как и обычно умел удерживаться от пустого выпуска пара. Посидел с коротко сигналящей трубкой в руке, положил ее на рычаги, посидел еще, встал и пошел к своему столу.

К концу рабочего дня он знал, что сделает.

Теперь бешенство, что клокотало в нем, было совсем иным. То, прежде, вспыхнуло скорым ярким огнем — как полыхнула высушенная, без малейшей влаги в стебле солома. «А я, значит, не дорос?!» — гудело в том устремлявшемся к небу белом пламени. Бешенство, что владело им теперь, было раскаленными до адского жара угольями; и язычка пламени не взметывалось над ними, серый, тусклый налет пепла сверху, и только струящийся стеклянный ток воздуха говорил о таящемся внутри страшном жаре. «Так, значит, не положено?! Вот как, значит!» — красно перешептывались между собой уголья.

Он им покажет, как не положено. Черта с два будет он блюсти их правила! Не гляди, не думай, увидел — закрой глаза, подумал — скорей забудь... за кого они его принимают, навязывая ему эти свои правила? За обезьяну?

Петр просидел на работе, набрасывая черновик записки главному инженеру, едва не до ночи. Было начало октября, дни еще не очень короткие, а вышел на улицу — совсем уже темно, огни фонарей вокруг и звезды в прогалинах облаков.

«Не положено? — говорил он, шагая домой с засунутыми глубоко в карманы руками, не замечая, где идет, так что проскочил нужный поворот и пришлось возвращаться обратно. — Не положено, поглядите-ка! Закрой глаза, заткни уши...»

Он въявь ощущал, как все изменилось вокруг за минувшие десять лет с той поры, когда жил в советском Сан-Франциско на берегу Тихого океана. Тогда все словно бы не жили, а ждали чего-то, что должно произойти, чтобы начать жить, словно бы тянулись вверх, вставали на цыпочки, стремясь взглянуть вперед, в будущее, к той, будущей жизни себя готовя, с нею связывая все свои надежды и упования, до нее, до будущей, откладывая решение всех своих проблем, как бы приберегая все лучшее в себе до нее и не обращая внимания на неопрятность и неряшливость своей нынешней жизни. Теперь же никто уже не заглядывал и в будущее, все словно махнули рукой и на него, отпустили вожжи и неслись, куда несло, ни на что вокруг не обращая внимания, стремясь лишь получить, вырвать у этой нынешней жизни как можно больше всяческих благ и вещей удобств, совершенно не заботясь о том, что будет в той, будущей, которая рано или поздно все же настанет.

Записку Петр писал целый месяц. Он хотел сначала только об инструментальном запасе — о том, о чем было «не положено», но одно слово тянуло за собой другое, все оказывалось связано, слеplено в одном — не разъять; и пришлось писать обо всем. И об ухудшении качества изделий из-за всяких обходных технологий, к которым приходилось прибегать, потому что инструмента не хватало. И об удорожании изделий, потому что любая обходная технология оказывалась менее эффективной. И о бессмысленном, механическом введении новых технологий, когда дешевле было бы использовать старые, будь лишь в достатке инструмент. И о невозможности вводить действительно нужные новые технологии, ввести которые не составило бы труда, будь лишь опять же в достатке необходимый инструмент и оснастка.

К работе его, той непосредственной, за которую он получал деньги, не имели эти проблемы никакого отношения. Но привычка добираться до корня заставила его в свою пору доискиваться до причины, почему все их отдельные технологические мероприятия по удешевлению, экономии, повышению качества кончаются пшиком, и клубок, разматываясь, привел его к инструментальному производству. Оно было собственное на заводе, но три четверти его уже много лет работало на план производства основного, возможно, когда-то к этому прибегли как к временной мере, чтобы выйти из прорыва, потом временное стало постоянным, привычным, созданный в свою пору инструментальный запас проедался, снашивался, едва успевали ремонтировать, перетачивать старое, о новом ни о чем не велось уже речи, — и впереди, через два, через три, через четыре ли года, неминуемо ждала катастрофа.

И станочными-то приспособлениями, которые тоже не имели к его работе никакого отношения, он стал заниматься, чтобы хоть что-то делать, чтобы хоть облегчением работы станочника компенсировать как-то

нехватку инструментов. Может быть, вместо того, чтобы заниматься приспособлениями, следовало сразу написать такую вот записку, но не пришла в голову подобная вещь — записка, — не сообразил. Толчка к тому не было. Отозваться техническим действием оказалось привычно, все равно как рефлекс сработал, а записка — это бумага, что-то канцелярское, и не сообразил.

3

Ответ на записку Петр получил два месяца спустя, вскоре после Нового года. Жена была на сносях, у нее начался поздний токсикоз — ничего не ела, отекала и еле ходила, ее положили до самых уже родов в роддом в отделение патологии; отвести утром сына в детсад, привести вечером, приготовить им двоим еду на завтрак и ужин — все легло на Петра, да хоть раз-то в два дня нужно еще было сбежать навестить жену, да готовиться в одиночку к приему ее вместе с младенцем после родов, доставать по второму разу коляску, кроватку, марлю на подгузники, байку на пеленки, — и ему было не до мыслей о своей записке, о том, что прошло два месяца, как он оставил записку в приемной главного инженера, и до сих пор судьба ее ему неведома, и потому, когда его вызвал к себе Сам, никак он не связал этот вызов с запиской. Шел и думал с недоумением: с какой стати?

В кабинете у Самого, сбоку начальственного стола, сидел и строго глянул на вошедшего Петра бывший его подопечный, нынешний начальник его сектора. Хмуро-насулпленный взгляд Самого был уперт в стол, и он не поднял на Петра глаз, ни когда тот вошел в кабинет, ни когда подошел совсем близко, и Петр, постояв немного в ожидании хоть каких-нибудь слов и не дождавшись их, сел на Лобное место.

Сам кашлянул.

Бывший подопечный Петра быстро и шумно набрал полную грудь воздуха, выдохнул, и строгость в его глазах сменилась суровостью.

— Тебе что, Петр Григорьевич, — сказал он, — слава Гиппократата спать не дает?

— Герострата, — тихо, но внятно, продолжая глядеть в стол, процедил Сам.

— Слава Герострата? — быстро поправился начальник сектора, ничуть не сконфузясь и утратив суровость в глазах лишь на короткий миг.

«Серомазов твоя фамилия, — с отстраненностью, совершенно не к месту подумалось почему-то Петру. — Точнее не припечатается. Были, должно быть, твои предки иконописцами, и уважением их мазня среди своей братии не пользовалась. Серомазы. Как припечатали».

— Ну, что дальше? — сказал он вслух, все так же не догадываясь, зачем позван.

— На другое умения нет — храм поджечь, и хоть так вот возвыситься?! — продолжая произносить заранее подготовленное, не отступая от него, взвинул голос Серомазов.

«А ведь они собираются мне за что-то накачку давать», — сообразил Петр.

— Ну, так дальше что? — спросил он.

— Воз свой тащить, упираться, как все, — это нет, это не по тебе! Тебе дай бензином побаловаться, огнем, поярче вспыхнет — повыше увидят! — и не думая отвечать ему, как абсолютно не услыша его, взвинченно проговорил Серомазов.

— Ну, так дальше, дальше, — сказал Петр.

— А дальше — вот! — поднимая свой хмуро-насулпленный взгляд, врзался в разговор Сам, взял со стола перед собой какую-то стопку обтрепанных машинописных листов, потряс ею в воздухе и швырнул обратно на стол. — Вы что, больше всех понимаете, лезете руководству указывать? Без вас, что к чему, никто не разберется? Все высывается, все «я! я!» крикнуть хотите! А «вы» — это ваш участок работы, делайте-ка вот свою работу хорошо и не лезьте куда не следует! Предсказатель нашелся, катастрофа нас, видишь ли, ждет, пугать вздумал!

Когда главный технолог потряс стопкой листов, Петру показалось, что это его записка, теперь, после последних слов главного технолога он удостоверился, что так и есть — его записка, и все дело в ней.

— Вы что, — называя главного технолога по имени-отчеству, спросил он, — считаете, что все это не так, как я изложил?

— Так, не так, — сказал главный технолог, — не ваше дело, вам понятно? У вас своя кочка, на ней и сидите. За план не вы отвечаете, за план не с вас шкуру спускают. Вот когда будут с вас, тогда и посмотрим, как вы крутиться станете! А то мне, видишь ли, еще объясняться, что у меня за умник такой завелся!

Так что же, вот эта накачка — это и все? Весь ответ на его записку, весь отклик? Вместо того чтобы предпринять по ней какие-то меры, отдать на анализ, устроить опрос специалистов, провести обсуждение, главный инженер просто сбросил ее со своего стола на стол главного технолога, в отдел, откуда она пришла?

Но, задавая себе подобный вопрос — так это и все? — Петр обманывал себя, он знал: да, это и все, — и лишь не мог, не в силах был так вот сразу поверить, что это все.

— Дайте мне, — протянул он руку к своей записке, — я хочу увидеть резолюцию.

Главный технолог мгновение обдумывал просьбу Петра, потом взял лежавшую перед ним разлохмаченную стопку листов и молча бросил ее через стол.

Да, это была она, его записка. «Главному инженеру завода... тов. Сизоненко А. Т. от инженера отдела главного технолога...» — стояло в правом верхнем углу, им, Петром, в вечерние после работы часы натюканное на старой, разбитой отдельской машинке «Ундервуд», на которой уже никто из машинисток не печатал, а в левом, оставшемся свободным от машинописного текста углу было начертано размашисто: «Гл. тех-гу Волопасову. Что у вас за умник такой завелся? Разберитесь!» — подпись, дата — и все. Выходит, Сам даже не выдумывал этой фразы об умнике, а только процитировал. Вот так да! Вот и показал им, как «не положено». Не он показал, а ему показали. Да еще как!

— Я это не ради умничанья писал. — Он вернул записку главному технологу, с входящим номером приемной главного инженера, с начертанной в углу резолюцией она уже не принадлежала ему, была его и уже не его. — И не ради того, чтобы высунуться, как вы говорите. Я свою работу как раз нормально делать хочу. А вместо этого — только «как-нибудь» да «за завтра спрос завтра». Это хорошо — работать так?

— Да кто с вас спрашивает?! — прервал Петра главный технолог. Мрачно-наспуленное его лицо было черным от ярости. — С вас-то никто не спросит, что вы волнуетесь? Никто никогда! Вам ясно? Ясно вам, или повторить?! Думать о завтра — у других голова есть, пусть она болит, ваша не нужна.

— А если у меня тоже болит? — вставился Петр.

— Пусть она у вас за свой участок болит, я вам еще раз повторяю! А то все высунуться хотите, занимаетесь всякими игрушками вместо работы, выставки устраиваете! Кому они нужны, ваши приспособления, у них даже экономический эффект не подсчитываете!

— Считать нужно уметь, — сказал Петр, встал и пошел из кабинета.

— Вернитесь! Вернитесь, Горяев! — слышал он за собой налитый яростью голос Самого, но не остановился.

Он вышел из кабинета, потому что боялся не сдержаться, — все в нем внутри ходуном ходило от гнева, дымилось гневом, полыхало им; но вечером, когда все предночные дела были переделаны, сын уснул и он остался в темноте комнаты наедине с самим собой, он почувствовал, что гнев в нем за прожитый день будто осел, свернулся, и место его заняло страшное, дикое, какое-то глухое отчаяние. Какой-то стон, вопль какой-то стоял в груди, рвал ее, выдираясь наружу. Жизнь не имела никакого смысла, была в тягость, жить не хотелось.

Петр испугался. Никогда с ним еще не случалось такого. Ни тогда, когда, прогнанный Ниной, бродил, заблудившись, всю ночь по пустырю и едва не свернул себе шею в овраге, ни тогда, когда таскался с фибровым чемоданчиком по ночному, насквозь продуваемому свирепым океанским ветром советскому Сан-Франциско — перед тем, как навсегда оставить его. Тоже тогда были отчаяние, душевная боль, физическая немощь,

но такого полного безысходного отчаяния, этого чувства стены, в которую уперлась жизнь, и хода дальше нет, — этого с ним никогда еще не было.

Громадным, неимоверным напряжением, как выжимая на плечах какой-то чудовищный груз, он заставил себя подняться со стула рядом с кроватью сына, разобрать свою постель и лечь. Уснуть, уснуть, скорее уснуть, говорил он сам себе, выспаться, отдохнуть, и завтра все будет иначе.

И утром назавтра он и в самом деле проснулся свободным от вечернего своего глухого отчаяния; да просто не до него было: завтрак нужно было готовить, сына поднимать, кормить его, одевать, укутывая в теплые зимние одежды, вести в детсад и после самому бежать, торопиться на работу, чтобы не опоздать. А на работе ждала круговерть повседневных рабочих дел, звонок в комиссионку принес известие, что вроде бы появились подходящие коляска и кроватка, так и оказалось — подходящие по цене прежде всего, но и по состоянию тоже, лишь коляске требовался небольшой ремонт; и, уложив сына, вывез коляску на кухню, никого из соседей тут уже не толклось, и сидел, возился с коляской, пока не сделал все, что требовалось.

К Серомазову на следующий день его позвал тот обычный сочаевник его бывшего подопечного, в присутствии которого тогда осенью Петр выяснял, по чьей же вине все-таки не оказалось в приказе его фамилии.

Прежде Серомазов, если Петр бывал ему нужен, приходил, звал его для разговора сам.

— Ты у него что, в секретаршах, что ли? — не удержался Петр, уколол серомазовского сочаевника.

Сочаевник равнодушно выдержал его взгляд, убедился, что Петр поднимается, молча повернулся и ушел.

Петр ожидал, что Серомазов встретит его с той же маской строгости, а то и суровости на лице, что была надета на нем в кабинете Самого — а иначе для чего ж вызывать через третье лицо, — но Серомазов поднялся к нему из-за стола с улыбкой радости и доброжелательства и подал ему для пожатия обе руки.

— Ой, Петька, — сказал он, отнимая руки и направляясь обратно к своему месту за столом, — ой, горяч! Ой, горяч, своеволен, узды на тебя нет!

Петр не ответил. Ему нечего было отвечать.

— Упряма ты до чего, оказывается! — усаживаясь в кресле, откидываясь на спинку и складывая на животе руки замком, продолжил Серомазов. — Я и не знал, до чего ты упряма. Прямо поразил Самого!

Петр терпеливо ждал, когда бывший его подопечный перейдет к делу. Не мог же он так суесловить до бесконечности. Ради чего-то ведь позвал.

— Да-а, поразил, — как подытоживая, протянул Серомазов, выдержав паузу и спросил: — Ну что, как думаешь дальше-то жить?

— А что такое? — встречно, с холодностью спросил Петр.

— Так то, что ты такое себе позволил с Самим!

— Не больше, чем он со мной.

— Туго тебе придется теперь, — вздыхая, как переживая за него, сказал Серомазов. Подождал, не скажет ли что Петр, Петр молчал, и Серомазов разомкнул руки на животе, нагнувшись вперед и положил руки на стол. — Не даст он тебе, Петя, жизни. Начнет мять — только сок пойдет.

— Это ты мне что, сочувствуешь? — подал наконец Петр реплику Серомазову.

— Да, Петя, сочувствую, — вмиг посерьезнев, поджимая губы, сказал Серомазов. — Все-таки мы друзьями были.

Ага, «были», с болезненным удовлетворением тут же отметил Петр. Ах, стервец, как это у него легко и быстро. Продал — и вся недолга, «были» — и не стали.

— Уходи из отдела, Петя, — глядя Петру прямо в глаза, таким голосом, будто бросал ему спасательный круг, проговорил Серомазов. — Уноси ноги, он в жуткой ярости — скверно будет.

— А если не уйду? — ощущая внутри себя мстительную радость, что заставил Самого кипеть желчью, спросил Петр.

— А чего тебе не уйти? — Серомазов вроде как удивился. — Ты ведь вообще не по своей специальности работаешь. Ты ведь не технолог, ты механик.

— А ты технолог? Ты пришел — вообще ни бум-бум, в сортах стали не разбирался! Может, и тебе обратно податься?

— Ну, у меня другая сейчас ситуация. Мне к старому возвращаться смысла нет. — Серомазов сказал это и вдруг как-то сразу, вмиг тяжело, багрово налился кровью. — А тебе здесь не светит! Ничего не светит! Как сидел на своих ста сорока, так и будешь сидеть, сгниешь на них. Да плюс к этому такую жизнь получишь — взвоешь! — Он больше не принуждал себя ни к улыбке, ни к сочувствию, ни даже к серьезности тона, в голосе его осталась одна злость, и ничего кроме. И это была личная злость на Петра, злость за то, что именно Петр оказался в свою пору его наставником, и, выполняя сейчас неприятное поручение, приходилось продавать этого бывшего наставника. — Или ты что, враг себе? Не будет у тебя здесь жизни!

А он не из землячества ли, как откровение сошло на Петра. Никогда не думал о подобном, и мысли о подобном не залетало в голову, а вот сейчас, когда Серомазов так неожиданно налился кровью и озлился, вдруг пробило. Пришел со стороны, еле-еле лишь огляделся, только-только стал что-то понимать в их работе — и на тебе: начальником сектора. Никак не показав себя, ничем не выделившись. Случайность? Странная случайность, много о ней судачили... Правда, к тому городу, в котором Петру довелось учиться первые два курса, он вроде бы не имеет никакого отношения, ну да разве действительно в землячестве дело, как еще тогда объяснял Пожарчиков, дело ведь в том, чтобы скрепляло что-то, чтобы хоть что-то общее для склеивания... а хочешь подклеиться, так можно и без всякого «общего». Впрочем, пойдя проверить все это — из землячества, не из землячества. Так он запаян, вход туда: снаружи и вообще не заметишь ничего. Ведь если бы не Пожарчиков, которому тогда нужен был напарник для «почина», так бы ведь и не знал ничего ни о каком землячестве. Ни сном ни духом не ведал.

— Ладно, — сказал Петр Серомазову, поднимаясь со своего места, — доложи Самому — беседу провел, и в самом жестком виде. Уйду, доложи, но в обмен на квартиру. Жена у меня, знаешь, второго ждет, вчетвером в коммуналке — тяжело, вот такой обмен: он мне — квартиру, а я ему — заявление.

Глаза у Серомазова встали торчком.

— Что?! — спросил он. — Ты что мелешь, соображаешь? Ты кто такой, чтоб шантажировать? Какая тебе квартира?

— Лучше б трехкомнатная, — сказал Петр от двери, нажимая на ручку замка и приоткрывая дверь. — Но, доложи, согласен и на двухкомнатную. Только на хорошую двухкомнатную. С высокими потолками, большой кухней, подсобными помещениями.

Кураж удался на славу: Серомазов все воспринял всерьез, потерялся, онемел — смотрел на Петра своими торчащими глазами и не мог больше вымолвить ни слова, — в общем, доставил себе Петр удовольствие; сидел за столом, стоял у кульмана, ходил по вызову в цех — весь оставшийся рабочий день нет-нет да и ловил себя на улыбке этого внутреннего довольства: отвесил сукиному сыну за его продажу горячих, пусть вот теперь поотдувается перед Самим.

Но вечером, и не поздним, не в ночной темени, когда мрак, объявляющий землю, уже сам по себе может давить на душу, сжимать ее страхом бессветья и полнотой своей власти, а когда лишь сбегал после работы к жене в роддом, отправил ей передачу, получил ответную записку, помахал ей, стоявшей за наглухо закрытым окном, рукой и пошел в детсад за сыном, вот тут, будто специально подстергало его и сочло, что пора, вновь обрушилось на него прежнее беспросветное, глухое отчаяние, стиснуло громадным железным кулаком сердце, отняло ноги, — знал, что нужно идти, торопиться, забирать сына, а сам остановился и стоял, не двигаясь, заталкивая обратно рвущийся из груди вопль.

Что толку в кураже, ну, покуражился, ну, получил удовлетворение... и не более того. А жизни не будет, не будет жизни — это точно! Надо уходить куда-то, сбегать надо, только вот куда? Что от него осталось как от

механика? Что-нибудь и осталось, конечно, да вот уже невозможно представить себе, как уйти от этого дела, которым выпало заниматься последние годы. Приварило к нему — автогенном лишь и отрезать себя, с кровью и мясом. И что там, на новом месте, — все прежнее? Начать все с нуля — и снова ткнуться мордой все в то же? Все по второму разу, по второму кругу? Не может он быть, как Пожарчиков, не может, как Серомазов, и как Балахнычев не может, вот таким уродился, — так, значит, все повторится?

Сын, когда он, наконец, притащился в детсад, был там уже совсем один. Сидел, зареванный, на маленьком стульчике между маленькими узкими шкафчиками, поджимал ноги, а по полу шаркала надетой на швабру тряпкой уборщица. Не было уже и никого из воспитательниц, уборщица, увидев Петра, обрадовалась: «А мне уж адрес ваш дали, наказали, никто не придет, зайти по адресу!»

«Па-а-а, ты больше за мной никогда так поздно не приходи!» — вздыхал, отходил от горьких своих детских слез по дороге сын. «Нет, милый, нет, больше никогда», — покаянно, с гнетущим чувством вины перед маленьким родным человечком отвечал Петр.

А сам думал про себя, возвращался по десятому разу к одному и тому же, не мог остановиться: «Так что же, неужели уходить все-таки? Шило на мыло, мыло на шило — все сначала? Наверно, уходить, наверно... Не будет здесь жизни. Ни жизни, ни работы. Какая тут работа, когда каждый день будешь, как на войне, отстреливайся да отбивайся, отбивайся да отстреливайся. С винтовкой в руках землю не попашешь. В крайнем случае ее за спину нужно забросить. Или меч, или орало... И с тем и с другим в руках — невозможно...»

4

Никуда, однако, из отдела он не ушел. Уйти — означало все равно как утереться после плевка; такое у него было чувство. Разум говорил: уходи, — а душа не могла согласиться на это унижение, все в ней вопило протестующе, вставало на дыбы, и протестующий ее вопль оказался сильнее всего остального. Минул месяц, другой, весна подступила — а он все оставался на прежнем месте, в прежней должности, справляя все те же, прежние свои обязанности.

Он дал себе год. Выдержать год — и уйти лишь после этого. Выдержать все, что они ни будут делать с ним. Как ни будут пакостничать. Выстоять. Показать им. И уйти самому. В какой-нибудь совершенно неожиданный для них момент.

Давая себе это слово, он не знал, чего оно будет стоить ему.

Ребенок у жены за несколько дней до родов перевернулся головкой вверх, так и остался до самых схваток и пошел ножками вперед, весь запутавшись в пуповине. И пока он шел на свет, вызванный из нежного материнского лона неодолимым инстинктом жизни, пуповина удавила его, и он пришел на свет бездыханным. Жена после рассказывала: «Все, девочка, все, отмучилась», — говорили ей, она ждала крика ребенка, решила, что не расслышала, спросила: кто? мальчик, девочка? — и вместо ответа ей снова сказали с ласковостью: «Все, девочка, все, отмучилась».

И однако же крик раздался. Когда никто из принимавших у жены роды на это уже и не надеялся. «Дочка, дочка у тебя», — помнилось жене, как кричали ей в ухо. Вообще задержка дыхания плоха в смысле последствий тем, объяснил Петру встречавшийся с ним врач, что из-за отсутствия кислорода нарушается мозговое кровообращение, начинают погибать нервные клетки... но в случае с вашей дочкой особо страшного ничего не прогнозируется, будет, конечно, кое-какая патология, но к трем-четырем годам все отклонения от нормы должны исчезнуть.

А пока их дочка, непонятно как возвращенная в этот мир к жизни, не позволяла спускать себя с рук ни на секунду, даже когда спала, не брала грудь, и жена, одуревшая от круговорота пеленок, от бессонницы и беспрестанного баюканья на руках, не сумела сдeditься раз и другой, у нее начался мастит, Петр пытался размять ей затверделости в груди — она кричала от боли, била его кулаками, вырывалась, слезы катились у нее из глаз в два потока, и в конце концов ее срочно положили в больницу на операцию.

В отпуске Петру, когда он подал заявление, отказали.

Ничего не оставалось другого, как пойти объясняться к Самому. Петр опять просидел у него в приемной часа три, вошел, рассказал о своей ситуации, и Сам, с обычным своим хмуро-насупленным видом молча выслушавший его, ответил: «С вашей личной ситуацией сами и разбирайтесь. Не хватало еще, чтобы из-за ваших дел производство страдало. Есть график, наступит ваша очередь—тогда и пойдете в отпуск».

Петр понял: вот оно, то. Не будет ему отпуска; хоть разбейся он, требуя его,—не будет. Потому именно и не будет, что отпуск сейчас ему нужен.

Это была катастрофа. Бюллетень по уходу дали ему на три дня, дальше — неоплачиваемая справка, это сейчас-то, когда он один приносит деньги в дом, и сколько же, интересно, придется просидеть на ней? Ладно, если неделю, если полторы, а если больше? Сердце у Петра чувствовалось, что больше, много больше, потому он и хотел взять отпуск. Никак он не мог позволить себе сидеть дома, не получая денег. Декретные жены были истрачены на обзавод кое-какой необходимой мебелью, на кровать вот, в которой все пока не оказывалось надобности, на коляску, на всякую мелочь для младенца,—не осталось от них и копейки. Сто сорок его рублей, также все до единой копейки, ухали на еду, на еду и только, да еще не хватало; и набежал уже по соседям, по женщинам-доброхоткам с работы, по пятеркам, по десяткам долг рублей в сто. Неделя на справке—еще рублей пятьдесят долгу, две недели—сто рублей, сто да сто—двести, и эти-то двести неизвестно как отдавать, а если полезет выше...

Это была настоящая катастрофа. Потому что, по всему выходило, рано ли, поздно ли, а скорее прямо сейчас придется встать на колени перед тестем с тещей.

На родительскую помощь рассчитывать не приходилось, нет. Ни в денежном смысле, ни в смысле рук. Побег, оторгнутый от вскормивших его корней и пустивший собственные корни, может надеяться только на собственную силу. Уходом из дому на частные углы он отторг себя от этих корней, и все же была, оставалась между ним и родителями тонкая капиллярная жилка, общий их кровоток, и, как бы ни истончилась со временем, никогда бы она не оборвалась сама по себе,—брат перерубил ее. С той поры, как вернулся из армии, он был женат уже по третьему разу, дочка его от первого брака, брошенная матерью точно так же, как она бросила и мужа, растилась бабушкой с дедушкой, их с Петром родителями, и еще растилась ими, тоже полностью жила у них и дочка от нынешнего его, третьего, брака. А брат, несмотря на подступающие тридцать лет, родивши двух детей, все продолжал ловить в жизни кайф, и точно такими же, одна к одной, оказывались все его жены. Слишком много свалилось на родителей в немолодом их, предпенсионном возрасте; маленькая жизнь—беспомощна, человека, взявшего опеку над ней, она забирает со всей его требухой, высасывает на себя все его соки, вычерпывает до дна, и родители утонули в них, в этих двух беспомощных жизнях, ушли в них с головой, по самую маковку, перестав замечать вокруг что-либо еще, и не было в том их вины, беда это их была, несчастье, что ни на что больше, кроме двух этих жизней, их теперь не хватало.

С ее же родителями все было так скверно, как только может быть в тех скверных анекдотах про тещу. Впрочем, не в теще было дело, а в тесте.

Тесть работал кузнецом на соседнем, громкой славы заводе, был так называемым знатным кузнецом, орденосцем, депутатом горсовета и оказался человеком властного и тяжелого нрава. Когда дочь его против его желания стала все-таки женой Петра, с неделю спустя, как получил известие об этом, он пригласил Петра в дом на мировую. Стол был накрыт будто на большой праздник, он так и ломился от множества всяких закусок, салатов, заливных, тесно уставивших его, а было еще и горячее, да не одно, а целых три перемены—жаркое, пельмени и плов. Лена, разгоряченная застольем, но более того своим новым положением взрослой, самостоятельной женщины, счастливо поглядывала по сторонам, на брата с женой, на сестру с мужем, на мать, на отца, и счастливая эта ее улыбка говорила: а я так и знала, что все устроится, и не сомневалась в этом. После третьего горячего тесть, встав из-за стола, поманил Петра паль-

цем, повел его в дальнюю комнату, служившую, должно быть, им с женой спальней, указал Петру на стул, а сам сел на кровать. «Значит, слушай, — сказал он. — Хочу сразу обозначить и чтобы никаких толковищ больше не возникало. Вошел к нам — будем жить. Инженер ты там или кто — это меня не касается. Я — тесть, ты — зять, вот, понял? И, значит, заплакали отсюда. Перво-наперво собирайте свои манатки и чтоб завтра же в доме здесь были, три комнаты у меня, одна ваша. Жить есть где, нечего по углам шарашиться, паутину сметать. Я это не люблю. Сын у меня и старшая вон тоже здесь начинали, сейчас свое имеют, а что со мной пережили — о том не жалеют. И вы не пожалеете. Я пригляжусь, как вы тут друг с другом, как они, десять лет между вами... и вы свое иметь будете. Это у меня железно. Я не хухры-мухры какой, мое имя в Политбюро знают. Я попрошу — значит, будет. Но уговор! Жить кулаком. Инженер ты или еще кто — это, я говорю, меня не касается. Я — тесть, ты — зять, вот. Один кулак, значит. Праздники пировать — вместе, дела — тоже вместе. Сад у меня, яблочки будешь есть, смороду, малинку, но и работы там: копать, удобрять, собирать — будь добр. Машина у меня, сдавай на права, будешь пользоваться. Нужно опять же повалиться под ней — будь добр, полежи. К рыбалке тебя приохочу, вон у меня другой зять — приохотился, за уши не оторвать, спасибо, говорит, батя, такую мне радость открыл. Понял меня, о чем речь?» «Ну и ну, ну и ну!» — думал Петр, слушая тестя. «Едва ли нам с Леной, — сказал он, — следует переезжать к вам. Я взрослый человек, у меня свое отношение к жизни... боюсь, нам будет трудно вместе. Понадобится моя помощь, в саду или с машиной, я не отказываюсь. Но так, чтобы это и мне было удобно. Вы тесть, я зять, но и не только». «Ладно, поерепенесь малость, — тяжело осев голосом, закончил тогда их разговор, поднимаясь с кровати, тесть. — Поерепенисься, поерепенисься да кланяться приходишь. Того не минешь».

И все эти годы никак он не мог примириться с тем, что Петр живет на особину, что, сколько ни пытался подмять его под себя, впрячь в свою жизненную упряжку, ничего не выходило, и устраивал время от времени беспричинные тяжелые, оскорбительные скандалы, после которых они с Петром не разговаривали, случалось, по полгода, а когда у него родился внук, жена его могла прибежать, потешкаться с этим внуком только украдкой от него. Теще хотелось открытого участия в сладкой возне с внучонком, но воля ее уже давно была сломлена мужниной, и она подбивала дочь уговорить Петра, чтобы он попросил отца о помощи. «Он сказал: попросят, так, конечно, отказу не будет», — передавала она слова мужа, не вполне, видимо, понимая их глубинный смысл и оттого не отдавая себе отчета в их дикости. Однако Лена тогда во всем еще брала сторону Петра, да и не имелось тогда им надобности просить тестя о какой-либо помощи. Маленький ребенок есть маленький ребенок — конечно, нелегко пришлось; но спал он — положишь, и не слышно его, грудь высасывал — капли потом из нее не выжмешь, в три месяца отдал в ясли — так только на двенадцатом месяце первый раз подхватил простуду, а в случае какой нужды всегда можно было надеяться на родителей, еще не ведавших о той беде, под которую вскоре придется подставить им свои плечи.

И вот выходило, что час настал, настала пора отбивать поклон. Придется просить тещу нянчиться с внучкой — и просить о том не ее, а тестя, к нему обращаться, с ним о том разговаривать. И не вообще попросить, а на каждый день просить заново; заново объясняться, заново описывать свои обстоятельства — заново, в общем, каждый день отбивать поклон, все больше ставя себя с каждым этим новым днем в положение зависимого...

И однако же Петр попытался устоять и тут. Хотя все складывалось, будто нарочно, самым худшим образом. Операция у жены прошла неудачно — остановить процесс не удалось, и через неделю ей сделали вторую операцию, а еще через неделю и третью. Справка, освобождавшая его от работы, больше ни от чего его не освобождала. Нужно было бегать на молочную кухню, выскакивать в магазины, а дочка по-прежнему не хотела знать ничего, кроме рук, и Петр, боясь, как бы она не накричала себе грыви, перестал водить сына в детсад, приспособив в няньки его: выскакивая из дома, сажал его на свою с женою кровать, клал ему на колени, заставляя обхватывать руками, запеленутую коконом его маленькую сест-

ричку, страшно было — ведь пятый годок всего няньке, вдруг встанет слуга, уронит... — но старался не думать о страшном, и обошлось.

Ничего, еще денек продержусь, еще денек, говорил он себе каждое утро и продержался всю больницу жены.

Но когда она пришла домой и он увидел ее, бледную, будто насквозь просвечивающую, он понял, что час настал. Невозможно было оставлять ее дома одну, за нею самой еще нужно было ухаживать, куда ей нянчиться с их дочкой.

...Телефонным разговором тесть не удовольствовался, заставил прийти для разговора к нему домой и заставил подробно рассказать обо всех обстоятельствах, в которых они оказались, и при этом, получив ответ, тут же повторял его Петру в лицо: «Ясно. Значит, тебе на работу пора, деньги зарабатывать. Без денег нельзя, конечно. У нас не родовой строй, у нас высшая форма». Петра, когда вышел от него на улицу, буквально мутило. «Не родовой строй, — крутилась у него в голове фраза тестя. — Высшая форма!..»

Но тут этого он ждал, шел — и знал, что его ожидает; того, чем его встретила работа, он не ожидал.

Работа встретила его выговором. Выговор появился все на той же доске приказов, в специально ему посвященном приказе, и объявлялся ему за неисполнение возложенного на него задания к назначенному сроку. в результате чего, как говорилось в приказе, были сорваны технологические условия выполнения ответственного заказа.

— Так ведь ты же не предупредил, что пробудешь столько на своей справке, не попросил передать другому, — сказал ему Серомазов, когда Петр пришел к бывшему своему подопечному требовать объяснения.

Первое желание было — пойти в профком, просить заступиться, опротестовать приказ. Приказ был противозаконный, это Серомазов, он, он и никто кроме, должен был позаботиться о том, чтобы передать задание кому-то другому, раз исполнитель отсутствует на работе и неизвестно, когда выйдет, того от него требовали прямые его обязанности начальника сектора.

Но куда Петр не пошел, не стал ничего опротестовывать, подергался, подергался внутренне — и этим все кончилось. Он вдруг обнаружил, что нет у него сил ни на какие подобные действия. Нет совершенно, нет даже на то, чтобы перемочь, заставить себя пойти — а там бы уже дело поехало, покатилося само собой, собственной тяжестью; а, не все ли равно, наплевать, пусть их! — опустошенно стояло в груди, и в опустошенности этой было облегчение.

К лету он имел еще один выговор — «за систематическое нарушение трудовой дисциплины», — и этот уже невозможно даже было опротестовать. Потому что действительно «нарушал»: уж раз-то в неделю, а то и не один обязательно опаздывал к началу работы, то на пять минут, а то и на все пятнадцать, и никак не получалось без опозданий: вроде прибежишь на молочную кухню с запасом времени, да порядочным, а там вдруг затор какой-то, остановка, принесся домой — надо еще сына в детсад, а он без тебя не собрался...

И снова грудь просквозило той облегчающей опустошенностью: а, наплевать, пусть их! — срок, отпущенный себе на испытание, был незыблем, не подлежал пересмотру, он будто обозначил в нем некий центр, отсчитывающий все остальное в его жизни от него, от этого центра, главное было — выстоять, продержаться намеченное, показать и м, с выговором он ничего не мог поделаться, и, выходит, следовало принять его как нечто неизбежное, как должное, чтобы душа не отягощалась попусту. Хватало другого, что отягощало ее. Долговая трясина разверзлась под ним. Он уже начал тонуть в ней, знал, что тонет, чувствовал, как уходит, теряя опору, в вязкую пустоту ноги, и ничего не мог поделаться — погрузался все глубже и глубже.

Ему казалось раньше, что на сто сорок его рублей, как бы то ни оказалось трудно, прожить четвером будет можно. Экономить на всем, не давать себе слабину — и будет можно. И даже зимой еще, когда зарпла-

ты его уже не стало хватать, объяснял себе это не чем иным, как неэкономностью; теперь же стало окончательно ясно: экономь, не экономь — никак не хватит, и не хватит крепко.

У дочки обнаружилось отставание в мышечном развитии, катастрофическое какое-то, угрожающее отставание — все результат тех первых секунд после появления ее на свет, — врач категорически приказала делать массаж, но назначить массажистку могла только на десять сеансов, через день, а делать нужно было и месяц, и другой, и третий — пока мышцы не укрепятся, — и не через день, а ежедневно. «Сами с нею договоритесь, когда придет», — сказала врач, заканчивая свое объяснение.

Массажистка брала по три рубля за сеанс, сеансы длились третий месяц, и конца им пока видно не было. Долг Петра достиг уже астрономической суммы без малого в пятьсот рублей, и он не представлял, как возвращать его. Никто вокруг денег ему уже не ссуживал — не у кого было ссуживаться, у всех занято; да настала пора отдавать занятое, и из пяти-сот этих рублей четыреста были им взяты в кассе взаимопомощи. Ими он и рассчитался со своими кредиторами, но денег сверх зарплаты требовалось еще и еще, теперь пришлось одалживаться по приятельницам и Лене, — и последнее время Петр метался в поисках приработка.

Он уже попробовал прирабатывать грузчиком в магазине и разносчиком телеграмм на почте, но оказалось, что грузчик и разносчик — это в равной степени не то, что нужно. Работа грузчика требовала непрерывных мускульных усилий всего тела, работа разносчика — лишь быстрых и крепких ног, но и та и другая одинаково оплачивались не по затраченным усилиям, а по отданному им времени. Получалось, что он приходил с одной работы и убежал на другую. И так каждый вечер, изо дня в день, а дом между тем нуждался в его присутствии, задыхался без его помощи, теща тещей — приходила, нянчилась, да ведь приходила лишь, не жила, и случалось, вернувшись с завода, уже не заставал ее. Нужен был приработок в полном смысле этого слова, что-то вроде того, чем занималась массажистка, заскакивая на пятнадцать минут и получая за них три рубля, нужно было дело, которое требовало бы от него не столько времени, сколько его профессиональных знаний и опыта, его квалификации. Но ведь он не был массажистом, кому это нужны были его профессиональные услуги «на дому»; разве что репетиторство возможно... только репетиторство, больше ничего не придумаешь, но где, как их найти, этих студентов или кого там еще, кто нуждается в его опыте? Пойти к институту и развесить там объявления: такой-то такой-то консультирует по основам технологии механообрабатывающего производства? Бред! По математике, по физике, по химии — это понятно, но кому нужны репетиторы по технологии механообработки?

С неделю спустя после приказа, в котором ему вняли новый выговор, Петру сообщили, что он включен в список отправляемых на шефскую помощь в совхоз.

Раннелетние выезды в совхоз бывали обычно малолюдны — по два, по три человека от отдела, не больше, так было и нынче — всего три человека, и один из них — он. Внешне все выглядело пристойно: последний раз он ездил в совхоз в год своей женитьбы, шесть почти лет назад, большой перерыв, нечего и говорить, кого вроде и направлять, как не его. Но на деле внесение его имени в списки было нарушением никем никогда не вводимого, негласного и тем не менее всегда с автоматической непреложностью работавшего правила: направлять в совхоз прежде всего одинокую молодежь и, уж если только не удастся наскрести молодежи, привлекать других, однако в любом случае не трогать при этом тех, у кого маленькие дети.

У жены, когда он сообщил ей полученную им новость, вдруг сделалось тяжелое, замкнуто-отчужденное лицо. Дело было за ужином, сын только что доскреб свою кашу и убежал к соседям смотреть по телевизору «Спокойной ночи, малыши», они остались за столом вдвоем, он показывал лежащую у него на сгибе локтя дочь, свободной рукой нося ко рту чашку с чаем и откусывая от бутерброда, жена как раз взяла чайник, чтобы налить себе, — и поставила обратно на стол, и вместо того, чтобы ответить ему что-то, наоборот, поджала губы, будто специально удерживая слова, которые рвались с них, оплеснула его долгим, мрачно-холодным,

словно бы презрительным взглядом, посидела-посидела, глядя теперь куда-то мимо него, встала, собрала грязные тарелки и вышла из комнаты. Вернулась все так же молча, все с этими же поджатыми губами, подошла к столу, переставила, поменяв местами, чайник с сахарницей, потом сахарницу с хлебницей, снова с этой же холодной, презрительной мрачностью взглянула на Петра, отошла от стола и села на стул у кровати сына, уже уволоченный сыном туда — как недвусмысленный намек отцу на ожидаемую им предночную сказку.

— Здорово! — сказала она оттуда. — Замечательно! У всех так, а у моего мужа всегда все не этак! Все в ботинках, а он босиком! Все в машине, а он пешком! Ты что, никак не можешь отказаться? Никак, да? Я тут одна должна, да?!

— Почему одна? — проговорил Петр. Он знал, что жена расстроится от его известия, оттого и тянул с ним, все ждал какого-нибудь подходящего момента и вот, когда сын ушел, решил, что другого лучшего момента не будет. Но того, что реакция ее окажется столь бурной, он не ожидал. — Все-таки мать твоя сейчас приходит... ну, немного побольше придется. И ты сама сейчас, слава богу...

— Как ты меня обманул! — не дослушав, перебила она его. — Как обманул! А я-то надеялась... Такой серьезный всегда был, такой загадочный!

— Ты о чем? В чем я тебя обманул? — потерявшись, отозвался Петр. Он не понял, в каком обмане она обвиняет его. — Ты не думала, что меня пошлют? Так я и сам не думал. Но отказаться я не могу, сколько уже не ездил все-таки... Уж две-то недели как-нибудь...

Вот сейчас он ее обманывал. Потому что вовсе не потому он не мог отказаться, что давно не ездил, а потому, что отказываться было бесполезно. Напрочь бесполезно, она лишь не знала этого. Для того его и воткнули в шефские списки, чтобы он встал на дыбы, заартачился, и если возьмет и не поедет, ссамовольничает — влупить еще один выговор, третий, а три выговора — это, кажется, можно уже и по статье увольнять... И не две положенные недели могут продержат его там, а полный месяц — все для того же, все с той же целью, — тут он тоже ее обманывал. Но уж коли с самого начала, оберегая ее от ненужных эмоций, он ничего не сказал ей и она ничего не ведала ни о каких выговорах, так не говорить же все это было сейчас...

— Ох, как ты меня обманул! — видимо, не обратив никакого внимания на все его слова, сидя с зажатыми между коленями руками, качая головой, протянула жена, и до Петра дошло, что обман, в котором она его обвиняет, если и имеет отношение к сегодняшней новости, то весьма не прямое. — Какая я дура была, какая глупенькая! Серьезный всегда такой... загадочный! Я думала, он главным инженером станет, не меньше, я буду идти, а у меня за спиной будут шептаться: жена главного инженера, жена главного инженера... а он даже старшим инженером не может стать... пентюх какой-то!

Петр вспомнил: та женщина по имени Алла, когда еще не была его любовницей, в вечер их совместного дежурства в парке, с которого все у них и началось, тоже назвала его загадочным...

И еще вспомнил: «как облупленного», сказала тогда, исповедуясь в своем парковом приключении, жена, и эти слова как отломались от всех остальных, сказанных ею, и будто колом встали в нем, и долго стояли так, не давая расти его насильно вскармливаемому чувству к ней. Потом они истлели от времени, рассыпались в прах; но та, что сказала тогда «как облупленного», исчезнувшая было, теперь все чаще и чаще высывалась из нее: «Пентюх какой-то!»

— Лена! — сказал он. Она сидела там на стуле, глядя куда-то мимо него, а ему хотелось видеть ее глаза. — Лена! — снова позвал он, и она отозвалась — глянула на него, и в этих ее оттянутых к вискам, словно бы стрекозьих глазах он увидел все ту же лишь мрачно-холодную презрительность. Давно он уже не видел в них того восторженно-покорного света, которым горели они тогда в совхозе. — Лена! — сказал он все же еще раз, стараясь, чтобы вышло ласково, перехватил дочку, взяв обеими руками, поднялся и подошел к жене. — Что за чепуху ты несешь? При чем

здесь главный инженер? Я вовсе не хотел никогда никакой карьеры, мне это не важно было, и ты это знала. При чем здесь главный инженер?!

— При том! — закричала она. — При том, не ясно?! Мне надоело! Понятно? Не жизнь, а подполье какое-то, ожидание жизни! А я хочу жить, жить! — Она взмахнула рукой и топнула ногой. — Наслаждаться жизнью, платья себе покупать, на машине кататься, счастливой себя чувствовать! Дал ты мне это? Над чулками трясись, чтоб не порвались, юбка одна, блузка одна, у меня даже трусов нету нормальных! А ты со своим «я» все носишься как с писаной торбой, невинность блюдешь, чего тебе делать с ней?! С отцом, поглядите на него, жить он не захотел. Где ты таких родителей сейчас видел, чтобы с детьми жить хотели? А у него, видите ли, свое представление о жизни! У отца — свое, так он все имеет от него. А чего тебе твое? Шиш без масла! Телевизора даже собственного не имеешь! А я молодая, я не старуха, я жить хочу, жить а не в подполье сидеть, пентюх такой!..

Дочь на руках у Петра, когда жена закричала, судорожно, непомерно крупно для маленького ее тельца вздрогнула, вздрогнула и тут же заплакала, во весь голос, отчаянно и несчастно, Петр стоял перед женой, качал дочь, пытаясь ее успокоить, и успокоить никак не мог. Было б и странно, если бы успокоил, — жена, не обращая внимания на плач дочки, продолжала и продолжала кричать, пока не выкричалась, пока из нее не вышлестнулось все до самого дна. «Пентюх такой!» — выкрикнула она и, вскочив, выхватила дочь у Петра из рук:

— Дай сюда! Ребенок ревет, а он с ним как с куклой. Отцом надо быть! Даже тут не можешь!

Это-то уж было совсем несправедливо, но Петр не ответил жене. Он вышел из комнаты, неслушающейся, просившей дать ей полную волю, дрожащей рукой осторожно, тихо закрыл дверь и прислонился к коридорной стене. Вон оно что было в жене, вон что переполняло ее, переполняло-переполняло и выхлестнуло, вон что! И теперь жить дальше, уже зная все это... жить дальше, конечно: судьба выбрана, и на другие варианты нет уже ни запаса времени, ни сил... А ко всему тому ведь не очень уж она и не права в своих словах, наоборот, во многом даже права по своему, права — вот что ужасно-то!..

Открылась дверь соседской комнаты, в коридор вылетели звуки колыбельной песни, которой заканчивалась вечерняя детская передача, и с деловитым выражением хорошо исполненной работы на лице появился сын.

— Па-ап! — увидел он Петра у стены и остановился удивленно. — Ты что тут?

Петр наклонился, подхватил его под мышки, подбросил к потолку, поймал ойкнувшего от восторга и тесно, сильно прижал к себе, вдыхая родной, чудный, единственный его запах. Когда-то в городе на берегу Тихого океана, привязавшись из любви к женщине к двум маленьким мальчикам, он думал, что это в конце концов неважно для мужчины — чьи детские голоса оглашают своими звуками твой дом, собственных детей или нет. А оказывается, как еще важно.

— Тебя ждал, — сказал он сыну. — Соскучился по тебе.

— И я по тебе, — живо отозвался сын и изо всех своих детских силенок, обхватив за шею, прижал голову Петра к себе — показал, как соскучился.

Глазам у Петра сделалось горячо. Сын был ласковым, тонким, ранимым мальчиком, глядя на него, Петр узнавал в нем далекого, забытого маленького себя и, узнавая, не понимая почему, пугался того: неужели его повторение?

— Ах ты, милый мой! — выговорил он, чувствуя, как стискиваются, помимо воли, от неведомой силы зубы.

Глава шестая

1

Когда Петр вернулся из совхоза, семьи дома он не застал. Жена перебралась к своим родителям. «Ты как хочешь, а нам лучше там», — было написано в оставленной ею на столе записке.

Ничего другого, как последовать за нею, Петру не оставалось.

Теперь по утрам сидели с тестем за одним столом, и тесть, работая вилкой, говорил: «Что, хорош судачок? Вот то-то! Это тебе не скумбрия магазинная, тухломороженая. Это самоличная, своими руками... вот последний раз им кормлю, раз ездить не хочешь. Думаешь, только одно удовольствие — ловить? Сколько труда вложить надо, прежде чем до стола дойдет!»

Петр готов был уйти из дома голодным, ничего не есть, но это вышло бы совсем скандально, если б не стал завтракать или отказался бы от рыбы тестя, и приходилось терпеть. И теперь жена уже не заступалась за него, как в первую пору их жизни, хотя сама же и была бы против его поездки на рыбалку, начни он действительно собираться на нее, — потому что тогда его бы не было дома и субботу, и воскресенье и субботне-воскресные его домашние обязанности легли бы на нее.

По вечерам за ужином тесть принуждал Петра обсуждать с ним прочитанные в газетах международные и спортивные новости. «А американцы все же, гляди, наглецы какие, — хлебая чай из большой, пол-литровой чашки, говорил он, — вся мировая общественность протестует, а им хоть бы хны, изготовляют свою нейтронную бомбу, и все! Говорят, гуманное оружие, гляди! Ну, мы им в газете хорошо так сегодня влупили: гуманного оружия не бывает. А? И все, пусть попляшут теперь: не бывает! Что теперь скажут?.. «Жальгирис», гляди, как прет, — говорил он минутой спустя, — прет и прет, никто его остановить не может. Пять-ноль выиграли. четыре-один, пять-два! Какая команда, а? Бомбят всех, никто против них не может!» Обсуждение состояло обычно из его монологов и заключалось в пересказе прочитанных им новостей своими словами. Внутренняя жизнь его не интересовала, и все эти многочисленные статьи, корреспонденции о борьбе за план, за качество, очерки «о хороших людях», как помечали газеты рядом с заголовком шрифтом помельче, он не читал. «А, — говорил он, — не знаю я, как это делается! Сколько обо мне написали. Придет, поспрошает, что намелю, — из того и печет».

Приходилось теперь ходить с тестем и в гараж. Тесть любил свой «Москвичок» тяжелой, ревнивой любовью и все делал с ним сам. никого не мог допустить до возни с ним, и Петр нужен был ему в гараже, чтобы обставить эту любовь особым комфортом и изыском. Он лежал на коврик под выкаченной на улице машиной, выставив наружу ноги, Петр должен был топтаться рядом, возле развернутой брезентовой сумки с инструментами, приседая, заглядывая под днище. «Ключ мне там, вынут который, дай-ка! — приказывал из-под машины тесть, Петр брал вынутый из своего гнезда, лежащий поверх остальных ключ, вкладывал его в протянутую руку тестя, рука исчезала и через некоторое время появлялась вновь. — Ты какой мне дал? — говорил тесть и бросал ключ на асфальт. — Мне тут шестнадцатый нужен, он там что, не лежит, что ли?»

И в сад теперь приходилось ездить — невозможно было не ездить, живя вместе и видя, как тесть готовит корзины: «Смороду нынче я пропахал — будь здоров, подкормил ее, опрыскал, обрезку сделал, уродила — ветки на земле лежат. Замучаешься собирать сейчас».

Но материально, конечно, сразу стало легче; доходы остались — все те же сто сорок рублей, да стол был один, и нехватку денег компенсировали деньги тестя. На пенсию тестю можно было бы уйти еще два года назад, в пятьдесят пять лет, но здоровья у него пока хватало, он не уходил и зарабатывал больше Петра чуть не в три раза. «Я тебе с самого начала обещал: поерепенишься — и придешь, куда денешься. Я рабочий, на моем хребту вся пирамида стоит, меня без ломтя никогда не оставят. А ты что — интеллигент! Вас развелось — скоро отстрел объявлять будут. Что вы без рабочего? Пустое место, больше ничего. Я всегда нужен буду, а без вас и обойтись можно», — теперь Петру приходилось выслушивать и такие откровения. И не мог послать тестя куда подальше, как просилось, не было у него права на это — кормился от его ломтя, щипал от него... как убогий какой, калека беспомощный.

Временами его просто душило от ненависти к себе: калека беспомощный, интеллигент паршивый, не можешь семью прокормить, не грош тебе цена, а и еще меньше!..

Но выхода из того положения, в которое попал, он не видел.

Приработок свалился на Петра, когда он уже совсем отчаялся найти его, и пришел с такой стороны, откуда Петр никак его не ждал.

— Слушай, сфинкс, — подошел в столовой, подсел к нему за столик Балахнычев. С того памятного дежурства в парке, назвав случайно Петра сфинксом, так все эти годы он к нему и обращался. — Ты ведь вообще механик по образованию?

— Механик, — согласился Петр.

— Деньги заработать хочешь ни за что ни про что?

— Как это? — Петр насторожился. При слове «деньги» последнюю пору все в нем внутри словно бы делало стойку.

— Да есть тут тип один. — Балахнычев похмыкал. — Я не знаю его, тут понимаешь... в общем, по механике его поднатаскать надо. Взрослый мужик, при должности, что-то там с механикой связано... а он вроде как ни бум-бум. Можешь взяться? Раз или два в неделю, по два часа, за занятие пятнадцать рублей. По-моему, отличное условие. Был бы механиком, сам бы взялся. У него мать зубной техник, ее, видимо, деньги, она и ищет — позвонила вот...

Петр согласился не раздумывая.

«Типа» звали Львом Ефимовичем, он был моложе Петра на два года и заведовал лабораторией роботизации в отделе главного технолога на том самом громкой славы заводе, на котором работал и тесть Петра.

— Что, собственно, нужно, Петр Григорьевич, — усадив Петра в кресло возле тяжелого, массивного журнального стола на крепких ножках, разлив кофе по чашкам и сев в кресло напротив, сказал он, когда Петр впервые пришел к нему. — Мне нужны консультации. Подчеркиваю: консультации. Понимаете? Буду откровенен, а иначе и нельзя при том, что я хочу: я молодой руководитель, дело новое, я не во всем еще ориентируюсь, а мне нужно принимать решения, нести ответственность... и ошибиться я бы не хотел. Я по образованию химик, физический химик, а так получилось, что работать стал по другому профилю... роботы, вы понимаете, — это комплекс технических дисциплин, досконально разбираться во всем невозможно да и необязательно, электронная сторона, скажем, меня не волнует, есть специалисты, пускай обеспечивают, а вот механическая сторона... кинематика, динамика... ну, и так далее, вы понимаете, тут мне нужно разбираться, давать оценку...

Говоря все это, он волновался, потирал руки, грел их над поднимающимся от чашки паром, хотя в квартире у него холодно вовсе не было.

Ничего себе, думал Петр, слушая его. Возглавлять лабораторию роботизации и ничего не смыслить в механике... Впрочем, удивление его было не очень сильным. Лет пять-шесть назад — вот тогда бы он был потрясен, а сейчас — так, хмыкнул про себя, усмехнулся — «ничего себе!» — и все, не более того.

— Вот я тут, чтобы времени не терять, занялся уже в какой-то мере самообразованием, — протянул Лев Ефимович Петру книжечку. — Как вы ее с этой точки зрения оцените?

Петр взял книгу. «Н. А. Ковалев. «Теория механизмов и деталей машин» — стояло, вытисненное синим и черным, на унылом серо-зеленом бумажном переплете. Два больших, бездонных самостоятельных курса были объединены в один, и уже по одному этому можно было заключить, что книга, должно быть, содержала самые общие, поверхностные сведения. Но все же он быстро пролистнул ее, заглянул в оглавление. Да, так и было — самые общие сведения, учебник для немашиностроительных специальностей, ни для какого самообразования это не годилось, ликбезовское пособие, не более того.

— Не сложно написано? — спросил он. — Все понимаете?

— Вот, к сожалению, — развел руками Лев Ефимович, — то-то и оно...

У него было круглое улыбчивое лицо с постоянно державшимся на нем уступчиво-предупредительным выражением, и во всем его поведении, в манерах его и речи сквозила словно бы какая беспомощность, беззащитность, но внутри под этим ясно угадывалась совершенно железная твердость и желаний, и целей.

— Давайте, может быть так, — предложил Петр, — теорию вместе с практикой? Вы мне показываете вашу документацию, чертежи, мы вместе разбираем, и по ходу я вам все это комментирую.

— Да-да, очень хорошо, — согласно подхватил Лев Ефимович. — Именно об этом я вас и хотел просить. Ведь я сказал: консультации. Такой практический разбор с теоретическим подкладом...

Он разложил на столе перед Петром листы синьки, ватмана, миллиметровки, стал разъяснять задачи техзадания, Петр смотрел на все это, пытался вникнуть, — и чувствовал, что одними приходами сюда дело не обойдется, не так легко дадутся ему в руки его деньги: надо брать все это с собой, хорошенько разобраться, проползти по каждому чертежу, по каждой странице описаний, а иначе никаких консультаций не выйдет. Два часа здесь, с ним, да плюс к этим двум часам шесть — восемь дома. Если не больше.

Но на кое-какие вопросы своего подшефного он все же сумел ответить, сумел ухватить и объяснить ему некоторые из принципов, которые были заложены в проектируемую линию, растолковал кое-что из теории, — и так минуло не два, а полные три часа. Лев Ефимович, пересев на стул рядом, держал перед собой на столе блокнот и аккуратным, ясным почерком записывал в него все разъяснения Петра. «Как вам удобнее, Петр Григорьевич, — спросил он, когда наконец поднялись из-за стола, — сразу за встречу или по понедельно, помесечно?» «Лучше сразу», — чувствуя, что краснеет, сказал Петр. Покраснел он оттого, что так явно, так неприкрыто обнаружил перед подшефным свою нужду: только голоштанник не в состоянии дожидаться, когда набегит какая-то круглая сумма. «Вот вам двадцать два пятьдесят, — достав портмоне, отсчитал деньги Лев Ефимович. Ровно пятидесяти копеек не нашлось, и он дал пятьдесят пять. — Мы три часа с вами проговорили, так что, я полагаю, именно так будет справедливо, не отказывайтесь».

Петр ехал домой и всю дорогу ощущал на левой ноге сквозь грубую материю кармана никогда прежде не замечаемую тяжесть кошелька. Если два раза в неделю по три часа, подсчитывал он, это за неделю пятьдесят рублей, за месяц, если считать в месяце четыре недели, двести рублей... ого! Он взглядывал на толстую, разбухло-округлую картонную папку у себя в руках, которую вез домой от своего подшефного, и работа, что предстояла дома, уже не пугала его. Ха, да за двести-то рублей, возбужденно говорил он сам себе, да за эти деньги можно и попотеть...

3

Следующие две встречи тоже продолжались по три часа. Лев Ефимович всякий раз варил к приходу Петра кофе, и, работая, они прихлебывали из чашек, и это придавало их встречам оттенок некоего товарищества, такого дружеско-делового общения. Единственно, что заканчивались они доставанием кошельков, и вот этот момент по-прежнему был труден Петру, он ощущал себя каким-то вымогателем, каким-то грязным, нечистоплотным, брал деньги и всякий раз помимо воли начинал с суетливостью говорить что-нибудь шутливым тоном — чепуху какую-нибудь, бессмыслицу, полную ахицею.

Но еще двумя следующими встречами Лев Ефимович вернул себе почти все, что потратил сверхпланово во время встреч предыдущих. Прихлебывая кофе, вдруг начал выпрашивать Петра о вещах, совершенно не касающихся дела, — о том, что он думает насчет рыночных отношений при социализме, как оценивает прекращение экономической реформы шестидесяти годов, — разговор соскочил с рельсов, по которым ему было назначено катиться, и больше не встал на них, хотя просидели так еще часа полтора; и вот когда поднялись и стали рассчитывать, Лев Ефимович, задержав на мгновение руку в портмоне, сказал, глядя на Петра с покорной виноватостью: «Мы с вами сегодня только час уделили нашей проблеме, остальное время просто беседовали, значит с меня семь пятьдесят». «Ну да, конечно», — растерявшись, согласился Петр. То же повторилось и в новую встречу, и Петр после нее, кляня себя, дал себе слово больше не ввязываться в эти сторонние разговоры. какого черта, да лучше бы он

эти часы отдал тестю, на сад-огород его или гараж. — тестю он вроде как должен; но своему-то подшефному, ему он разве должен за что-нибудь?!

Однако его подшефному, видимо, не только для дела нужны были их встречи. Он жил один в однокомнатной своей кооперативной квартире, и, видимо, полезное ему хотелось соединить с приятным: и получить консультацию, и расслабиться в непритязательной, ни к чему не обязывающей беседе о том о сем, обо всем понемногу, — как Петр во все последующие встречи ни пытался удержаться в рамках своих обязанностей, всякий раз Лев Ефимович каким-нибудь образом принуждал его выйти за них.

Разговаривали о возможностях деформации в одном из элементов линии, Петр помянул о таком свойстве любых материалов, как ползучесть, привел пример с древнегреческими колесницами, которые из-за слабости их колес, превращавшихся без движения в эллипс, приходилось ежевечерне запрокидывать колесами вверх, а то и совсем снимать колеса, что нашло отражение в древнегреческих мифах, где боги по утрам прилаживают колеса к своим колесницам, и Лев Ефимович, возбужденно оживившись, перебил его: «А, кстати, действительно интересная вещь, Петр Григорьевич: мы говорим, мифы, предания, легенды, а как кто-нибудь начнет досконально проверять, оказывается — все правда, все так и было. Вот как с Троей, которую Шлиман нашел. Что вы по этому поводу думаете? Может быть, и в самом деле существовали какие-то люди... ну, я не знаю, чело-векообразные существа более высокой организации, которые жили на Олимпе, а?» «Да ну кто же теперь на этот вопрос может ответить? — попробовал увернуться от заброшенного крючка Петр. — А вот насчет слабости этого места...» — ткнул он карандашом в чертеж, но Лев Ефимович снова перебил его: «Нет-нет, Петр Григорьевич, вы не увильвайте, я вас прошу, меня данный вопрос очень интересует, как, по вашему мнению, — обитание Олимпа, оно как-то могло быть связано с погибнувшей Атлантидой, скажем?»

И пришлось все-таки обсуждать с ним все эти пустопорожние гипотезы об Атлантиде, была она или не была, выдумка это или нет, с Атлантиды разговор перескочил на космических пришельцев, будто бы оставивших в глубокой древности свои следы на Земле в виде гигантских базальтовых платформ, и к делу уже, конечно, не вернулись, и за тот час, что прозанимались этой бредятиной, подшефный его, конечно, не заплатил.

— А у меня вам небольшой сюрприз, Петр Григорьевич, — с таинственным видом говорил он в другой раз, встречая Петра и помогая ему раздеться. — Помните, мы с вами о Рихтере разговаривали и я еще сказал, что у меня одно из неизгладимых впечатлений юности — «Картинки с выставки» Мусоргского в его исполнении? Два концерта он давал у нас, и мама мне билет достала. Так вот, представьте, захожу сегодня в магазин — Мусоргский, «Картинки с выставки», исполнение Рихтера, и запись, представьте, тех самых лет, старая, пятьдесят восьмого года! — Прибывая Петра за талию, он вводил его в комнату, а там, на специальной, с узкими вертикальными полочками для пластинок, темного дерева лакированной тумбочке уже горела красным окошечком, потрескивала в динамиках, висевших на разных стенах комнаты, чтобы создавался эффект объемного звучания, блестя хромированными частями и благородно серебрясь белым металлом отделки, машина проигрывателя, «Картинки с выставки» стояли на диске, и оставалось только, нажав на кнопку пуска, опустить иглу звукоснимателя на пластинку. — Я еще сам не слушал, — продолжал говорить Лев Ефимович, оставляя Петра и направляясь к проигрывателю, — специально вас ждал, чтобы вместе. Садитесь в кресло, располагайтесь. Это Рихтер пятидесятых годов, самый его расцвет, это историческая запись!»

Он запускал проигрыватель, садился в другое кресло, откидывал голову назад, закрывал глаза, приготавливаясь к первым звукам, и Петру опять не оставалось ничего другого, как сидеть и слушать музыку вместе с ним.

Время от времени в подобных случаях он пытался быть твердым, не допустить, чтобы получалось по воле его подшефного, и всякий раз без исключения напарывался на тяжелую, какую-то готовую сорваться в ссору обиду: «Петр Григорьевич, я только испытывал со своей стороны потребность как-то расцветить наши встречи, сдобрить их... но если вы по-

лагаете, что это лишнее — пожалуйста, я могу и кофе не варить, не вводить себя в расходы... да в конце концов что, вы вообще свободны, вы можете в любую минуту разорвать наши отношения, если вам не по душе... пожалуйста!»

Но Петр не мог их разорвать. Хотя никаких двухсот рублей в месяц, как он размечтался сначала, не выходило, и не выходило даже ста двадцати, как бы должно было, если бы два раза в неделю по два часа, шестьдесят, семьдесят пять — вот сколько выходило на деле, те самые, можно считать, деньги, что ему прибавились бы, дай ему на заводе старшего инженера; но и эта сумма была для него большой, да не просто большой — громадной, и он не мог от нее отказаться. Теперь денег, что он приносил домой, хватало хотя бы на еду, и это давало ему в его отношениях с тестем пусть относительную, но волю.

Мало-помалу до него дошло, что эти не имеющие отношения к предмету их встреч, расслабленные разговоры о том о сем, обо всем понемногу, совместное слушание пластинок, любование новым альбомом по живописи и тому подобное — все это на самом-то деле было изначально заложено в программу встреч и оплачивалось ему вкуче с его консультациями, только без объявления того.

До него дошло это — и ему враз сделалось легче; он больше не тратил сил на сопротивление своему подшефному, не напрягался попусту перед каждой новой встречей, не изводился напрасно тратой времени в пору самих встреч, он как бы отстранился от самого себя, глядел на себя словно бы со стороны и посмеивался. Может быть, правда, следовало отплатить Льву Ефимовичу его же монетой, ответить на примененную хитрость подобной: поменьше сидеть над его бумагами дома, не вникать в них до мелочей, приходить на встречу не с полной торбой ответов и советов, а с наполненной лишь наполовину, оставляя заполнение половины другой на время консультации, — но он был в состоянии только представить себе это, а сделать так, хитрить таким образом — не мог. Не мог переступить в себе через что-то, что было сильнее его, не зависело от него, было в нем и ему не подчинялось.

И он готовился к встречам, выкладываясь всякий раз до конца, до дна, снова, как в пору после возвращения из советского Сан-Франциско, который давно уже никто и нигде так больше не называл, носил из библиотеки целыми охапками книги, специальные журналы, рылся в них, искал нужное, делал выписки...

А и увлекся еще. Каждый эскиз, каждое описание, что приносил ему для консультации Лев Ефимович, открывали ему словно бы некую неведомую землю, которую надлежало исследовать и дать ей название, он чувствовал себя землепроходцем, кем-то вроде Дежнева, Хабарова, Беринга, — было интересно, и он был не в силах противостоять натиску все более и более разгоравшегося в нем азарта. Хотелось понять и то и это, вставить в конструкцию такой элемент и вот еще такой — много больше хотелось, чем нужно от него было подшефному. Лев Ефимович уже осаживал его: «А это-то еще зачем, Петр Григорьевич? Ну уж, извините меня, это вот, были бы вы на моем месте, тогда бы и пробовали, а мне не нужно».

Иногда, время от времени, на работе у него раздавались звонки от матери подшефного. Найдя сыну консультанта и исправно снабжая сына деньгами для расчета с ним, она вовсе не полагала свою роль в этом деле исчерпанной. Судя по всему, наоборот: роль эта теперь представлялась ей важной более прежнего, потому что теперь на ней лежала обязанность контролировать консультанта и вдохновлять его. «Миленький Петр Григорьевич? — позвонив и попросив его к телефону, так она начинала каждый свой разговор. — Что ваша жизнь, как ваша прелестная жена, как ваши славные детки?» Ни жены, ни детей Петра она не видела, только знала о них от него, и Петр отвечал всякий раз одинаково: «Все так же прелестна, все так же славны, а жизнь моя — в ваших руках». Она смеялась понимающе и, посмеявшись немного, осведомлялась: «А как ваши дела с Левочкой? Я тут с ним разговаривала, он мне сказал, что они к новой линии приступают. Там у них что-то с каркасом табурета связано было, а теперь — обработки и сборки какого-то фланца, что-то, он говорит, совсем-совсем другое... Что там такое, вы можете мне объяснить? — Петр объяснял,

и мать его подшефного с тревогой спрашивала: — Но вам это все посильно — помочь Левочке, Петр Григорьевич? Какая беда, какая беда, что он совсем не по профилю! Но что делать, если такая возможность — стать руководящим работником, вы понимаете? Разве можно упускать такую возможность, скажите? Молодой человек должен чувствовать себя престижно в жизни». «Посильно помочь, посильно, не беспокойтесь, — успокаивал ее Петр, не отвечая на остальные ее вопросы. — Ничего ужасно сложного там нет». «Ой, Левочка все на ходу схватит, — убеждающе говорила мать, — вы ему только объясните пояснее. Он очень способный. Очень способный».

Как она выглядит, Петр не имел понятия, но по ее одышливому голосу в телефонной трубке и интонациям, с которыми она говорила, ему представлялось, что она рыхло-толста, с каменно-надменным обычно выражением лица и всегда с ярко накрашенными губами. Порой ему казалось даже, что она еще сильно высинивает веки. Прощаясь, всякий раз она просила его: «Только Левочке, Петр Григорьевич, не говорите, что я звонила. Я вас умоляю просто! Он не любит, сердиться будет. Я вас умоляю!» «Да-да, хорошо, конечно», — всякий же раз одно и то же отвечал Петр и, кладя трубку, не мог удержаться от иронически-печального хмыка. Эти телефонные разговоры напоминали ему ситуацию из «Клима Самгина». Только у Горького мать нанимала для мужающего Клима женщину и платила ей за то, что та спала с ним. И еще эта спавшая с Климом женщина нисколько не увлеклась им, а он, выходит, как говорится, в л и п.

Он влип, осознавал, что влип, — и ничего не мог поделать с собой. Выписывал книги по обемному фонду, полез в электронику...

За этой новой рабочей жизнью вне основной работы, которая больше не могла ему дать ничего подобного, отсекал ему к подобному все пути, за домашней своей непрекращающейся баталией он как-то и забыл, что работа не преподнесла ему еще все сюрпризы, что каждый день можно ожидать нового удара под дых, самого безжалостного.

4

Октябрь уже был на исходе, уже отлили все положенные осенней поре дожди, установилось сухое, мглисто-солнечное предзимье со звонкими утренниками, день ото дня все больше крепчавшими, в воздухе словно бы разлилось предощущение иной, новой жизни, что наступит с морозами, с первым мягким белым снежком, который укроет уставшую от собственной неопрятной голизны землю, и душа томилась этим предощущением, изнемогала в ожидании новой жизни, и во всем этом был привкус чего-то такого, что можно было бы назвать и счастьем, если бы не сознание обмана, таившегося в подобном чувстве. «На свете счастья нет, но есть покой и воля», — вспоминалось, стучало в Петре, когда по утрам, сбегав на молочную кухню, уже вольным торопливым шагом шел в текущей по тротуару рабочей толпе на свой завод.

В один из таких дней, когда сидел у себя за столом, набрасывал на листке бумаги эскиз приспособления, которое предстояло выдумать, сзади подошел неслышно, положил руку на плечо и, облокотясь другой рукой о столешницу, наклонился к нему Серомазов.

— Ну что, — сказал он самым дружеским тоном, — так и не передумал умереть героической смертью?

Петр сбоку поглядел на него и повел плечом, чтобы бывший его подопечный снял руку.

— А где ж моя двухкомнатная квартира? — сказал он. — Я ведь говорил: с высокими потолками, большой кухней, с подсобными помещениями.

— Да какая квартира, что ты несешь! — со вспыхнувшей мгновенно досадой отозвался Серомазов. Снял руку с его плеча и разогнулся. — Два выговора у тебя, что ты с собой делаешь? Подаешь заявление или нет, последний раз у тебя спрашиваю?

— С какой стати? — Петр бросил карандаш, что держал в руках, на стол и откинулся на спинку стула. — Мне здесь нравится, я привык.

Про себя он подумал со мстительным удовольствием: а ведь уже год почти и продержался. Можно уже даже и уходить. Только куда?

— Ну, гляди, — отступив от него на шаг, сказал Серомазов. Словно даже физически не хотел больше находиться в какой-либо близости от Петра. — На меня потом не обижайся, я все, что мог, для тебя сделал. Сам во всем виноват. Вспомнишь потом меня, но поздно будет.

Петр вспомнил о его словах недели через две, сидя в громадном зале заводского дома культуры на совещании инженерно-технических служб завода, которое проводила дирекция вместе с парткомом в связи с угрозой невыполнения заводом годового задания. Подобное было в новостях, таких совещаний на заводе никогда еще не случилось, выполняется план или нет — было обычно ведомо только самому высокому заводскому начальству, план — это была его забота, его дело, оно решало, как быть, что предпринять для его выполнения, а тут выходило, что хотят довести проблему до всех звеньев инженерных служб, всех подключить к ней, и все как-то жадно возбудились, внутренне забурлили в ожидании собрания и шли на него с затаенным нетерпеливым чувством некоего откровенного слова, которое будет произнесено на нем.

Выступил главный экономист — обрисовал ситуацию, сыпя самыми различными, мало кому понятными цифрами, выступил начальник производства — рассказал о заказах, которые необходимо выполнить до конца года, назвал плановые сроки их прохождения и сроки действительные, ничего откровенного в их выступлениях не обнаружилось, как и в выступлениях трех других главных специалистов, среди которых был и главный технолог, все ждали обещанной кулуарно речи директора, — и наконец его объявили.

Речь директора на добрую половину оказалась посвящена Петру. Директор говорил с тяжелой, суровой требовательностью, каждое его слово было словно отлито из металла.

Мы перестали чувствовать это понятие, «государственный план», говорил он. Не просто «план», а «государственный»! Обязывающий нас. Приказывающий нам! Государственный план — это все! Это закон! Все десять заповедей и оба завета к ним в придачу! Государственный план, выложись — но дай. Любой ценой! Любыми усилиями! И не рассуждай: того нет, этого не хватает. Рассуждать легко. Много у нас таких рассуждающих развелось, вот что! Любителей покритиковать. Вместо того, чтобы работать. С полной, настоящей отдачей работать. Не рассуждая: кабы да абы. Один пример. Тут на днях попала мне в руки докладная записка на имя главного инженера от такого Горяева П. Г., инженера отдела главного технолога. Не записка, а эдакие маниловские мечтания из поэмы Гоголя «Мертвые души». Да, иначе как маниловскими мечтаниями, как бегством от действительности, как демонстрацией нежелания трудиться с полной отдачей, уповая на некоего дядюшку, который придет и все за нас сделает, я эту записку назвать не могу. Инженер Горяев П. Г. на первый взгляд ужасно печется о деле. Бьет тревогу: инструментальное производство перегружено заказами основного производства, Пафоса сколько изведено, сколько страсти! Слова там какие употреблены: «дальше невозможно», «катастрофа»! А знает товарищ Горяев, что невозможно не выполнить план? Видимо, забыл. Иначе бы он действительно думал о деле, а не о том, чтобы продемонстрировать свою озабоченность им. Без инструментального производства основное наше производство на настоящий момент выполнить план не может. Не может, все, точка. От этого, значит, нужно и плясать. Значит, освободить инструментальное от чужих задач мы не сможем до тех пор, пока не наведем порядок в основном. В основном нужно наводить порядок, товарищ Горяев, вот где! Своей, то есть основной, работой как следует заниматься, а не мечтаниями. Конкретно: ваш отдел технологическую трудоемкость нашей продукции никак снизить не может! Более того, ваш отдел за прошедшие десять месяцев должен был выдать документации по специальному технологическому оборудованию на пятьсот тридцать тысяч рублей, а выдал на двести пятьдесят! Тут об удешевлении продукции уже и говорить не приходится, тут удорожание! Знали вы это, инженер Горяев П. Г.? — Директор повел глазами по залу, словно бы хотел найти его среди сотен сидящих перед ним людей. — Знали, я спрашиваю, когда составляли подобную записку-мечтание? Полагаю, что знали. Но мечтать, надеяться на всесильного дядюшку — всегда легче, чем работать. Больше ответственности, товарищи, больше требований к себе! Работать с полной,

максимальной отдачей — вот нам чего не хватает сейчас. Сможем так работать — значит, сможем справиться с государственным заданием. И тогда сможем заняться всеми нашими прорехами. Прорех у нас много, и не надо кричать: вот еще одна, вот еще! — мы о них знаем. План, план прежде всего, товарищи!

Петр сидел, глубоко, по макушку уйдя в кресло, слушал директора и чувствовал, что лицо, уши, шея — все у него жарко, ало горит. Сердце стучало в груди с такой силой, будто хотело выломиться наружу.

Вот они, значит, что с ним решили сделать. Не взяли выговорами, решили публичной поркой. Не мытьем, так катаньем. Какой стыд, какой срам на весь завод, и завтра это еще будет напечатано в многотиражке! Вот, значит, на что намекал он тогда, бывший его подопечный: смотри, не обижайся, все для тебя сделал, пожалеешь, да поздно будет, — вот на что! Как лихо перевернуто все с ног на голову: писал, оказывается, докладную, чтобы прикрыть ею свое ничегонеделанье. Будто бы он начальник отдела, а не этот хмуро-насуспенный. Будто бы вся ответственность за работу отдела на нем, а не на том. И тут отдел плохо работает, и там в прорыве, — и ни разу фамилия действительного начальника не названа, во всем виноват Горяев! И ведь не встанешь, не опровергнешь, никто тебя и слушать не станет, не дадут тебе просто-напросто слова — что здесь, дискуссия, что ли, какая? Здесь производственное совещание, он директор, ты подчиненный, и получил в морду — ну, и утрись, утрись и сиди. Истина тут никому не нужна, не до истины тут, нужно было употребить кого-то всем в назидание, выставить на позор перед всеми, высечь как следует, чтоб другим неповадно, — и попал под руку ты. Вернее, подсунули под эту руку: вот он, вот он, вот кого! А директору все равно кого. Нужно было кого-то, не все ли ему равно — кого.

Петр выходил из зала, и ему казалось, что на лбу у него горит выжженное раскаленным железом некое клеймо. Кто его и знал из всей этой громадной толпы, медленно вытекающей через зевы дверей на простор фойе, — три-четыре десятка человек, не больше, а чувство было, будто каждый сейчас смотрит на него, указывает потихоньку пальцем другому, и все видят у него на лбу это кровавое полыхающее клеймо.

Промелькнуло в нескольких шагах впереди озабоченно-вдохновенное, полное внутреннего напряженного довольства лицо Серомазова, куда-то он неся, проталкиваясь сквозь толпу, спешил, помахивая легкой кожаной папочкой в руке, и Петру подумалось: а ведь он, поди, бывший его подопечный, и придумал эту штуку с запиской — подсунуть ее директору, — он, больше некому. Самому, пожалуй, и в голову подобное не могло прийти, а бывший его подопечный, он знал его, знал, как сделать ему больнее всего, — и придумал. И следом с недоумением вспомнилось: но ведь Сам, он в клане Сизоненко, главного инженера, а Пожарчиков говорил тогда, давно еще, что Сизоненко с Давыдовым, директором завода, на ножах, что они вроде как только и ищут возможности, чтобы подгадить друг другу; каким же образом его записка, адресованная Сизоненко, могла попасть к директору? Ведь только с ведома самого Сизоненко она и могла попасть к нему, а резолюция главного инженера на ней такова, что использовать ее против него — просто сам бог велел, и выходит, он ни в коем случае не должен был давать записку директору?

В гардеробе, одеваясь, он увидел в двух шагах от себя Пожарчикова. Пожарчиков, с новым своим, каменной, твердой недвижности костисто-худым лицом, просовывая руки в рукава пальто, которое подавал ему какой-то молодой парень — видимо, его подчиненный, — стоя прямо напротив Петра, старательно делал вид, будто Петра не видит. От этого невидящего взгляда Пожарчикова, устремленного словно бы в какую-то неведомую даль за плечом Петра, Петр ощутил, как выжженное на лбу клеймо полыхнуло адским жаром.

— Здравствуй, Вова, — громко сказал он.

Теперь Пожарчиков сделал вид, будто не услышал Петра. Все, спасибо, кивнул он парню, помогавшему ему надевать пальто, и быстро пошел от гардероба к выходу.

Петр дал ему миновать входные двери и догнал уже на крыльце, когда Пожарчиков торопливо ринулся вниз по ступеням.

— Нехорошо, Вова, — сказал он, беря его под локоть и притормажи-

вая. — Трубку, когда разговариваешь, бросаешь, с тобой здороваются — не отвечаешь.

Пожарчиков искоса глянул на него и, не останавливаясь, принуждая Петра бежать с ним по ступеням, сказал:

— А, это ты. Извини, не слышал.

— И не видел, — поддел его Петр.

— И не видел, — с легкостью согласился Пожарчиков, показывая тем самым, что ему все равно, что там Петр подумает о нем; нет для него Петра, нет, не существует, и не все одно в таком случае, что там Петр о нем думает.

Крыльцо кончилось, они сошли на асфальт, Пожарчиков приостановился, повел рукой, показывая, что хочет освободиться от Петра, и Петр, отпустив Пожарчикова, заступил ему дорогу.

— Слушай, — сказал он, продолжая чувствовать на лбу жар полыхающего клейма, — последний, пожалуй, вопрос к тебе по старой, как ты говоришь, дружбе, больше не буду. Можешь мне объяснить сегодняшнее? Давыдову кого-то на плаху положить нужно было — это понятно. Но почему я? Записку я Сизоненко подавал. А они с Давыдовым, ты сам говорил, как кошка с собакой. С чего ж вдруг Давыдову под его дудку плясать? На записке такая резолюция Сизоненко... да Давыдову выгоднее было б эту записку против Сизоненко обратить, раз она попала к нему. Чего там на меня размениваться, когда против Сизоненко можно использовать! На мое-то место кого угодно можно было найти. Но нет, я понадобился. Можешь мне объяснить это?

В глазах у Пожарчикова стояло тяжелое, каменное равнодушие.

— Что это тебе все как маленькому объяснять нужно?

— А иди ты! — враз, в одно мгновение теряя самообладание, сказал Петр. Повернулся и пошел от Пожарчикова, увидел, что не в ту сторону, развернулся и пошел обратно, мимо Пожарчикова, оставшегося стоять на месте и глядевшего, видимо, ему вслед.

— Постой! — позвал его Пожарчиков, когда Петр проходил мимо. И еще раз: — Постой!

Петр остановился.

— Ты что, — сказал Пожарчиков, — и в самом деле ребенок, что ли, я не пойму? Мельницу себе представляешь? Два жернова, глянешь — сжуют друг друга, присмотришься — фи́га с два. Касаются друг друга, пошоркивают — и ничего. Разве искра вылетит. А зерно попадет между ними — смелют. Понял? Сизоненко с Давыдовым один вал крутят, помешал одному — помешаешь другому. Достаточно я доходчиво?

Петр стоял, слушал Пожарчикова, и внутри в нем билось недоумение: выходит, это попавшее между жерновами зерно — он? Но с чего он туда попал? Как его туда занесло? Вовсе он не хотел никому мешать, наоборот, — хотел, чтобы в той машине, внутри которой пришлось крутиться малою шестеренкой, незаметным подшипником, ничего бы не скрипело, не болталось бы, было смазано, подтянуто, подогнано...

5

Вечером у Петра была встреча с Львом Ефимовичем. До того ему следовало забрать сына из детсада, привести домой, сгонять на машине с тестем к его знакомому, который зажал у тестя какую-то рыболовную снасть, и вот тесть наметил на сегодня ехать, трясти его, беря Петра для «устрашения». Петр привел сына, поехал с тестем к его знакомому, снасть вытребовали, погрузили в машину, и тесть покатыл домой, довезя Петра до ближайшей трамвайной остановки. Трамвай подошел, Петр сел в него и поехал на встречу. И когда он уже приехал на место, открыл дверь подъезда и ждал лифт, который должен был поднять его на нужный этаж, он почувствовал, что не может он, не в состоянии вести никакую консультацию, нет у него сил. Вообще нет сил, ни на что. Как он дотащился сюда? — лечь бы тут прямо на этот затоптанный, грязный бетонный пол и лежать, перестать видеть, слышать, ощущать что-либо, провалиться в какую-нибудь темь без конца и без края, потеряться в ней, перестать существовать... То, дважды уже посещавшее его за нынешний год безысходное, глухое отчаяние воплем стояло у него в горле, сжимало

гигантским кулаком грудь, ему казалось, он стиснут какою-то круговой, подобной колодезной, стеною, отвесно уходящей вверх, и находится он у самого основания этой стены, у ее подошвы, и ни выломиться через нее наружу, ни вскарабкаться по ней — сидеть внутри нее до окончания своих дней...

Как он оказался на улице, Петр не помнил. Последним усилием воли, наткнувшись на телефонную будку, он сумел заставить себя найти двушку в кармане, набрать номер Льва Ефимовича, сказать ему, что не придет, и будто по воле его расщелкнулись все замки, — Лев Ефимович что-то еще говорил в трубке, а рука уже больше не держала ее, дотянулся железной проушиной, коряво венчающей трубку, до рычага, зацепил за него и вывалился из будки наружу.

Приближающаяся ночь уже хватанула морозцем, снег все еще не лежал, выпадал — и сходил от дневного тепла, лужицы талой воды в углублениях на асфальте подернулись первой, тончайшей пленкой ледка, целлофаново отблескивавшей в фонарном свете, тихо было кругом, по-предночному пустынно, темно из-за голизны земли, без остатка съедавшей весь свет, падавший на нее; Петр натянул зачем-то, словно дул ветер, шляпу на уши, поднял воротник пальто и, сунув руки в карманы, брел бесцельно, не зная куда, разговаривая вслух сам с собой, чего никогда прежде с ним не случалось.

Гадство, твою мать, говорил он. Почему так, боже, боже! На свете счастья нет... но что это значит — «покой и воля», что это значит?! Ух, боль какая, боль какая, как все расплущено... да, господи, если ты есть, прибери меня, что ли... как с такой болью!.. Гадство какое, гадство, покой и воля... Ночь, улица, фонарь... Цветы мне говорят «прощай»...

— Пе-етя-а! — позвал его сзади голос, и был он так неожидан, что Петр вздрогнул невольно и остановился. «Неужели Лев Ефимович?» — подумал он, не сразу сообразив, что это никак не может быть его подшефный, — слишком он далеко уже отошел от его дома. Он оглянулся и увидел, что в блеклом фонарном свете сзади вообще никого нет, и кто мог позвать — непонятно.

Он пошел дальше, но успел сделать лишь шаг, его снова окликнули: «Пе-етя-а!» — каким-то бесцветным, но удивительно нежным, мелодичным, словно бы хрустальным голосом, и Петр, мгновенно похолодев, понял: веснянка это — вот что. Так давно он не слышал этого голоса, что и забыл о нем, напрочь забыл, совершенно, столько лет минуло, как голос окликал его последний раз, и ведь сейчас не весна, осень сейчас, не время ему сейчас окликать.

И хотя Петр знал теперь, что это веснянка, что сзади никого нет, он все же опять оглянулся. Он оглянулся — и ноги у него приросли к месту, и волосы на голове взъерошило озонным игольчатым ветерком: тротуар за ним был ярко, солнечно освещен, и из дальнего конца этого света шел к нему, держал руки над головой и, увидев, что Петр обернулся, приветливо замахал ими русоволосый, с чистым, нежным лицом и прекрасными сияющими глазами юноша в белом.

— Пе-етя-а! — сказал он, подходя и протягивая ему руку. — Пе-етя-а!..

— Ты кто? — не отвечая на его приветствие и не подавая ответно руки, еле слушающимися губами проговорил Петр, понимая почему-то, что так, на «ты», ему и нужно обращаться к юноше.

— Веснянка, — улыбаясь, сказал юноша.

— Ты разве есть? Существуешь?

— Конечно. А если бы не существовал, кто б тебя тогда окликал?

— Ты моя галлюцинация, — смог выговорить Петр.

Веснянка засмеялся.

— Нет, это я просто невидим обычно.

— Обычно? — как эхо, переспросил Петр.

— Да. А сейчас я пришел за тобой.

— За мной? — снова, как эхо, повторил Петр.

— Ведь ты устал, — сказал Веснянка. — Ужасно устал.

— Устал, — подтвердил Петр. — Я устал, правда.

— Ты не вынесешь груза, который взвалил на себя.

— А какой груз я взвалил на себя? — недоуменно спросил Петр.

Веснянка опустил руку, которую все продолжал держать протянутой.

— Каждый человек, вступая в жизнь, берет себе на плечи какой-нибудь груз. Ты взял слишком большой.

— И ты пришел освободить меня от него?

— Мне жаль тебя. Я должен тебе помочь. Ведь я твой друг. Какой же я буду друг, если не помогу тебе? Давай руку, — снова протянул свою руку Петру Веснянка. — Давай. Доверься мне и не бойся. Не будет ни страшно, ни больно. Ты только вступишь ко мне в свет. Ты хотел в тьму, но я возьму тебя в свет, потому что я обитаю в свете и, что такое тьма, я не знаю. Ну? Давай!

И Петр хотел уже протянуть ему руку, его рука уже предвкушала тонкую, светящуюся руку Веснянки в своей, но будто кто толкнул его — он вспомнил о детях.

— А это уже навсегда? — спросил он.

— Навсегда.

— И я уже никогда не увижу сына, дочь?

— Они останутся там, где ты сейчас.

— И жена останется без меня?

— О ней не жалею. Она вообще не твоя жена. Твоя жена была Ника, но ей, когда вы встретились, еще не открылось, что ты ее муж. Так случается. Это не твоя вина. И не ее. А нынешняя твоя жена — только твоя ошибка. Так случается. Это тоже не твоя вина. Ты просто устал. А люди в усталости делают много ошибок.

Какая-то сила с неудержимой настойчивостью толкала Петра к Веснянке, заставляла подать ему руку, но какая-то другая в нем же отчаянно сопротивлялась ей.

— Она моя жена, — сказал Петр. — Какая есть. Может быть, со мной ей плохо, но без меня будет хуже. И как я оставлю детей? Они ведь маленькие. Тебе ведомо отцовское чувство?

— Нет, — снова улыбнувшись, сказал Веснянка. — Это все чувства плоти. Я их не знаю. Ну, — тряхнул он своей тонкой и сильной рукой. — Давай!

И тут Петр, не очень-то отчетливо понимая, что делает, неожиданно для себя вдруг наклонился, пошарил под ногами и поднял с асфальта небольшой, как раз по руке, острый камень, который, он знал почему-то, валялся там. Не отводя взгляда от Веснянки, он изо всей силы ударил себя этим острым камнем по кисти другой руки, ударил еще раз и еще и так же изо всей силы продрал им себя по щеке, со счастливым задыхающимся чувством ощутив боль и там.

— Убирайся! — замахнулся он затем камнем на Веснянку и услышал, что не говорит это, а рычит. — Убирайся! Ну, убирайся! Если не хочешь, чтоб я тебе сделал так, убирайся!..

Прекрасные сияющие глаза Веснянки, увидел Петр, сделались печальны, печальным сделалось все его лицо, и Петр с ужасом открыл для себя, что Веснянка вовсе не юн, как ему показалось сначала, он стар, только фигура у него обманчиво юношеская, а на самом деле он стар, морщинист, и русые его волосы на самом деле сплошь седые.

— Ты мне ничего не можешь сделать, — сказал Веснянка. — Но это не имеет значения. Значит, такая твоя судьба. Прощай. Значит, иное тебе начертано. Оставайся.

Петр не понял, что вдруг случилось у него с глазами. Он ничего не видел вокруг. Тьма была вокруг. Полная, крошечная темь, плоская и пустая. Как бывает, когда с яркого, полдневного солнечного света войдешь в глухое помещение без окон — и глазу, чтобы начать различать что-то, надо привыкнуть.

Спустя какое-то время он увидел туманные очертания фонарей вверху, потом они сделались яснее, блеснул целлофаново ледок луж. и Петр ощутил дикую, несусветную, раздирающую боль в щеке и в кисти левой руки, потянулся к щеке правой рукой и почувствовал в руке камень. Он бросил камень на землю, тронул щеку — под пальцами оказалось мокро, липко, и что-то щерилось рваными краями. О боже, пробормотал Петр, так я это в самом деле... Он поднял левую руку к глазам, видевшим уже почти нормально, — кисть тоже была вся в крови.

Чьи-то шаги, звонкие в предночной тишине, раздались за спиной.

Петр с судорожным ужасом повернулся. Это была пожилая пара, мужчина и женщина; приближаясь к нему, они на всякий случай забирали от него в сторону.

— Простите, — ступил он навстречу им. — Вы случайно не знаете, где здесь ближайший травмпункт? Я тут упал, поранился...

Когда все швы, где это оказалось нужно, были ему наложены, операция закончена и он поднялся со стола, на котором пришлось лежать из-за раны на щеке, врач, делавший операцию, молодой розовощекий парень с лихими веселыми глазами, спросил со смешком:

— Так как вас все-таки угораздило так, скажете, может быть? Мне с профессиональной точки зрения интересно.

— Об жизнь ударился, — сказал Петр.

Говоря это, он хотел усмехнуться, чтобы в тон врачу, но усмешки у него не получилось.

Глава седьмая

1

Отмечать сорокалетие настояла жена.

«Это нужно в конце концов для того, чтобы на той же твоей работе увидели, как ты живешь, — говорила она. — Я просто по себе знаю, как это важно. От этого отношение к тебе будет зависеть. Да, не улыбайся, очень даже. Чтобы они увидели, что ты, как все люди, живешь, а не как хухры-мухры какой-нибудь».

Петр не очень сопротивлялся. «Ну, нужно, так нужно», — согласился он. Он теперь довольно легко уступал жене. Тем более что с годами сопротивляться ей делалось все труднее — с годами в характере ее все больше прорезалось отцовского, «хухры-мухры» — это тоже было от него, прямо из его лексикона.

Правда, сам тесть стал уже не тот, что прежде; он ушел наконец на пенсию, и пенсия надломилась его. Пенсию как знатному кузнецу, как многолетнему депутату горсовета, орденосцу дали ему персональную, но только у него то и осталось, что персональная пенсия, а сидеть в президиумах ему теперь больше не приходилось, не приходилось, открывая то одну, то другую газету, отыскивать свою фамилию в окружении самых лестных эпитетов, и депутатом горсовета после новых выборов он тоже перестал быть. Да тут выяснилось, что заменить как-то враз одряхлевшие, пришедшие в свою пору на смену «Москвичу» старые «Жигули» на новые — теперь не просто проблема, а проблема неразрешимая, и знакомый рыбинспектор, раньше поглядывавший на всякие небольшие отклонения от правил ловли не то, чтобы сквозь пальцы, а как бы даже дававший «добро» на эти отклонения, угощавшийся не раз водочкой у костра, тут вдруг оштрафовал на полную катушку, раз да другой, — целая история вышла! Тестя будто переложили с одного бока на другой, и мир неожиданно открылся ему совсем под иным, неведомым прежде углом. Он сделался всем вокруг недоволен, все вызывало у него ярость и негодование, и теперь в основном ему требовалось, чтобы его жалели. «Как пахать — так давай-давай, — говорил он Петру, — рук не жалели, мозоли от аплодисментов наживали. А как уважение оказать — так нет, никому не нужен». «Да как же, — отвечал Петр, — оказывали уважение, да еще какое. И не только аплодисментами». «А попробовали б не оказать! — вскидывался тесть. — Еще б они мне фигу под нос тогда! Я о сейчас говорю. Как нужен был — так поклон, как не нужен — так пинком под зад». И Петр знал уже, что в этом месте нужно высказать тестю сочувствие. «Да, нехорошо, конечно, они с вами. Нельзя так было. Очень нехорошо», — говорил он, совершенно не задумываясь о том, кто это «они», что «нехорошо» и что там «нельзя было», и понимая лишь то, что тестю от его сочувствия станет легче. Он был в долгу у тестя по самую макушку, и права перечить ему у него не имелось.

Но вместе они уже не жили. Тесть тогда, много лет назад, когда позвал Петра к себе в дом на мировую, сидя на супружеской кровати у се-

бя в спальне, говорил правду, обещая сделать им со временем собственную квартиру. Уже три года Петр с семьей жил отдельно от него. Тесть сам подыскивал варианты обмена своей большой трехкомнатной квартиры и комнаты Петра в коммуналке на что-то подходящее, нажал на такие рычаги, о существовании которых Петр просто не мог и подозревать, и в итоге были выменены две двухкомнатные квартиры, обе в старых домах, с высокими потолками, большими кухнями, просторными передней и коридором, — то самое, чего, куражась, требовал Петр в свою пору от бывшего своего подопечного Серомазова. Дочка, подрастая, выправлялась, крепчала, требуя сверхсильной заботы о себе все меньше, стало даже возможным отправить ее в сад, и жене снова захотелось самостоятельности. Тут-то, когда ей захотелось самостоятельности, тестю и пришлось исполнить свое обещание.

И получилось, тем, что теперь семья его жила отдельно и просторно, Петр тоже оказался обязан тестю.

Но зато и отдельно, и просторно, в самом деле не хуже, чем другие, вполне можно пригласить к себе на день рождения — не стыдно. И не в сравнение с той порой, когда обитали в коммуналке, не хуже, чем у других, мебель — и стенка, и кресла, и диван-кровать, и двойные занавески на окнах — плотные и тюлевые, и люстры под потолок вместо голых лампочек. Без помощи тестя в благоустройстве квартиры опять же не обошлось, ну да уж одно к одному, где должен десять рублей, попросишь при нужде и сто. Впервые одолжиться у тестя по-настоящему Петру пришлось, когда после совещания в заводском Доме культуры увольнялся с работы. Касса взаимопомощи не подписывала бегунок, пока он не вернет взятые четыреста рублей; Лев Ефимович дать такие деньги в долг отказался, и остался только тесть...

Жена об этих четырехстах рублях, так до сих пор и не отданных тестю, напоминала Петру постоянно: «Если б не папа, ты бы неизвестно как выпутался. В петле сидел. Не забывай об этом. И квартиру мы имеем только благодаря ему. Также не забывай. Сам по себе ты бы ничего не имел».

Петр соглашался послушно: «Конечно, конечно».

Нынче, при подготовке ко дню его рождения, жена вспомнила о долге тестю, когда накануне, зная уже, сколько будет народу и как будет стоять стол, прикидывали, кому где завтра сидеть. Теще было все равно где сидеть, а тестя нужно было ублажить, посадить так, чтобы он и не занял бы места во главе стола, раз не его чествование, но между тем оказался как бы и во главе его, — иначе бы он обиделся и обиду эту, не пожалев Петра, после третьей-четвертой рюмки, как уже то случилось, обрушил бы прямо на застолье, устроив какой-нибудь скандал.

— Ну так вот здесь, у балкона, разве плохо? — становился Петр на место предполагаемой посадки тестя. — Очень почетно получается.

— Ой, ну конечно, плохо! — сердилась жена. — Ты же знаешь, ему нужно за спиной стену ощущать. А если балкон, ему будет казаться, будто у него какой-то обрыв сзади. Ты же знаешь.

— Ну, тогда пусть на диван все-таки, — переходил Петр к дивану и садился на него. — И стена, и откинута есть на что.

— Да нет, диван совсем не подходит! — Жена уже возмущалась, стрекозьи ее большие глаза делались неимоверно большими. Выпукло-громкими. Похоже было, что у нее неладно с щитовидкой, но врачи пока ничего не находили. — Не забывай, скольким ты обязан ему. Если б не он, ты бы тогда с этой кассой неизвестно что делал! Он на диване тут будет стиснут со всех сторон, рукой не пошевелить свободно, о диване и говорить нечего!

Полчаса, наверно, не меньше, обсуждали, ходя по комнате, это дело — кого где сажать. Кроме тестя, нужно еще было ублажить Льва Ефимовича. Его тоже нужно было посадить как-то так, чтобы место его выглядело почетным, но при этом далеко от тестя, где-нибудь в другом конце стола, чтобы они во время застолья как можно реже попадались друг другу на глаза. Окажись они рядом, тесть, выпив, непременно полез бы к нему с вопросом, откуда у его матери деньги. Очень это занимало тестя, и, хотя все было ясно и так, почему-то ему непременно хотелось услышать

правду от самого Льва Ефимовича. Имелся уже такой печальный опыт. А обиделся Лев Ефимович, конечно же, на Петра, неделю сначала не здоровался, потом принялся выяснять отношения, что растянул еще на неделю, и после с полгода нет-нет да напоминал ему о том случае.

И Петр вынужден был сносить все его упреки — ничего иного ему не оставалось. Как бывший его подопечный Серомазов сделался в свою пору его начальником, так нынешним его начальником стал бывший его подшефный Лев Ефимович. Только если Серомазову он не был обязан ничем, то Льву Ефимовичу был и всегда, постоянно все эти семь почти лет, что работал у него в лаборатории, чувствовал, что обязан.

Что бы он делал, не возьми его тогда Лев Ефимович к себе? Потерял тогда, идиот, уйму времени, решив зачем-то выстоять, выдержать год, что бы с ним ни делали, как бы ни измывались, и, когда подступил край, когда дня оставаться там было уже невозможно, оказалось, что уходить некуда, не найдено место. Хоть снова иди устраивайся по объявлению на стенде, на те же сто тридцать, сто сорок, да кем еще и возьмут! Все узлы развязались тогда Львом Ефимовичем. И на хорошее, интересное место ушел, к работе, которой и без того уже занимался, увлекся которой, сам того не заметив, загорелся, своей почувствовал. И старшего наконец инженера получил, стал наконец приносить домой те деньги, что раньше вынужден был добывать двойною работой. И жену в какой-то степени ублажил — «старший» все-таки, не рядовой, значит, какой-нибудь, не совсем уж хухры-мухры...

2

За стол сели двадцать три человека. С работы, считая Льва Ефимовича, было приглашено восемь человек, в том числе и зам Льва Ефимовича, и зам. главного технолога, и начальник одного из секторов, — ни с кем из них Петр не имел никаких близких отношений, а что касается начальника сектора, так вообще никаких, но ходили слухи, что он может крупно выдвинуться, и жена, зная об этом от Петра, настояла позвать и его. «Никто тебя не заставляет шестерить, как Пожарчиков, — с досадой убеждала она Петра. — Просто выказать свой дружеский настрой человеку, и все». Большинство приглашенных с работы пришли, как о том и было прошено, с женами, тещь с тещей, мать с отцом, брат, никогда не упускающий случая погулять на дармовщинку, да еще другие родственники со стороны жены — вот и набралось столько, двадцать три человека. На письменном столе в другой комнате в ворохе оберточной серой бумаги были свалены кучей подарки: рубашки, шерстяные носки, галстуки — от родственников, всякая бессмыслица вроде миниатюрных стальных сундучков-сувениров — от остальных. Там же, в другой комнате, накрыли стол для детей. Их оказалось семеро. «Па-ап, а туда к тебе потом можно будет прийти?» — попросился сын, когда Петр занес какой-то очередной подарок, чтобы положить его среди других. Сыну шел тринадцатый год, а он все так же, как в самом малом детстве, был с жадной душевной обнаженностью привязан к Петру, и то, что будет праздновать день рождения отца не вместе, томило его. «Да что тебе там, среди взрослых? — быстро, на ходу приобнял его и отстранил от себя Петр. — Здесь тебе интересней будет». «Слушай, ничего живешь, весьма и весьма устроился, — так примерно, одну и ту же фразу говорили сослуживцы Петра, оглядывая квартиру, вздирая головы к непривычно высокому потолку. — Оторвал, нечего сказать!» «Э, это что, это все чепуха, — с таинственной пренебрежительностью отмахивался Петр. — Вот что вам предстоит увидеть!..» «А что, а что? Когда?» — заинтригованные, спрашивали сослуживцы и снова обшаривали взглядом стены, надеясь увидеть это «предстоящее» прямо сейчас. «Э! — как защищаясь, с той же таинственностью поднимал руки Петр. И улыбался обещающе: — Не торопитесь, не торопитесь!» Так было замышлено женой — не раскрывать даже смысла сюрприза, который ожидал всех под конец застолья. Пообещать его — но ничего не раскрывать. Родные, те, конечно, все знали, но им женой строго-настрого было велено молчать, и сослуживцев сюрприз должен был оглушить.

Управлять застольем по собственной воле взялся брат жены. «Они у меня все сегодня ласковое слово о тебе скажут! — хлопнув Петра по пле-

чу, разгоряченно сказал он, когда где-то уже в середине застолья вдруг оказались одновременно, каждый по какой-то своей надобности, на кухне. — И этот твой Лев Ефимыч тоже, дойдет до него очередь!» «Да уж ты жмешь! — со смехом, пряча за этим смешком чувство неловкости, которое и было в нем сильнее всего прочего от тех тостов, что поднимали за него, сказал Петр. — Я прямо весь липкий от патоки. Если кому не очень хочется, ты не вытаскивай, я тебя очень прошу». «Ниче-ниче, — жарко сказал шурин. — Слово не воробей — вылетело, и поминай как звали. Слово — олово: как языком отлил — так потом и думаешь!»

— И вот приближается важнейший миг нашего сегодняшнего гулянья! — подражая интонациям телевизионных спортивных комментаторов, возвышаясь над столом и дрожа рюмкой в неверной уже, колеблющейся руке, правил застольем шурин. — Трум-трум-трум — бьют барабаны! Ти-ти-ти-ти — трубят трубы! Все слышите?! Догадываетесь?! Верна-а! На позицию выходит и пробьет пенальти Афанасий... прошу прощения, не знаю отчества... ага! — улавливал он подсказку, — Афанасий Владимирович!

Афанасий Владимирович — это был тот самый начальник сектора, все отношения с которым исчерпывались у Петра простым знакомством, и, приглашая, пришлось его поуготоваривать, поуламывать, неся какую-то окоселость про давние добрые чувства и глубокую радость, которую он доставит, придя на празднество. Фамилия его была Лузганов, и в соответствии с фамилией, несшей в себе представление о ее владельце как о каком-то мощного сложения, крутовластном человеке, он и в самом деле был широкогрудым квадратным мужиком с толстым, мясистым лицом, возраста, должно быть, Петра, но глядевшимся рядом с ним как старший брат-богатырь.

Вызванный для тоста, он некоторое время сидел, глядя в свою тарелку, потом с криком поднялся и некоторое время стоял, молча глядя теперь в стену напротив себя, не зная, очевидно, что говорить; но невозможно было стоять так до бесконечности, он снова крикнул и начал:

— Ну что... тут правильно кто-то сказал: сорок лет — это черта. Я бы только добавил: жирная черта. Тридцать лет — тоже черта, но через нее еще можно перескочить обратно. Все заново начать, по другой дороге пойти. А эта... Через нее уже обратно не перескочишь. С чем к ней пришел, с тем и дальше. По какой дороге повело, по той уж и до конца. Да... Я к чему это. К тому, что Петр Григорьевич к этой своей черте подошел, так сказать, с полными руками. Прекрасные дети, вот я сейчас с ними познакомился... Чудесная жена. Настоящая спутница жизни. По одному этому столу, за которым мы сидим, видно... И дом — полная чаша! Это тоже, так сказать, невооруженным глазом... И дорога. Дорога еще. Репутация великолепного работника! Такое дорогое стоит. Это значит — направление в молодости взято было верное. То, какое нужно. И по нему, значит, дальше... Ваше здоровье, Петр Григорьевич! — взглянул он на Петра, начиная тянуться к нему рюмкой, чтобы чокнуться, и в глазах его Петр увидел неприкрытое облегчение, что тост произнесен, позади, и вроде бы он выпутался из сложной своей ситуации вполне пристойно. — Как говорится, так держать, и с этого пути не сворачивать!

Шурин заставил произнести свое поздравительное слово каждого сослуживца Петра, и зам. главного технолога, и Льва Ефимовича тоже, как тот почему-то ни упирался.

— Э, Лев Ефимыч! — шумел шурин, по третьему, а может, уже и по четвертому разу принимаясь поднимать его. — Без вас, как Христов день без яичка! Старейший-то друг? Лучший-то друг?! Или вы что, затаили что на моего зятя? Как там у Сережки: и друг любимый на меня наточит нож за голенище. Так, что ли?

После этого Льву Ефимовичу не оставалось уже ничего другого, как все же подняться.

— Я бы — обращаясь к шурина Петра с обычной своей уступчиво-предупредительной улыбкой, сказал он, — вспомнил к данному случаю другие строки того же поэта: лицом к лицу лица не увидать. Это к тому, что мы с Петром Григорьевичем так близки друг к другу, что мне просто-напросто трудно что-либо сказать о нем. Я не знаю, хороший он или плохой человек, добрый или недобрый, ну и так далее, и так далее. Я на-

столько не мыслю своей жизни без Петра Григорьича, что для меня не существуют подобные понятия. Не существуют, все. Есть Петр Григорьич. Личность. Все. Я не знаю, что мне еще сказать. Мне больше нечего. Я знаю только, что если мне придется пойти в разведку, как любят говорить наши старшие товарищи, то первый, кого я возьму с собой, будет Петр Григорьич.

Его жена, эффектно-броская в своей некрасивости, пышнотелая женщина в громадных круглых очках иностранного производства на тонком носике, сосватанная ему матерью года два назад из семьи каких-то своих давних знакомых, смотрела на него с нескрываемой мукой обожания.

Тесть, увидел Петр, когда Лев Ефимович заговорил о разведке, дернулся что-то сказать, слова уже готовы были слететь у него с языка, но шурин, грозно следивший за порядком, показал ему кулак: «Эй, батя!» — и тесть ничего не сказал. Вообще в соседи ему очень удачно попался зам. главного технолога, какой-никакой, а начальник, и тесть разряжался на него, как на громоотвод. «А вот это, гляди, — доносился иногда до Петра корябающе-тяжелый голос тестя, — порядок разве: я раньше депутатом был — приходи в исполкомовский буфет, бери колбаски там копченой, вырезочки, конфеты всякие, а как из депутатов вышел — иди пасись по магазинам, покупай эти тухло-мороженые... Я персональный все-таки, персональный — тоже тебе не хухры-мухры, прикрепил меня, куда следует, чтобы я себя человеком чувствовал! Нет, никому, видишь, подумывать не хочется...»

Мать, заметил Петр, едва шурин поднимал кого-то для очередного тоста, мгновенно вся напрягалась, вся обращалась в сплошной слух и, слушая, то и дело крупно сглатывала и смахивала с глаз слезу. Жена сидела рядом с нею, и Петр слышал, как после тоста Льва Ефимовича, наклонившись к невестке, мать сказала звонко-дрожащим счастливым голосом: «У Пети, знаете, Леночка, всегда были очень добрые, искренние, очень любившие его товарищи. Вот в юности, помню, еще в школе учились, такой Митя Пеклищев друг у него был, просто не разлей вода. К Пете, чтобы только увидеться, день-два вместе провести, в другой город летал. Представляете? Потом запропал куда-то... он в военном училище учился, армия все-таки, бросают их туда да сюда...»

Отец вел себя похоже на мать, тоже выслушивал каждого произносившего тост с особым жадным вниманием, впитывая его в себя как некое откровение, и вроде как ему сегодня не мешал даже протез, ходить на котором последнюю пору стало ему совсем тяжело, скакал в основном на костылях и протез пристегивал в исключительных случаях. В них с матерью, обратил Петр внимание, вообще последние годы, особенно когда ушли на пенсию, стало прорезаться что-то наивно-детское, простодушное; о жизни Петра из-за отягощенности своими заботами и его собственной замкнутости у них было самое смутное представление, и от нынешнего застолья они хотели подтверждения имевшейся у них убежденности, что все у него хорошо, складно в жизни и не требует никакого беспокойства.

Брат, пришедший без жены, с которой был то ли в ссоре, то ли совсем уже не жил, нашел себе компанию в лице мужа свояченицы Петра, они пили сами по себе, вдвоем, не обращая внимания на тосты, отключившись от всего остального стола, брат уже весьма крепко набрался и несколько раз хватался за принесенную с собой гитару, пытался «рвануть струну». «Подожди, дожди, — останавливала его жена Петра. — Попозднее. Когда сюрприз». «Так давай сюрприз! — требовал брат. — Чего ждать? Кайф любит момент. Пропустишь — не словишь!»

— Сюрприз! Сюрприз! — начали наконец вслед ему требовать все за столом. — Сюрприз!

А, давай, махнула Петру рукой жена.

Сюрприз по ее плану должно было приурочить к чаю, но жизнь внесла свои коррективы.

— У кого слабое сердце, приготовьте соответствующие лекарственные средства! — объявил Петр, беря с подоконника заранее положенные им сюда для этого момента большую отвертку с клещами.

Сюрприз был камином.

Петр не понимал и сам, откуда вдруг взялось в нем это желание — сделать камин. Ни у кого из знакомых, ни у единого человека вокруг не было камина, а ему с какой-то поры стало неожиданно мечтаться о камине в доме, об играющих в темной комнате отсветах пламени, живом жаре, идущем от него, грезиться стало, как он сидит вечерами с детьми у камина, читает им какую-нибудь толстую, захватывающую дух книгу, потрескивают, постреливают дрова, и вот сын, продолжая слушать его, встает, поправляет щипцами поленья, подкладывает новые... И едва только вошли с женой впервые в эту квартиру — посмотреть ее, подходит ли она им, устраивает ли, — первая мысль, которая посетила его, была о камине: а ведь верхний этаж, дом старый, не панельный, и перекрытия скорее всего деревянные, значит, главное — получить разрешение.

Поначалу, когда он пошел просить это разрешение, казалось, что добиться его будет невозможно. Нужно было согласие жэка, согласие пожарного надзора, согласие городского архитектора и еще и еще каких-то служб, нужен был выполненный в соответствии со всякими условиями, запретами и ограничениями проект, который еще нужно было согласовывать и подписывать... и все это Петр одолел. Ходил, звонил, записывался на приемы, перевернул в библиотеках горы специальной литературы о каминах, выбирая наиболее подходящий тип, нашел печника в помощники.

Путь к камину занял почти все три года, что жили здесь. И окончательный свой, готовый вид приобрел он только неделю назад, всего лишь раз, один лишь раз топили его до нынешнего дня, сегодня должны были второй. Петр до поры до времени заставил камин большим листом фанеры, натянул на нее ткань более или менее в тон накату на стенах, чтобы фанера не бросалась в глаза, и прихватил ее даже к стене — с риском испортить штукатурку — в нескольких местах гвоздочками.

Когда он отнял фанеру от стены и глазам открылся забранный железной кружевной решеткой каминный зев с приготовленными уже к розжигу дровами внутри, после мгновения ошеломленности в комнате раздался такой вопль, что из соседней комнаты прибежали перепуганные дети.

Все до одного выбрались из-за стола, сгрудились у камина и за чай сели уже много спустя. И все разговоры до самого конца крутились только вокруг камина, если где на каком краю стола уходили от него, то тут же и возвращались. «Ну, даешь, Петр Григорыч! Ну, живешь! — слышал Петр то и дело. — Камин соорудил! В городской-то квартире! В современной городской квартире живой огонь увидеть!» Брат играл на гитаре, устроившись у самого огня, и после каждой песни, делая перерыв, восклицал: «Не, какой кайф, нет слов!»

Камин задержал гостей намного, пожалуй, дольше, чем все собирались пробыть, и расходиться стали уже совсем поздно — ночь стояла, полная, глухая темнота за окном, стрелки на часах вскарабкивались к двенадцати.

Лузганов, прощаясь, совершенно неожиданно перешел на «ты», обнял Петра и некоторое время притискивал к себе, похлопывая по спине.

— Спасибо, что пригласил, — отстраняясь, сказал он. — Очень был рад побывать у тебя. Давно такой радости не испытывал. Истинная правда, не шучу. Какая ты личность, оказывается! У меня на тебя глаза открылись!

Зам главного технолога уже ушел, проотсутствовал минут пять и вернулся. На лице его была смущенно-винящаяся улыбка.

— Петр Григорьевич, — сказал зам главного технолога, выводя Петра на лестничную клетку, чтобы никого не стояло рядом. — Я тут зрел, зрел, вышел на холодок и дозрел. Я, может, слышали, участок в товариществе взял, домик строю... хочу камин у себя там сделать. Посидел сейчас у вас, чувствую — обязательно надо. Поможете консультациями?

— О чем разговор! — развел Петр руками. — Конечно, помогу.

— И печником бы поделиться. Печника сейчас искать...

— Да и печником, конечно.

— Ага. Ну, отлично. — Зам главного технолога обрадовался, будто свалил с плеч какой-то громадный груз. — Я тогда на работе к вам подойду, и мы все обсудим, как и что. Лады?

Единственно, от кого Петр не дождался никаких восторгов и ахов, был Лев Ефимович. Он только слушал со своим обычным уступчиво-предупредительным выражением лица, что говорят вокруг, кивал, как бы соглашаясь, поддерживая, и улыбался. Одеваться в переднюю он вышел последним из сослуживцев, надел пальто, взял с тумбочки трюмо принесенную с собой толстую кожаную папку, огляделся, кто находится рядом, и лицо его вмиг сделалось озабоченным.

— Петр Григорьевич, — подал он Петру папку. — Так получилось, я вам на работе не сумел дать, а мне нужно, чтобы вы это срочно к понедельнику посмотрели.

Сегодня была суббота, понедельник послезавтра, и на работу с папкой оставалось одно воскресенье.

— Да вы что, Лев Ефимыч! — Петр почувствовал, что все его праздничное настроение, рожденное в нем гостевым каминным восторгом, улетучивается. Он знал, что здесь, в папке, и потому знал, сколько работы она предполагает.

— Надо, Петр Григорьевич, — сказал Лев Ефимович. — Что ж поделаешь.

Петр положил папку обратно на тумбочку и, не глядя Льву Ефимовичу в глаза, проговорил:

— Ладно. Посмотрю. Только у меня к вам громадная просьба: последний раз вы меня в такие условия ставите.

— Последний, последний, Петр Григорьевич, уверяю вас! — Лев Ефимович прижал руки к груди, на губах у него снова была его прежняя улыбка, придававшая лицу уступчиво-предупредительное выражение.

Это уже было у них нечто вроде ритуала: Петр просил Льва Ефимовича давать ему документацию на просмотр заранее, чтобы без горячки, без бессонной ночи, просил, чтобы последний раз столь аврально, и Лев Ефимович неизменно заверял: обязательно последний, обязательно! Но поступал он неизменно только так, как было удобно ему. Петр, по существу, являлся его замом, разве что негласным; все эти без малого семь лет, что он работал у Льва Ефимовича, он все так же, как в пору, когда консультировал Льва Ефимовича на дому, просматривал почти всю документацию, что шла через него, давал рекомендации, подсказывал решения, два раза за эти семь лет была возможность сделаться ему замом официальным, но оба раза Лев Ефимович должности этой Петру не предложил. Первый раз Петр поверил его объяснению, что навязали, спустили сверху, после второго понял, что Лев Ефимович никогда официальным замом его не делает. Он был нужен Льву Ефимовичу именно как зам негласный — как тайный надежный консультант, а сделав его замом официальным, Лев Ефимович терял над ним контроль — выпускал в иные сферы, допускал на иной уровень связей, обсуждений, согласований и опасался вообще потерять его.

Дети, когда Петр с женой, проведив последних гостей, пришли к ним в комнату, и сын, и дочь — оба спали. Прямо в одежде, устроившись на кровати сына поверх покрывала валетом.

— Во напраздновались, — улыбаясь, устало сказала жена, опустилась на стул у кровати и легла головой, подставив руки, на кроватьную спинку. — Уложишь? У меня совсем сил нет.

Петр раздел детей, положил в кровать дочь, потом, взяв сына на руки, попросил жену расправить постель ему. Сын уже был тяжелый, большой, держать его было нелегко, неудобно, и, когда опускал его, заломил ему подвернувшуюся под спину руку. Сын застонал во сне, сморщившись от боли, и открыл глаза. «Мне тебе что-то сказать надо», — пробормотал он, увидев над собой лицо отца, и тут же вновь смежил веки и перевернулся на живот, обхватив руками подушку.

Жена погасила в комнате свет, и, прикрыв дверь, они вышли в коридор.

— О-ой! — зевая и потягиваясь, сказала жена. — Еще все убирать надо... — И увидела на трюмо знакомую кожаную папку. Лев Ефимович передавал Петру документацию на просмотр обычно в ней, и жена прекрас-

но знала ее. — Ну, мне тебе тоже сказать надо! — мгновенно просыпаясь, проговорила она. — Сюда притащил? Ну, тип!

— Да, — нехотя ответил Петр. — Сюда. И требует к понедельнику.

— К понедельнику? — возмутилась жена. — У тебя что, личной жизни уже не может быть? И потом, ты папе обещал завтра с ним в сад!

— Обещал, — согласился Петр.

— Ну?

— Что «ну»? Должен проработать все к понедельнику, иначе нельзя.

— Но не пойти с папой тоже нельзя. Он столько сделал для нас!

— Тоже нельзя, — снова согласился Петр.

— Ничего, — с мстительной интонацией неожиданно сказала жена, — скоро попрыгает твой Лева Ефимыч. Уйдешь от него скоро, вот он тогда узнает.

— Куда это я уйду? — спросил Петр.

— На повышение. Да, — вскинула она подбородок, — на повышение! Хватит, попахал на него. На тебя сегодня глаз положили. И зам главного вашего, и этот, Лузганов. Положили, положили, я тебе точно говорю. Я женщина, я нюхом чую. И с камином своим еще ты в жилу попал. Пентюхом сам не будешь — пойдешь на повышение. А то он друг, видишь... лицом к лицу лица не увидать... ловко устроился! Кто это, кстати, Митя такой, мать твоя мне о нем говорила сегодня?

Митя? Мать говорила? А, дошло до Петра, это она о Мите Пеклицеве.

— Да-а, — махнул он рукой, — неважно. Был у меня такой в молодости... ну, вроде Ольки твоей, разошлись и разошлись, не жалко.

Он виделся с Митей год назад. Драматическая студия того Дворца культуры, где они в свою пору и познакомились с Митей, ни с того ни с сего решила вдруг провести встречу студийцев за все годы своего существования, на родительский адрес пришло приглашение, и его, непонятно зачем, понесло на эту встречу. Посадили в зале, заставили слушать какие-то речи, все только тем и занимались, что крутили головами, искали знакомых, и в полнотелом, с рыхлым высокомерно-грубым лицом подполковника Петр узнал Митю. Они встретились глазами, Митя тоже узнал Петра, Петр не кивал ему, ждал — что он? — и Митя, так и не кивнув, отвел глаза первым. Все, все чужое, чуждое, враждебное было в этом Мите. Этот Митя, случись сейчас между ними то же, что случилось тогда, в молодости, уже не пришел бы просить прощения...

— Нет, все хорошо сегодня получилось, очень хорошо, — довольно сказала жена, вновь потягиваясь. И напомнила: — Так что ты насчет завтра?

— Так и то, и то надо, — сказал Петр. — И в сад, и это, — кивнул он на папку. — Так и придется. С утра до обеда в саду, а потом дома посижу, полистаю. Ты не волнуйся, я особо ковыряться не буду, так, только поверху пройдуся. Ему этого достаточно будет. Ему ведь, главное, впросак не попасть. И все.

— Ага, — сказала жена. — Знаю я тебя. Как засядешь — так и все, утонешь.

Петр похмыкал, обнял жену и повел ее в комнату, где им еще предстояло наводить порядок и которая теперь, судя по всему, должна была называться каминной.

— Не утону, — сказал он. — Тонет, кто на глубину заплывает, далеко от берега. А меня уже что-то не влечет. Мне теперь у бережка поплевать. — да и хватит.

Он говорил правду, не лукавил, успокаивая ее. Так оно все и было: та жаркая, горячая сила, что заставляла его прежде, за что бы ни взялся, наперекор всему, всем обстоятельствам докапываться до самых корней, добуриваться до гранита и лезть, сверлиться еще ниже, через него, стремясь к мантии, она, эта сила, куда-то ушла из него, оставила его, и он не заметил, когда и как. Апатия была какая-то, усталость, и не хотелось преодолеть ее. Вот так вот: поплескаться у бережка — да и гыйти на него, броситься на травку, на песочек, подставив себя солнцу, и лежать, закрыв глаза, впитывая с блаженством ласковое тепло...

Утром он еле поднялся. Пока после ухода гостей прибрались в комнате, навели порядок на кухне, пошел уже четвертый час — поздно легли, да пил ведь вчера не морс все-таки, хоть и немного пил, а все равно, и, вскочив от звонка будильника, зажав его, сидел на кровати, покачивался, покрывал и не мог заставить себя встать. Но все же встал.

Жена осталась в постели, дети тоже спали, не отозвавшись на звяк будильника, — воскресный инстинкт. «Воскресе-е-ень — де-ень весе-елья», — бормотал Петр, умываясь, плеща себе в лицо холодной водой; плескал, плескал, и кожа все не могла насытиться ею.

С тестем договорились встретиться прямо в саду. Тесть предлагал подойти к его гаражу и поехать вместе на машине, но Петр отказался. До гаража было недалеко, и в машине удобней, но ему хотелось на своем мопеде. Какая-никакая, а тоже бегающая штука, и не чья-то, а своя собственная. Теперь он понимал тестя, когда тот был готов проводить, лежа под машиной, дни и ночи.

Такое это, оказывается, отдохновение. Такое отключение от всего. Что ему нравился раньше велосипед? Крути и крути педали, трать мышечную энергию, никакой возни с ним, а в возне-то этой — самое то. Самое удовольствие. Самая сладость. Конечно, машина — это машина, это ни с чем не сравнимо, но и мопед — тоже не просто два колеса все-таки. По одежке протягивай ножки. Что уж тут поделаешь.

Мопед хранился в подвале. В подвале когда-то, в соответствии со строительными правилами сороковых, начала пятидесятых было, судя по всему, бомбоубежище, потом, когда массивные стальные двери отправили в переплавку, все здесь покурочили, завалили невесть откуда взявшимся строительным мусором, накладные петли для всячего замка на дощатых дверях, прикрывавших вход в подвал, держались на двух хилых гвоздях, которые свободно болтались в расхлябанных дырках: вытаскивай их без всякого усилия рукой — и не нужно никакого ключа. Петр навел в одном из углов подвала порядок, прозвонил электросеть, восстановил свет, отремонтировал дверь и врезал в нее внутренний надежный замок. Тут же к нему присоединилось еще человек пять из дома — у кого тоже мопед, у кого «Иж», у кого «Ява», — и теперь у них тут было нечто вроде гаражного кооператива, а Петр считался кем-то вроде председателя.

Он вытащил мопед на улицу, заправил бензином из канистры, отнес канистру обратно, запер дверь и, погоняв немного мотор на холостом ходу, послушав его работу, поехал.

Сон окончательно прошел, мотор работал прекрасно, день начинался великолепный — ясный, солнечный, воздух был чист, прозрачен, так что мир виделся будто бы через увеличительное стекло, — чудесный день, и те полтора десятка километров, что ему нужно было проехать, Петр проехал, не заметил их, наслаждаясь прекрасной работой мотора, весело колотившего между ногами, упиваясь этим великолепным весенним днем, обещавшим совсем близкую листву на деревьях, зеленый огонь травы на голой пока земле, веселое шелестенье куп под ветром, грохочущие быстрые ливни, после которых так остро, так будоражаще пахнет озоном.

Тесть уже был на месте. Но не работал, слонялся бессмысленно по участку, бурчал себе что-то под нос — ругался.

— Ну, притардыкал! — встретил он Петра. — На машине со мной уж давно бы здесь был. Нет, на тардыкалке на своей нужно!

Он привык за последние годы делать все садовые работы вместе с Петром, без Петра маялся и никак не мог приняться за работу.

— Э, попрошу, — устраивая мопед под сарайным навесом, чтобы не мешался, сказал Петр. — Вам тардыкалка, а мне средство передвижения. Подобные не вполне всерьез сказанные защитные поговорки он себе мог позволить с тестем.

— Давай-давай, — поторопил его тесть переодеться в рабочее.

Сегодня предстояли обычные весенние работы — окопать яблони с вишней, взрыхлить землю под смородиной, малиной, крыжовником, но, кроме того, нужно еще было провести и подкормку. Тесть обычно направлял навоз осенью, чтобы он, пролежав зиму, весной впитался бы в землю

вместе с талой водой, но минувшей осенью навоза достать не сумел, и подкормка осталась на весну.

— Давай я ведрами потаскаю, а ты уж копай, знай копай, — предложил он Петру, когда тот, переодевшись, вышел из дома.

— Давайте, — согласился Петр.

Ему было все равно.

У самого ствола, чтобы не поранить корни, он копал садовыми вилами с плоскими широкими зубьями; отступая от ствола, переходил на лопату, — земля уже подсохла, не липла к лемеху, но влаги в ней оставалось еще много, и копать было легко, лопата входила по самые плечики лемеха от одного нажатия. Солнце поднималось, день разогревался, и от вскопанного заструился вверх зыбкий стеклянный парок.

Тестя, переваливаясь, ходил от навозной кучи с двумя ведрами в руках, вываливал горками на те места, где Петру предстояло копать, брал свою лопату, разметывал горки по земле, смотрел, как у Петра идут дела, и давал указания:

— Ты этта... навоз заправляй, заправляй, да старайся, чтоб земля не очень переворачивалась. Чтоб влагу сохранить. Не осенняя копка. — Стараюсь, стараюсь, — отвечал Петр.

Сделать к полднейной обеденной поре столько, чтобы удобно было уйти, не получилось, чуть перекусили бутербродами, и еще часа два Петр работал, не разгибаясь.

Но вернулся домой — и как раз угодил на обед. Оказывается, сони его поднялись нынче так поздно, что завтрак у них был в одиннадцать часов, когда он успел напакаться, а обед вот соответственно вышел в три часа. «Ай, сони! Ай, засони!» — делая вид, что сердится, приговаривал Петр, садясь за стол, а сам радовался: и тестя ублажил, поковырялся там у него, и на воскресный обед поспел — единственный такой за неделю, когда можно собраться всем вместе. Он любил воскресные обеды. Никому не нужно никому торопиться, и можно посидеть всласть, поговорить, пораспрашивать детей об их жизни.

Дочка в перерыв между первым и вторым, пока жена звякала у плиты тарелками, перебралась со своей табуретки к нему на колени, устроилась на них, обняла за шею и провела своим нежным пальчиком по шраму на щеке. Очень ее всегда интересовал его шрам.

— Это ты на войне получил? — спросила она.

То ли она забывала, что уже спрашивала об этом, то ли до того ей хотелось получить утвердительный ответ, что ответ, полученный прежде, совершенно переставал удовлетворять ее.

Сын, покотившись с хохоту, лег грудью на стол.

— Ой, не могу! Папа в войну был меньше, чем ты!

— Да? — неверяще посмотрела на Петра дочь.

— Да, да, — подтвердил он. — Это твой дедушка воевал. Вот у него ноги нет, протез, — это он на войне потерял.

— Но сейчас же какая-то еще другая война идет? — спросила дочь.

— В Афганистане, что ли? — уточнил сын.

— Ой, где-то... не знаю где... — ответила дочь.

— Не был я ни на какой войне, — сказал Петр. — И в Афганистане тоже. Это я просто упал.

— А-а... — разочарованно протянула дочь.

Петр засмеялся. Дочь всякий раз именно так реагировала на его ответ. Всякий раз одним и тем же разочарованным «а-а...».

— Па-ап, ты готовишься? — спросил сын.

«К чему?» — чуть не спросил Петр. «Он что, слышал мой разговор с Львом Ефимычем насчет понедельника?» — подумалось ему в следующий момент. И понял, что сына, даже если б он слышал их разговор, никак эти его рабочие дела не могли интересовать стол живо. И еще чуть позднее понял, о чем он. Как-то забылось за подготовкой к вчерашнему празднеству, засунулось в какой-то дальний угол памяти и завалилось там хламом суеты, — ведь они с сыном идут сегодня в филармонию на орган, билеты куплены уже три недели назад, сын весь в ожидании, и отменить ничего нельзя!

— А что мне готовиться? — сказал он. — Я лично готов. А ты?

— И я!—с небрежностью отозвался сын и не в силах сдержаться счастливо разулыбался.

После обеда, когда оказались с женой вдвоем, она, тоже, как выяснилось, напрочь забывшая о консерватории, предложила:

— Давай, я с ним пойду. Тебе ведь сидеть нужно.

— Да нет, — отказался Петр.

— Как нет? — вскинулась жена. — Очумел, что ли? Я ведь за тебя не могу разобраться в ваших штуковинах. А пойти могу.

Так вот настойчива она была вчера, убеждая его, что он не может не поехать в сад к тестю.

Но Петр уже все решил для себя окончательно. Сын любил ходить в театры, в музеи, на всяческие концерты именно с ним, не с матерью, и Петр чувствовал, что пойти с сыном, не обмануть его — это важнее всего остального. Что же до папки... А, нужно относиться ко всему этому проще, много проще, относится просто Лев Ефимович, и надо так же. Нечего быть святее самого римского папы.

— Ты не волнуйся. Не волнуйся, бога ради! — успокаивая жену, сказал он. — До выхода у меня еще есть время — посижу, покопаюсь. И вечером потом, когда вернусь. Что, думаешь, он поймет, глубоко я пропахал или нет? Ничего не поймет. Скажу, что все хорошо, все нормально... Ну, пару-другую замечаний подкину, чтобы ему было чем ткнуть... да и достаточно. Как оно есть, так оно пусть все и идет.

Жена смотрела на него с каким-то незнакомым ему жадным, радостным удивлением.

— Так все просто?! — сказала она потом с непонятной интонацией — то ли вопроса, то ли восклицательного утверждения.

5

На орган Петр с сыном шел впервые. Орган установили в их филармонии года четыре назад, тогда же еще Петр наметил себе пойти с сыном послушать органную музыку, но желание превратилось в дело только сейчас.

Программа была — один Бах, «Хоральная месса», прелюдии, хоралы, играл какой-то приезжий органист, латыш, очень известный, титулованный. Сын, как увидел орган, эти блестящие, устремленные ввысь светлые трубы, одним своим видом словно бы уже обещающие некое вознесение к яркому, ослепительному свету гармонии, так весь и замер, напрягся, цепился в них глазами и долго смотрел, не отрываясь. «Уй, я не ожидал!» — повернувшись к Петру, сказал он потом. «А вот то ли еще будет! То ли еще тебя ждет!» — подмигнул ему Петр.

Органист, в черном вороньем фраке, сияя сахарным пластроном манишки, вышел, поклонился, прошел к пульту, вскарабкался на него, появилась, тихо прошелестела по сцене его помощница... и, как бы соткавшись из самого воздуха, возник первый, слабый трубный звук, возник — и замер, словно не в силах окрепнуть, словно собираясь умереть, так и не проросши, но это длилось лишь мгновение, короткое, неуловимое, и вот он начал набирать силу, потянулся вверх, пророс из черного небытия на свет, раскинулся над головой многошумной, уходящей в небесную безбрежность кроной...

Сын молчал ошеломленно половину обратной дороги. Потом Петр его все же немного разговорил. «Мне казалось, я на каких-то качелях, — объяснял сын свое состояние во время игры. — Вот представляешь, будто между землей и небом качели и раскачиваешься на них, но не быстро, а медленно-медленно. Словно плывешь». «Ага, ага, точно», — соглашался Петр, хотя с ним подобного не происходило, просто ощущение мощи, силы, многоцветья.

Они возвращались — было уже темно, только на западе над горизонтом дотлевала, прижавшись к земле, бритвенно-узкая полоска заката, воздух остывал, набухая ночной влагой, и звезды обозначали себя на небе все явственнее, все ярче.

— Па-ап, мне тебе что-то сказать надо, — после недолгого мгновения возникшего между ними молчания каким-то особым, словно бы таящимся, испуганным голосом неожиданно проговорил сын.

Петр вздрогнул невольно. Именно эти же слова, почти с этой же интонацией, только неотчетливой, не проясненной из-за сна, произнес сын вчера, когда он, укладывая его в постель, неловко подвернул ему руку и разбудил.

— Да, сын, слушаю, — как можно более мягко сказал он.

Сын молчал. Петр глянул на него осторожно, — у сына было напрягшееся, несчастное, словно он едва удерживался от плача, лицо.

— Ты знаешь, — наконец сказал он, и Петр физически ощутил, как трудно, как тяжело даются ему слова, — я иногда, знаешь, голос какой-то слышу... будто окликает меня... сзади... А обернусь — нет никого. Я думал сначала — шутит кто-то, прячется, а теперь точно знаю: нет никого. Иду — и вдруг сзади по имени... И голос такой... такой звенящий... как из пустоты... вот как из трубки органной, из самой маленькой...

Петр обнял его и тесно, сильно прижал к себе.

— Милый, — сказал он, — милый мой!.. Это так называемая веснянка. Не слышал никогда? Обычно весной случается. Отсюда и название.

— Да-да, весной, — радостно подхватил сын. — Правильно, весной. Я уже сам заметил.

— Давно это у тебя? — спросил Петр.

— Не знаю. Прошлую весну — точно, и вот нынче. — В голосе сына уже звучала освобожденность — он и сказал, облегчил себя, и отец, оказывается, знает о подобном! — А что это такое? Почему так?

Петр засмеялся и отпустил его.

— Почему так, никто не знает. Возрастное явление. Организм растет, созревает — ты как раз в такой вот поре. Чего-то не хватает в нем, каких-то веществ, а чего-то уже избыток. Это все равно, как ты сам, не осознавая того, зовешь себя в будущее. Давай, говоришь, расти скорей. Ну же, говоришь, ну, скорей!

Сын смотрел на него сбоку сияющими счастливыми глазами.

— А мне так страшно было, — признался он после некоторой паузы. — Просто ужас.

— Ах ты, милый мой! — снова обнял его, прижал к себе Петр.

Сын высвободился.

— А у тебя было так?

— Было. Потом с годами прошло.

— Ага, понятно, — сказал сын. — Ну понятно... Такой, понимаешь, самое главное, как из пустоты...

...Дом его давно спал — спали дети в своей комнате, спала, попытавшись бороться со сном и сдавшись ему, жена, оставив на стуле возле дивана-кровати гореть настольную лампу и уронив на пол журнал «Крокодил», — а Петр все сидел на кухне над разложенной по столу документацией новой линии-автомата, которую делала их лаборатория, но ничего он не изучал, не разбирался в линиях чертежей, не читал разъяснения техописания и даже не делал попыток заставить себя заняться этим. Он сидел, опершись головой на руки, смотрел в окно, совершенно черное, непроницаемое, — давно так сидел, потеряв уже всякое представление о времени, молчал, и только иногда, будто помимо его воли, выговаривалось:

— Голос, значит, ему стал слышаться...

Сидел, сидел так, глядя в окно, и опять, как не в его воле было сдержаться, вырывалось:

— Голос, значит, ему стал слышаться...

Потом неожиданно он почувствовал, что не может больше сидеть при свете, невыносимо при свете, нужна темнота, быстро встал, шагнул к выключателю, погасил свет и, едва погасил, ощутил, что из глаз у него хлынуло горячим обильным ручьем, потекло по щекам, по шее, забралось мгновенно под ворот, и нет сил сдержать эти слезы, задавить их в себе.

Он сел обратно к столу, облокотился о него, потом встал, прошелся по темной кухне туда, обратно, снова сел... а слезы все бежали, бежали обильно, будто прорвав какую-то плотину внутри, ему хотелось, чтобы это скорее прекратилось, ему было стыдно перед самим собой... и что он, собственно, плакал, что оплакивал?

Мы бед своих первооснова

* * *

Мы все больны одним недугом:
избытком встреч — нехваткой
избытком чувств — нехваткой слова.
Мы бед своих первооснова...

А ночь без зла противоречий —
в который раз, в который раз —
зажгла таинственную вечность
у наших глаз...

Неслышно жизнь летит по кругу:
за днями дни, за годом год...
Мы, изнывая друг от друга, —
на поезда, на самолет.

А день крылато, невесомо —
в который раз,
в который раз —
пролил прозрачную истому
у наших глаз...

Чужая жизнь в окне вагона:
прощальный жест, обрывки фраз,
необходимая до стона,
улыбка глаз

не мне дарована — другому.
Я счастью счастлива чужому
без позы — вслух и напоказ —
в который раз...

* * *

Ну, давайте не будем спешить:
надоело мне торопиться.
Ах, как хочется облаком плыть
или пыльной дорогой продлиться.

Или слиться с покоем реки,
стать душою ее и телом
и почувствовать, как неумело
грудь толкают губами мальки.

Или так же, как этот шмель,
в венчик лета всосаться, вцепиться:
пить и пить очищающий хмель,
полной мерой добра насладиться.

Или просто упасть в траву,
в горечь меда и сладость хлеба,
захлебнувшись восторгом неба,
наконец-то понять, что живу...

Клод Моне в Красноярске

И не сад, и не лес,
а добротно застроенный город,
не охалка сирени,
а вязкая горечь дичка.
Деловой Енисей
бурунами движения вспорот,
и часовня над городом
счастьем и злу далека.

Ну какая сирень,
если листьями скверы заносит,
ну какая сирень,
если астры бесплатно цветут,

ну какая сирень,
если осень, капризная осень,
по шкафам рассовала
заношенный летний уют.

Ну чего мне, скажите,
в покое моем не хватало? —
старомодной надежды
и грусти, слетевшей с холста.
Я о выставке грез
из газетной тоски прочитала:
и всего-то за рваный
на время сдавалась мечта.

у меня —
 от нежности —
 нежности —
 седины. от бессильной нежности,

Одиночество

На базарной площади
 в самый людный час
 безногая старуха
 поджидает нас.
 Волосы седые
 под простым платком,
 руки, налитые
 кровью и трудом...
 Мы модными подошвами
 попираем лед,
 а она — ладошками,
 а мороз-то жжет.
 Чуть побольше пухлого,
 в шубке, малыша.
 В проржавевшей кружке —
 денег два гроша...
 Сердобольно в кожух
 ей куски суют.
 Привыкшие к порядку,
 милицию зовут:

«...Как же так, милиция,
 среди бела дня
 на базарной площади
 Совесть ждет меня?
 Я торгую фруктами,
 полезными продуктами,
 мясом — высший сорт,
 а она брезгливо
 морщит вялый рот —
 портит натюрморт.
 У меня детишки,
 у меня семья,
 от ее ехидства
 защити меня...»

«...Как же так, милиция,
 среди бела дня
 на базарной площади
 ждет Любовь меня?
 Что вам наше прошлое?
 Вешалась сама —
 ей по праву выпала
 тощая сума.
 Я теперь порядочный,
 у меня семья,
 от ее ничтожества
 защити меня...»

«...Как же так, милиция,
 среди бела дня
 на базарной площади
 ищет Мать меня.
 Я ей обеспечил
 старость и уют:
 ей от райсобеса
 пенсию дают.
 Мне не помогает —
 все на смерть копит
 да об одиночестве
 день и ночь зудит.
 У меня на книжке
 нету ни рубля,
 у меня же теща
 да еще семья,
 от ее убожества
 защити меня...»

Безобразным идиолом
 женщина стоит.
 Почему не плачет?
 Почему молчит?
 Почему не тянет
 культи к нам с мольбой,
 почему в усмешке
 рот ее пустой?..

Что она пророчит,
 вперив в землю взор?
 Нашему безумию
 сытому укор!
 Почему ни денег,
 ни хлеба не берет?
 Почему в отчаянье
 нас не проклянет?

Одиноко старая
 женщина стоит.
 Мимо суетливо
 публика бежит.
 Нет, никто не спросит:
 «Как ты там живешь?»
 Вместо соучастья —
 в душу медный грош.

На базарной площади
 в свой последний час
 безнадежно молится
 Женщина за нас.

Т р и у м ф и т р а г е д и я

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА

Самая жестокая тирания — та, которая выступает под сенью законности и под флагом справедливости.

Ш. Монтескье.

АПОГЕЙ КУЛЬТА

Десятого мая Сталину доложили о стенограмме состоявшейся церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции. Судя по тексту, все завершилось быстро. Хотя нет, была какая-то заминка. Ему звонил Серов из Берлина, а затем сообщил и Берия. Произошла, по их словам, задержка на два-три часа подписания Акта о капитуляции «по причине небрежного отношения к делу работника Наркоминдела — посла Смирнова, который в тексте документа о капитуляции немцев, переданного из Москвы, пропустил четыре строчки, а союзники это заметили и отказались подписать. После сверки с нашим подлинным текстом пропущенное было добавлено и текст документа о капитуляции никаких возражений не встречал». Сталина тогда покорило от этой извечной расхлябанности.

Читая стенограмму, Верховный старался мысленно представить атмосферу того, что происходило сейчас в Германии. Такая длинная, страшная война и такой ее «короткий» конец. Последние слова Жукова, руководившего церемонией, Сталину показались даже слишком приземленными: «Поздравляю Главного маршала авиации Теддера, генерал-полковника американской армии Спаатса, Главнокомандующего французской армии генерала Делатр де Тассиньи с победным завершением войны над Германией». Такой будничным венец... Впрочем, до венца еще дело не дошло. Наступает тяжелый торг с союзниками по послевоенному устройству мира. Война с Японией много времени не займет. И как важно сохранить главный плод Победы — долгий, стабильный мир.

Сталин понимал, что теперь его авторитет, который до войны был непрерываемым только в Советском Союзе да, наверное, еще и в Коминтерне, стал международным, всемирным. Западные руководители при личных встречах, в ходе обширной переписки воздавали хвалу руководителю Советского государства, Верховному Главнокомандующему его Вооруженными Силами. Новый президент США Гарри Трумэн в послании Сталину отметил, что он продемонстрировал

«способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей общей победы мы приветствуем народ и армию Советского Союза и их превосходное руководство».

Черчилль, как всегда, более эмоционально, но, пожалуй, и более глубоко отразил ситуацию в своем послании, которое по поручению британского премьера огласила 9 мая по радио госпожа Клара Черчилль: «Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из вашей страны и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества. Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем о вас, и мы шлем вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы после всех жертв и страданий той мрачной долины, через которую мы вместе прошли, мы теперь, в лояльной дружбе и симпатии, могли бы дальше идти под ярким солнцем победоносного мира». Тогда могло показаться невероятным, что этот же человек очень скоро в Фултоне скажет совсем другое.

Де Голль, которого Сталин считал чопорным гордецом, и тот признал его особую роль в Победе, сказав в приветственной телеграмме: «Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и процветать только будучи свободной». Как все заговорили после Победы... А что говорили накануне войны?

Сколько сегодня поздравлений! Вот приветственные телеграммы от Болеслава Берута, Чан Кайши, Йосипа Броз Тито, регентов Болгарии, Маккензи Кинга, Юхана Нюгорсволда, Джозефа Чифли, Махмуда Фахми Эль Нокраши, Зденека Фирлингера, Миклоша Бела, Карла Маннергейма, многих других государственных лидеров. Сталин, отодвинув кипу приветственных посланий и по привычке взяв трубку в руку, пустился в свой многолетний путь: двадцать шагов в одну сторону кабинета — столько же в другую.

В разворошенном, истерзанном мире все двигалось: народы, армии, их руководители. Даже полупарализованный Рузвельт отправлялся в дальние вояжи на крейсерах, самолетах. Только Сталин обошелся за минувшую войну минимумом: единственный в жизни полет в Тегеран, выезд в Крым для встречи с Черчиллем и Рузвельтом в начале 1945 года, тайное посещение фронта в августе 1943 года. Он был вождем самого обширного в мире государства, однако не любил пересекать эти пространства; он хотел знать все, но только здесь, в своем кабинете. Из Кремля, как ему казалось, он научился видеть далеко, как с вершины Эльбруса. Привычка к затворничеству усиливала «загадность» вождя. Не знаю, как бы вел себя Сталин, будь в то время телевидение. Захотел ли бы он, как Брежнев, непрерывно мелькать на экране? Но в «свое» время Сталин предпочитал, чтобы о нем говорили, писали, думали, видя его как можно реже. Его устраивал очень узкий круг личного общения.

Скоро ему предстоит последняя в его жизни зарубежная поездка. Сталин через специального помощника Гарри Гопкинса, с которым он встретился 26 июня в Москве, предложил союзникам, не откладывая дела в долгий ящик, провести встречу в верхах в Берлине. Он чувствовал, что за годы войны у него накопилась свинцовая усталость, которую ему становилось все труднее преодолевать. Шестьдесят пять лет, из которых большинство были бурными, словно гири висели на его ногах. «Кремлевский горец» твердо решил после завершения войны на востоке подумать о серьезном и продолжительном отдыхе на юге. Он верил, что родной Кавказ вдохнет в него новые силы. До войны Сталин обычно уезжал в конце лета на полтора-два месяца в Сочи, продолжая оттуда пристально следить за государственными делами, постепенно наливаясь энергией.

Но Трумэн с Черчиллем, согласившись на Берлин, довольно далеко отодвинули дату встречи — 15 июля 1945 года. Сталин согласился, еще не зная,

что американский президент назначил срок конференции, исходя из готовности к испытаниям своей атомной бомбы. В Советском Союзе тоже разворачивалась работа в этой области, курировать которую он поручил Берни. Еще в марте Сталин вызывал начальника ГУК НКО генерал-полковника Голикова с докладом: увольняются ли специалисты-физики из воинских частей для направления их в научно-исследовательский физический институт Скобельцына, другие научные центры. Берия еще раньше доложил, что в его системе им создано несколько лабораторий, куда привлечены ученые ээки. Так что когда Трумэн сообщил Сталину об успешном испытании в Аламогордо атомной бомбы, тот внешне не проявил никакого интереса.

А. А. Громыко, принимавший участие в Берлинской (Потсдамской) конференции, пишет в своих мемуарах, что «Черчилль с волнением ожидал окончания разговора Трумэна со Сталиным. И когда он завершился, английский премьер поспешил спросить президента США:

— Ну как?

Тот ответил:

— Сталин не задал мне ни одного уточняющего вопроса и ограничился лишь тем, что поблагодарил за информацию».

Собеседники гадали: понял ли Сталин значение сообщенного? Они не знали, что в тот же вечер в Москву Берни пошла шифровка о необходимости предельно резко ускорить работы в ядерной области. Но это будет 24 июля в Берлине, а пока Сталин готовился к поездке.

Вождь сразу же отверг план перелета на «Дугласе». Берия, опираясь на мнения специалистов, пытался доказать, что это абсолютно безопасно, но диктатор, мы помним, боялся полетов. Он всегда с ужасом вспоминал миг, когда во время полета в конце 1943 года в Тегеран где-то над горами самолет несколько раз «провалился» в воздушные ямы. Вцепившись в ручки кресла, с искаженным от страха лицом, Верховный едва пришел в себя, долго не решаясь посмотреть на Ворошилова, сидящего напротив в кресле: заметил ли тот его унизительное состояние? Но тот, похоже, сам пережил подобные минуты.

Решили ехать поездом. Берия проработал специальный маршрут — севернее обычного. Спецпоезд с бронированными вагонами, особой охраной, особым сопровождением. Но расскажем об этом подробнее, ибо операция по доставке вождя в Берлин готовилась, пожалуй, куда тщательнее, чем многие боевые операции. Впрочем, как это мы делаем на протяжении всей книги, предоставим слово беспристрастным документам.

Сталин требовал частых докладов о подготовке к конференции, его переезде, интересовался деталями, давал указания. Десятки тысяч человек были подключены к операции по доставке и жизнеобеспечению вождя. За две недели до поездки на стол Генералиссимусу положили документ, который нельзя переоценить для понимания отношения Сталина к собственной персоне. Вот он:

«Товарищу Сталину И. В.

Товарищу Молотову В. М.

НКВД СССР докладывает об окончании подготовки мероприятий по подготовке приема и размещения предстоящей конференции. Подготовлено 62 виллы (10 000 кв. метров и один двухэтажный особняк для товарища Сталина: 15 комнат, открытая веранда, мансарда, 400 кв. метров). Особняк всем обеспечен. Есть узел связи. Созданы запасы дичи, живности, гастрономических, бакалейных и других продуктов, напитки. Созданы три подсобных хозяйства в 7 км от Потсдама с животными и птицефермами, овощными базами; работает 2 хлебопекарни. Весь персонал из Москвы. Наготове два специальных аэродрома. Для охраны доставлено 7 полков войск НКВД и 1500 человек оперативного состава. Организована охрана в 3 кольца. Начальник охраны особняка — генерал-лейтенант Власик. Охрана места конференции — Круглов.

Подготовлен специальный поезд. Маршрут длиной в 1923 километра (по СССР — 1095, Польше — 594, Германии — 234). Обеспечивают безопасность пути 17 тыс. войск НКВД, 1515 человек оперативного состава. На каждом кило-

метре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. По линии следования будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД.

Для Молотова подготовлено 2-этажное здание (11 комнат). Для делегации 55 вилл, в том числе 8 особняков.

2 июля 1945 года. Л. Берия».

Трудно найти прецеденты таких мер безопасности. Как далеко ушел вождь в своем «аскетизме» с 20-х годов! Чем больше росла слава Сталина и больше становилось ему лет, тем сильнее боялся он за свою жизнь. До самого отправления вождь осведомлялся у Берии, иногда по нескольку раз в день, то о скрытности начала отъезда, то о толщине бронированного листа пола вагона, то о графике движения по Польше... Вспоминал ли он, что этот самый путь от Москвы до Берлина русский, советский солдат прошел пешком, под огнем, в окружении стихии смертельной опасности? Судя по масштабам приготовлений, едва ли.

Встретившись в 12 часов дня 17 июля в Берлине с Трумэнном, Сталин после обмена приветствиями скажет:

— Прошу извинить меня за опоздание на один день. Задержался из-за переговоров с китайцами. Хотел лететь, но врачи не разрешили.

— Вполне понимаю. Рад познакомиться с Генералиссимусом Сталиным, — ответил Трумэн.

Сталин опоздал, чтобы подчеркнуть свою значимость. Великого вождя можно и нужно ждать... Этот психологический прием он применял не однажды. Член английской делегации на переговорах в Потсдаме сэр Уильям Хэйтер вспоминал: «Сталин все время опаздывал на заседания, и нам приходилось долго ожидать его прибытия».

Вечером «большая тройка» начнет делить плоды Победы в Европе. Это окажется проще, нежели сделать их общими и надолго. Все чувствовали, что их странный союз доживает, пожалуй, последние дни. Правда, август еще раз напомнит об этом союзе. Ни Сталин, ни его партнеры, будучи прикованными к галере своего времени, не знают, что спустя десятилетия родится новое мышление, для которого приоритетными будут ценности общечеловеческие. Тогда это казалось абсолютной утопией. Им предстояло не только поделить плоды, но и осмыслить новый расклад сил.

Плоды и «цена» Победы

Длинный кортеж машин, сопровождавший Сталина, подкатил к небольшому серому особняку в семи-восьми минутах езды от Цецилиенгофа, дворца бывшего германского кронпринца Вильгельма. Начиная с 17 июля в течение двух недель главы трех держав «подводили» итоги войны, определяли будущее Германии, спорили о судьбах стран Восточной Европы, искали пути решения «польского вопроса», делили германский флот, определяли пропорции репараций, договаривались о суде над военными преступниками, примерных сроках окончания войны с Японией и обговорили множество других дел. На тринадцати заседаниях глав правительств, двенадцати — министров иностранных дел были рассмотрены десятки вопросов, обсуждено более сотни проектов различных документов.

Сталин, возвращаясь в свой двухэтажный особняк, просматривал шифровки из Москвы, иногда звонил туда по правительственной связи, подходил к окну, садился в кресло и долго смотрел в парк с чахлыми соснами, на красивое озеро. О чем думал Сталин, находясь на немецкой земле, в окружении притихшего немецкого «духа», с которым он вел четыре бесконечно долгих года смертельно-изнурительную борьбу? Может быть, вспомнил, что здесь, на этой земле, родилась идеология, главным жрецом которой уже долгие годы был сам? Может быть, вспомнил Пленум ЦК в январе 1924 года, когда он, выступая по докладу Зиновьева о международном положении, заявил, что «не поддерживает репрессии против Радека за его ошибки в германском вопросе»? Однако Сталин осудил Радека за его курс на союз с германскими социал-демократами, не поняв, по существу, что отсюда берет начало одна из его глубоких ошибочных линий

в международных делах. Может быть, объединись коммунисты с социал-демократами, они не дали бы гидре фашизма поднять голову... А репрессии пока преждевременны, их время тогда еще не пришло.

Подумав о Радеке, вспомнил шутку-каламбур, пущенную им в своем кругу в двадцать восьмом году, когда он, Сталин, сослал его в Томск. Шутку эту вождь ему не простил. Еще бы: «У нас со Сталиным расхождение по аграрному вопросу: он хочет, чтоб моя персона лежала в сырой земле, а я хочу — наоборот». Правда, за время своей ссылки Радек быстро сменил «азимуты». В сентябре 1928 года он прислал телеграмму Сталину с протестом против продолжающихся арестов и ссылок членов троцкистской оппозиции и с требованием вернуть Троцкого — по состоянию здоровья — из Алма-Аты. А уже через полгода в своем письме Сталину и в ЦК ВКП(б) он осудил выступления Троцкого в буржуазной печати. Чем больше становится ему лет, тем чаще память обращается к былому. Давно нет Радека, а вот вспомнил его; в начале 20-х годов тот занимался «германским вопросом»...

Может быть, устав от долгих дебатов за столом с Трумэнem и Черчиллем, Сталин вспомнил Тельмана, которому не смог (или не захотел) помочь? Как-то в конце тридцать девятого года Молотов доложил о телеграмме тогдашнего советника полпредства СССР в Берлине Кобулова. Тот сообщал, что к нему приходила жена Тельмана. Она, зная о заключенном договоре «о дружбе» с Германией, просила Москву попытаться вырвать ее мужа из фашистских застенков. О себе она сказала, что «у нее никакого выхода нет, ибо она, не имея средств к существованию, буквально голодает». Кобулов заявил, как говорится в телеграмме, что «мы ничем помочь ей не можем». На глазах ее появились слезы, и она спросила: «Неужели вся его работа в пользу коммунизма прошла даром?» Кобулов повторил свой ответ. Он сообщал: жена Тельмана «просила нашего совета — может ли она обратиться к Герингу с заявлением; я ответил, что это ее частное дело. Тельман очень огорченная ушла».

Сталин помнит, что посмотрел тогда на Молотова и сказал: подумайте, может быть, нужно помочь жене Тельмана марками? Но никакого радикального решения по поводу Эрнста Тельмана, сумевшего из фашистских застенков передать несколько писем в Москву с просьбами о помощи, не принял. Сталин не хотел лично обращаться к Гитлеру, не хотел омрачать договор о «дружбе». Хотя, вернув в Германию группу антифашистов, мог вызволить не только Тельмана. Пожалуй, Кобулов был прав, заявив, что это частное дело Р. Тельман. Никаких угрызений совести, как всегда, Сталин не испытывал. А совести, опрокинутой в прошлое, для него вообще не существовало...

Правда, размышляя о Тельмане, он мог вспомнить, что сразу же после победного аккорда войны Берия доложил ему об одном документе, связанном с вождем немецкого пролетариата. Да, да, он помнит, был такой документ:

«ГКО, товарищу Сталину И. В.

11 мая 1945 года

Уполномоченный НКВД СССР по 2 Белорусскому фронту тов. Цанава сообщил, что оперативными группами НКВД обнаружены жена Э. Тельмана Роза Тельман, бежавшая из концлагеря и скрывавшаяся в г. Фюрстенберг, и дочь Тельмана Фестер Ирма, освобожденная частями Красной Армии из концлагеря в г. Нойбранденбург...

Тельман Р. рассказала, что последний раз видела Тельмана 27 февраля 1944 года в тюрьме г. Беутен в присутствии работника гестапо. Он сказал, что его подвергают постоянным пыткам, требуя отказа от своих убеждений...

Л. Берия».

Сталин, прочитав донесение, сказал Поскребышеву, чтобы освобожденным близким Э. Тельмана были созданы соответствующие условия и оказана необходимая помощь. Может быть, запоздало в груди что-то у вождя шевельнулось... А впрочем, сколько таких дел возникало в конце войны!

Вот И. Серов, один из заместителей Берии, сообщает, что на участке фронта, где действовала 1-я Польская пехотная дивизия, освобожден из немец-

кого концлагеря в Оранienбурге бывший премьер-министр Испанской Республики Франсиско Ларго Кабальеро; находится в крайне истощенном состоянии, просит сообщить семье, что он жив. Или еще, уже Круглов докладывает, что румынский король Михайл оказал содействие в побеге из плена своему родственнику майору Гогенцоллерну и сыну немецкого промышленника Круппа — оберлейтенанту фон Болен унд Гольбах. Разве он, Сталин, может отреагировать на весь этот калейдоскоп имен, фамилий, бывших, настоящих, сановных! Пусть занимаются этими делами Берия и Молотов. От него, вождя, зависело нечто более главное: политическое завершение войны. Одержав военную победу, он не имеет права ее упустить на политической сцене. Хотя, несмотря на навалившуюся после войны усталость, он еще не остыл от пережитого, не пришел полностью в себя от победного триумфа.

С легкого овального балкона особняка он видел, что везде — на берегу озера, у входа в небольшой парк его резиденции, на тихой улочке, откуда выселили жителей, — стояли, не бросаясь в глаза, часовые. Считал, что война сделала его окончательно военным и до конца своих дней он не расстанется с маршальской формой. Правда, Хрулев с членами Политбюро привели ему однажды трех молодцов в форме, наполовину состоявшей из золотых галунов, золотых лампасов, золотого шитья повсюду, где только можно было придумать...

— Что это? — непонимающе посмотрел на вошедших Сталин.

— Это три варианта предлагаемой формы Генералиссимуса Советского Союза, — ответил Хрулев, начальник Главного управления тыла Красной Армии.

Сталин еще раз зло посмотрел на золоченую бутафорию и с бранью выгнал всю компанию из кабинета. На кого он будет похож в этой форме? На швейцара из дорогого ресторана или клоуна? Недоумки! Правда, Сталин не забыл, что его указание о подготовке и создании образца ордена «Победа» Хрулев исполнил быстро.

В первом варианте, который Верховный рассмотрел 25 октября 1943 года, в центре ордена были силуэты Ленина и Сталина. Верховному не понравилось избитое в тысячах вариантов изображение двух вождей, где его, Сталина, профиль можно узнать лишь по характерному кавказскому носу и усам. Готовящийся к триумфу будущей Генералиссимус предложил в центре ордена разместить Кремлевскую стену со Спасской башней, дать голубой фон. Орден сделать из платины, бриллиантов не жалеть. Сталин еще до учреждения высшего полководческого ордена решил, что его удостоится лишь единицы. 5 ноября он утвердил эскиз ордена, а 8-го вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об его учреждении. Сталин вздохнул: даже орден без него изготовить не могли...

Слушая переводы речей своих партнеров, он по привычке что-нибудь чертил, рисовал на листе бумаги. Обычно перед ним лежало несколько цветных карандашей, ручка. Иногда он десятки раз механически писал какое-либо слово, сосредоточиваясь между тем на их скрытом и подлинном смысле: «репарации», «контрибуция», «части, доли репарации». Порой же, как это заметил барон Бивербрук во время переговоров в Москве в начале войны, Сталин рисовал «бесчисленное множество волков на бумаге и раскрашивал фон красным карандашом». Пока переводчик заканчивал перевод, он добавлял к стае еще волка, растворявшегося в кровавых сумерках жестокого времени...

Сталин понимал, что разгром фашизма превращает СССР в подлинную сверхдержаву, а его, вождя этого государства, — в одного из самых великих (но он в душе, наверное, думал — самого великого) лидеров современности. Его западные партнеры — временщики, дети «демократии». Рузвельт был крупный политик, но и он, исчерпав свой срок, ушел бы из Белого дома, если бы был жив. Вот Черчилль приехал на конференцию, полностью уверенный в победе своей партии на выборах. Сталин вспомнил, как во время встречи с Трумэнном 17 июля тот, отвечая на его вопрос, виделся ли президент с Черчиллем, ответил:

— Да, виделся, вчера утром. Черчилль уверен в своей победе на выборах.

— Английский народ не может забыть победителя, — согласился Сталин.

А вон как все повернулось: 26 июля было объявлено, что консерваторы потерпели поражение, и Черчилль заменил в Потсдаме новый английский лидер, К. Эттли. Сталину такое было непонятно: эти «гнилые демократии», считал Генералиссимус, сами себя ослабляют. Система, которую он создал, исключает такую «чехарду». Он знал, что будет находиться на вершине конуса власти столько, сколько позволит его здоровье, а на него, несмотря на появившиеся симптомы переутомления, он не жаловался. Ведь значит же что-нибудь то, что он выходец с Кавказа! Знал и то, что на той вершине, овеваемой ветрами истории, где он находится, было место лишь для него одного.

Сталин давно уже, как французский «король-Солнце», где-то подспудно отождествлял себя с государством, обществом, партией. Председатель Совета Народных Комиссаров уже привык и к тому, что говорил от имени народа, указывал ему путь в полной уверенности, что осчастлививает его. Чем величественнее держава, тем выше и ее руководитель. Война выдвинула СССР на самые высокие рубежи мирового влияния, а значит, неимоверно возвысила и его, Сталина. С первых послевоенных месяцев кривая его судьбы как безраздельно господствующей личности в огромном государстве станет быстро приближаться к апогею всемирной славы, могущества и священного культа.

К плодам победы Сталин относил не только разгром фашизма и превращение СССР в одно из самых влиятельных государств. Генералиссимус уже чувствовал подспудные толчки в здании антигитлеровской коалиции, которые скоро разрушат его до основания. Но он не мог и предположить, что все это произойдет так стремительно. Только пронизательный глаз мог заметить, что за столом в Цецилиенгофе сидят союзники, которых можно назвать «друзья-враги». Сталина не ввела в заблуждение фраза, сказанная Трумэнном при их первой встрече: он хочет «быть другом Генералиссимуса Сталина». Советский лидер это особенно почувствовал при обсуждении вопроса о репарациях.

Американцы отошли от ялтинской позиции и заняли сторону англичан, добивавшихся крайне невыгодного решения для СССР. В Советском Союзе во время войны была оккупирована огромная территория, на которой было уничтожено бесчисленное число промышленных предприятий. США и Великобритания этого не испытали. Советский представитель подчеркивал, что СССР, как Польша и Югославия, имеет не только политическое, но и моральное право получить возмещение этих потерь, но Трумэн и Черчилль были глухи к призывам Сталина. Лишь на последнем, тринадцатом, заседании Сталин был вынужден принять эти невыгодные для него условия — он рисковал получить еще много меньше. Но генералиссимус взял реванш в решении «польского вопроса», особенно что касается границы по Одере и Нейсе. Сталин как бы «сместал» Польшу на Запад, желая иметь на границе с Германией сильное славянское государство.

Его не без оснований беспокоило, что президент и премьер-министр много и охотно рассуждали о Восточной Европе, но не хотели говорить о Европе Западной. Когда Сталин поднял на конференции вопрос о фашистском режиме Франко, то он совершенно не встретил понимания, в то же время Трумэн и Черчилль требовали поддержки противников Тито в Югославии. Западные партнеры на переговорах с тревогой говорили о положении в Болгарии и Румынии, но не хотели видеть, например, того, что в Греции, не без помощи союзников, разгорается гражданская война.

Временами Сталину казалось, что за столом не союзники, а давние соперники, пытающиеся урвать побольше от пирога, который они вместе испекли. Он не ошибался: военные проблемы (за исключением азиатских) отошли в прошлое, на первый план выступила политика — весьма лицемерная и безжалостная особа. На этом поприще у партнеров были слишком разные позиции, чтобы можно было ждать таких же, допустим, результатов, как в Ялте. Война, общая опасность, общие стратегические цели сближали. Как только они, эти цели, были достигнуты, на первый план выдвинулся, как всегда, политический, классовый эгоизм. Превосходные переводчики были не в состоянии заставить лидеров антигитлеровской коалиции говорить на едином политическом языке союзников.

Но в целом Сталин был доволен итогами конференции, как, впрочем, и союзники. Инерция победы позволила добиться того, чего спустя год-два достичь было бы просто невозможно. Удалось договориться о демилитаризации Германии, найти взаимоприемлемые решения по некоторым другим основным вопросам. Трумэн особенно настаивал на публичном подтверждении обязательств СССР выступить против Японии. И руководитель советской делегации не ушел от союзнических обязательств:

— Советский Союз будет готов вступить в действие к середине августа, и он сдержит свое слово.

Он не хотел свой «второй фронт» открывать так долго, как его союзники, при этом Сталин старался не ущемить их в чем-либо. Например, накануне войны с Японией на Главкомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке А. М. Василевского им была возложена задача не только освободить южную часть острова Сахалин и Курильские острова, но и оккупировать половину острова Хоккайдо к северу от линии, идущей от города Куширо до города Румои. Для этого предполагалось перебросить на остров две стрелковые дивизии, одну истребительную и одну бомбардировочную дивизии. Когда советские войска были уже в южной части Сахалина, Сталин 23 августа 1945 года распорядился подготовиться к погрузке 87-го стрелкового корпуса для осуществления десантной операции. Однако и 25 августа, когда освобождение Южного Сахалина завершилось, приказа погрузить дивизии не поступало. Сталин размышлял: что ему может дать этот шаг? Генералиссимусу могло — не без оснований — показаться, что этот «десантный выпад» может привести к обострению и без того уже заметно похолодавших отношений с союзниками. Наконец он распорядился: войска на Хоккайдо не посылать. Начальник штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке генерал С. П. Иванов передал приказ Главкома: «Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению союзников — категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону о. Хоккайдо». Но все это будет несколькими неделями позже.

На заключительном заседании глав делегаций, которое состоялось в ночь с первого на второе августа, последние слова Сталина были: «Конференцию можно, пожалуй, назвать удачной». Несколькокими минутами ранее три лидера подписали приветственную телеграмму Черчиллю и Идену, а затем Трумэн, открывший и закрывающий конференцию, провозгласил:

— Объявляю Берлинскую конференцию закрытой. До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро.

— Дай бог, — отозвался Сталин.

Генералиссимус еще не мог знать, что скоро в Пентагоне появятся планы ядерных бомбардировок «Дропшот», «Чаритир», а журнал «Кольерс» изложит подробный сценарий предстоящей войны с Красной Россией — с последующей оккупацией СССР. Но это все в будущем. А пока, хотели этого или нет лидеры союзных стран, был сделан не только важный шаг к политическому завершению войны в Европе, но и по ее дальнейшему расколу, жесткому разделу на разные миры.

Антифашистский союз доживал последние часы. Западные лидеры торопились. Черчилль уже видел, по его словам, как «железный занавес», опустившись от Любека до Триеста, разделит Европу. Ни Сталин, ни Трумэн, ни Черчилль, а потом Эттли еще до конца не знали, что тропа взаимной ненависти, на которую они вскоре все станут, приведет их дальних преемников к историческому ядерному тупику, в котором они должны будут оставить свои классовые, политические предубеждения и вновь обратиться к общечеловеческим ценностям, как в годы ушедшей войны. В противном случае риск исключения каких-либо конференций глав государств на нашей планете становился непомерно великим.

После того как союзники совершат последний согласованный акт — подпишут на борту американского линкора «Миссури» Акт о капитуляции Японии. — все станет стремительно меняться. Генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко, подписавший его по поручению Сталина, еще не знает, что теперь

уже бывшим союзникам долго, очень долго не придется подписывать совместных документов, влияющих на судьбы миллионов людей.

Великая Победа над фашизмом, главными творцами которой были народы, для советских людей имела и горький плод. Победа еще больше утвердила Сталина в сознании его непогрешимости и мессианской роли для судеб нашего народа и социализма, она окончательно превратила его в земного бога. Победа в страшной войне стала для триумфатора дополнительным основанием для консервации и созданной системы. Советские люди добились свободы от фашизма, но до свободы от сталинизма было еще страшно далеко — путь длиною в несколько поколений.

Граждане Отечества, еще не снявшие военную форму, возвращаясь к своим разрушенным очагам, как и их далекие предки в Отечественной войне 1812 года, надеялись на благие перемены. Ветер свободы, народного торжества, выстраданного миллионами жертв Победы, рождает смутную надежду. Люди хотели лучше жить, без страха и понукания. Нет, Сталина по-прежнему чтили, славил, преклонялись перед ним, возносили, но в то же время верили, что не будет больше насилия, бесконечных кампаний, постоянных жестких нехваток самого необходимого, ставших одной из черт сложившегося советского образа жизни.

Сталина же, наоборот, Победа убедила в незыблемости всех созданных институтов государства, глубокой жизнеспособности системы и верности курса в социальном развитии. Вскоре он дал понять, что во внутреннем плане в обществе все останется без изменений. Надо работать, восстанавливать разрушенное народное хозяйство на основе тех указаний, которые даст он. В «Обращении ЦК ВКП(б) ко всем избирателям в связи с выборами в Верховный Совет СССР», которые состоялись 10 февраля 1946 года, не было сказано ни слова о демократии, народовласти, участии простых людей труда в управлении государством! Все те же старые слова о «блоке коммунистов и беспартийных», о том, что «советские люди могли на многолетнем опыте убедиться в правильности политики партии, отвечающей коренным интересам народа», что «не должно быть ни одного избирателя, который не использует своего почетного права...». Последнее выражение звучит уже как предупреждение. Уж это-то советские люди знали!

«Обращение...», будучи важным документом, одобрил, как всегда, сам Сталин. По существу, в нем говорилось: нужно восстановить народное хозяйство, чтобы все в Отечестве нашем вновь стало так же, как было. Слабые иллюзии, которые смутно питали некоторые интеллигенты, бывшие фронтовики, быстро улеглись. Шестеренки созданной бюрократической сталинской системы неумолимо завращались с заданной вождем скоростью... Вновь, как с конвейера, пошли одно за другим партийные постановления — указания центра: развернуть изучение «Краткого курса истории ВКП(б)»; о слабой работе газет «Молот» (Ростов-на-Дону), «Волжская коммуна» (Куйбышев), «Курская правда»; о прекращении «разбазаривания колхозных земель» (запрещение создания подсобных хозяйств и индивидуальных огородов рабочих и служащих); о слабой работе ОГИЗа (Объединения государственных издательств); об обеспечении сохранности государственного хлеба и так далее.

На многих документах виза Сталина. Он, как и прежде, безгранично верил в магическую силу указаний, директив, распоряжений. Если до войны сталинская бюрократическая система еще только подгонялась, отлаживалась, то после Победы стали быстро восстанавливать то, что война потеснила или отменила. Фактически путь дальнейшего социального и политического развития общества, взятый Сталиным с 1945 года, — это курс на тотальную бюрократию. Во многих ведомствах после войны стали носить погоны, и железнодорожники в числе первых. Создавались все новые организации, едва ли не главной задачей которых был «контроль за исполнением указаний и решений». Чтобы намертво «закрепить» колхозника на селе, его окончательно лишили паспорта. Ссылки и высылки продолжались до конца сороковых годов, и ведомство Берии не оставалось без работы.

Все обществоведы окончательно были превращены в бездумных комментаторов «великих» догм. В обиход вновь вошли утомительные и отупляющие ритуалы славословия вождю. По-прежнему было крайне опасно быть откровенным даже с близкими людьми. Интеллектуальные надсмотрщики под руководством Жданова убивали душу искусства и культуры — свободу мысли и творчества. Усилившийся бюрократизм вновь стал быстро возвращать самый опасный для общества плод — безразличие и равнодушие труженика, готовность только к исполнению; усиливалась нравственная деградация многих людей, выражающаяся прежде всего в форме дуализма личности. Дуализм как раздвоенность сознания (одно на словах — другое на деле) становился моральной нормой для многих.

Партия все больше становилась тенью государства. Или наоборот: государство становилось тенью партии. Ленинские слова тревоги: «Не нам принадлежит этот аппарат, а мы принадлежим ему!», в полной мере можно было оценить в период приведения в «порядок» сталинской системы. Теперь никто не мог сослаться ни на какое мнение, кроме официального. Как будто слова Пушкина, сказанные так давно, вновь обрели современный смысл: «Отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости, праву и истине... Это циничное презрение к мысли и к достоинству человека». Все сильнее упрочивался коллективный бюрократизм. Делалась ставка на уравнилельный социализм, который вопреки лозунгам стал рождать, хотя это и выглядит парадоксально, бюрократическую элиту.

Так Сталин использовал плоды Победы для внутреннего пользования; он сознательно и решительно консервировал систему. На подлинное социальное творчество он был так же неспособен, как и в двадцатые годы. Чтобы поддерживать и поднимать свой и без того беспредельно высокий статус «гениального вождя», он эпизодически, но достаточно регулярно снимал, убирал, смеялся то одного секретаря обкома, то министра, то маршала, иного представителя власти, обвиняя их либо в аполитичности, либо в злоупотреблении властью или пренебрежении высокими указаниями и слабой заботе о людях.

Сталин и так был в глазах народа «добрым царем», а подобные шаги поднимали его авторитет еще выше. Даже сегодня его стиль многим нравится: «Уж Сталин-то не допустил бы рашидовщины и чурбановщины!» Однако если вдуматься, то при всей внешней парадоксальности самые глубокие корни бюрократического перерождения многих руководителей «послесталинского» времени возникли именно тогда. Попав в среду, где не было страха и «твердой руки», эмбрионы регионального, номенклатурного, ведомственного всевластия и вождизма тут же пошли в рост. Система бесконечных административных запретов без действия подлинно социалистических экономических рычагов, высокой нравственной культуры, при полном отсутствии гласности оказалась неэффективной. Стоило физически, а затем в определенной мере и политически уйти Сталину, как вскоре выяснилось: консервация системы лишь углубила кризисные явления в настоящем и будущем. Люди смогут спустя годы сказать: абсолютная власть развращает абсолютно.

Одно из чрезвычайно отрицательных деяний Сталина после войны, повторяем, — его стремление законсервировать политическую систему, оставив ее неизменной. Да, генсек никогда не был в состоянии сказать подобно Ленину: «Нам нужны перемены в политическом строе». Его догматический ум, оценивая сложившуюся систему, в центре которой находился он, вождь, не мог понять, что самой этой попыткой консервации он подвергал глубокой эрозии социалистические ценности и идеалы, в которые продолжали верить миллионы людей.

Наряду с этими негативными процессами по консервации бюрократической сталинской системы жили, пульсировали, боролись надежда, воля, энергия народа. Победа над фашизмом убедила советских людей в неодолимости социализма, в верности исторического выбора, сделанного в 1917 году. Несмотря на множество препон, трудностей, извращений и преступлений, народ остался главным хранителем духовности, веры в лучшее будущее. За невиданно короткие сроки ему удалось поднять из руин и восстановить экономику страны.

Когда Сталину в конце 1945 года доложили обобщенные данные об экономическом ущербе, причиненном стране войной, он, будучи Председателем ГКО, знавший, может быть, больше других о ранах и шрамах на теле Отечества, переспросил Вознесенского:

— Преувеличений нет?

— Могут быть лишь преуменьшения. За короткий срок оценить глубину и масштабы всех утрат невозможно...

Он помнит также, что, когда собрал после завершения войны в Европе 21—22 мая 1945 года совещание командующих войсками фронтов и командующих родами войск по вопросу о демобилизации и реорганизации Красной Армии, сказал маршалам и генералам: без армии, а точнее, тех, кто сегодня находится в армии, мы ран своих не залечим. Держа в руках листки бумаги и изредка в них заглядывая, он медленно и глухо бросал в зал: «Демобилизация должна коснуться в первую очередь частей ПВО и кавалерии. Она не должна коснуться танковых частей и ВМФ. По части пехоты демобилизация охватит сорок — шестьдесят процентов ее состава, не касаясь войск Дальнего Востока, Забайкалья и Закавказья... Каждому увольняемому бойцу продать по дешевой цене трофейные товары и дать жалованье за столько лет, сколько он прослужил в армии... Чтобы не повторить старых ошибок, нужно все войска первой линии иметь полного штата военного времени. При таком положении всякая случайность будет исключена». Сталин говорил о демобилизации армии и думал быстрее включить эту силу в тот процесс, о котором ему настойчиво говорил Вознесенский, — страну надо поднимать из руин. Все на пределе: силы, возможности, терпение. Народ страшно бедствует. Берия на днях докладывал о сильном голоде в Читинской области, в Таджикистане, Татарии, других местах.

Сталин взял в руки сводку, перевернул страницу и прочитал сообщение наркома внутренних дел Таджикской ССР Харченко: «В Ленинабадской области... выявлено 20 человек, умерших от истощения, и 500 человек, опухших от недоедания. В Сталинабадской области — Рамитском, Пахтаабадском, Оби-Гармском и других районах умерло от истощения свыше 70 человек. Имеются также истощенные и опухшие. Такие факты имеют место и в Курган-Тюбинской, Кулябской, Гармской областях. Оказанная помощь этим районам на месте является незначительной».

В Читинской области есть факты «употребления павших животных, коры деревьев». Сообщалось о страшном факте, когда одна крестьянка с сыновьями убила маленькую дочь, и они употребили ее в пищу... Вот еще такой же случай... Сталин не захотел читать дальше горестную сводку. Берия торопливо сказал, увидев недовольство вождя:

— Выделили некоторое количество муки до нового урожая. Придется терпеть!

Впереди была война с Японией, а доклады Н. А. Вознесенского говорили: предстоит колоссальная работа. Кандидат в члены Политбюро глубже других разбирался в масштабных экономических процессах, которые шли в стране. Сталин давно к нему приглядывался и испытывал противоречивые чувства. Да, это, пожалуй, самый умный руководитель в его окружении, однако вождю не нравились его независимость, иногда резкость суждений. Но, пожалуй, размышлял Сталин, без его головы трудно будет поднять экономику из руин. В феврале 1947 года на Пленуме ЦК Сталин неожиданно для многих предложил избрать Вознесенского членом Политбюро.

Читая его справку о масштабах разрушения и первый вариант доклада Чрезвычайной госкомиссии о злодеяниях немецких захватчиков, Сталин подолгу задерживался на некоторых цифрах: разрушено 1710 городов и поселков городского типа, сожжено более 70 тысяч сел и деревень (вождь даже не подумал, что многие тысячи из этих деревень — на его совести), взорваны, приведены в негодность 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей, опустошено около 100 тысяч колхозов и совхозов, тысячи МТС...

Сталин на эти страшные цифры накладывал личные впечатления: когда ехал поездом в Берлин, то, сидя в кресле у окна с пуленепробиваемым стеклом и слегка отодвинув тяжелую штору, он немигающими глазами вглядывался в просторы русской равнины, изборозжденные шрамами окопов, блиндажей, пожарниц. Поезд не останавливался на крупных станциях и в городах; мимо пронеслись изуродованные остовы зданий с множеством пустых глазниц окон, взорванные заводы, обугленные бараки. Среди уцелевших деревень чаще встречались дотла сожженные, где трубы русских печей тянули к небу свои печальные холодные руки. Даже буйная июльская зелень не могла спрятать следов страшного бедствия...

Вознесенский докладывал, что 25 миллионов человек в стране не имеют крова, ютятся в землянках, сараях, подвалах. И так слабое с начала тридцатых годов животноводство полностью подорвано: десятки миллионов голов скота угнаны или уничтожены. По предварительным подсчетам, прямой ущерб, нанесенный нашему хозяйству, исчисляется суммой около семисот миллиардов рублей (в довоенных ценах). Иначе говоря, страна потеряла тридцать процентов национального богатства. Жизненный уровень народа находится на самом мыслимо возможном низком уровне...

Эти сентенции Сталина уже интересовали меньше: он всегда считал, что без больших жертв невозможно построить социализм. Разгромить фашизм, а теперь и восстановить страну без поддержания общественного сознания в состоянии вечного напряжения, мобилизации, своеобразной «гражданской войны», борьбы с трудностями и внутренними врагами нельзя, в этом Сталин был уверен. О том, что он прав, свидетельствует, например, и донесение Хрущева, которое недавно ему положил в папку на столе бесшумный Поскребышев. В своем докладе от 31 декабря 1945 года Хрущев сообщает об активизации украинских националистов в западных областях УССР в связи с приближением дня выборов в Верховный Совет СССР. В итоге донесения просьба: помочь дополнительно войсками ПрикВО и ЛьВО. А разве только здесь враги? Сколько было в оккупации, плену, неволе? Сталин был уверен, что и с фронта немало людей вернулись «декабристами».

В углу донесения Хрущева он начертал задание Н. А. Булганину и Генеральному штабу выделить дополнительные войска в западные области Украины. Похожая ситуация и в докладе Булганина «О создании истребительных батальонов для борьбы с бандитизмом в Латвии». Булганин предлагал содержать их за счет местного бюджета. И там жертвы. Война кончилась, а списки жертв — нет, не кончаются. Меркулов и Круглов доносят, что в Литве, например, накануне выборов «усилилась активность антисоветского националистического подполья». Идет довольно длинный список:

«— 15 декабря 1945 года в Шауляйском уезде уведен в лес и расстрелян член окружной избирательной комиссии Митузас Ю.

— 16 декабря 1945 года в Вейсыйской волости Лаздияйского уезда бандгруппой убит председатель избирательной комиссии Левулис В.

— 17 декабря 1945 года в Рокишском уезде группа бандитов убила председателя избирательной комиссии Гикелиса М.

— 20 декабря 1945 года в Тауянской волости Укмергского уезда бандитами убит член участковой избирательной комиссии, председатель сельсовета Габрилавичюс Ю.»

Пройдет еще несколько лет, пока в Прибалтике прекратит литься кровь. Но по сравнению с тем, что потеряно в войне, это доли процента. Сталин, думая о человеческой цене Победы, прикинув так и эдак, считал, видимо, что это тоже «вопрос политический».

Какими же они были, эти списки жертв? Какова цена Победы? Сколько погибло людей? Скоро выступать на предвыборном собрании, нужно сказать народу об этой самой цене. Во время войны Верховный не задумывался о ней — страна казалась неисчерпаемой. Но когда отступили к Сталинграду, прикинул: на оккупированной территории остались 70—80 миллионов человек.

По справке ГУКа в январе 1946 года выходило, что о потерях можно судить лишь приблизительно. Эта кровавая статистика, особенно в начале войны, велась, как мы уже говорили, крайне плохо. Вознесенский сказал при личном докладе: потери более или менее можно точно подсчитать лишь через несколько месяцев, но, по имеющимся наметкам, всего в стране погибло более 15 миллионов человек. Сталин промолчал, решив придерживаться цифры, доложенной ГШ и ГУКом, — семь с половиной миллионов убитых, умерших от ран и пропавших без вести. Ему не хотелось говорить о бóльшей цене: ведь тогда сразу потускнеет его полководческий образ. Этого допустить он не мог.

Какова же в действительности эта страшная цена нашей Победы? Если Сталин определил ее в семь миллионов человеческих жизней, то Хрущев в своем письме премьер-министру Швеции Т. Эрландеру впервые пустил в оборот цифру: более 20 миллионов. На чем основывается эта количественная оценка, которая используется в качестве основной и сейчас? Она базируется на примерных расчетах. По моему мнению, в оценке Хрущева верно только слово «более». Историки сейчас ведут работу по определению относительно точной цифры: народ, повторяем, должен знать, сколько своих сыновей и дочерей он положил на алтарь Победы.

Опираясь на ряд имеющихся в военном ведомстве статистических данных, в том числе на количество советских военнопленных (немцы, например, педантично считали наших солдат, которых держали и уничтожали в концлагерях), свои расчеты, связанные с анализом результатов переписей, количества соединений и их численной динамики в ходе войны, известных потерь в наиболее крупных операциях, а также на научно обоснованные соображения докторов наук И. Выродова, Ю. Власевича, А. Кваши, Б. Соколова, я пришел к своим выводам, которые, разумеется, не считаю единственно верными и окончательными. Число погибших военнослужащих, партизан, подпольщиков, мирного населения в годы Великой Отечественной войны колеблется, видимо, в пределах не менее 26—27 миллионов человек, из них около десяти миллионов пали на поле боя и погибли в плену. Особенно трагична судьба первого стратегического эшелона и основной массы стратегических резервов, вынесших главные тяготы войны в 1941 году. Подавляющая кадровая часть личного состава соединений и объединений этого эшелона сложила головы, а более трех миллионов военнослужащих оказались в плену. Немногим меньше были наши потери и в 1942 году.

Самая туманная и политически двусмысленная категория людей — «пропавшие без вести». Сюда относятся и те, кто пал в бою, но не прошел через строевые записки и сводки о потерях, и те, кто оказался в плену, в партизанах, кого судьба занесла в чужие края. Да, были среди этих людей и те, кто дрогнул, поддался посулам и пошел в РОА (Российская освободительная армия Власова) или стал полицаем. Но таких было абсолютное меньшинство. Судьба подавляющего большинства пропавших без вести глубоко трагична: смерть в бою, гибель в плену или в «лучшем случае» — долгие проверки в лагерях НКВД с риском остаться там на долгие годы. Если бы Сталин обладал самокритичным умом, то простое сопоставление своих и немецких потерь привело бы его к выводу, что блеск его «полководческого гения» в немалой степени основан и на неведении людей. По нашим подсчетам, соотношение безвозвратных потерь составляет 3,2 : 1, и не в нашу пользу.

Конечно, надо учитывать варварскую политику нацистов, связанную с планомерным уничтожением народов, особенно славян, евреев, людей других национальностей. Это одна из главных причин астрономических потерь. Основная масса погибших — мирное население. Но даже если не брать во внимание катастрофическое начало войны, то и в последующем советские военные потери были несколько выше, чем у немцев. Да, во втором и третьем периодах советские солдаты и командиры уже научились неплохо воевать. Но для Сталина всю войну действовал принцип, который он неоднократно излагал в своих директивах и приказах: достичь цели, «не считаясь с жертвами».

Для человека, избавленного от любых форм критики, постепенно ценность человеческой жизни (сотен, тысяч, миллионов людей) перестала иметь какое-либо нравственное значение. Это также одна из главных причин того, что цена нашей великой Победы неизмеримо высока. С самого начала войны она рассматривалась не в плоскости скорбного недоумения, а в плане «неукротимой воли» вождя, который «вел» нас к Победе. Навсегда привкус ее плодов будет окрашен горечью безмерных потерь. Сталина же этот вопрос никогда не мучил. Жертвенный сталинский социализм требовал и жертвенных побед. Сама непреложность этого исторического факта подчеркивает не только великое долготерпение, подвижничество советского народа, но и напоминает: вождю стать тем, кем он стал, позволили. Решающая роль народных масс не должна рассматриваться лишь «в конечном счете»...

Война выиграна. Можно наконец вдохнуть полной грудью воздух Кавказа. Берия хлопочет: хотя эта операция «доставки» вождя проще, чем в Берлин, но все же... Приведу несколько фрагментов из доклада Меркулову заместителя начальника КГБ по Краснодарскому краю Жданова (инициалов в документе нет): «О проводимых мероприятиях в связи с наступлением особого периода в Сочах... (так в тексте. — Д. В.). Антисоветский элемент, состоящий на учете Сочинского отдела, взят в активную разработку и наблюдение. Аресты проводятся своим чередом... Прочесывается лесопарковая местность от р. Головинки до р. Псоу. Увеличен цензорский центр. Ужесточен паспортный режим. Усилен контроль за автотранспортом. От вокзала до дачи установлено 184 поста. Вся трасса под охраной. Установлен энергопоезд. Тов. Власик ежедневно информируется».

«Вождь народов» не только в Германии, но и у себя на Родине безумно боялся за свою жизнь. Часть пути проделал машиной. Вместе со Сталиным в отпуск, как всегда, ехали Власик, Поскребышев, Истомина, многочисленные порученцы, охрана и прочая «обслуга». К слову сказать, именно после этой поездки Сталин распорядился строить современную автомагистраль на Симферополь.

Проезжая через Орел, Курск, другие города и села, несколько раз выходил из машины, разговаривал с людьми... Поражался стоицизму, самоотверженности женщин, детей, оказавшихся во время войны, пожалуй, в самом трудном положении. Города лежали в развалинах, а когда Сталин приехал на юг, то ему сказали, что под Сухуми, около Нового Афона, на Рице, Холодной речке, в других местах всюду трудилось ведомство Берии по возведению новых госдач. Сталину скоро надоело общение с людьми во время его отпускного маршрута, ему быстро наскучило, когда вокруг него собиралась толпа, жадно пожиравшая его глазами. «Сам Сталин!» — раздавались верноподданнические возгласы, на глазах у женщин выступали радостные слезы, слышались бодрые заверения мужчин: «Дела пошли лучше, товарищ Сталин!», он ловил удивленные взгляды стариков и детей — «Это и есть Сталин?»

И действительно, он знал, что для широкой популярности ему лучше махать толпе рукой с мавзолея, показываться в кадрах кинохроники, встречаться с народом каждодневно лишь в виде портретов, статуй, бюстов. Сталин более или менее разбирался в психологии массового сознания: он догадывался, что во время этих встреч у людей где-то в глубине души рождалось разочарование. Перед ними оказывался человек небольшого роста, с неправильным туловищем — коротким торсом и сравнительно длинными руками и ногами. Под кителем обозначался заметный животик, обтянутый маршалским мундиром. Редкие волосы обрамляли рябоватое лицо, бледное, как и подобает кабинетному человеку. Неправильной формы зубы не отличались белизной, и лишь живые, быстрые желтые глаза выдавали скрытую энергию, властность и уверенность в себе. В Курске одна женщина даже осмелилась потрогать Сталина за рукав мундира, — настолько, видимо, расхотелся устоявшийся в ее сознании образ с тем, что она видела сейчас. Сталин быстро почувствовал в глазах людей не только радость, восторг встречи с вождем, но и едва скрываемое разочарование неказистым видом Генералиссимуса, «вождя всех времен и народов».

Односложные вопросы Сталина окружавшим отдавались такими же односложными ответами-восклицаниями, в которых слышались больше удивление, инерция обоготворения и ожидание чуда. Но чуда... не было. Люди не ждали речей от вождя, а просто «ели» его глазами, не веря, что перед ними Сам Сталин. Человек, будучи земным богом, не может не разочаровать людей при личном контакте, не может! Ведь он такой же, как все, а многое чудодейственное, мудрое, провидческое, былинное ему приписали, выдумали сами люди. Целая система мифов, штампов, легенд «работает», пока люди не сталкиваются напрямую с носителем всех этих атрибутов обожествления.

Трясаясь в тяжелом лимузине, Сталин еще и еще раз убеждался: загадочный, редко говорящий и показывающийся народу вождь имеет свои преимущества по сравнению с «народником». Больше такого легкомыслия он не допустит. Он должен и впредь соединять в себе иллюзию всеприсутствия с божественной удаленностью. В глазах людей он должен остаться человеком, который построил социализм, сокрушил всех «врагов народа», победил фашизм и вот скоро, залечив раны, позовет народ на новые, «великие стройки коммунизма». Нет, сила его в таинственности, способности во времена триумфов, суеты и томления духа позвать людей, объединить их новой кампанией. И он, вождь, только он, способен, как Екклезиаст, определить, когда наступает «время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить». Сталин пронзительно должен был почувствовать, что он нужен только той системе, которую создал, и другим быть не может. Фронтвики-«декабристы» напрасно ждут перемен. Надо укреплять строй, усиливать мощь государства, убирать всех, кто к этому не готов. Великая победа, которую одержал он,— бессрочный аргумент его исторической правоты.

Возможно, мы слишком много додумываем «за Сталина», но делаем это, кажется, достаточно корректно на основе анализа огромного количества документов, свидетельств очевидцев, логики его действий. Шаги и решения Сталина с однозначной определенностью говорят: единодержец не собирался ничего менять в заведенном ходе вещей. Можно и нужно менять людей, но не менять главного: общего незыблемого порядка, который и вознес Сталина на самую вершину власти.

В своей последней перед смертью работе «Царство духа и царство кесаря» Н. Бердяев определяет кесаря как человекобога. И «государство, склонное служить кесарю, не интересуется человеком; человек существует для него лишь как статистическая единица. А когда она начинает слишком интересоваться государством, то это самое плохое, оно начинает поработать не только внешнего, но и внутреннего человека». Сталина мало интересовал отдельный человек; областью его интересов, повторяем, были массы, народы, союзы, коалиции, эпохи. Он давно уже поверил в то, что провидение, если бы он его признавал, возложило на его плечи ответственность сделать мир иным; если не весь коммунистическим, то значительно продвинувшимся к нему.

Минувшая война хотя и потрясла Сталина до основания, в конце концов утвердила его в мысли, что исторически он прав. Он окончательно освободился от «предрассудков» совести, несерьезной игры в «демократию», лишил людей того, что можно назвать возможностью социального выбора. Сталин был убежден, что тот строй, который он хочет законсервировать сейчас, наиболее близок к тому, что хотели основоположники научного социализма. Все запрограммировано, указано, расписано, определено. Вот восстановят, отремонтируют здание социализма, поврежденное войной, и он вновь выдвинет лозунг: «Догнать и перегнать!»

Сталин не мог не чувствовать, что после Победы, если так можно сказать, в мире произошел общий сдвиг влево. Антифашистская борьба сплотила массы, оживила демократические силы, потеснила реакцию. Героические, самоотверженные усилия народов СССР родили глубокие симпатии к Советскому государству. Даже многие белогвардейцы, интеллигенты-эмигранты, просто «бывшие» потянулись к Советскому Союзу. Сталина особенно заинтересовали «сигналы» из Па-

рижа от грузинских меньшевиков, ведь многих из них он знал лично. Он распорядился вскоре после окончания войны командировать в Париж секретаря ЦК КП(б) Грузии по пропаганде Шария. Его отчет, доложенный Берией и Меркуловым, Сталин долго и внимательно изучал. Грузинские имена — Кедия, Арсенидзе, Церетели, Чхенкели, Гобечия, Таканшвили, другие — переносили вождя в годы далекой уже революции, борьбы, жестокого размежевания.

Шария сообщал, что грузинская эмиграция передала ему для возвращения на родину старинные рукописи, золотые и серебряные изделия, нумизматику, археологические ценности. По указанию Москвы он встретился также с Ноем Жорданием, Евгением Гегечкори, Иосифом Гобечией, Спиридоном Кедия. Вначале Жордания на встрече заявил, что он подтверждает свое мнение об отсутствии в СССР демократии, свободы слова, печати, выборов, частной инициативы. Затем, однако, заявил (вождь подчеркнул эти слова): «Войну выиграл Сталин. Я считаю его величайшим человеком. Глупо было бы из-за политических разногласий отрицать его величие. История еще больше скажет о его величии. Она раскроет те стороны его деятельности, которые еще неизвестны для современников» (вот здесь-то Н. Жордания совершенно прав! — Д. В.). Многие из бывших политических противников изъявили желание вернуться на родину. Сталин, кончив чтение записки, мог подумать: победители всегда правы!

Под влиянием освобождения зародились глубинные процессы в структуре мировых отношений. Начался распад колониальных империй, мир услышал учащенный пульс национально-освободительных движений. В восточноевропейских странах, а затем и в Китае займут решающие позиции коммунисты. Сталин уже чувствовал токи нового революционного подъема и не без основания считал, что к коммунистическому движению пришло «второе дыхание».

Правда, это дыхание вскоре было сбито «холодной войной», сигналом к которой, как известно, послужила речь Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, а также внутренние трудности в СССР. В 1946 году обширные пространства страны были охвачены сильной засухой. Обруч жестокой нехватки самого необходимого держал государство-победителя в своих жестких объятиях. Западная Украина и Прибалтика оказались аренной вроде бы незаметной и по сегодня малоизвестной стране, но долгой и жестокой войны правительственных сил с оппозиционными формированиями. Несмотря на ряд личных указаний Сталина «ускорить разгром банд», ликвидация очагов послевоенного сопротивления затянулась надолго. В Западной Украине еще в 1951 году эпизодически вспыхивали стычки с неразоружившимися бандами.

Экономические трудности усилили трудности и духовные. Интуитивное ожидание людей перемен к лучшему, надежды на достойную жизнь вновь отодвигались на неопределенное будущее. Сталин в своей предвыборной речи в Большом театре призвал напряженно трудиться и проявлять терпение, которого, как известно, нашему народу было не занимать.

Саван сталинских «тайн»

Сталин любил тайны, большие и малые. Но сильнее всего обожал тайны власти, которых было немало. Часто они были жуткими. Люди только теперь по-настоящему стали задумываться: как человек, абсолютно безнравственный и физически непривлекательный, а по политической сущности глубоко отталкивающий, смог заставить «полюбить» себя целый великий народ? Как ему удалось трагедии народа переплавить в личные триумфы? Почему ему верили миллионы, и не только в нашей стране? «Тайны» этого феномена Сталин знал, и он любил и берег их, как и тайны личные.

Сейчас, когда так обильно пишут о вожде, естественно желание многих авторов «отделить» Сталина от социализма, от народа. Это когда-то пытался сделать и Троцкий, затеяв работу над своей книгой «Сталин». В многочисленных статьях советских авторов это намерение также очевидно. Пытался сделать поначалу это «отделение» и я, но пришел к выводу, что без ущерба для исто-

рической истины это осуществить невозможно. Разве можно смотреть «отдельно» на народ и «отдельно» на Сталина в 30-е, 40-е годы? Разве были народ, партия без руководителя? Разве не славили они своего вождя, дирижировавшего всеми делами огромной страны?

Пожалуй, именно здесь скрывается самая большая «тайна» Сталина. Он сумел стать символом социализма, его олицетворением. Но «отделить» Сталина от социализма все же, видимо, в какой-то мере можно, если понять, что, когда в конце 30-х годов было провозглашено построение социализма, в действительности же продолжался переходный период. Незрелый социализм «позволил» быть своим руководителем недостойному высоких идеалов человеку. Триумфатор сам отделил себя настолько от народа, насколько модель созданного по его «чертежам» социализма отличается от ленинской концепции. Многие позитивное, что родилось в обществе, стало реальностью прежде всего благодаря не Сталину, а тому, что мы называем «зарядом Октября», его социальной инерцией. Но полностью отделить вождя от сталинского социализма, повторяем, невозможно.

Сделав ставку на силовое решение многочисленных экономических, социальных, идеологических проблем, Сталин прекрасно понимал, что без перестройки общественного сознания нельзя добиться такого положения, чтобы он, вождь, был постоянно в центре создаваемой системы. Выдвинутая им идея «нового человека» кардинально отличалась от ленинских идей гармонического развития личности социалистического общества. Как Сталину удавалось манипулировать общественным сознанием народа и общества? Конечно, с помощью большого аппарата. Наряду с воспитанием некоторых позитивных элементов сознания в него обязательно вносились идеи самого вождя. «Тайны» влияния Сталина на этот процесс на первый взгляд довольно просты.

Беседуя однажды с Дмитрием Трофимовичем Шепиловым, бывшим секретарем ЦК, я услышал от него следующее: Сталин практиковал приглашать к себе для беседы, один на один, отдельных представителей художественной интеллигенции, ученых, общественных деятелей.

— Я знаю, — рассказывал Дмитрий Трофимович, — что он мог неожиданно пригласить к себе крупного писателя, артиста, журналиста, режиссера. Для человека это было огромное событие: вождь сам снизошел до него! Часто во время этих высоких аудиенций давался социальный, идеологический заказ. Ненавязчиво, но властно. Однажды вечером мне сообщили: позвоните по такому-то номеру телефона. Мучаясь догадками, я набрал номер. На другом конце провода оказался Сталин.

— Товарищ Шепилов! У вас есть немного времени? Вы могли бы приехать сейчас ко мне?

— Да, конечно...

Не помню, что я говорил еще, но трубка уже молчала. Я даже не знал, куда ехать. Но тут же мне позвонили вновь и сообщили, что через несколько минут за мной придет машина.

В полном неведении я шел по коридорам Кремля, сопровождаемый молчаливым сотрудником секретариата Сталина. Почти на каждом повороте на каждом этаже, застыв, стояли часовые кремлевской охраны.

Беседа длилась более часа, — продолжал свой рассказ Д. Т. Шепилов. — Сталин начал издали: новое время требует новой экономики. У руководителей, «командиров производства», как он сказал, очень низкий уровень экономической грамотности. Нужно создать очень быстро хороший массовый учебник по политической экономии социализма. Как я понял, это поручалось мне и еще двум крупным ученым. Рекомендации были высказаны как давно продуманные: увеличивать степень обобществления средств производства, совершенствовать планирование, сделать план «железным законом», повысить производительность труда и еще что-то в этом духе. (Как мы теперь-то хорошо знаем, вождь говорил о своей «силовой экономике». — Д. В.) Когда Сталин смотрел на меня своими немигаю-

щими глазами, мне становилось не по себе. Он как будто заглядывал внутрь. Взгляд его, как сейчас помню, буквально обжигал.

Сталин сделал заказ. Жесткие сроки. Нас троих «спрятали» на одной из подмосковных дач. Сулов в конце каждой недели звонил и требовательно спрашивая: «Как идут дела? Когда можно читать текст? Товарищ Сталин ждет... Помните это!»

Это был один из методов личного заказа: пьесы, фильма, книги, учебника. Параметры произведения задавались самим Сталиным. «Тайна» эта проста: Сталин лично влиял на процесс духовного производства в обществе в нужном направлении.

Как писал критик Михаил Шкерин, не раз встречавшийся с Михаилом Шолоховым, 21 мая 1942 года, в день рождения писателя, Сталин неожиданно пригласил автора «Тихого Дона» к себе на ужин. После долгого разговора вдвоем Сталин сказал наконец главное, зачем он пригласил Шолохова:

— Идет война. Тяжелая. Тяжелейшая. Кто о ней после победы ярко напишет? Достоин, как в «Тихом Доне»... Храбрые люди изображены — и Мелехов, и Подтелков, и еще многие красные и белые. А таких, как Суворов и Кутузов, нет. Войны же, товарищ писатель, выигрываются именно такими великими полководцами. В день ваших именин мне захотелось пожелать вам крепкого здоровья на многие годы и нового талантливого, всеохватного романа, в котором бы правдиво и ярко, как в «Тихом Доне», были изображены и героин-солдаты, и гениальные полководцы, участники нынешней страшной войны...

Постоянная «тайна» сталинского воздействия на общественное сознание заключалась в поддержании непрерывного напряжения в обществе. Обстановка потенциально возможной «гражданской войны», а точнее, перманентной борьбы с «врагами народа», «шпионами», «маловеерами», «космополитами», «перерожденцами», «вредителями» создавала атмосферу, где его указания и призывы к бдительности всегда падали на благодатную почву. Сталин почувствовал, что после окончания войны в народе и особенно в среде интеллигенции появились едва уловимые, но реальные настроения ожидания перемен. Война как-то духовно раскрепостила людей. Тут же последовала команда Сталина Жданову:

— Нужно нанести удар по безыдейщине... В литературе замечен отход от классовых принципов в творчестве. Проверьте один-два журнала. Лучше всего в Ленинграде...

Когда после принятия печально известного постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» Жданов приехал в город на Неве, то, как свидетельствует стенограмма его доклада, он заявил: «Этот вопрос на обсуждение Центрального Комитета поставлен по инициативе товарища Сталина, который лично в курсе работы журналов... и предложил обсудить вопрос о недостатках в руководстве этих журналов, причем сам лично участвовал в этом заседании ЦК и дал руководящие указания, которые легли в основу решения». Уже «личное участие» секретаря ЦК в заседании Центрального Комитета — «историческое событие». Назвав в постановлении писателей, произведения которых «чужды советской литературе», Сталин постарался вернуть послевоенное общество в атмосферу подозрительности и страха. Сталин знал, что там, где существует постоянная опасность со стороны внутренних и внешних врагов, нужен сильный вождь, «твердая рука», решительное руководство. Эту старую «тайну» всех диктаторов Сталин открыл раньше других. В обществе, где нет врагов и инакомыслящих, где нет борьбы, зачем диктатор?

Сталин знал еще одну «тайну» управления общественным сознанием: важно внедрять в него мифы, штампы, легенды, которые основываются не столько на рациональном знании, сколько на вере. Биография вождя, «Краткий курс истории ВКП(б)», его выступления — в значительной мере пропаганда мифов и идеологических штампов.

Еще в начале века социолог Ж. Сорель выдвинул теорию о том, что человеческая масса, не обладающая высоким интеллектуальным уровнем, склонна больше доверять иррациональным мифам, не требующим объяснения. Мифы,

писал Сорель, дают «интуитивное» представление о социализме как мечте, идеале, цели. Мифы совсем не обязательно понимать; в них важно верить. И людей приучали верить в абсолютные ценности «диктатуры пролетариата», в «нового человека», в безошибочность высоких постановлений. Ритуальные собрания, манифестации по заданным сценариям, «клятвы», приветственные письма вождю освящали, канонизировали политические мифы, делали их частью мировоззрения. Уверенность, основанная на истине, подменялась верой. Здесь Сталин многого добился. Люди верили в социализм, в него, вождя, в то, что наше общество самое совершенное и передовое, в безгрешность власти.

Разумеется, я далек от того, чтобы полностью отрицать значимость веры в идеалы и социалистические ценности, но также далек и от того, чтобы видеть их застывшими, вечными и единственными. Сознание, основанное лишь на мифе, утрачивает нечто очень важное: способность к постоянному социальному творчеству. Именно здесь коренится один из истоков (наряду с причинами экономического и политического порядка) формирования такого социального типа личности, которому наряду с позитивными чертами присущи равнодушие и пассивность как труженика, устойчивая вера в указания, возможность и необходимость разрешения всех проблем сверху, иждивенчество и безынициативность. В таком сознании, формируемом по сталинским рецептам, многоцветный, многострунный мир видится лишь через черно-белые очки: или — или. Для такого сознания имеет второстепенное значение категория личной свободы. Такой человек ждет, чтобы его «вели», «направляли», «вдохновляли». Сейчас мы пожинаем плоды равнодушия, безынициативности, казенного отношения к делу. Все это стало результатом единовластия, тех сталинских «тайн», при помощи которых вождь осуществлял свое правление.

Не думаю, что Сталин когда-нибудь читал диалоги Платона, во всяком случае, мне не удалось обнаружить следов знакомства вождя со знаменитым произведением греческого философа «Государство». Но не вызывает сомнения, что в основе многих «тайн» абсолютной власти Сталина лежат те общие «правила», которыми пользовались многие единодержцы с древнейших времен.

Диктатор, или, как его определяет Платон, «тиран», вырастает обычно как «ставленник народа». Для него характерно, что «в первые дни, вообще в первое время он приветливо улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу». Тиран живет среди людей, и тайна его силы заключается в умении делать врагов друзьями и наоборот. «Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных уничтожит, так что они перестанут его беспокоить, я думаю, первой его задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе». Платон как будто смотрел сквозь века: «А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприятелю. Ради всего этого тирану необходимо постоянно будоражить всех посредством войны». Прежде всего «войны» внутренней.

Ну, а дальше? — задаемся мы вопросом и ищем ответ у Платона о вечных «тайнах» диктаторов: «Некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его возвышению, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему свое недовольство всем происходящим — по крайней мере те, что посмелее». Читая диалоги, порой забываешь, что писаны они были... в IV веке до нашей эры. Разве не созвучны слова Платона с тем, что мы знаем о Сталине и ленинском окружении: «Чтобы сохранить за собою власть, тирану придется их всех уничтожить, так что в конце концов не останется никого ни из друзей, ни из врагов, кто бы на что-то годился».

Можно и дальше цитировать диалоги Платона о «тиранах» и «тираническом человеке», но и приведенного, видимо, достаточно, чтобы утверждать, что наряду со специфическими особенностями диктаторского правления в разные эпохи есть и нечто общее: «господствующая личность» не может действовать иначе, как от «имени народа». Диктаторы проводят жестокую селекцию своих «соратни-

ков» и «друзей»; они не терпят инакомыслия, стремятся поддерживать напряжение в народе, заостряя его внимание на многочисленных врагах. Угроза войны и злых сил абсолютно необходима, чтобы высветить мессианскую роль вождя... Сталин, не зная Платона (как и многих других мыслителей), эти же «тайны» выведывал, читая жизнеописания русских царей.

К трехсотлетию дома Романовых был выпущен роскошный фолиант, подобие тех альбомов о «великих» руководителях, которые были изданы в советское время при Сталине и после него. Вождь, в душе презирая всех русских царей, императоров и императриц, вышедших из рода бояр Романовых, нашел время, чтобы перелистать толстенную книгу. Задержавшись на страницах, где описывалась смерть Александра II после покушения, Сталин прочел: «В 2 часа 35 минут император, возвращаясь из Михайловского дворца, на Екатерининском канале был смертельно ранен брошенной в него бомбой... Наклонясь к правому плечу Государя, Великий князь спросил, слышит ли Его Величество, на что Государь тихо ответил: «слышу»; на дальнейший вопрос о том, как Государь себя чувствует, император сказал: «скорее во дворец... несите меня во дворец... там умереть». То были последние слова, слышанные очевидцами злодейского преступления». Сталин захлопнул огромную книгу, имея основание подумать: был бы сильным, так не они тебя, а ты их... Он понимал более чем кто-либо из его «соратников» — любая власть, даже имея диаметрально противоположное социальное и политическое содержание, имеет и нечто общее. Она должна быть сильной, особенно если власть диктаторская. У нее много старых «тайн», и Сталин хорошо усвоил их.

Так же хорошо воспринял и идею, лежащую в центре всех его «тайн» власти, — в обществе необходимо непрерывно поддерживать высокий накал борьбы. В ней, этой борьбе, он чувствовал себя уверенно. Мы помним: для него вся дореволюционная жизнь была борьбой — за выживание, свое сохранение, подрыв самодержавных устоев. Двадцатые годы сложились так, что он смог перевести эту борьбу в плоскость идейного шельмования и политического устранения всех, кто думал не так, как он, кто мог хотя бы потенциально претендовать на первые роли. Борьбу за выбор методов и путей развития Сталин превратил в борьбу за личное утверждение. В тридцатые годы борьба по его воле свелась к физическому уничтожению всех реальных, а главное, потенциально возможных противников. Он так преуспел в этой борьбе, что, думаю, спустя и столетия земляне, если они выживут, будут олицетворять варварство не только с Тамерланом, Чингисханом, Гитлером, но и с именем Сталина. Он не писал отдельной книги «Моя борьба», как это сделал человек, с которым его часто сравнивают. Но вся его жизнь и деяния — это действительно его борьба с бесчисленным сонмом врагов: меньше действительных и больше мнимых.

Самыми реальными из всех его врагов были фашисты, с которыми он пытался, скорее всего из-за тактических соображений, создать отношения, замаскированные под «дружбу». Но в конце концов схватка с гитлеризмом, поставившая на грань краха не только его карьеру, но и все великое дело, которое он попытался сделать собственным, вновь вынесла его на самую вершину власти и славы. Достигнув апогея своего могущества, он не мог не понимать, что обязан не просто игре исторического случая, стечению обстоятельств, бесспорности идеи, а прежде всего выбранной методологии своих устремлений. Вся она — в вечной борьбе. Неважно, как она выглядит: борьбой с фракционерами, за индустриализацию, коллективизацию, с «космополитами» и множеством других «крепостей», которые должны «взять большевики». В конечном счете лично для него, вождя, такая борьба — его утверждение, увековечение, обожествление.

Сталин всегда помнил, что идея классовой борьбы в человеческом существовании является для него основополагающей. Даже когда были уничтожены помещики и капиталисты, он нашел еще один «класс», который надо было ликвидировать, — кулаков. Наконец, оставшись без явных классовых врагов, кого можно было бы «бить», Сталин нашел формулу, по которой они будут всегда появляться. Сидя глубокой ночью в своем кремлевском кабинете, са неделю до зло-

вещего февральско-мартовского Пленума, Сталин искал определение, вывод, в соответствии с которым можно было бы борьбу внутри общества сделать «перманентной». Многократно зачеркнутые и исправленные слова ключевой фразы его будущей речи свидетельствуют, как Сталин долго искал ее. Наконец диктатор сформулировал то, что было ему нужно. Напомним это место из стенограммы Пленума: «Чем больше будем мы продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут идти на острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому обществу, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последнее средство обреченных». Дальше в речи еще одна знаменательная фраза: врагов «мы будем в будущем разбивать так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом».

В ставке на бесконечную борьбу, понимаемую антагонистически, жестоко, бескомпромиссно, однозначно, кроется одна из главных «тайн» сталинской методологии мышления и действия. Даже добившись того, что великий народ надолго замолчал, Сталин не успокоился. В январе 1948 года «тиранический человек», пользуясь определением Платона, вызвал к себе министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова и отдал распоряжение: продумать «конкретные мероприятия» по созданию новых, дополнительных лагерей и тюрем особого назначения. В едва уловимых тонах необъятного Отечества Сталину послышалось (еще не дал команду на создание «ленинградского дела!») нечто тревожное — участились случаи проявления недовольства людей, появились попытки перехода за кордон, некоторые из писателей замолчали, как бы протестуя против безысходности сжимающегося обруча единовластия.

— В феврале доложите проект решения, — подытожил Сталин. — Для троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, белоэмигрантов нужно создать особые условия...

— Будет исполнено, товарищ Сталин, будет исполнено, — несколько раз повторил послушный бериевский функционер.

Пусть читатель не подумает, что я перепутал исторические даты, нет: в 1948 году Сталин вновь заговорил о троцкистах, меньшевиках, эсерах, анархистах... Думаю, что он в эти жупелы вкладывал понятие «новых» врагов: неотроцкистов, неоменьшевиков, неэсеров и так далее. Круглов не заставил ждать. В середине февраля Поскребышев доложил вождю документ:

«Центральный Комитет ВКП(б)
товарищу Сталину И. В.

В соответствии с Вашими указаниями, при этом представляю проект постановления Совета Министров об организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников и о направлении их по отбытии наказания на поселение в отдаленные места СССР.

Просим Вашего решения.

В. Абакумов. С. Круглов».

В проекте постановления говорилось, что «троцкисты, террористы, правые, меньшевики, эсеры, анархисты, националисты, белоэмигранты» должны направляться в десятки новых создаваемых лагерей на Колыме, под Норильском, в Коми АССР, Елабуге, Караганде и других местах. С осужденными вести «чекистскую работу по выявлению оставшихся на воле», должно быть «исключено сокращение сроков изоляции и других льгот». Более того, МВД предписывалось «в случае необходимости задерживать освобождение заключенных, с последующим оформлением в установленном законом порядке». Звучит многозначительно: отбывшего срок задерживать «в установленном законом порядке»!

Его «Согласен» является лишь штрихом к портрету вождя. Для него борьба, насилие, несвобода стали инструментами «созидания» мира по-сталински. Абсолютизация чего-либо всегда опасна. Абсолютизация классовой борьбы, составившей один из элементов развития многих эпох, привела Сталина к отрицанию многих подлинных ценностей социализма. Важнейшие из них — социальная справедливость, гуманизм, личность, свобода — были попораны. Сталинские «тай-

ны» единовластия — это тайны перерождения. Если бы был жив Троцкий, уничтоженный вождем, он мог бы повторить свои слова: «Сталин ведет к термидору».

По мере того как мир постепенно узнавал Сталина не только с помощью Фейхтвангера и Барбюса, все больше находилось людей, которые убеждались, что главная «сила» Сталина, «тайна» его неуязвимости — абсолютизация феномена классовой борьбы. Могло даже показаться, что Д. С. Мережковский своим антибольшевистским памфлетом «Царство Антихриста» раньше других увидел смертельную опасность этой абсолютизации. Напомним, что было там написано через три года после Октябрьской революции: «Хороша или дурна идея классовой борьбы, благородна или презренна, — мы, живые люди, участники борьбы, палачи или жертвы, кое-что знали о ней, чего Маркс не знал, что и не снилось всем мудрецам социал-демократии. У них идея эта была только в уме; у нас в крови и костях: кровь наша льется, кости трещат от нее». Действительно, Сталин сделал так много, как никто, чтобы идея, которая «была только в уме», стала господствующей в политике, экономике, идеологии, культуре, социальной жизни. Он не мог быть спокойным, если не слышал, не чувствовал конвульсий жертв этой идеи.

После войны, когда в Европе, да, пожалуй, и в мире стал зримо наблюдаться всеобщий сдвиг влево, могло возникнуть впечатление, что история подтверждает правоту Сталина. Многим вновь стало казаться, что железный плуг классовой борьбы скоро опять начнет вспарывать рядами шрамы на земной тверди. Тогда, похоже, никто не пытался мыслить планетарно — дамоклов меч ядерного апокалипсиса еще был плохо виден. Пока ветры «холодной войны» не заморозили социальную и общественную активность антиимпериалистических сил, многим представлялось, что дело не ограничится крахом колониальной системы.

Выступления Сталина послевоенного времени по-прежнему посвящены «борьбе» за восстановление народного хозяйства, «борьбе» за приоритетное развитие, как и раньше, тяжелой промышленности, «борьбе» за оживление сельского хозяйства. А положение там было крайне тяжелым. Первый послевоенный год был неурожайным. Прекращение поставок зерна из США наряду с крайне низким урожаем в европейской части страны создало критическое положение. Но Сталина эти коллизии не могли вывести из душевного равновесия. С отменной карточек пришлось подождать до осени 1947 года. С голодом страна сталкивалась не впервые. Сталин вспомнил, что в переломном, 1943 году был тоже неурожай. Но фронту тогда помогли американцы, а свое население вновь стойчески, с большими жертвами пережило беду.

Во время одной из встреч в апреле 1944 года Берия молча положил перед Сталиным доклад наркома внутренних дел Казахской ССР Богданова, адресованный в Москву. Верховному было некогда сразу читать, но вечером он перелистал восемь страниц доклада из Алма-Аты. Нарком республики писал, что неурожай 1943 года вызвал большие трудности: тысячи людей опухли от голода, много смертных случаев, особенно среди спецпереселенцев. У Сталина были другие заботы, но взгляд его «зацепился» за конкретные факты, приводимые Богдановым:

«Колхозница Ковалева (Каменский район Западно-Казахстанской области), муж которой погиб на фронте, имеет четырех детей, живет в исключительно тяжелых условиях, собирает падаль и отбросы...

Семья колхозницы Федосовой (колхоз имени Ворошилова Андреевского района Алма-Атинской области), у которой 2 сына погибли на фронте, а муж после трех ранений и сейчас находится на фронте, не получает никакой помощи, употребляет в пищу собак и кошек...

В 23 колхозах Зырянского района Восточно-Казахстанской области большинство из обследованных 110 семей фронтовиков продолжительное время не получали продуктов питания; в ряде колхозов среди детей поголовное опухание, часть находится в безнадежном состоянии...

В колхозе «5 декабря» Зеленовского района Западно-Казахстанской области колхозники вырыли на скотомогильнике труп лошади и мясо разделили между собой...

В колхозе «15 лет РККА» Приуральского района Западно-Казахстанской области покончила самоубийством колхозница Гастель, оставив записку: «Совершаю самоубийство потому, что деться некуда, нет поддержки ниоткуда».

Тогда он просто отложил в сторону шифровку — не те у него заботы... А сейчас? Мысль текла по привычному желобку: «Жертвы неизбежны». Разве не ясно всем, что война, завершившись, продолжает собирать свой скорбный урожай? Среди множества документов — телеграмм, докладов, рапортов о тяжелом продовольственном положении населения, — я не обнаружил следов конструктивной реакции Сталина, которая бы свидетельствовала о его стремлении как-то помочь людям.

Я видел много донесений о голоде, о котором никогда не сообщали ни печать, ни радио. В марте 1945 года, когда Сталину доложили о тяжелом положении в Читинской области, реакция была той же. Правда, Молотов дал распоряжение поставить дополнительно муки в Читку. А в тот год там урожай собрали... по 1,3 центнера с гектара. Берия докладывал в шифровке, что, например, в с. Буторино Белейского р-на дети крадут корм у свиней... А цензоры, вскрывая письма, идущие на фронт из Читинской области, констатировали: в Могойтуйском районе колхозница Лесникова писала, что едят дохлых кур; в Сквородино подобрали паших лошадей у военных и съели; в Улетовском районе, писала колхозница Калашникова, съели всю лебеду, крапиву, хмель, корни пырея...

Неимоверно тяжело писать об этом, такой страшной бедой была для народа война. И эти ее крайние проявления не только на фронте, но и в тылу, казалось, не могут прямо быть отнесены к Сталину. Но он был бесчувственным всегда, поскольку никогда не сомневался — и здесь он был не одинок, — что «верность» революционному радикализму означает и беспощадность на пути к намеченным вершинам. Ведь там будет тоже он или в крайнем случае, если он не доживет до коммунизма, там будет властвовать его идеи! Если размываться на эти мелочи бытия, то можно утонуть в суеде повседневности. Настоящий лидер, полагал Сталин, не должен быть сентиментальным. Об этом он публично говорить не будет, это тоже его «тайна». Пусть, наоборот, все знают, что он «заботится» обо всех.

Многие долго думали, что диктаторское правление Сталина держалось прежде всего на его авторитете, духовной, нравственной власти над людьми. Но сам Сталин знал, что это не так. Его главные инструменты: аппарат насилия, сосредоточенный в НКВД, и партия, которую он давно и настойчиво превращал в идеологический «орден». Это уже были не просто «приводные ремни» его воли, а главные элементы той системы, которую он создал. Именно эти инструменты власти отождествляли социализм и вождя как нечто целое, органичное. То все были «тайны» его силы и влияния, но были у него и личные тайны.

Сталин, по-видимому, не вел дневников, был осторожен в записях. Многие документы после ознакомления по его указанию уничтожались. В толстых томах его переписки (собственно, писали и докладывали ему, а он лишь решал, устно или письменно, оставляя короткие резолюции типа: «Согласен», «Доложите о результатах», «Дело продумано плохо» и так далее) иногда встречаются его пометы: «Прошу эти документы уничтожить. И. Ст.». Как удалось установить, порой уничтожались доклады о выполнении его некоторых указаний по линии НКВД.

Сталин был, наверное, одним из немногих, кто мог читать зарубежные материалы, где он изображался зло, карикатурно, в духе политической сатиры. Для него чтение переводов этих документов играло роль аккумулятора ненависти: он заряжался злобой на бесчисленных врагов в стране и за рубежом, находя в своем сердце, и так переполненном ненавистью, дополнительное место для испепеляющего огня.

Например, Сталину в августе 1937 года сообщили, что один из «беглых», «бывших», поэт Т. Н. Гарин-Михайловский, зарабатывая себе на жизнь, хочет опубликовать в эмигрантской прессе поэму «Пушкин и Сталин». Одновременно с сообщением прислали и текст поэмы, подготовленный в виде диалога вождя с великим русским поэтом. Сталин тогда со злобной безгловитостью листал страницы текста, отпечатанного еще на старинной машинке с «ятем». Пробегая отдельные места, он остановился на заключительных строках поэмы:

«Сталин (просыпается, протирает глаза, смотрит вокруг и перелистывает тома Пушкина. Один)

Нет, это не был Пушкинъ, ясно:
Ищу цитаты я напрасно...
И самозванец, видно, мне
Явился въ полуденном сне...
Но «Божество проголодалось!»
Недаром мне во сне являлось
Шашлык и красное вино,
Да имя новое одно... (Кричит.)
Эй, слуги! Мой обед всегдашний
И список ГПУ вчерашний,
Я имя дать одно забыл,
Проклятый Пушкинъ с толку сбил... (Довольный, потирает себе руки.)
Итак, товарищи, в работе
И в государственной заботе
Течет, как Волга, жизнь моя...
Знай, Пушкинъ,— «Русь не ты, а Я!»

С таким же чувством переполнявшей его ненависти в том же году, как он помнит, ознакомился с одной, особенно потрясшей его речью Троцкого «Я обвиняю!», которую тот произнес на нью-йоркском ипподроме. «Почему Москва так боится голоса одного человека? — вопрошал изгнанник. — Только потому, что я знаю правду, что мне незачем скрывать ее. Я готов представить в международную комиссию расследований документы, факты и свидетельства, в которых и скрыта правда. Я заявляю: если эта комиссия решит, что хоть в малейшей степени я виноват в тех преступлениях, которые мне приписываются Сталиным, я добровольно отдам себя в руки ГПУ. Я делаю это заявление перед всем миром... Но если комиссия найдет, что процессы в Москве — это сознательная и преднамеренная провокация, то я потребую от своих обвинителей занять место на скамье подсудимых».

Такие документы Сталин хранил, пока через какое-то время не отдавал Поскребышеву. Тот многие уничтожил, некоторые, правда, сохранились в тайниках архивов. Для Сталина это было общение наедине с теми, кого он ненавидел, с кем боролся, кто атаковал его. «Заряжаясь» ненавистью, Сталин умел и «разряжаться» — и это чувствовали миллионы людей...

А. А. Епишев, работавший одно время заместителем министра государственной безопасности, рассказывал, что у Сталина была толстая тетрадь в черном коленкоровом переплете, куда он иногда что-то записывал. Едва ли для памяти, ибо она была у него «компьютерной», хотя к концу жизни и стала сдавать. Возможно, о содержании этих записей мы никогда не узнаем. Я не знаю источника, на который опирался Алексей Алексеевич, но он предполагал, что Сталин какое-то время хранил и некоторые личные письма от Зиновьева, Каменева, Бухарина и даже Троцкого.

Нет, вождь не вел поденных записок, как Николай Александрович Романов, последний русский царь. Дневник императора охватывает 36 лет, не пропущено ни одного (!) дня, исписано при этом пятьдесят тетрадей в сафьяновом переплете! Думаю, Сталин не мог бы снизойти, как гимназистка, до писания дневников, где, кроме педантизма и мелочей, будет трудно что-нибудь обнаружить. Диктатор мог, судя по его характеру, записывать нечто существенное о сегодняшних и завтрашних деяниях, о людях и их грядущих судьбах. Мне, несмотря на все попытки, не удалось выяснить ни содержания, ни судьбы личных записей Сталина. Кому-то выгодно многое о Сталине и сегодня не предавать гласности. Доступ к Сталину, прямой, имели лишь Берия и Поскребышев. Но Поскребышев, как и Власик (два человека, которым больше всех доверял Сталин), незадолго до его смерти были скомпрометированы Берией и устранены

из окружения. О существовании этих записей вождя могли знать только они трое, но накануне смерти Сталина из них около вождя остался только Берия.

После инсультного удара у Сталина, когда Берия и Хрущев привезли утром врачей (до этого 12—14 часов Сталин оставался без медицинской помощи), сталинский монстр сразу определил, что это конец. В один из дней агонии Сталина, оставив Хрущева, Маленкова и других членов Политбюро около постели умирающего, Берия умчался в Кремль. Кто сегодня скажет, не в сейф ли вождя кинулся в первую очередь этот сталинский Фуше? Если да, то куда он мог убрать личные записи Сталина? другие его бумаги?

Берия не мог не видеть, что в последние год-полтора отношение Хозяина к нему непрерывно ухудшалось. Подозрения о дальних намерениях Берии не могли не прийти в голову к Сталину. Может быть, Генералиссимус оставил распоряжение или даже завещание? Вождя тогда окружали таким благоговейным почетом, что могли, по-видимому, выполнить его волю. У Берии были основания опасаться и спешить. А проникнуть в кабинет Сталина мог, повторяем, только он, поскольку Сталина охраняли его люди. Как бы там ни было, насколько мне удалось установить, сталинский сейф был фактически пуст, если не считать партбилета и пачки малозначащих бумаг. Берия, уничтожив загадочную личную тетрадь Сталина (если она там была), расчищал себе путь на самую вершину власти. Возможно, мы никогда не узнаем этой сталинской тайны, но А. А. Епишев был уверен, что Берия «очистил» сейф до его официального вскрытия. Видимо, это ему было очень нужно.

Сталин имел обыкновение откладывать в особую папку документы, которые почему-либо его заинтересовали; отдельные письма, шифровки, свидетельства. Так, в начале 1946 года Берия передал Сталину фотокопии личного и политического завещаний Гитлера. Сталин так надеялся захватить его живым! Он долго читал переведенные тексты завещаний фюрера, останавливаясь подолгу на некоторых фразах: «Я решил перед окончанием земного существования взять в жены девушку,.. она по своему желанию умирает со мной как моя супруга... Наше желание быть тотчас же сожженными на месте».

«Приобретенные мною в течение многих лет картины я собирал не для личных целей, а лишь для создания галереи в моем родном городе Линц на Дунае».

«Я не хочу попасть в руки врагов, которые для увеселения своих затравленных масс нуждаются в организуемых евреями зрелищах».

«Я умираю с радостным сердцем,.. придет сияющее возрождение национал-социалистского движения».

Сталина, глубже своих соратников понимавшего религиозный смысл, особенно возмутила одна фраза, написанная выродком: «Я решил перед окончанием земного существования...» Что же, он надеялся и на загробное существование? Не в раю ли?! Сталин очень жалел, что Гитлер избежал международного суда военных преступников, но эти документы, как и некоторые другие, доставленные ему из Берлина, позволили ему четче увидеть зловещий профиль того, с кем он вел смертельную борьбу все эти годы. Мог ли он догадываться, что придет время и многие историки, философы, писатели будут его, Сталина, сравнивать с тем, кого он поверг, искать сходные черты, присущие двум диктаторам? Это тоже вечная тайна.

Лежали в папке и другие бумаги, к которым Сталин, по-видимому, обращался. Они сохранились в его фонде. Назовем лишь некоторые. В папке письмо от выпускников Института красной профессуры, подписанное 27 октября 1935 года, где новые специалисты жалуются на их выселение из общежития и оставление там «классово чуждых элементов вроде княжны Багратион». Здесь же протокол заседания комиссии о ликвидации общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В докладной записке, прочитанной Сталиным и подписанной Я. Петерсом и П. Поспеловым, говорится, что в обществе «преобладают бывшие эсеры и меньшевики, тесно спаянные между собой связями. После убийства Кирова было арестовано 40—50 членов общества...» Говорилось далее, что

«в своем журнале «Каторга и ссылка» особый упор делают на Бакунина, Лаврова, Ткачева, Радищева, Огарева, Лунина и других. Есть статьи о Ницше и Керенском; в журнале сообщалось, как народовольцы готовили свои бомбы (мол, подозрительно)... Кое-кто в обществе считает, что они должны защищать своих членов общества, арестуемых соввластью». После чтения Сталиным этой записки судьба общества была предрешена.

Вот за подписью Акулова в папке лежит письмо вождю с предложением о сооружении памятника на Перекопе и Чонгаре. Резолюция: «В архив. Вопрос отложен. Средств пока нет». Письмо А. Я. Каплера из тюрьмы с просьбой о направлении на фронт; записка Берии о сообщении югославского генерала Стефановича о сыне Якове, с которым он одно время вместе находился в плену; доклад Круглова о доставке в декабре 1945 года из Праги «Русского заграничного архива». Письма Сталину Г. Ягоды, К. Радека, М. Зоценко, А. Жданова, О. Серовой, многих других. Со временем они частью передавались в личный архив, некоторые, видимо, уничтожались. В «Личной переписке» и сейчас, кроме служебных бумаг, немало писем, адресованных непосредственно вождю. Знакомство с этими документами также позволяет приподнять часть полога, которым диктатор укрывал свои тайны. Общество, которое Сталин создавал, должно быть очень закрытым, и, естественно, ни о какой гласности, информированности народа не могло быть и речи. Людями, которые знают крайний минимум необходимого, руководить легче. Этим «минимумом» занимались Жданов, Суслов и их выученики.

Существует еще тайна, которую едва ли когда удастся полностью открыть: смерть жены Сталина. Официальные заявления и различные версии известны давно, но, пожалуй, каждая из них недостаточно убедительна. Выскажем одно свое соображение на этот счет. Есть в архиве один любопытный документ: прошение на имя М. И. Калинина о помиловании Александры Гавриловны Корчагиной, заключенной концлагеря на Соловках. Прощение написано фиолетовым карандашом на нескольких листках школьной тетради 22 октября 1935 года.

Как явствует из пространного письма, член партии А. Г. Корчагина пять лет работала домработницей в семье Сталина. Была арестована, когда один из заключенных, работавших ранее в Кремле, некий Синелобов, показал на Корчагину, что она-де говорила: Надежду Сергеевну застрелил сам Сталин. В письме Корчагина не очень убедительно отрицает этот факт, ссылаясь на официальную версию о «разрыве сердца» Аллилуевой. Упоминаемые в прошении Синелобов (инициалов в тексте нет. — **Д. В.**), сожитель Корчагиной охранник Я. К. Гломе, безымянный секретарь партячейки интересовались у домработницы: почему причину смерти не указали в газетах? Из прошения явствует, что официальная версия смерти многих не удовлетворила, тем более что, как пишет Корчагина, Сталин тогда же, в ночь смерти, вернулся на кремлевскую квартиру, видимо, следом за женой. По всей вероятности, эти разговоры, дошедшие до Сталина, напугали его, и он решил не только убрать Корчагину, но и фактом ее ареста заставить замолчать всех, кто что-либо знал об этом деле. Именно — замолчать.

Уже тогда, в конце 35-го — начале 36-го годов, судили по-сталински. Корчагина пишет Калинин, что угрозами следователя Когана ее принудили признать обвинение, а затем без суда объявили приговор: концлагерь на Соловках. К письму приложено заключение особо уполномоченного НКВД Луцкого, которое гласит, что Корчагина А. Г. «проходит по делу о контрреволюционных террористических группах в правительственной библиотеке, в комендатуре Кремля и др.». Резолюция «всесоюзного старосты» лаконична: «Отклонен. М. И. Калинин. 8.III.36 г.».

Следует добавить, что в то время действительно многие считали, что Аллилуева не сама покончила с собой, а ее застрелил Сталин, в приступе гнева не захотев больше терпеть своеравность жены, имевшей твердый характер. И эта версия не выглядит нереальной, учитывая полное отсутствие у Сталина того, что мы называем порядочностью. У него ни разу не дрогнула рука, когда

он отправлял на гильотину Беззакония своих друзей, товарищей по Политбюро, боевых соратников по гражданской войне, близких родственников. Нельзя, конечно, исключать и того, что Надежда Сергеевна не просто устала от бессердечия мужа, но и выразила таким трагическим способом свой протест против многого из того, что она знала. Это еще одна тайна, разгадать которую едва ли удастся.

Среди личных «тайн» есть и связанная со старшим сыном Яковом. По ряду свидетельств, нельзя исключать возможности, что делались одна-две попытки организовать побег старшего лейтенанта Я. Джугашвили, о чем мы уже говорили в первой книге, ссылаясь на Д. Ибаррури. Сталин хотел тогда не столько спасти сына, сколько, повторяем, обезопасить себя. Он думал, что фашисты могут сломать волю Якова и использовать его против авторитета отца. Но постепенно и немцы все реже стали упоминать о Джугашвили в своей пропаганде, а потом и замолчали совсем. Пожалуй, полностью Сталин успокоился лишь тогда, когда нарком внутренних дел СССР доложил ему 5 марта 1945 года:

«Государственный Комитет Обороны,
товарищу Сталину И. В.

В конце января с. г. Первым Белорусским фронтом была освобождена из немецкого лагеря группа югославских офицеров. Среди освобожденных — генерал югославской жандармерии Стефанович, который рассказал следующее.

В лагере «Х-С» г. Любек содержался ст. л-т Джугашвили Яков, а также сын бывшего премьер-министра Франции Леона Блюма — капитан Роберт Блюм и другие. Джугашвили и Блюм содержались в одной камере. Стефанович раз 15 заходил к Джугашвили, предлагал материальную помощь, но тот отказывался, вел себя независимо и гордо. Не вставал перед немецкими офицерами, подвергаясь за это карцеру. Газетные сплетни немцев обо мне — ложь, — говорил Джугашвили. Был уверен в победе СССР. Написал мне свой адрес в Москве: ул. Грановского, дом 3, кв. 84.

Берия».

Безуспешные меры, которые предпринимали Сталин с Берией, чтобы вызволить Якова (или не дать ему «заговорить»), оказались ненужными.

К концу жизни, по мере того как силы покидали вождя, он все чаще задумывался: что достанется после него историкам? Какие он оставил следы для них? Каково его документальное и эпистолярное наследие? Видимо, этим объясняется, что года за полтора до своего юбилея Сталин поручил Маленкову внимательно посмотреть архивы: какие материалы, связанные с Лениным и с ним, Сталиным, остались неизвестными? Есть основания считать, что Ленин его интересовал меньше. Но, будучи исключительно хитрым человеком, Сталин понимал, что в «соседстве» с Лениным эта «инвентаризация» архивов не вызовет ни сейчас, ни позже кривотолков и сомнений. Сделать это было нетрудно, поскольку почти все основные архивы находились в ведении МВД. Через восемь — десять месяцев министр внутренних дел С. Круглов доложил:

«ЦК ВКП(б), товарищу Маленкову Г. М.

Архивными органами МВД систематически проводится работа по выявлению и учету хранящихся в архивах подлинных документов, написанных В. И. Лениным и И. В. Сталиным.

В течение 1948 года был проведен полистный осмотр 190 000 дел, документальных материалов 38 важнейших архивных фондов: ЦИК, СНК СССР и РСФСР, СТО СССР, Наркомнаца, НКВД СССР, Наркомпроса, ВСНХ, газеты «Известия», Управления делами Реввоенсовета республики и других.

В результате полистного просмотра указанного количества документальных материалов было выявлено и передано в ИМЛ 1203 автографа и копии с подлинных документов, написанных В. И. Лениным и И. В. Сталиным...

В этом году в архиве Октябрьской революции и социалистического строительства с этой целью будет просмотрено 58 000 дел.
28 января 1949 года.

Министр внутренних дел С. Круглов».

По некоторым данным, Г. М. Маленков не один раз докладывал Сталину о результатах таких «ревизий». Думается, что далеко не все документы попали в ИМЛ. Сталин очень заботился о том, чтобы в истории о нем осталось то, что он «разрешил», поэтому неудивительно, что многих подлинных документов сейчас в архивах нет, а на копиях не воспроизведены его резолюции. Это тоже чисто сталинские тайны. Многие из них действительно открыть непросто.

Вообще с «этой стороны» Сталин архивами интересовался. Когда военные сразу после войны доложили ему, что чехословацкое правительство намерено передать в дар СССР «Русский заграничный архив», он распорядился организовать прием и просмотр документов фонда. Тот же Круглов доложил 3 января 1946 года, что под руководством НКВД доставлено в Москву девять вагонов документов (архивы правительства Деникина, Петлюры, личные архивы Алексеева, Савинкова, Милюкова, Чернова, Брусилова и многих других русских деятелей). В архиве были представлены большим отделом книги и материалы по истории Октябрьской социалистической революции и гражданской войны.

Для приема документов привлекались специалисты из Академии наук И. Никитинский, С. Богдавленский, И. Минц, С. Сутоцкий, но руководили всем процессом и докладывали Сталину о содержании и дальнейшей судьбе архива высшие чины НКВД. Например, в результате разбора «Русского заграничного архива» сотрудники НКВД обнаружили рукопись Алексея Алексеевича Брусилова, бывшего царского генерала, который, будучи командующим Юго-Западным фронтом в первой мировой войне, осуществил знаменитый прорыв, оставшийся в истории как «брусилковский». С 1920 года он служил в Красной Армии, был инспектором кавалерии РККА, состоял с 1924 года при РВС СССР для особо важных поручений. Рукопись книги «Мои воспоминания», завершенная в 1925 году во время лечения в Карловых Варах (в следующем году Брусиллов умер), явно предназначалась не для публикации в СССР.

В записке, приложенной к рукописи, Брусиллов пишет: «Ведь всем понятно, что в СССР я не мог бы ничего написать. Оставляю эти тетради на попечение дружественных людей за границей и прошу их не обнародовать вплоть до моей смерти... Если в Европе люди хотят спасти порядок, семью, отечество,— пусть поймут мою ошибку и не повторяют ее. Наши политические партии спорили и ссорились, пока не погубили Россию!»

На записке лежит печать смятения человека, любящего Россию, но не сумевшего, имея за плечами семь десятков лет, понять и принять революционный катаклизм. Для Сталина же эта записка стала еще одним «доказательством» его правоты в недоверии к «спецам».

Сталин мог все сделать тайной. Даже переписные листы июля 1938 года, в которых указаны члены семей руководящей верхушки, принесли диктатору для рассмотрения. Сталин водил карандашом по спискам:

...— Берия Нина Теймурадовна, грузинка, научный работник, сын Сергей, 14 лет.

— Каганович Мария Марковна, дочь Майя и сын Юрий.

— Ворошилова Екатерина Давыдовна.

— Жемчужина Полина Семеновна; дочери — Светлана Вячеславовна Молотова и Рита Ароновна Жемчужина.

— Андреева — Дора Моисеевна Хазан, дочь Наталья Андреевна.

Красный карандаш Сталина отмечал ему одному ведомые по смыслу галочки, «инвентаризировал» близких его окружения. Жирно подчеркнул фамилию собственного счетчика: Харитонов И. С. Секреты, тайны... Без них общество, которое он создавал, существовать не могло.

Сталин любил тайны и умел их хранить. Вся его закулисная жизнь окутана почти непроницаемой пеленой, похожей на саван. Он постоянно следил за всеми своими «соратниками». Ни словом, ни делом тем ошибаться было нельзя. Стоило Н. А. Вознесенскому, способному на резкие и смелые суждения, где-то переступить невидимую грань дозволенного, как судьба его круто повернулась. Об этом «соратники» вождя хорошо знали. Берия регулярно докладывал о ре-

зультатах наблюдений за окружением диктатора. Сталин, в свою очередь, следил за Берией, но эта информация не была столь полной. Содержание докладов было устным, а значит, и сверхтайным.

Сталин любил копаться в списках партийных, государственных, дипломатических, военных работников, оставляя нередко против отдельных фамилий одному ему понятные меты: галочки, крестики, минусы, двойные черточки. Это могло означать избрание или неизбрание в ЦК, Верховный Совет, передвижение по вертикали или по горизонтали, а иногда и самое худшее. Причины, мотивы этих решений определялись, видимо, степенью личной преданности вождю (но ведь были преданы все!) и какими-то еще, только ему известными критериями.

Большим руководителям, находящимся на виду множества людей, трудно беречь личные тайны. В демократическом обществе в этом нет нужды. Во времена Сталина, как государственная тайна особой важности, были данные о составе семей членов Политбюро, их привязанностях и вкусах, отношении к тем или иным вопросам и проблемам. Тайнственное в своей засекреченности и безликости руководство было призвано лишь создавать фон «окружения», «соратников», «единомышленников». Всегда в арсенале у Сталина, Берии была наготове тайна о возможном «заговоре», «покушении» «терракте». Сталин действительно смертельно боялся покушения. Зная, что висит за его плечами, он предполагал, что в обществе могут (должны!) быть люди, подобные народовольцам, эсерам, которые делают особую ставку на террор.

Сталин всю жизнь ждал покушения, а его не было.. Вождь недооценил своих способностей в умении заставить замолчать, притихнуть народ. Тех, кто знал, каким виделся социализм Ленину, диктатор уничтожил, а молодые новые волны поколений, — благодаря сталинской демагогии считали, что таким, как его строил Сталин, и должен быть социализм. Окружение знало патологический страх вождя перед покушениями и до ужаса боялось навлечь на себя подозрения, которые могли стать роковыми.

Закрытость общества начинается с руководства. Сталин здесь многого добился. Свету гласности предавалась лишь самая малая толика его личной жизни. Тысячи, миллионы портретов, скульптур, бюстов отражали загадочного человека, которого народ боготворил, обожал, но совсем не знал. Сталин умел хранить, как тайну, силу своей власти и своей личности, предавая народному обозрению лишь то, что предназначалось для ликования и восхищения. Все остальное было покрыто мраком таинственности.

Пароксизм насилия

Всем живущим на земле время отмеряет одной мерой. Вожди не являются исключением. Годы давили на плечи, а слава Сталина росла. Она, по сути, стала планетарной. И враги, и друзья были вынуждены считаться с его волей, изощренным умом, планами. Еще задолго до семидесятилетия по инициативе Маленкова на Политбюро рассмотрели длинный перечень мер и шагов по достойному проведению юбилея. Это не только увековечение имени вождя — новые монументы, наименования комбинатов истроек, но и бесчисленные трудовые рапорты. В фонде «Переписка с товарищем Сталиным» есть множество рапортов, докладов наркомов (а затем и министров), директоров заводов, секретарей обкомов. Но больше всего обращений Берии. Тот еще во время войны стал радовать Сталина трудовыми свершениями своего наркомата. Например, 26 января 1944 года он докладывает:

«Государственный Комитет Обороны
товарищу Сталину И. В.

Докладываю, что Челябинсталлургстрой НКВД закончил строительство первой очереди теплоэлектроцентра Челябинского металлургического завода и сдал в эксплуатацию турбину № 1 мощностью 25 тысяч киловатт и котел № 1. ТЭЦ начата строительством на неосвоенной площадке в марте 1943 года и закончена в короткий срок за 10 месяцев.

Прилагаю на Ваше решение рапорт строителей и проект ответной телеграммы.

Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР Л. Берия».

Рапорты Берии, повторяем, шли регулярно. Складывалось впечатление, что его ведомство работало лучше других. Вот и за год до юбилея его сменщик Круглов завалил вождя докладами такого же характера:

«Товарищу Сталину И. В.

Министерство внутренних дел СССР докладывает Вам, товарищ Сталин, что горняки Печорского угольного бассейна, борясь за досрочное выполнение плана третьего года пятилетки, 19 декабря (накануне дня рождения вождя. — Д. В.) выполнили годовой план добычи угля... Горняки Печорского угольного бассейна до конца года дадут стране сверх плана 200 тысяч тонн угля.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов».

Такие же «горняки» трудились на сотнях, тысячах предприятий страны под охраной конвоя. Сталин считал это совершенно нормальным: построение нового общества требует жестокой селекции. Все, недостойные звания «нового человека», должны пройти длительное перевоспитание в множестве лагерей. Даже когда фашистские войска были под Москвой на расстоянии выстрела дальнобойной пушки, десятки соединений и частей войск НКВД охраняли огромное количество заключенных, большая часть которых, будь система справедливой к ним, должна была бы быть на фронте. И не приходилось бы Жукову, другим военачальникам собирать все, что оказывалось под рукой, чтобы латать прорехи на фронте,— бросать в прорывы училища, различные курсы, ополчение, команды военных складов, караульные роты... Да, в самое тяжелое время десятки соединений и частей войск НКВД охраняли «врагов народа», которых, похоже, Сталин боялся не меньше, чем фашистов.

Как явствуют документы, именно Сталин был инициатором превращения заключенных в постоянный источник бесправной и дешевой рабочей силы. Его выступление на заседании Президиума Верховного Совета СССР 25 августа 1938 года, поощряющее беззаконие и позволяющее удерживать заключенных в лагерях и по истечении срока, было тут же оформлено соответствующим юридическим актом, цену которого испытали на собственной судьбе многие-многие тысячи людей.

В беседе со мной Александр Георгиевич Кабаев, рабочий-пенсионер из Бугуруслана, рассказывал, как его отец, инженер авиазавода в Москве, был арестован в 1936 году за «контрреволюционную троцкистскую деятельность», о которой не имел ни малейшего представления, и осужден на пять лет. Однако без всякого суда ему к пяти годам прибавили еще шесть. Вернувшись в 1947 году к семье, сосланной в Бугуруслан, он недолго пробыл с ней — скоро вновь арест, тюрьма, высылка без всякого суда в Красноярский край, где он и умер. Исковерканная и растоптанная жизнь. А сколько было таких жертв произвола? Кто скажет, кто знает?

Со временем Берия с полного согласия и одобрения Сталина отладил целую систему тюремной эксплуатации и интеллектуального потенциала страны: инженеров, врачей, архитекторов, строителей, технологов, ученых. Уже во время войны умом и руками многих этих людей были сделаны крупные открытия и изобретения, сыгравшие важную роль в наращивании обороны. Были случаи, когда таким способом эти люди добывали собственную свободу. Вот один пример. В феврале 1944 года Берия подготовил следующий доклад:

«Председателю ГКО
товарищу Сталину И. В.

В 1942—43 гг. по проектам заключенных специалистов 4-го спецотдела НКВД СССР на заводе № 16 НКАП выполнены следующие работы, имеющие важное оборонное значение:

1. По проекту Глушко В. П. построены опытные реактивно-жидкостные двигатели РД-1, предназначенные для установки на самолеты в качестве ускорителей.

2. По проекту Добровольского А. М. на базе спаривания серийных моторов М-105 построены мощные авиационные двигатели МБ-100 со взлетной мощностью 2200 л/с и МБ-102 со взлетной мощностью 2425 л/с...

Учитывая важность проводимых работ, НКВД СССР считает целесообразным освободить со снятием судимости особо отличившихся заключенных-специалистов... Прошу Ваших указаний. Берия».

Далее следует список 35 заключенных: Артишевский Л. Б. (осужден на 10 лет), Бегаш Б. Л. (10 лет), Бережной Ю. М. (25 лет), Бодня М. Е. (20 лет), Брагин Д. Я. (10 лет), Витка В. А. (10 лет), Владимиров М. С. (10 лет), Вольф А. О. (10 лет), Глушко В. П. (10 лет) и другие... Эта практика сохранялась в течение многих лет. Сталин верил, что мысль, будучи и в заточении, способна успешно работать на общее благо. Все должны так делать... Ведь работает же он по-прежнему по 12—14 часов в сутки!

Действительно, вождь не мог изменить себе. Он хотел решать все сам. Анализ ежедневных дел, которые нес на стол немногочисленный Поскребышев, свидетельствует, что централизация власти еще больше усилилась. Ни одно мало-мальски крупное дело не могло быть решено помимо вождя. Чудовищный централизм парализовал инициативу, гасил подлинное творчество, вел к стагнации общественную мысль. Вопросы нового строительства (опять главная ставка на тяжелую промышленность), жесткая денежная реформа, использование труда огромного количества пленных немцев и японцев, сокращение численности сил ПВО Москвы, создание Министерства лесного хозяйства, донесения о ходе работы над новым танком Т-54, решение вопроса о выделении одного грамма радия научно-исследовательскому институту, принятие решения о поездке советской делегации на съезд хирургов в Прагу, об открытии Дома советской культуры в Вене, изучение доклада разведанных об испытательном взрыве американских атомных бомб на Бикини и многое-многое другое. Все докладывалось для личного решения Сталину. Вот, например, Булганин и Голиков сообщают о своеволии маршала Жукова, специальным приказом отметившего после концерта Русланову и других артистов московских театров. Сталин отложил бумагу без резолюции. Мелочь, думал вождь, так же, как и доклад Председателя Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР Карпова об очередной сессии Синода при Патриархе Московском и всея Руси...

Решая ежедневно многие десятки вопросов крупного и мелкого, важного и второстепенного значения, Сталин стал буквально пленником созданной им системы, но иначе он не мог и не хотел. Стоило кому-нибудь принять более или менее самостоятельное решение, не одобренное Сталиным или хотя бы кем-то из его окружения, следовала жесткая реакция. Так было, например, с первым секретарем Ленинградского обкома партии П. С. Попковым, опрометчиво согласившимся на проведение Всероссийской торговой ярмарки в городе на Неве без специального решения центра. Этот шаг стал одним из «аргументов», подтверждающих «антипартийность» ленинградского руководства.

Сталин, перелистывая бесчисленные шифровки, доклады, сообщения, не без удовлетворения отмечал, что к приближающемуся юбилею удалось восстановить практически все разрушенные предприятия, заложить сотни новых. Возрождение было быстрым. Во время последнего разговора с Вознесенским он вновь жестко подчеркнул: в центре внимания — тяжелая промышленность. Сельское хозяйство, потребительские товары — фактор нерешающий. Финансовые, технологические ресурсы, как и раньше, концентрировали прежде всего в сфере промышленности. Но и там шел рост в основном количественный, а не качественный.

Сельское хозяйство тем временем все более деградировало. Сталин едва ли знал, что колхозники, лишённые стимулов так же, как и паспортов, работали лишь под угрозой многочисленных кар и тягот (необходимости выработать минимум трудодней, все большего обложения натуральным и денежным налогом

каждого живого существа в хозяйстве, даже фруктового дерева, сокращение приусадебных участков и других повинностей). То было бесправное сословие, не имеющее возможности ни протестовать, ни что-либо изменить. Весь урожай колхозов (как правило, очень низкий) изымался за смехотворно низкую символическую плату. Молодежь всеми правдами и неправдами пыталась покинуть село, пополняя собой ремесленные училища, давая дешевую рабочую силу для многочисленных новостроек, лесозаготовок. Коллективное хозяйство ничего не решало: сверху определялось все — от времени начала сева до того, кому быть очередным председателем.

Аграрный «эксперимент», начавшийся в конце двадцатых годов и возведенный в систему, показал глубокую пагубность декретирования и административного насилия. В ЦК принимались многочисленные решения по сельскому хозяйству, но все они носили верхушечный характер, означали лишь поиск новых рычагов в стремлении заставить работать людей. Фактически этот труд был подневольным. В «Справочнике советского работника» под редакцией А. Я. Вышинского излагались многочисленные извлечения из различных постановлений центра: как запрещали, ограничивали, предупреждали, угрожали селу различными карами «социальной защиты». Хотя справочник вышел до войны, почти все его постулаты сохраняли прежнюю карательную силу и теперь. При внимательном рассмотрении всей жизни гигантского государства, огромном напряжении сил народа, самоотверженности миллионов людей, терпеливо ждавших улучшения условий своей жизни, было видно: путь в «светлое будущее» прокладывался с помощью насилия. Сталин, повторяем, усматривал в этом «закономерность» социалистического строительства.

Крестьянин-колхозник не мог по своему желанию покинуть деревню. Не пустовали многочисленные лагеря. Неосторожное слово могло стоить свободы. Директива, приказ, указание сверху, будучи часто нелепыми, не могли осуждаться. Особое совещание при НКВД СССР, созданное постановлением ЦИК СССР 10 июля 1934 года, продолжало активно функционировать. Подозрение в инакомыслии или каком-либо политическом деянии по-прежнему сурово каралось. Ежемесячно Сталину шли многочисленные рапорты-доклады, очень похожие один на другой. Вот, например, такой:

«ЦК ВКП(б)

товарищу Сталину И. В.

Докладываю, что 24 декабря 1948 г. Особым Совещанием при МВД СССР рассмотрено следственных дел на 260 человек. Из них осуждены все на различные сроки:

| | |
|------------|---------------|
| на 25 лет | — 8 человек |
| на 10 лет | — 8 человек |
| на 7—8 лет | — 48 человек. |

.

К двенадцати годам каторжных работ — 29 человек.

Министр внутренних дел СССР — С. Круглов».

30 декабря объем «работы» Особого совещания таков же, только к каторжным работам осуждено вдвое меньше — 15 человек. Все решения одобрялись единодержцем, ведь это его детище — каторжные работы...

Да, пусть читатель не удивляется: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, который не публиковался, был введен особый вид наказания — каторжные работы для фашистских убийц, предателей, пособников оккупантов. Осуждали на каторжные работы сроком от 10 до 20 лет военно-полевые суды. Однако война кончилась, а прерогативу военно-полевых судов взяли на себя особые совещания, решения которых никакому обжалованию не подлежали. И попасть в эти жернова могли уже не только полицейские, но и просто инакомыслящие, подозрительные. Правда, вскоре после войны Сталин узнал о предложении нескольких ведомств, полагавших, что меру наказания, которое может выносить Особое совещание, следует изменить: «В связи с окончанием

войны... целесообразно предоставить право Особому Совещанию при НКВД выносить меру наказания сроком до 10 лет». Сталин с предложением не согласился... Этот внесудебный репрессивный орган ненадолго пережил его автора: в сентябре 1953 года особые совещания наконец были упразднены; то был один из первых облегчающих вздохов общества после кончины тирана.

Слава вождя сопровождалась пароксизмами насилия. На бесчисленных докладах о заседаниях особых совещаний, как правило, никогда никого не оправдывавших, он ставил свое неизменное: «И. Ст.». Все, точнее, почти все, думали, что Сталин знает и видит все. Однако он видел то, что хотел. Он никогда не желал хотя бы мысленно посмотреть в глаза, полные отчаяния, миллионов советских людей, прошедших через его лагерь. Он смог бы увидеть в них настоящую, зловещую тень своей планетарной «славы». Но Сталин жил прежней идеей: он хотел только могущества своей страны, которое увеличит его славу еще больше.

В год своего семидесятилетнего юбилея Сталин осуществил одну из акций, которая и сегодня популярна у пожилых людей. Он смог в условиях фактического развала сельского хозяйства, слабых возможностей легкой промышленности пойти (как и в последующие годы) на заметное снижение цен на товары широкого потребления.

Хотя Сталин накануне подписал постановление Совета Министров «О новом снижении с 1 марта 1949 года государственных розничных цен на товары массового потребления», он не отказал себе в удовольствии после позднего, как всегда, завтрака развернуть «Правду» за 1 марта. В глаза бросилась длинная колонка цифр. Взгляд задержался на некоторых строчках: «Снизить с 1 марта 1949 года государственные розничные цены на товары массового потребления в среднем в следующих размерах:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Хлеб и мука | — на 10% |
| Масло сливочное и топленое | — на 10% |
| Мясо, колбасные изделия и консервы | — на 10% |
| Водка | — на 28% |
| Парфюмерные изделия | — на 20% |
| Шерстяные ткани | — на 10% |
| Велосипеды | — на 20% |
| Телевизоры | — на 25% |
| Часы | — на 30% |

Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, чайных и других предприятиях общественного питания». Поставив накануне свою подпись под постановлением, Сталин предложил от ЦК партии сделать то же самое Маленкову.

Отложив газету, вождь задумался. Народ живет бедно. Вот органы НКВД сообщают, что в ряде районов, особенно на востоке, люди по-прежнему голодают, плохо с одеждой. Но, по его глубокому убеждению, обеспеченность людей выше определенного минимума лишь развращает их. Да и нет возможности дать больше — нужно укреплять оборону, развивать тяжелую промышленность. Страна должна быть сильной, а для этого и впредь придется затягивать пояса.

Каждый следующий год население ждало очередного снижения. И оно следовало. Авторитет вождя поднялся еще выше. Люди не хотели видеть, что в условиях острейшего дефицита товаров политика снижения цен играла весьма ограниченную роль в повышении материального благосостояния. При крайне низком уровне заработной платы жизненный уровень этим снижением существенно не повышался. Подобная политика вела и к социальной демагогии. По некоторым сравнительным показателям, пожалуй, можно утверждать, что к началу пятидесятых годов уровень жизни, реальная заработная плата достигли лишь уровня 1940 года, который, в свою очередь, был почти таким же, как в 1928 году, когда страна едва превзошла уровень, что был накануне первой мировой войны. Возможно, мои выводы, основывающиеся на собственных подсчетах, могут оказаться и некорректными. Однако трудно уйти от ощущения, что долгие эксперимен-

ты, круто замешенные на страшной войне, мало что дали народу с точки зрения реального подъема жизненного уровня.

Конечно, нельзя было не видеть, как выросла образованность советских людей, были сделаны определенные шаги в развитии социального обеспечения населения — установлении пенсий, оплачиваемых декретных отпусков, пособий семьям погибших на войне, многодетным матерям — и немало другого. Но все это был тот социально-экономический минимум, отражавший общее состояние бедности. Дальнейший курс на приоритетное развитие тяжелой промышленности в условиях ускоряющегося упадка в области сельского хозяйства делал перспективы далеко не радужными.

Нередко в жарких спорах о «том», ушедшем времени в качестве аргументов защиты Сталина говорится о «порядке», «дисциплине», «уважении законов». Мол, до чего докатились: появились проституция, наркомания! Не знаю, как насчет проституции, а все остальные язвы: пьянство, хулиганство, воровство и даже наркомания — были в нашем обществе и в годы единовластия. Только все это оставалось областью совершенно секретной криминальной статистики. Возможно, что эти пороки были и в меньших размерах. Вот что в январе 1948 года С. Н. Круглов докладывал Сталину: «В ноябре 1947 года в управление МВД Фрунзенской области (Киргизская ССР) поступили данные о том, что в г. Фрунзе действует группа спекулянтов опиумом в составе Нигматжанова, Хабидулина, Хисмутдинова, Гайнуллиной (инициалов в документе нет.— Д. В.). Изъято 17 килограммов опиума».

Считалось, например, что бесспорным достижением властей того времени является подготовка рабочей смены. Конечно, было немало сделано в этой области. А вместе с тем, как сообщал опять же С. Круглов, «в 1946 году органами МВД задержано 10 563 ученика, бежавших из школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ... Много преступлений на этой почве: воровство, бандитизм. Бытовые условия в училищах неудовлетворительные: антисанитария, холодно, часто нет света».

Казарменные порядки, насилие, господство административных методов были не в состоянии, как теперь часто говорят, устранить нравственные язвы преступности. Едва ли Сталин был согласен с тем, что только уважение закона, высокая культура отношений и демократичность социальной среды в конечном счете способны успешно противостоять криминальным аномалиям.

Противоречия, рожденные единовластием, сопровождались целым спектром других: абсолютной властью одного и несвободой миллионов; утверждением тотальной бюрократии и жизненной подспудной необходимостью социальной активности; насаждением единомыслия и естественной потребностью творчества масс,— и они, эти противоречия, углубляли генезис грядущих кризисов. Сталин этого или не хотел, или не мог понять. Пароксизмы этих противоречий как бы обрамляли нимб триумфатора. Он все более настойчиво нажимал на рычаги идеологические вместо экономических, не видя медленного, но неуклонного угасания революционного энтузиазма.

Сталин по-прежнему делал решающую ставку на социалистическое соревнование, сковав творческую активность масс, все чаще обращался к испытанным методам: угрозам, административным, директивным мерам. Совсем не случайно апогей культа Сталина, пришедшийся на празднование его семидесятилетия, совпал с так называемым «ленинградским делом». Сталинские «триумфы», все до единого, связаны с насилием. Это закономерность диктаторского единовластия. Даже в условиях реализации крупных социально-экономических программ для него нужны были внутренние «гражданские войны», хотя бы регионального масштаба. После победы над фашизмом эпицентр этой «внутренней войны» Сталин перенес на Ленинград.

Сегодня мы знаем, что разгромное постановление о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято по инициативе вождя. Следом были преданы остракизму кинофильм «Большая жизнь», опера «Великая дружба», был начесан удар по репертуарной политике. Сталин почувствовал, что в обла-

сти литературы и искусства появились, хотя и не явно выраженные, попытки выйти за рамки установленных партией параметров, а это уже угроза единомыслию. Его духовный мир, опирающийся на систему незыблемых постулатов, не мог мириться с таким вольнодумством. Надо было вернуть в прокрустово ложе мысль художников. Травля Зощенко и Ахматовой стала сигналом к кампании идеологической чистки. Ленинград, еще не оправившийся после нечеловеческого испытания, был поставлен в положение идейного еретика. Сталин дал понять: если нет «спуска» героическому городу, то тем более его не будет никому!

В фонде Жданова есть большое письмо Веры Зощенко Сталину:

«Уважаемый товарищ Поскребышев!

Очень прошу Вас передать письмо на рассмотрение тов. Сталина, или, если оно утомит его, вкратце передайте его содержание...

8.IX.47 г.

С сердечным приветом — Вера Зощенко».

В письме, особенно в начале, есть строки, почти обязательные для того времени, но которые сегодня горько читать. «Самой большой радостью в моей жизни является мысль, что на свете существуете Вы, и самым большим желанием, чтобы Вы существовали как можно дольше». Далее жена писателя говорит о постановлении: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Я была буквально потрясена постановлением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»... Как все это могло произойти, ведь Зощенко все любили. Признавали (Горький, Тихонов, Шагинян, А. А. Кузнецов, Майский). Ни о каком бегстве из Ленинграда не могло быть и речи... Он всю зиму 44 года работал над книгой о партизанах... Ни о какой клевете и злопыхательстве не может быть и речи в его книгах». Мужественная женщина фактически отвергает все наветы и обвинения в адрес мужа. В порыве откровения и защиты писателя она говорит об очень личном: «Он тяжелый психопат-неврастеник, .. странные мании. Он очень боялся сойти с ума, как Гоголь. Стал лечить себя самоанализом и... вроде вылечил. Его болезнь одарила его талантом сатирика, и в этом его беда. Но он не может подчиняться чужой воле, не может действовать по чьей-то указке».

Судя по всему, Сталин прочел письмо, поскольку есть подчеркивания тем же карандашом, которым он адресовал послание Жданову. Вождь не мог не почувствовать, что неприятие его оценки не есть только личное отношение жены писателя. Удивительно, что Сталин ограничился в этом случае лишь моральным террором против писателя и его семьи, не прибегнув к большему. Нанеся по Ленинграду удар идеологический, через два года он дополнит его жестоким ударом политическим, возмательным, в котором многие не без оснований усмотрели «репетицию» новых возможных массовых чисток.

В середине февраля 1949 года, юбилейного для Сталина, в Ленинград приехал Г. М. Маленков, проинструктированный и направленный туда вождем. Формально повод был: нарушение норм внутрипартийной жизни во время партийной конференции коммунистов Ленинграда. Выразилось оно в факте, едва ли единичном в то время. Во время выборов в обком партии, несмотря на то, что областные руководители П. С. Попков, Г. Ф. Бадаев, Я. Ф. Капустин, П. Г. Лазутин получили при голосовании по несколько голосов против, при сообщении председателя счетной комиссии А. Я. Тихонова о результатах голосования было заявлено, что все эти товарищи были избраны единогласно. Тут же один из членов счетной комиссии написал в ЦК анонимное письмо. И хотя Сталин сам еще в 1934 году, вероятно, прибег к грубой фальсификации результатов голосования на XVII съезде, его реакция была жесткой:

— О ленинградском руководстве накопилось слишком много опасных сигналов, чтобы можно было и дальше не реагировать. Поезжайте, товарищ Маленков, и хорошенько разберитесь во всем. У товарища Берии еще есть некоторые данные.

— Хорошо, товарищ Сталин, сегодня же выезжаю ночным поездом.

А «сигналы» были такие. Мол, сбком при поддержке секретаря ЦК А. А. Кузнецова не считается с центральными органами партии. Факты? Они

есть: организация в январе 1948 года в Ленинграде Всероссийской торговой оптовой ярмарки без специального решения центральных органов. Маленков, будучи прилежным выучеником Сталина, нанизывал одну за другой ошибки ленинградского руководства на бечеву обвинений, выступая на объединенном заседании бюро Ленинградских обкома и горкома партии. Притихший зал подавленно слушал, как Маленков, распалаясь, выдвигал все новые и новые обвинения. Случай с ярмаркой Г. М. Маленков, ставший, как и Берия, после войны членом Политбюро, квалифицировал как антипартийную групповщину, противопоставление Ленинградской парторганизации Центральному Комитету. Но главное было дальше. Следуя линии, намеченной Главным режиссером в Москве, Маленков, используя неудачные выражения П. С. Попкова, сформулировал и основное обвинение: попытку создания компартии России с далеко идущими целями. Все поняли, что выступление Маленкова — предвестие большой беды.

Сидящие в зале еще не знали, что их бывший секретарь Алексей Александрович Кузнецов, выдвинутый в Москву в Центральный Комитет, уже неделю как отстранен от работы. Естественно, что после доклада Маленкова все руководство области и города было снято со своих постов. Но это было только начало. За каждым из подозреваемых тянулись нити быстро фабрикуемого дела. Последовали аресты. Сразу же нашлись и «шпионы» вроде Капустина и «перерожденцы» типа Попкова, «вдохновители» антипартийного курса, как Кузнецов.

В марте еще один ленинградец — Николай Алексеевич Вознесенский — был выведен из состава Политбюро. Подлинный полководец экономики в Великой Отечественной войне, академик, он со своим прямым, открытым характером стал казаться Сталину слишком опасным. Круглов, Абакумов, Гоглидзе, управляемые Берией, буквально из ничего сделали громкое «дело». Начались допросы, цель которых была — любой ценой добиться признания в антипартийной, антигосударственной деятельности. Один из главных исполнителей крупной провокации против Ленинградской партийной организации, Маленков, довольно потирал руки: «Указание товарища Сталина выполнено». Он «хорошенько» разобрался, тем более что ни Вознесенский, ни Кузнецов не были лично симпатичны ни Маленкову, ни его ближайшему приятелю Берии. В них они видели в условиях быстрого старения вождя потенциальных соперников в борьбе за лидерство в партии. В атмосфере общества вновь, как и в 1937 году, замельтешили валькирии, ведающие, как известно, распределением между людьми смертей. Не без основания общество, партия вновь со страхом ожидали самого худшего, тем более что бывшие ленинградцы «изымались» из различных республик и областей, будучи в разное время выдвинутыми, направленными туда для работы.

Еще в начале января 1948 года ничто, казалось, не угрожало ни Вознесенскому, ни Кузнецову. Более того, их будущие в скором времени обвинители, следователи и палачи докладывали о делах в Ленинграде и им, ответственным работникам ЦК. В «Переписке товарища Сталина», например, есть такой документ:

«Товарищу Сталину,
тов. Молотову,
тов. Берия,
тов. Вознесенскому,
тов. Кузнецову

О вскрытии крупного хищения резиновых дамских бот и галош на заводе «Красный треугольник» в Ленинграде.

По делу арестовано 15 работников завода. Выявлена недостача 45 130 пар дамских бот. Следствие продолжается...

9 января 1948 г. Министр внутренних дел СССР С. Круглов».

Как видим, и Вознесенскому, и Кузнецову их завтрашние тюремщики докладывают о бытовых, уголовных делах в городе на Неве.

Что руководило Сталиным в организации этой преступной акции? Почему он затеял ее в канун своего юбилея? Почему после идеологического удара по Ленинграду в августе 1946 года через два с лишним года последовал еще более

страшный удар — карательный? Все мотивы этого преступления были известны лишь диктатору. Но, опираясь на документы, анализируя материалы того времени, можно предположить следующее.

Сталин никому не прощал независимости и «вольномудства». Как Вознесенский, так и Кузнецов менее других славили его, вождя, в своих речах и письменных выступлениях. Их больше, чем других, независимость постоянно напоминала Сталина. Вождь какое-то время колебался, не внемля наветам Берии и Маленкова. Известны лестные отзывы Сталина в адрес двух ленинградцев, которых, учитывая преклонный возраст вождя, вполне могли рассматривать и как вероятных преемников первого лица. Вот этого аппаратная камарилья из сталинского окружения не желала допустить. В тайных докладах Хозяину вновь и вновь сообщалось, что Вознесенский накануне войны не нашел «врагов» в Госплане, возможно, потому, что просто покрывал их. Берия не раз между делом говорил, что Вознесенский как Председатель Госплана явно занижает задания химической и металлургической промышленности, которые он же и курирует, а лесной, за которую отвечает Берия, завывает. Сталин пока пропускал все это мимо ушей. Но его неприятно поразило выступление Вознесенского на Политбюро, когда тот высказал целый ряд убедительных доводов против дополнительного обложения налогами колхозников, а также намерения Кузнецова, ведавшего кадрами, взять под более четкий контроль министерства внутренних дел и государственной безопасности. До сведения Сталина довели высказывания Кузнецова и о том, что «дело Кирова» не вскрыло подлинных вдохновителей преступления.

У вождя даже самые ценные, нужные люди должны были отвечать главному критерию: полной надежности и личной преданности ему. В этих строптивых ленинградцах он уже не просто засомневался, а увидел потенциальных оппонентов. Когда Сталин ознакомился с рукописью Вознесенского, своего заместителя по Государственному Комитету Обороны в годы войны, то в знак согласия поставил свою роспись — он не мог не оценить интеллектуальный размах и глубину анализа самого молодого члена Политбюро.

Сергей Ильич Семин, работавший при Вознесенском начальником управления Госплана, отмечает его исключительную энергию и огромную пылкость ума в поисках оптимального развития народного хозяйства. При всей жесткости директивной экономики Вознесенский старался, где только мог, провести идею более широкого вовлечения трудящихся в процесс планирования, контроля, определения перспектив деятельности каждого предприятия. Не знал отпусков и выходных дней. После Бухарина это был, пожалуй, второй крупный экономист в нашем высшем руководстве.

Хотя еще до ареста Вознесенского Сталин получил записку от него и некоторых других ленинградцев, где говорилось об их полной невинности, вождь почти не колебался. Правда, сначала он хотел всего лишь отправить Вознесенского директором Института Маркса—Энгельса—Ленина, но передумал: пусть вся ленинградская обстановка полностью выпьет «чашу Иосифа». Суд, состоявшийся в сентябре 1950 года, действовал в соответствии с его указаниями. К расстрелу были приговорены Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, М. И. Родионов. Несколько позже та же участь ждала и многих других ленинградцев: Г. Ф. Бадаева, И. С. Харитонов, П. И. Кубаткина, П. И. Левина, М. В. Басова, А. Д. Вербицкого, Н. В. Соловьева, А. И. Бурлина, В. И. Иванова, М. Н. Никитина, В. П. Галкина, М. И. Сафонова, П. А. Чурсина, А. Т. Бондаренко — всего около двухсот человек.

На суде, проходившем в здании Дома офицеров на Литейном проспекте, присутствовавшие не услышали покаянных речей. В своем последнем слове Кузнецов сказал: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне не вынесли, история и а с оправдает».

В апреле 1954 года Верховный суд СССР под председательством А. А. Волина прекратил «ленинградское дело». Вот обвинение, которое в сентябре 1950 года было предъявлено осужденным: «Кузнецов, Попков, Вознесенский,

Капустин, Лазутин, Родионов, Турко, Закржевская, Михеев (в документе не проставлены инициалы. — Д. В.) признаны виновными в том, что, объединившись в 1938 году в антисоветскую группу, проводили подрывную деятельность в партии, направленную на отрыв Ленинградской партийной организации от ЦК ВКП(б) с целью превратить ее в опору для борьбы с партией и ее ЦК... Для этого пытались возбуждать недовольство среди коммунистов ленинградской организации мероприятиями ЦК ВКП(б), распространяя клеветнические утверждения, высказывали изменнические замыслы... А также разбазаривали государственные средства. Как видно из материалов дела, все обвиняемые на предварительном следствии и на судебном заседании вину свою признали полностью». Как эти признания добывались, сообщил 29 января 1954 года Турко, тогда еще заключенный:

«Я никаких преступлений не совершал и виновным себя не считал и не считаю. Показания я дал в результате систематических избивений, т. к. я отрицал свою вину. Следователь Путинцев начал меня систематически избивать на допросах. Он бил меня по голове, по лицу, бил ногами. Однажды он меня так избил, что пошла кровь из уха. После таких избивений следователь направлял меня в карцер, угрожал уничтожить мою жену и детей, а меня осудить на 20 лет лагерей, если я не признаюсь... В результате я подписал все, что предлагал следователь».

Старые, испытанные методы, освященные волей и мыслью диктатора. В результате сталинского злобного спазма пали три большевика, связанные и родственными узами: братья Николай Алексеевич Вознесенский, член Политбюро, Александр Алексеевич Вознесенский, ректор Ленинградского университета, и их сестра Мария Алексеевна Вознесенская, партийный работник. Вырублена целая поросль замечательных патриотов. Насколько «дело» было шито белыми нитками, свидетельствует такой факт: М. А. Вознесенской в качестве главного обвинения вменялось то, что она «разделяла в двадцатые годы взгляды «рабочей оппозиции»! Кстати, основанием для реабилитации послужили тоже смехотворные выводы: «не имеется доказательств в том, что Вознесенская разделяла взгляды «рабочей оппозиции». А если бы имелись? Такое было тогда правосудие. Сталинское, одним словом.

Всех расстреляли в Ленинграде. С. И. Семин утверждает, что, по некоторым сведениям, Вознесенского еще три месяца после приговора продержали в тюрьме (может быть, вождь колебался: всю войну проработали вместе в ГКО. Никто так много не сделал в экономике, как его заместитель). А в декабре 1950 года по чьей-то команде, рассказывал мне Семин, Вознесенского в легкой одежде в грузовом автофургоне повезли в Москву. Дорогой он то ли замерз, то ли его застрелили...

После ленинградской расправы волны насилия еще долго смывали людей в безвестье. И не только тех, кто знал осужденных, но и работников органов. Правда, иногда Сталин по ему одному известным причинам проявлял «милость». В октябре 1949 года Круглов сообщал ему о генерал-лейтенанте И. С. Шикторове, который с 1943 года работал начальником УМВД Ленинградской области, а затем с 1948 года — в Свердловске. После ареста ленинградского руководства Шикторова вернули в Ленинград. Однако, как говорилось в донесении, он «не очищает органы МВД области от лиц, не внушающих доверия. Шикторов продолжительное время работал при старом вражеском руководстве Ленинградской области». Предлагалось отстранить Шикторова и заменить его Т. Ф. Филипповым.

Сталин не согласился с этим, но велел найти Шикторову другую работу. Случай крайне редкий — обычно любые доклады-предложения подобного рода кончались однозначно трагически.

Вождь не мог допустить, чтобы его жертвенник был пуст. Безропотность жертв, смиренность партии и народа поощряли его насилие. Он как-то прикинул: в пик чисток (в конце тридцатых годов) репрессии прямо или косвенно коснулись лишь трех-четырех процентов населения — это же суший пустяк! — но за-

то какой послушной и управляемой становится масса, очищенная от скверны! Не все это тогда видели, но слава вождя, увеличиваясь в объеме, сопровождалась спазмами, конвульсиями нового террора.

Этот пароксизм насилия внешне труднообъясним. Страна быстро залечивала раны, внутреннее положение было стабильным, никаких оппозиционных выступлений не было, идеологическое влияние партии было безраздельным. Сплочение народа вокруг политического руководства, которое олицетворял Сталин, было реальным, межнациональные отношения характеризовались внешней прочностью. И тем не менее в этих условиях вождь, находясь в апогее своей славы, по-прежнему прибегал к жестокому давлению, которое временами захватывало то какой-либо регион, то ту или иную социальную группу или ведомство. Пребывая на вершине власти уже четверть века с помощью насилия, он уже не мог обходиться без него. Вся методология мышления и действия Сталина опиралась на насилие. Именно этим объясняется его особое внимание к органам государственной безопасности и внутренних дел.

Берия, Круглов, Серов, Абакумов, другие деятели этого ведомства регулярно докладывали Хозяину о положении дел в ГУЛАГе, являвшемся одним из важных резервуаров бесплатной рабочей силы. Однажды Маленков, зайдя к Сталину с очередным докладом, вынудил его совершить «гуманный акт». Он положил перед Генералиссимусом справку, составленную начальником ГУЛАГа МВД СССР Добрыниным (инициалов как обычно нет), из которой вытекало, что в год семидесятилетия вождя в лагерях и колониях находится 503 375 женщин, и сказал:

— Надо рассмотреть вопрос об освобождении тех, с кем находятся дети до семи лет...

Сталин долго всматривался в цифры и в конце концов согласился с предложением Маленкова, главным аргументом в пользу предлагаемого решения было то, что на содержание детей в ГУЛАГе тратится 166 миллионов рублей в год... Вот чем объяснялась эта акция Сталина, предписавшего женщинам с детьми до семи лет отбывать теперь принудительные работы по месту жительства! Но сюда, как было опять же им оговорено, нельзя относить женщин, осужденных за контрреволюционную деятельность.

Однажды в сентябре 1951 года делегация английских женщин — весьма редкое тогда событие — обратилась к пригласившей ее стороне с просьбой посетить женский лагерь. Естественно, хозяева растерялись. Звонок в управление МВД. Там, конечно, решить не могут. Обращение выше, к Серову. Тот тоже в этом вопросе бесправен. К министру — та же картина. Выход на Суслова — и он ничего не может решить. Тот — к Маленкову. Лишь член Политбюро, переговорив со Сталиным, поставил свою подпись на разрешении... Лагерь, конечно, специально готовили — чистили, прибирали, инструктировали всех. Семьдесят процентов женщин, тех, кто выглядел хуже, вывели на работы вне лагеря. Англичанки встретились с нашими вполне «сознательными гражданами», которые временно оказались здесь, за решеткой. Делегация даже оставила роспись в книге «гостей», которую срочно изобрели: «На нас произвело большое впечатление, с какой непосредственностью люди подходили к нам. Везде чисто. Мы считаем, что это ценный эксперимент, который имеет успех».

Маленков иногда доводил до сведения вождя и такие данные, от которых другие его оберегали. Но Сталина нелегко было разволновать. В сентябре 1949 года, когда приближался «великий юбилей», Маленков после рассмотрения ряда текущих дел показал Сталину вот такой документ:

«ЦК ВКП(б), товарищу Маленкову Г. М.

12 августа в поле совхоза имени Сунь Ят-сена Михайловского р-на, Приморского края были обнаружены трупы убитых троих детей работницы совхоза Дмитриенко: Михаила — 11 лет, Павла — 9 лет и Елены — 8 лет.

Убийство совершила мать, Дмитриенко Л. А., 1917 г. рожд. (ровесница Октября. — Д. В.). Она показала, что совершено убийство на почве крайне тяжелых материальных условий, в которых она оказалась после осуждения в 1946 го-

ду (по Закону от 7 авг. 1932 г.)¹ ее мужа Дмитриенко Д. Д.. 1912 года рождения, и особенно после того, как ее уволили из школы, где она работала учительницей, и выселили из квартиры. С апреля работала в колхозе. Администрация никакой материальной помощи не оказала...

С. Круглов».

Читать это донесение нет сил — в нем апогей горя, пришедшего не только в эту семью, но и в семью всех народов нашего Отечества. Как реагировали Сталин и Маленков на безумный акт доведенной до отчаяния матери, сказать трудно: на документе нет следов резолюций. Нормальные люди на их месте должны были бы видеть в этих строках собственный приговор. Но без насилия, возведенного в норму жизни, они уже не могли обходиться.

Из всех институтов государства только карательные органы фактически никогда не сокращались. Именно Сталин вывел их из-под контроля государства, единолично осуществляя руководство ими. Лишь во время войны он армии уделял времени больше, чем МВД и КГБ, которые всегда были главными объектами его внимания. Более того, в конце тридцатых годов и после войны вплоть до кончины Сталин делами этих ведомств занимался больше, чем партийными. Об этом, в частности, свидетельствует фонд «Переписка с товарищем Сталиным». Большая часть документов — докладов, сообщений, телеграмм, оперативных сводок, отчетов, донесений о проведенных заседаниях особых совещаний, открытии новых лагерей, подготовке кадров для этих органов и многое другое, — связана с работой НКВД (МВД), КГБ. Похоже, Берия (Круглов, Меркулов, Абакумов и другие деятели этого круга) ежедневно подписывал не один документ в адрес Сталина. Вождь их все просматривал, но своих резолюций — «Согласен», «Проработайте дополнительно», «Доложите о вашем выполнении», «Накажите примерно виновных за затяжку», «Не держите либералов» — достаивал лишь некоторые документы. Для Сталина эти органы, которые он часто называл «карательными», в огромной степени олицетворяли власть, его могущество и волю. Он привык к угрозе, насилию и возможности его применения как обязательному атрибуту своей власти. Не случайно, что именно по его инициативе после войны «карательный аппарат» все усиливался, а для поддержания народа и «органов» в состоянии перманентной мобилизованности и «бдительности», надо было постоянно демонстрировать наличие «врагов», «террористов», «предателей».

Какова цена сталинского единовластия? Сколько человек безвинно погибло по воле тирана и созданной им машины репрессий? Думаю, абсолютно точного ответа мы уже никогда не получим. Наиболее полный могло бы дать государство, специально созданная комиссия. Тайны диктатуры Сталина превратились теперь в тайны исторические. Существует много различных оценок исследователей, в которых приводится общая численность советских людей, погибших в годы сталинского единовластия. Основываясь на целом ряде не обобщающих, а так сказать, «промежуточных» показателей, которые мне удалось обнаружить в доступных архивах, приведу такую статистику с 1929 по 1953 год.

«Революция» на селе в 1929—1933 годах обошлась нашему крестьянству в 8,5—9 миллионов репрессированных земледельцев. В 1937—1938 годах было захвачено сетью репрессий 4,5—5,5 миллиона советских граждан. Но и между этими двумя большими волнами ведомство Ягоды — Ежова не оставалось без дела — примерно около миллиона граждан было арестовано в это время. В конце 40-х годов, даже при том, что в 1947 году была отменена смертная казнь, заметно увеличилось количество лагерей, число ссыльных, высланных, которые и составили третью волну. Она захватила 5,5—6,5 миллиона человек. Мне могут возразить: сидели не только политические, но и уголовные преступники. Правильно. Но до самой смерти Сталина в лагерях, даже по данным Берии, содержалось 25—30 процентов осужденных «за контрреволюционную деятельность». Всего же за два с небольшим десятилетия жертвами сталинских репрессий ста-

¹ Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года предусматривало за хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте, равно как и колхозного имущества, применять высшую меру наказания — расстрел с конфискацией всего имущества или при смягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок не менее десяти лет.

ли до 19,5—22 миллионов советских граждан. Из них не менее трети было приговорено к смертной казни или погибло в лагерях и в ссылке. Возможно, мои оценки слишком осторожны, но все они основываются на известных мне документах, хотя я вполне допускаю, что многое мне просто не удалось узнать.

Пожалуй, это самый страшный и чудовищный пир насилия в истории, который когда-либо удавалось справлять на земле диктаторам. Сталин никогда не изменял своему кредо: «Мы будем уничтожать каждого такого врага (хотя бы) был он и старым большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его семью. Каждого, кто своими действиями и мыслями, да, и мыслями, покушается на единство социалистического государства, беспощадно будем уничтожать». Слова будто из уст средневекового инквизитора. А ведь им следовали, они были целой программой! Вот уж воистину прав Шиллер: «Злое семя злой приносит всход!».

После войны общество в социально-политическом плане не просто законсервировалось, а приобрело некоторые новые мрачные черты бюрократического, полицейского характера. Сталин сумел сочетать несочетаемое — всячески поддерживать внешний энтузиазм, подвижничество миллионов советских людей, веривших, что вот, рядом, уже за ближайшим перевалом Земля обетованная, — с постоянной угрозой индивидуального или массового террора. Но... люди в ер и ли Сталину... Не случайно, что накануне своего ареста Н. А. Вознесенский дописывал последние главы своей новой книги «Политическая экономия коммунизма». Даже он, академик, один из самых образованных людей в руководстве, допускал, что общество, ведомое Сталиным, приближается к «светлому будущему». К слову сказать, в определении военной коллегии Верховного суда СССР Н. А. Вознесенскому, осужденному сразу по четырем статьям (58-1 «а», 58-7, 58-10 ч. 2, 58-11), вменялось в вину то, что он «составлял и издавал политически вредные работы». Да, если ученый писал о коммунизме, но притом был подозрителен вождю, уже это делало его научное творчество опасным. Такова была логика диктатора, дававшего свою интерпретацию грядущего коммунистического общества.

Люди считали естественным, что главными двигателями этого процесса становятся сила, могущество, беспощадность, вера в единственного носителя истины. Разум, человечность, верность гуманизму, свобода (!) отодвигались куда-то на неопределенное будущее. Ни в одном учебнике философии, крупной монографической работе нельзя было найти темы демократии, свободы и прав личности. Все оказалось покрытым коростой идеи насилия, всепроникающей классовой борьбы. Главной ценностью, по Сталину, признавалась сила, могущество, гегемония, господство. Николай Бердяев, один из оригинальных русских мыслителей, депортированный в 1922 году за рубеж, с болью наблюдал, как идея силы подвергает эрозии все другие ценности. Еще в 1930 году он писал: «В русском коммунизме, согласно русскому душевному типу, победили не столько научные элементы марксизма, сколько мессианские его элементы — идея пролетариата, как освободителя и организатора человечества, как носителя высшей истины и высшей справедливости. Но эта мессианская идея — воинственная, агрессивнo-наступательная и победная, идея поднимающейся силы. Страдательные, пассивно претерпевающие элементы старого русского мессианского сознания тут совершенно вытесняются. Мессия-пролетариат совсем не страдалец, не жертва, а победивший мировой организатор, конденсатор силы».

Можно соглашаться или не соглашаться с выводами русского философа, но его наблюдение о примате силы, ставке, которую все больше делал Сталин и его единомышленники на нее, верно отражает магистральное направление избранного ими социального развития. Может быть, это направление и не было бы столь ущербным, если бы вождь не распылял попутно основные гуманистические ценности, отдав их на заклятие идее силы. А этой идее он был верен всегда, с той лишь особенностью, что в социальном контексте она трансформировалась в перманентное насилие. Оно имело свои приливы и отливы. Каждому приливу предшествовал пафосизм, приступ злости стареющего вождя.

Стареющий вождь

Приближалось семидесятилетие Сталина. Он знал, какая суета идет в Политбюро и на других, более низких этапах власти, но это его уже мало занимало. Он, казалось, пресытился славой, но не пресытился властью.

Однажды он вызвал Маленкова и предупредил:

— Не вздумайте там опять осчастливить меня «звездой»!

— Но, товарищ Сталин, такой юбилей... Народ не поймет.

— Не ссылайтесь на народ. Я не намерен препираться. Никакого своевольтства! Вы меня поняли?

— Конечно, товарищ Сталин, но члены Политбюро считают...

Сталин перебил Маленкова, давая понять, что тема исчерпана, и приказал принести порядок его чествования, которое намечалось провести в Большом театре. А о «звезде» он заговорил не случайно.

После парада Победы и приема в честь командующих фронтами в июне 1945 года группа маршалов обратилась к Молотову и Маленкову с предложением отметить «исключительный вклад» вождя самой высокой наградой Отечества — присвоением звания Героя Советского Союза. При этом обращавшиеся учли, что в шестидесятилетний юбилей Сталину было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в годы войны он был награжден тремя орденами: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года — орденом «Победа» номер 3 (ордена под номерами 1 и 2 были вручены ранее маршалам Г. К. Жукову и Ф. И. Толбухину), орденом Суворова I степени, орденом Красного Знамени. Причем этой награды он был удостоен, как отмечалось в Указе, за «выслугу лет в Красной Армии».

После разговора военачальников с членами Политбюро те в течение суток-полутора «проработали» со своими коллегами вопрос, и 26 июня были приняты сразу два Указа Президиума Верховного Совета СССР: о присвоении Маршалу Советского Союза И. В. Сталину звания Героя Советского Союза и награждении его вторым орденом «Победа»¹. Это, пожалуй, был единственный случай, когда вождя не послушались. Развернув по привычке перед завтраком «Правду», Сталин увидел указы и пришел в ярость: с ним не посоветовались! его не спросили! «Я же предупреждал Маленкова... Холуи и поддакиватели...» Приехав в Кремль, он сразу же пригласил к себе Молотова, Маленкова, Берия, Калинин, Жданова и учинил им разнос. Больше всех были перепуганы Калинин, ведь это по его «ведомству» произошло своевольтство, и Маленков, который не смог умерить верноподданнические чувства соратников. Но Молотов, Берия и Жданов понимали: гнев напускной, наигранный.

Сталин вознесся уже столь высоко на вершину славы, что эти награды — для обычных смертных — его уже мало занимали. Это для простых людей награда имеет большое значение, а для него она имеет как бы обратный эффект — ставит вождя в ряд многих. Так поднимает ли это его? В конце концов человек с такой властью может усыпать себя наградами и... тем самым развенчает себя полностью! Этого мог не знать Л. И. Брежнев, который, похоже, не понимал не только это...

Сталин не мог вспомнить, где он читал, кажется, в «Мыслях» у Наполеона, о том, что человеку можно вручить пуговицу (так император в конце жизни пренебрежительно говорил об орденах) и за это потребовать у него жизнь. Неужели эти люди, которых в печати называют его соратниками, не понимают, что мера его значимости, признания и славы уже не может быть отмечена какими-то обычными орденовыми знаками? Возможно, они действительно не понимали, но знали другое: вождю нужен новый повод для пропаганды его скромности, неприязнательности, отсутствия какого-либо тщеславия. И Берия это уловил точнее всех. В статье «Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма» сталинский монстр писал: «Гениальность нашего вождя сочетается с его просто-

¹ В тот же день, 26 июня 1945 года, специальным указом вводится звание Генералиссимус Советского Союза, а назавтра, 27 июня, оно присваивается И. В. Сталину.

той и скромностью, с исключительной личной обаятельностью, непримиримостью к врагам коммунизма — с чуткостью и отеческой заботой о людях. Ему присущи предельная ясность мысли, спокойное величие характера, презрение и нетерпимость ко всякой шумихе и внешнему эффекту». Берия, пожалуй, лучше других изучил повадки и намерения своего патрона: он знал, что Сталин понимает под скромностью у других лишь покорность. Сталин любил тех, кто с ним безропотно соглашался, кто всегда «скромно» шел за ним.

Когда Александру Македонскому, учитывая его исключительную «быстроногость», предложили принять участие в соревнованиях, полководец на это ответил: «Я бы принял участие, если бы со мной рядом бежали цари!» Видимо, так же мог отреагировать и наш вождь. Наивный «всесоюзный староста», никогда и никому не возражавший, добросовестно исполнявший свою ритуальную роль, неужели он не чувствует, что те награды, которые могут получать другие, для Сталина уже не награды? Свой разнос Хозяин закончил словами:

— Выкручивайтесь, как хотите, а ордена я не приму. Слышите: не приму!

И долго не принимал. Два-три раза соратники пытались уговорить вождя, чтобы он согласился на вручение наград, но кураж Сталина был долгим. Поскребышева подключали к уламыванию и даже Власика — все напрасно. Почти через пять (!) лет сам юбиляр за ужином на даче вдруг заговорил о давних наградах, тем более что на всех изображениях вождя уже давно сияли две геройские звезды и два ордена «Победа». Накануне Первомайских праздников, 28 апреля 1950 года, Шверник вручил наконец Сталину награды из 1945 года плюс орден Ленина, которого тот был удостоен в связи с семидесятилетием. Н. Шверник и А. Горкин 20 декабря 1949 года подписали Указ, в котором говорилось: «В связи с семидесятилетием со дня рождения товарища И. В. Сталина и учитывая его исключительные заслуги в деле укрепления и развития Союза Советских Социалистических Республик, строительстве коммунизма в нашей стране... наградить товарища Иосифа Виссарионовича Сталина орденом Ленина». Получив из рук Шверника медаль «Золотая Звезда» и сразу три ордена, вождь мрачно заметил:

— Ублажаете старика. Здоровья это не прибавляет.

За этими словами стояли новые страхи, пришедшие в канун юбилея. Собираясь вечером на дачу и отдав напоследок какие-то распоряжения Поскребышеву, Сталин вышел из-за стола и хотел идти одеваться, как вдруг его «повело». Перед глазами поплыли оранжевые круги. Он тут же пришел в себя. За локоть его цепко держал перепуганный Поскребышев.

— Товарищ Сталин, разрешите, я вызову врачей. Вам нельзя сейчас ехать. Нужны врачи...

— Не суетись...

Головокружение быстро прошло. Он задержался на несколько минут, выпил чаю. Тупо ныло в затылке. Сталин запретил обращаться к врачам потому, что не верил не столько им, сколько Берии, который хозяйничал в Четвертом главном управлении Минздрава. Черт его знает, что у того на уме... Да и не хотел, чтобы распространялись слухи о его болезни. Вот придет сейчас на дачу, выпьет чай с настоем, который ему давно советовал Поскребышев. Это всегда помогало, поможет и теперь...

Итак, на Политбюро юбилей Сталина решили отметить с размахом. Председателем юбилейного комитета назначили Н. М. Шверника. Вскоре на его стол легла записка, подготовленная П. Пономаренко, В. Абакумовым, Н. Парфеновым, А. Громыко, В. Григорьяном, где для финансирования торжеств запрашивалось около 6,5 миллиона рублей. Шверник после проработки поставил свою подпись под таким документом: «Утвердить смету расходов по приему и обслуживанию делегаций, прибывающих в связи с семидесятилетием тов. И. В. Сталина и по организации выставки подарков тов. И. В. Сталину в общей сумме 5 623 255 руб., согласно приложению». В состав комитета по указу вошло множество известных в стране лиц. Назовем хотя бы некоторые: Г. Ф. Александров, М. А. Багиров, С. М. Буденный, С. И. Вавилов, Я. Э. Калнберзин,

О. В. Куусинен, А. Н. Поскребышев, А. А. Фадеев, М. Ф. Шкирятов, Д. Д. Шостакович, ну и, естественно, члены Политбюро. Было определено, кто и когда принимает подарки для «товарища Сталина»: Н. М. Шверник, Т. Д. Лысенко, П. Н. Ангелина, А. И. Покрышкин, другие лица. На самом высоком уровне утверждались тщательно составленные списки приглашенных с женами на торжественное заседание, посвященное семидесятилетию.

Но, пожалуй, один из приятных сюрпризов, который готовился юбиляру его окружением, заключался в намерении учредить орден Сталина. Был заготовлен следующий проект Указа Президиума Верховного Совета СССР:

«Об учреждении ордена Сталина.

Президиум Верховного Совета Союза ССР постановил: В ознаменование 70-летия со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и, принимая во внимание его исключительные заслуги перед советским народом в деле создания и укрепления Советского государства, строительства коммунистического общества в СССР и обеспечения исторических побед СССР в Великой Отечественной войне, учредить орден Сталина...

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР Н. Шверник

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. Горкин

« » декабря 1949 г.»

Здесь же статут ордена, его описание и проект Указа об учреждении юбилейной медали «В ознаменование 70-летия И. В. Сталина». Дотошные проработчики Указа подсчитали, что стоимость медали будет семь рублей 64 копейки, а на один миллион медалей потребуется 24 тонны меди и шесть тонн никеля. В папке Сталину лежал также проект Указа об учреждении международных Сталинских премий «За укрепление мира между народами».

На рассмотрение вождя представлены тринадцать эскизов ордена, подготовленных художниками Н. И. Москалевым, А. И. Кузнецовым, И. И. Дубасовым. Мастера потрудились на славу — глаза разбегаются, скользая по золоту, красочной эмали орденов на всевозможных лентах. На первом месте эскиз ордена, точь-в-точь воспроизводящий орден Ленина, но вместо привычного лица видим профиль человека с усами. Есть тут и орден в виде золотого знамени; в форме старинного орденского знака с портретом; встречается вождь, осененный красным знаменем, в белоснежной чаше; сталинский профиль в овале из колосьев; на золотом плато в маршальской форме... Фантазия не особо богата: золото, знамя, человек в мундире.

Все было готово к тому, чтобы в стране появился еще один по тем временам, пожалуй, самый престижный орден. Но в последний момент вождь заупрямился, хотя предварительное согласие его было. Рассмотрев макеты и эскизы, прочитав проекты Указов (а в это время соратники напряженно глядели на своего патрона, думая, возможно, кто из них первым будет удостоен этого ордена), Сталин неожиданно сказал:

— Утверждаю лишь Указ о международной премии.— Помолчав, добавил: — А ордена подобные учреждаются лишь после смерти.

Все загалдели, не соглашаясь, но Сталин поднял руку, успокаивая окружение:

— Всему свое время...

Просто диктатор, видимо, посчитал, что, перейдя через какой-то рубеж, можно опять же добиться обратного эффекта. На каждом шагу, везде в стране был только он: фотографии в журналах и газетах, на каждой странице десятки упоминаний его металлической фамилии, скульптуры, барельефы, монументы, названия проспектов и комбинатов, колхозов и городов. Что же добавят о нем после смерти? Ясно, орден...

Кстати, после смерти никто в комиссии по похоронам не вспомнил о фактическом сталинском пожелании. Но он никогда не узнает о человеческой неблагодарности.

В день юбилея, встав, как обычно, в 11 часов дня, Сталин чувствовал себя нормально. Происшедшее вчера показалось ему малозначащим эпизодом. А ведь сегодня предстоит тяжелый день. После чествования на Политбюро весь долгий вечер придется выслушивать бесконечные панегирики и славословия в свою честь. Будет великое соревнование: кто скажет в более превосходной степени, найдет новые эпитеты, осветит новые грани заслуг великого вождя.

Весь декабрь «Правда» была полна статей, рапортов, репортажей о подготовке страны к великому юбилею. С каждым днем вал славословия нарастал. Приезжая в Кремль, Сталин долго изучал газеты, подробно знакомился со все распухавшей папкой производственных рапортов о выполненных обязательствах соревнования в честь его семидесятилетия. Доклады шли из всех республик, краев, областей. Но, пожалуй, не меньше торжествующих донесений поступало из бесчисленных организаций ГУЛАГа: там тоже выполняли, перевыполняли и «ликовали», ожидая амнистии. Правда, докладывали не зеки, а должностные лица МВД, представлявшие своих подопечных.

Сталин, листая в тиши кабинета бумаги, не раз ловил себя на мысли: неужели вся эта коленопреклоненная любовь к нему, тому, кто немногим более трех десятилетий назад прозябал на забытой богом и людьми Курейке? Что это? Игра исторического случая? Фантастическое везение? Или действительно он редчайший самородок? Отгоняя эти, теперь уже совсем ненужные мысли, Сталин не без торжества отмечал про себя: главное, он сильнее их всех духом. Никто не способен так целеустремленно идти к цели, как он...

Перелистывая страницы газет, почти полностью посвященных ему, он уже несколько дней как наткнулся и на неюбилейные материалы. В Болгарии шел процесс над «государственным преступником Трайчо Костовым и его сообщниками» и почти одновременно в СССР — суд над группой бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Печать была лишь эхом его планетарной славы: он знал, что в тысячах, сотнях тысяч коллективов (и не только в нашей стране) шли и идут собрания, посвященные его юбилею.

Почти за час до начала торжественного собрания Большой театр был полон. Тщательно отобранные и «просеянные» люди заполнили празднично украшенный зал. За полчаса до открытия подъехал и Сталин. В комнате президиума встреченный аплодисментами Генералиссимус тепло поздоровался с Пальмиро Тольятти, Мао Цзэдуном, Вальтером Ульбрихтом, Юмжагийном Цеденбалом, Иоганом Копленгом, Долорес Ибаррури. Георге Георгиу Дежем, Вылко Червенковым, Вильямом Широкии, Матьяшем Ракоши, Ф. Юзвяком, Ким Ду Боном, Анри Мартелем, Вилле Пессе, советскими товарищами.

Когда президиум вышел на сцену, зал долго не мог успокоиться, столь бурными и продолжительными были овации. Накануне Маленков показал Сталину «рассадку» (план и место каждого приглашенного в президиуме), но Сталин тут же внес свои коррективы. Он не пожелал сидеть в центре. Мы знаем, что часто на съездах, пленумах, совещаниях он садился во второй ряд, пользуясь случаем подчеркнуть свою «скромность». Сейчас это сделать было невозможно, ведь юбиляр! Сталин сдвинул свое место значительно правее председателя, указав карандашом, что справа от него должен сидеть Мао Цзэдун, а слева Хрущев.

После короткой вступительной речи Цверника, многократно прерываемой бурными аплодисментами, как только оратор упомянул имя вождя, начались выступления. Весь вечер в зале звучало: «гений», «гениальный мыслитель и вождь», «гениальный учитель», «гениальный полководец». Только Мао Цзэдун назвал его «великим». То ли в этом был потаенный смысл, то ли в китайском языке не нашлось должного эквивалента слову «гениальный». Множество ораторов сменяли друг друга на трибуне. Выступали посланцы союзных республик, коммунистических и рабочих партий, представители молодежи, творческих организаций. Это было концентрированное выражение «любви» народов.

К концу заседания в президиуме многие устали. На фотографиях и кадрах кинохроники того далекого дня видно, что Берия, Ворошилов, Молотов и Микоян, явно утомленные от бесконечных вставаний и аплодисментов, думают о чем-то своем. Возможно, один о честолюбивых планах, другой о долгой опале, третий... Впрочем, у каждого из них были поводы для размышлений. Сталину было уже трудно сосредоточиться и вникать в тот обвал славословия, который продолжался несколько часов. Обратившись к диалогам Платона, вождь мог бы всерьез подумать, что ему удалось осуществить вековую мечту человечества — создать «идеальное государство», в котором устранено главное разрушающее начало: противоборство богатства и нищеты.

Действительно, в государстве, где он был вождем, не было ни богатых, ни нищих. Он не хотел ответить даже себе в эти часы: а были ли несчастные? Были. Тысячи, сотни тысяч. Если точнее, миллионы заключенных и сосланных. Было среди них немало полицаев, шкурников, расхитителей, валютчиков, обыкновенных воров и грабителей, но, пожалуй, более половины было тех, кто лишь по к а з а л с я опасным линии триумфатора.

За несколько дней до того торжественного собрания Сталин утвердил доклад министра внутренних дел С. Круглова о результатах очередного заседания Особого совещания, которые проводились почти ежемесячно. К докладу был приложен протокол более чем на сто человек, проходивших «по делам на членов семей изменников Родины». Все они «осуждены к ссылке в северные районы Союза ССР». Закон суров, а он действует по закону. Поэтому, кто говорит, что Сталин беспощаден? Почему на Западе до сих пор перепевают на старый троцкистский лад выдумки о его жестокости? Разве не он совсем недавно одобрил представление С. Круглова, в котором тот писал:

«В исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД в настоящее время содержится вместе с осужденными матерями 14170 детей в возрасте до 4-х лет, а также 7220 беременных женщин. Это количество детей более чем в 3 раза превышает лимиты (разрядка моя. — Д. В.) имеющихся в лагерях и колониях «домов младенца». А посему предлагаю освободить этих женщин, заменив им тюремное заключение исправительно-трудовыми работами по месту жительства».

Сталин, слушая бесконечные хвалебные речи, иногда устало откидывался на спинку стула. Он заметно оживлялся, когда его славили стихами. Якуб Колас, выступая от Белоруссии, прочел свое длинное стихотворение, куда была втиснута вся биография Сталина, заканчивающееся словами:

Ты знамя победы. Ты символ свободы.
Ты к счастью народы ведешь.
Живи же, учитель наш, долгие годы,
Тебя прославляют в песнях народы,
Великий отец наш и вождь.

Как хорошо, что он не поддался искушению уступить Маленкову, который настойчиво поддерживал предложение группы писателей опубликовать ранние стихи Джугашвили. Вождь не должен поддаваться сиюминутным соблазнам. Откуда он мог знать, что немногим более чем через четверть века человек, который тоже будет Генеральным секретарем, удостоится Ленинской премии по литературе, не написав ни строки «своих» сочинений!

Бурные аплодисменты вызвало чтение А. Твардовским стихов, прозвучавших как выражение мыслей советских писателей. Сталина могли особо тронуть слова великого русского поэта:

Пусть весны долгой, долгой чередой
Листву листве, цветы цветам на смену
Несут над Вашей славной сединой,
Над жизнью, в мире самой драгоценной!

Думаю, что Твардовский говорил эти слова искренне. И в них — наше общее ослепление, вера в идола, а не идеалы. Все были как в религиозном экстазе, славя вождя, который олицетворял социализм. Веря в вождя, верили и в идеалы, которые, казалось, он воплощал. Степень этого славословия равна степени унижения народа.

Цепкая память Сталина закладывала в «компьютерные» ячеи слова Мао Цзэдуна: «Вождь рабочего класса всего мира»; Пальмиро Тольятти: «Обязуемся и впредь быть верными Вашему учению»; Ким Ду Бона: «Да здравствует великий Сталин — спаситель корейского народа»; Анри Мартеля: «Вы, гениальный теоретик и великий революционер»; Вальтера Ульбрихта: «Честь и слава Вам, гениальному кормчему»; Матьяша Ракоши: «Венгерские рабочие и крестьяне называют товарища Сталина «родным отцом»... Зал оживился, когда Вылко Червенков преподнес благодарственное послание, подписанное пятью миллионами (!) трудящихся Болгарии, почти всем взрослым грамотным населением страны.

Семидесятилетний Сталин, отправляясь на другой день на банкет, успел прочесть в Кремле и сотни телеграмм от государственных зарубежных деятелей. Поскребышев, стоявший рядом, внимательно следил, как склеротические руки вождя откладывали в сторону один лист за другим. Закончив читать, Сталин поднялся и направился к выходу, неожиданно обернулся к своему помощнику и спросил:

— Кто это тебя надоумил написать о цитрусовых?

Поскребышев не ожидал этого вопроса, смутился, но быстро ответил:

— Сулов и Маленков порекомендовали. Читали в отделе пропаганды, сам Михаил Андреевич смотрел.

Сталин ничего больше не сказал и пошел к выходу. Нужны силы и на долгий банкет с речами и бесконечными тостами. А вопрос Поскребышеву был связан с его сегодняшней большой статьей в «Правде» «Любимый отец и великий учитель». В ней в одном из разделов помощник Сталина писал, что вождь не только помог мичуринцам разгромить вейсманизм-морганизм, но и показал, как надо на практике внедрять передовые научные методы. «Товарищ Сталин, занимаясь в течение многих лет разведением и изучением цитрусовых культур в районе Черноморского побережья», показал себя «ученым-новатором». Далее Поскребышев писал, что можно «привести и другие примеры новаторской деятельности товарища Сталина в области сельского хозяйства. Известна, например, решающая роль товарища Сталина в деле насаждения эвкалиптовых деревьев на побережье Черного моря, в деле разведения бахчевых культур в Подмоскowie и в распространении культуры ветвистой пшеницы».

Выставка подарков, которую Сталин осмотрел глубокой ночью, впечатляла. Здесь были экспонаты, подаренные ему и раньше, до юбилея. Переходя из зала в зал, он задерживался у целого моря знамен. Десятки полотнищ от республик, областей, предприятий. Сталин остановился около одного, развернул ткань и прочел: «Выше знамя Ленина — Сталина! Оно несет нам победу!», на другом было: «За Родину, за Сталина!» Дальше стояло около тридцати знамен только от китайского и корейского народов. Подписи весьма впечатляющие: «Самоуправление города Саншилиня преподносит подарок спасителю человечества Генералиссимусу Сталину», «Светочу пролетариата Генералиссимусу Сталину», «Да здравствует спаситель народов мира, Сталин!», «Спасибо Великому Сталину за освобождение нас от японского гнета. От русского населения г. Мулин». А вот выделяется знамя 26-й стрелковой Сталинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Море позолоченного кучаха.

Сотни картин: живопись, графика, акварель, вышивка. Здесь И. И. Бродский, П. В. Васильев, Е. Н. Голяховский, В. Н. Дени, Н. А. Долгоруков, А. Кручина, И. Н. Павлов, И. А. Соколов, Н. И. Шестопалов, другие известные мастера. Скульптурные работы Н. В. Томского, П. В. Кенига, Л. В. Едунова. Скользя взглядом по бесчисленным лицам человека с усами, Сталин не чувствовал себя помещенным в какой-то иррациональный, перевернутый мир, а воспринимал это всеобщее ослепление как признание его гениальности. Бывший ссыльный, человек без законченного образования и профессии, он уже через десяток лет после революции уверовал в необыкновенность своей судьбы.

Стареющий вождь неторопливо двигался мимо бесчисленных ваз, альбомов, шкатулок, статуэток к целому складу оружия: десятки пистолетов, винтовок, автоматов... Пройдя словно сквозь строй через ирреальный мир подарков, Сталин

не спеша, как и положено земному богу, прошел к лимузину, чтобы, уехав, опять уединиться за зубчатыми стенами...

Весь декабрь пресса была заполнена приветствиями, юбилейными статьями, верноподданническими излияниями — буквально шел процесс унижения великого народа. Но вождь считал это естественным. Как ни поворачивай, а давний критик Карл Каутский, похоже, оказался прав в отношении Сталина. Еще в 1931 году, когда только монтировалось здание единовластия, он не без иронии вопрошал: «Что еще остается сделать Сталину, чтобы прийти к бонапартизму? Вы полагаете, что дело дойдет до своей сути не раньше, чем Сталин коронуется на царство?» Все более пристально всматриваясь в то, что было, убеждаешься: для тотальной бюрократии просто необходим хотя бы «первый консул», если нет императора. Сама бюрократическая система с формальной демократией на фасаде не может существовать без политической фигуры деспотического типа.

Сталина благодарили за все сделанное великим народом, говорили о «великом счастье» для советских людей, которое он им принес, на все лады расписывали все его добродетели и благодеяния. Императоры не удостаивались подобного унижения со стороны народа. Сталин не только не пресек это унижение, но и инициировал его. Стареющий вождь олицетворял уже не социализм, а его большую тень.

Мы столь подробно остановились на праздновании семидесятилетия вождя потому, что в этой кульминации цезаризма особенно наглядно стали видны черты его исторической обреченности.

После юбилея Сталин начал сдавать еще быстрее. Все время держалось высокое кровавое давление, но вождь по-прежнему не хотел обращаться к врачам, которым, повторяю, он просто не доверял. Сталин еще как-то прислушивался к советам и рецептам академика Виноградова, но постепенно Берия внушил вождю, что и «старик подозрителен», и пытался прикрепить к Сталину новых врачей. Однако он уже не хотел других эскулапов.

Узнав, что Виноградов арестован, Сталин грязно выругался, но вмешиваться не стал. После устранения академика Хозяин наконец бросил курить. В основном он вел такой же нездоровый образ жизни: поздно вставал, работал ночью; несмотря на гипертонию, продолжал по старой сибирской привычке ходить в баню. По его указаниям парилку, как и саму дачу, продолжали перестраивать. За обедом, как всегда, тянул маленькими глотками ароматное грузинское вино, избегал лекарств. По совету Поскребышева иногда принимал какие-то пилюли, перед едой выпивал полстакана кипяченой воды, предварительно накапав туда несколько капель йода. Человек, не знавший границ своего могущества, боялся доверить себя, свое здоровье врачам. Он не доверял им так же, как не доверял никому.

Такова судьба диктаторов. Хотя вокруг них всегда суетится множество людей, они одиноки. Диктатор сам лишает себя нормальных, обычных человеческих контактов: заискивание, угодничество, поддакивание, лесть, славословие окружения лишь подчеркивают его одиночество среди толпы. Слава, власть, могущество так отгородили Сталина от людей, что он, живя среди них, давно утратил подлинную цену человеческим контактам и настоящим чувствам. Как-то сразу быстро подошедшая старость все чаще заставляла его возвращаться мысленно в прошлое. На склоне лет это самая доступная роскошь для всех, не исключая и старых диктаторов.

Рядом с большим домом в Кунцево для него построили еще один, меньше размером. В одной комнате соорудили камин. Часто Сталин, выходя из кабинета, час-полтора сидел у камина, наблюдая, как возникают и рушатся сказочные замки из раскаленных углей, как кроваво-багровые отблески пламени отражаются на голенищах его мягких сапог. Раньше Сталин редко предавался праздным размышлениям. Теперь его все чаще влекло в прошлое. На днях он распорядился сделать две увеличенные фотографии Надежды Сергеевны. Одну в рамочке поставили в кабинете на столе, другую повесили на стене в спальне. Было ли то признанием своей вины? Косвенной или прямой? Зная теперь очень мно-

гое из того, что совершил Сталин, я почти не допускаю его способности к раскаению. Он просто мог еще раз пережить ту холодную ноябрьскую ночь, когда произошло непоправимое. В жизни нельзя ничего обратно вернуть, но, мысленно, с помощью памяти возможно побывать в том, навсегда ушедшем времени. Диктатор уже не мог только действовать — пришло время и воспоминаний. Он всего достиг, но чувствовал, что все ближе подходит к той черте, из-за которой возврата нет. Ни для кого. Для вождей — тоже.

Может быть, будучи человеком цепкого, злого ума, он в конце жизни понял, что, победив всех, все же «промахнулся»? Может быть, его пугала безутешность его личной победы, ее историческая обреченность? Может быть, тени тысяч погибших его товарищей, друзей, соратников, которых он сам отправил на смерть, нащупали глубоко запрятанные в его душе струны совести? Что он видел, всматриваясь слезящимися от жара глазами в превращающиеся в пепел угли? Зная, что писал, говорил и делал этот человек, не могу поверить, чтобы он мог о чем-либо сожалеть. Его угнетала, наверное, лишь беспощадность времени, которое одинаково безжалостно и к палачам, и к жертвам, с той, однако, разницей, что одних оно навсегда метит презрением, а других выделяет вечной скорбью мучеников.

Он, как земной бог, оглянувшись вокруг на «седьмой день творения», мог сказать, что достиг всего: создал могучее государство; сделал послушным огромный, великий народ; победил всех своих врагов; добился неподдельной «любви» миллионов своих сограждан. Но почему его не покидает тоска? Может быть, потому, что не получилось мировой революции? Или он убедился, что его долгие кровавые социальные эксперименты не могли в конце концов ничего серьезного противопоставить частному предпринимательству? А может, он увидел тупик своих идей, настоянных на насилии? Не думаю. Сталин мог думать не об этом — он просто боялся смерти. Так же как всю жизнь боялся покушений, заговоров, диверсий. Он боялся, что с его уходом станут известны все его злодеяния. Боялся за созданное детище, не хотел, чтобы оно стало другим, поскольку в «другом» для него, Сталина, не окажется места. Как вспоминал Хрущев, в последние годы жизни вождь часто говорил своим соратникам: «Что будете делать без меня? Пропадете, как котята!» Он здесь не ошибся: его мир, его порядки, его божественный культ просуществовали совсем недолго.

Стареющий вождь боялся. Его покрасневшее к концу жизни лицо (видимо, от гипертонии), несмотря на исключительное умение надевать на себя нужную для случая маску, не могло скрыть глубокой усталости, за которой был страх. Его дочь, создавая психологический портрет отца, писала, что, идя к своему концу, он чувствовал себя опустошенным, «забыл все человеческие привязанности, его стал мучить страх, превратившийся в последние годы жизни в настоящую манию преследования — крепкие нервы в конце концов расшатались. Но мания не была большой фантазией: он знал и понимал, что его ненавидят, и знал почему». Его уверенности в особом кавказском долголетии становилось все меньше после очередного приступа головокружения, когда его вело куда-то в сторону. Так было уже несколько раз.

Раньше он почти никогда не думал о своих детях, ему было просто не до этого. Со смертью Якова куда-то исчезло вечное раздражение, которое появлялось при одном упоминании имени старшего сына. С Василием вообще спокойно разговаривать не мог. Вождю далеко не все говорили, но он чувствовал, что его безвольный сын держится на службе лишь благодаря фамилии отца и высокопоставленным покровителям-«друзьям», которые вьются пока вокруг него. Выдумали для генерал-лейтенанта должность помощника командующего ВВС Московского военного округа по строевой части, а затем на целых полгода назначили исполняющим обязанности командующего ВВС округа. В июне 1948 года Булганин уговорил Сталина назначить Василия командующим. Он понимал, что сына тащат наверх, хотя бы угодить ему, но только махнул рукой: «Делайте, что хотите!» Если бы Сталин был самокритичен, он мог бы сказать: дети не получились. Но вождь никогда не подвергал себя внутреннему суду, хотя охот-

но призывал к этому других: «Самокритика нужна нам, как воздух, как вода... Если наша страна является страной диктатуры пролетариата, а диктатурой руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не может делить власти с другими партиями,— то разве не ясно, что мы сами должны вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперед».

Дочь, та совсем от рук отбилась. Отец после того, как она ушла от очередного мужа, распорядился выделить ей квартиру и фактически забыл о ней. Светлана иногда наезжала к отцу на дачу послушать его стариковское брюзжание, поживиться деньгами. Сталин, содержание которого было полностью за государственный счет, совал дочери пачку кулюр из своего депутатского жалованья. За последнюю четверть века он ни разу не истратил ни рубля, не был ни в одном магазине, не знал, как живут люди на скромную зарплату и едва-едва сводят концы с концами. Для него деньги давно стали ничем. Зато многочисленная челядь, обслуживавшая Сталина, толк в них знала. Кстати, Берия, который давно, но безуспешно, пытался убрать Власика и Поскребышева, менее чем за год до смерти Сталина смог отстранить от должности и упрятать в тюрьму начальника охраны, обвинив его в злоупотреблениях, использовании служебного положения в личных целях.

В начале пятидесятых годов, когда Светлана стала учиться в аспирантуре Академии общественных наук, Сталин однажды поинтересовался, какую диссертацию она там готовит. Ему доложили, что она выбрала тему «Развитие передовых традиций русского реализма в советском романе». Сталин хмыкнул, но ничего не сказал. В автореферате диссертации, датированном 1954 годом (уже после смерти отца), на соискание ученой степени кандидата филологических наук С. И. Аллилуева пишет, что для раскрытия проблемы ей пришлось опираться на ряд положений И. В. Сталина, изложенных в «Экономических проблемах социализма в СССР». Ортодоксальная, в духе того времени работа совсем не свидетельствовала о будущей крутой ломке мировоззрения дочери Сталина. Впрочем, о ней он знал весьма мало из того, что знают все нормальные отцы.

Пожилые люди знают цену внукам. Всю не растрченную на детей любовь они обычно отдают им с такой страстью, как будто от каждой их встречи, слова, поступка зависит вся жизнь их любимцев. Сталин не хотел видеть внуков и половину из них совсем не знал. Эти общечеловеческие порывы — сыновняя, отеческая, стариковская любовь — были ему неведомы. Диктатор потому и становится им, что он не только многое приобретает, но еще больше теряет, и прежде всего из сокровищницы общечеловеческой морали. Похоже, не только чувства отца и деда у него развела коррозия любви к власти, но и любовь к матери. С. Аллилуева вспоминает, что мать Сталина, не избалованная его вниманием и дожившая до гигантской славы сына, во время последней встречи сказала ему:

— А жаль, что ты не стал священником!

К закату жизни Хозяин стал еще более раздражительным и нетерпимым. Люди из его окружения и, в частности, дочь вспоминали, что были случаи, когда он запуская телефонный аппарат в стену, грязными словами бранил помощника, собеседника. Его интеллект в старости стал просто холодной, ледящей машиной, полностью не способной на проявление простых человеческих чувств. Приведем еще одно место из книги его дочери «Только один год». Она верно отмечает, что, отправляя людей на смерть, отец тут же отворачивался от несчастных и как бы забывал о них. «Многим кажется более правдоподобным представить его себе физически грубым монстром,— пишет С. И. Аллилуева,— а он был монстром духовным, нравственным, что гораздо страшнее».

Что его раздражало? Скорее всего пресыщенность властью. Он мог все. Но все и испробовал. При полной безропотности исполнителей вместе с тем убедился, что даже абсолютная власть может быть бессильна. Сколько он одобрил, например, постановлений и законов, чтобы «осчастливить» крестьян, а ему постоянно докладывали, что не растет урожайность, падает продуктивность животноводства, многие колхозники не вырабатывают минимума трудовой, ропщут

при обрезании приусадебных участков. Понимал он или нет, что его власть бес- сильна в сравнении с объективными законами бытия, хозяйствования, экономи- ки? Трудно сказать. Это бессилие его лишь раздражало. Может быть, раздра- жался и потому, что начал понимать: история судит не только побежденных, но, кто знает, может, способна судить и «победителя»? А может быть, старческое раз- дражение в последние годы его не покидало еще и потому, что он все больше убеждался в тщетности создать нечто великое и вечное? Ведь он хотел остаться великим навсегда. Он всю жизнь клялся верности учению марксизма, хотя в ду- ше считал, что Маркс и Энгельс не очистили свои идеалы от буржуазной, ме- щанской культуры. Они слишком часто использовали сомнительное понятие гума- низма, заземляли социалистический идеал. А он, Сталин, внес в марксизм го- товность к революционному чуду, способность пожертвовать почти всем сегодня во имя лучезарного завтра...

Диктатор всю жизнь считал, что бесчисленные жертвы — необходимая, ес- тественная, обязательная плата за верность Великой идее, готовность максималь- но приблизить ее реализацию. Сталин никогда не замечал, что человек, масса для него стали средством достижения рая, который он видел уже значи- тельно другим, нежели основоположники марксизма. Цель, идея, идеал для него были все. Но цели — крайне деформированные, искаженные его, сталинским, ви- дением. Для их достижения также допустимо все. Об этом бездумном револю- ционном русском радикализме очень хорошо сказал еще в начале века выдаю- щийся мыслитель Сергей Булгаков: «Он делает исторический прыжок в своем воображении, и мало интересуясь перепрыгнутым путем, внедряет свой взор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта. Такой максима- лизм имеет признаки идейной одержимости, самогипноза, он сковывает мысль и вырабатывает фанатизм глухой к голосу жизни». Думаю, С. Булга- ков верно подметил один из истоков революционного, но в конечном счете тра- гического русского радикализма, который явился предтечей пренебрежения во имя Великой идеи всем. Сталин оказался самым последовательным проводником этого максимализма, представшего в его исполнении преступным. Как мудро и провидчески об этом писал С. Булгаков! Продолжим цитирование: «Я осуществ- ляю свою идею и ради нее освобождаю себя от уз обычной морали, я разрешаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и смерть других, если это нужно для моей идеи. В каждом максималисте сидит такой маленький На- полеон от социализма или анархизма».

Но в Сталине сидел не «маленький Наполеон». Это был один из величайших цезарей, для которого макиавеллизм давно стал неотъемлемой методологией его мышления и действий. Но при всем при том Сталин не мог не понимать, что присвоенное им право «на жизнь и смерть других» не смогло решить многого из того, что он задумал. Страшное предчувствие уже могло прокрадываться к нему в душу. Он его отгонял, по долгой привычке погружаясь в бездну теку- щих дел. А они были непростыми не только внутри страны, но и за ее преде- лами. На многих международных событиях того времени лежит печать и его личного участия.

Ледяные ветры

Оглядываясь с высоты прошедших десятилетий на те почти восемь лет, которые судьба отвела Сталину прожить после Победы, видишь, что они были во многом необычными. Внутри страны — вновь предельная мобилизация всех человеческих сил для восстановления и роста мощи государства. Но весь этот процесс проходил в рамках консервации системы, идеологии, приоритетов, цен- ностей. Сталин фактически поддерживал только количественные изме- нения в системе в сторону упрочения ее могущества. Он не видел необходимо- сти ее качественных преобразований. Парадоксально, но при всех нече- ловеческих усилиях народа система закрепила.

Эти же восемь лет в международном плане характерны тем, что все силь- нее дули холодные ветры. После кратковременного, но внушительного сдвига

влево, который наблюдался в Европе, Азии, других местах, последовала жесткая реакция великой державы — США, которые стали самыми сильными после второй мировой войны. «Мы вышли из этой войны, — говорил Трумэн, — как наиболее мощная в мире держава, возможно, наиболее могущественная в человеческой истории». Руководители нации, монопольно обладающие самым мощным оружием уничтожения, не смогли избежать соблазна извлечь из этого обстоятельства максимальную выгоду. Выступление Сталина в феврале 1946 года на предвыборном собрании — достаточно спокойное и даже миролюбивое — Западом было воспринято чуть ли не как вызов. Он, этот «вызов», многим за океаном был просто нужен. Идея обеспечить «руководство миром» была в США не фикцией, а реальным стремлением. Были в ходу и более сильные выражения, вроде необходимости «перестроить мир по образу и подобию Соединенных Штатов». И этот мифический «вызов» был тут же принят.

Ночью 6 марта, когда Сталин уже собрался ехать на дачу, к нему зашел Поскребышев и положил только что полученную шифровку. Сталин вновь сел за стол и погрузился в чтение. Посольство из Вашингтона сообщало: в Фултоне в присутствии Трумэна (президент — уроженец местного штата Миссури) состоялось необычное выступление Черчилля. Речь бывшего премьера была до предела воинственной. Вождь, имевший четыре встречи с Черчиллем, которому он, правда, никогда не доверял, но ценил его энциклопедический ум, был поражен жесткостью его выражений. Хотя в первой половине речи Черчилль достойно упомянул советского лидера — «Я от души восхищаюсь и отдаю должное героическому русскому народу и моему боевому товарищу маршалу Сталину», — однако далее заявил, что над западными демократиями нависла «красная угроза». Но, слава богу, Соединенные Штаты находятся ныне на «вершине мирового могущества», что дает надежду на защиту от «замыслов злонамеренных личностей и агрессивного духа сильных наций». Черчилль сообщил миру, что «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике — опустился над Европейским континентом железный занавес». Здесь бывший премьер был близок к истине — сразу же после войны Сталин предпринял ряд энергичных шагов, направленных на сокращение всяческих контактов с Западом, остальным миром. Занавес — «железный» или «идеологический», это как посмотреть, — действительно опустился. Один из членов «большой тройки» всегда боялся влияния «гнилых демократий». Долгие годы граждане СССР могли знать о Западе лишь то, что сочтут нужным сообщить им люди типа Суслова. Информационная пропасть между двумя мирами догматизировала наши умы, обедняла интеллекты, резко ослабляла связи мировых культур. Мы стали беднее духом.

Но Черчилль не остановился в своей речи на этом, он предупредил, что «вдали от русских границ... пятая колонна коммунистов ведет свою работу... она представляет собой нарастающую угрозу для христианской цивилизации». Тут великий англичанин явно переусердствовал. Даже он оказался в плену шпиомагии и кампании по «охоте за ведьмами». Гость американского президента, явно сочувствующего высказанным идеям, призвал повсюду в мире защищать «великие принципы свободы и прав человека, которые являются общим историческим наследием англоязычного мира».

Сталин, отодвинув шифровку, долго немигающими глазами смотрел сквозь окно в темень мартовской ночи. Робко начинавшаяся весна была быстро и цепко схвачена заморозком. Речь Черчилля была и сигналом, и вызовом. Вождь подошел к столу и позвонил Молотову. Тот был на месте — обычно члены Политбюро следили за отъездом Сталина и только после этого сами отправлялись домой.

Когда пришел Молотов, разговор двух архитекторов внешней политики страны затянулся еще на добрый час. Они не знали, что речи Черчилля предшествовала «длинная телеграмма» американского поверенного в делах в Москве в Вашингтон, где он дал искаженную трактовку февральской речи Сталина. Кеннан утверждал, что советские руководители считают третью мировую войну «неизбежной». Советские руководители, жившие постоянной борьбой, увидели в

этом откровенном вызове Запада естественный ход вещей. Ни Черчилль, ни Трумэн, ни Сталин не могли тогда подняться до понимания тщетности попыток построить «новый порядок», основанный на страхе взаимного уничтожения. Они были продуктом своего времени. Положение Сталина было трудным. Мощность США к тому времени, вместе с ядерной бомбой, была неизмеримо большей, чем у СССР. Достаточно сказать, что за годы войны потенциал мощностей промышленности США вырос на 50 процентов, производство продукции увеличилось в два с половиной раза. В Соединенных Штатах стало выпускаться в четыре раза больше оборудования, в семь раз больше транспортных средств. Сельхозпроизводство выросло на 36 процентов.

Все это страшно контрастировало с положением в СССР. Тысячи населенных пунктов лежали в руинах, страну ждал тяжелый неурожай 1946 года. Почти вся западная часть страны, о чем никогда публично не говорили и не писали, находилась в огне той войны, которую испанцы называют «герильей». Но этот огонь был наподобие тех, что случаются на торфяниках. За внешним дымком, в толще слоя огонь только ждет доступа воздуха, чтобы жадно пожирать все вокруг. В советской истории это пока малоосвещенная тема. Вооруженные отряды, особенно в Западной Украине, а также Прибалтике, где выделялась Литва, после изгнания немецких войск продолжили борьбу с Советской властью. Сталин несколько раз отдавал Берии указания покончить с «бандитизмом в возможно короткий срок», но он еще не знал, что эта борьба затянется почти на целые пять лет после окончания войны, особенно в западных районах Украины. Скоро, например, министр внутренних дел СССР С. Круглов доложит о результатах этой борьбы в марте, когда состоялось выступление Черчилля. Приведем в сокращении этот пространный документ:

«Товарищу Сталину И. В.

12 апреля 1946 года.

За март месяц 1946 года в западных районах Украины ликвидировано 8360 бандитов (убито, пленено, явилось с повинной), захвачено 8 минометов, 20 пулеметов, 712 автоматов, 2002 винтовки, 600 пистолетов, 1766 гранат, 4 типографских станка, 33 пишущих машинки... Захвачены подрайонный проводник ОУН Федорук Ф. И., подрайонный референт СВ Черный В. Г., подрайонный референт Горинь И. Г., зам. районного господарчого Варваричев И. И., шеф связи областного провода ОУН Кравчук Л. И. Погибло партийного, советского актива, офицеров и солдат МВД, МГБ и Красной Армии более 200 человек.

Литовская ССР. Уничтожено бандитов 145, явилось с повинной — 75, задержано — 1500 человек. Захвачено пулеметов — 44, винтовок — 289, пистолетов — 122, гранат — 182, множительных аппаратов — 12. Ликвидированы бандгруппы Йоделукиса А., Норейкиса И. и ряд других. За месяц в республике зафиксировано 122 бандитских проявления. Погибло актива и бойцов МВД, МГБ и Красной Армии — 215 человек».

Дальше сообщалось о результатах этой борьбы в Белорусской, Латвийской, Эстонской республиках. Сталин, расписавшись на докладе, устно скажет Берии и Круглову, что очень недоволен неэффективными действиями регулярных частей и истребительных батальонов.

Трудности повсюду, а здесь еще этот откровенный вызов Запада. В Организации Объединенных Наций СССР в глубокой изоляции. Хорошо, что есть право «вето» в Совете Безопасности. Сталин чувствовал, что началось тяжелое, неравное противоборство. Но он и не думал уступать — он превратит страну в крепость. Провозглашенная антикоммунистическая «доктрина Трумэна» сделала, по мысли вождя, невозможным принятие и плана Маршалла. СССР была крайне нужна экономическая помощь, и ее, вероятно, можно было бы получить по этому плану, но ценой фактического контроля над советской экономикой. Сталин устами Молотова на Парижском совещании сказал «нет». Видимо, вождь верно угадал цели этого плана, ибо позже Трумэн в своих воспоминаниях откровенно писал: «Маршал своей концепцией выдвигал цель — освободить Европу

от угрозы порабощения, которое готовит для нее русский коммунизм». В общем, началась долгая «холодная война».

Французский политолог Лилли Марку, с которой мне довелось встречаться в Москве, справедливо пишет в своей книге «Холодная война», что с 1946 года и почти десятилетие шла «эскалация, спираль напряженности которой неудержимо раскручивается как низвергающаяся вниз лавина, подчиняясь своей внутренней логике, не признающей здравого смысла». А эта логика была такой, что Сталин видел выход лишь в ликвидации ядерной монополии США. Ценой колоссального напряжения к 1952 году в СССР было почти удвоено производство стали, угля, цемента по сравнению с довоенным уровнем, резко увеличено производство нефти, электроэнергии. Сталин продолжал утверждать, что абсолютный приоритет тяжелой промышленности является постоянным законом развития социализма. Сверхусилия в области тяжелой промышленности, науки создали предпосылки рывка и в ядерной области. Хозяин, как мы уже говорили, поручил курировать все эти сверхсекретные работы Берии и еженедельно требовал доклада о ходе дела.

Здесь существовала хорошая школа. Еще до войны идеи Иоффе, Курчатова, Флерова, Ландау, Тамма дали возможность приступить к созданию первого уранового реактора. Затем работы были приостановлены, и лишь с 1942 года они широко развернулись под руководством И. В. Курчатова. Сталин торопил, торопил... Он приказал не жалеть средств и рабочей силы для форсированной реализации программы. В его фонде сохранился ряд документов-докладов, напоминающих о драматической «ядерной гонке». Точнее, погоне за ушедшим в отрыв соперником. Например, такое донесение:

«По поручению Специального Комитета при Совете Министров СССР нами на месте в первой декаде октября месяца 1946 года проверено строительство спецобъектов Курчатова и Кикоина». Далее говорится, что приняты меры по ускорению этого строительства, количество работающих непосредственно на объектах доведено до 37 тысяч. Под документом стоят подписи С. Круглова, М. Первухина, И. Курчатова.

Почти одновременно С. Круглов и А. Завенягин докладывают Сталину и Берии, что для формирования работ по продуктам атомного распада дополнительно привлечены специалисты-заключенные, осужденные на десять и более лет: С. А. Вознесенский, Н. В. Тимофеев-Ресовский, С. Р. Царапкин, Я. М. Фишман, Б. В. Кирьян, И. Ф. Попов, А. С. Ткачев, А. А. Горюнов, И. Я. Башилов и другие.

В декабре 1946 года советские ученые осуществили первую цепную реакцию, на следующий год запустили первый ядерный реактор, что дало основание В. М. Молотову заявить в ноябре 1947 года, что секрета атомной бомбы больше не существует. А летом 1949 года было произведено испытание советской атомной бомбы, в 1953 году — термоядерного устройства. Нарастанию экономической и оборонной мощи была посвящена вся деятельность Сталина. Свое величие диктатор мог теперь поддержать только величием и мощью государства. Значительная часть ГУЛага была нацелена на оборонные работы. Зачастую, выполняя правительственные задания, многие министры начинали в первую очередь с «обычного» шага — обращались к Берии. Вот, положим, так:

«Товарищу Берия Л. П.

Учитывая исключительную необходимость создания научно-исследовательской базы на востоке, прошу Вашего указания Министру внутренних дел т. Круглову об открытии на площадке филиала ЦАГИ лагеря из числа заключенных сибирских лагерей в количестве 1000 человек.

23 июля 1946 года.

М. Хруничев».

Или еще более откровенно:

«Товарищу Берия Л. П.

Для развертывания строительства прошу организовать еще лагерь на

5 тыс. человек, выделить 30 000 метров брезента для пошива палаток и 50 тонн колючей проволоки.

22 марта 1947 года.

А. Задемидко».

Вдумайтесь: как низко пала нравственность, какой предельно циничной стала социальная политика, как до нуля пала стоимость человеческой жизни. Судьба и жизнь эков сопрягаются лишь с их количеством, с колючей проволокой для неволи и брезентом над головами! Думаю, что эта короткая, лаконичная в своем исключительном цинизме докладная может служить трагическим и глупо-боким отражением тех низин, куда пал сталинизм. Думаю, для памяти нужны не только мартирологи — бесконечные списки погибших невинно, но и такие документы, обнажающие до конца преступления сталинизма. В этом документе — пир антиморали.

Несмотря на низкую эффективность подневольного труда заключенных, Сталин верил, что широкое применение его на оборонных работах не только дешевый способ наращивания военных мышц, но и великолепный метод «перевоспитания» сотен тысяч «врагов» и «предателей». Сталин давно уже привык смотреть на них как на «бывших» людей.

Но как бы мы ни относились к Сталину, следует констатировать: своей беспощадной волей, ценой невероятных усилий советских людей, огромных материальных и человеческих жертв он добился, казалось, невозможного рывка — атомная монополия США была ликвидирована. Было заложено начало стратегического паритета. Сталинский интеллект не был приспособлен для «нового мышления», как и его оппонентов за океаном. Он мыслил мир лишь в плоскости «черного» и «красного», постоянной борьбы, соперничества и, даже будучи в положении, когда невероятно много уступал по большинству параметров своему главному противнику, смотрел на конечный исход противостояния оптимистично.

Чтобы увеличить шансы в этой борьбе, Сталин считал необходимым всячески способствовать зарождающемуся движению широких масс за мир и предотвращение войны, активизировать антиимпериалистические выступления всех отрядов международного рабочего и коммунистического движения. После долгих обсуждений с Молотовым и Ждановым он решил пойти на шаг, который, как можно было заранее предвидеть, будет встречен на Западе крайне негативно. В условиях обострившегося противоборства он решил иметь координационный орган в деятельности компартий. Его создание в европейских столицах и за океаном квалифицировалось как официальное принятие вызова Запада и концепции «холодной войны».

Сталин не забыл, как он в свое время долго думал, прежде чем сделать ответственный шаг и распустить Коминтерн после четверти века его существования. Ему подсказывали совершить этот шаг в самом начале войны, но у него хватило ума понять, что это было бы расценено как слабость перед лицом и фашизма, и союзников. Сталин, мы помним, выбрал очень удачный момент: весна 1943 года, когда у него в активе был Сталинград. Советский лидер, целиком захваченный войной, надеялся, что этот шаг будет должным образом оценен Соединенными Штатами и Англией, подтолкнет их к ускорению открытия второго фронта. Сталин не мог не видеть, что Коминтерн давно уже говорил только «по-советски» и стал его личным рупором и инструментом. После долгих размышлений вождь пришел к выводу, что роспуск Коминтерна даст ему больше плюсов, чем минусов. Но то все было уже в прошлом. И вдруг вновь создание международного центра? Чем руководствовался Сталин? Какие соображения приходили ему в голову?

Когда рождался Коммунистический Интернационал, его вожди верили в близкую мировую революцию. Особенно Ленин, Троцкий и Зиновьев. Но когда революционный паводок сошел, обнажив прочные устои старого мира, выяснилось, что его жизнестойкость высока. Стало ясно, что в условиях относительной стабилизации капитализма Коминтерну уготована весьма ограниченная и подчиненная стране пребывания роль. Руководство из одного центра, помимо пре-

имущества, серьезно дискредитировало коммунистическое движение, давая возможность всем врагам и критикам постоянно и не без оснований говорить о «руке Москвы». Но сейчас, в обстановке усиления «холодной войны», Сталин почувствовал, что двухполюсность мира, образование двух лагерей вновь ставят в повестку дня вопросы взаимодействия компартий. Он вместе с тем понимал, что полного возврата к старому, хотя бы по форме, не должно и не может быть.

По инициативе польских товарищей, поддержанной Сталиным, в сентябре в Шклярска Порембе (Польша) состоялось совещание девяти коммунистических партий Европы. Накануне совещания А. А. Жданов, которому Сталин поручил представлять ВКП(б), прислал вождю шифровку, в которой докладывал о предварительных «наметках» рабочей группы. Он сообщал, что товарищи сходятся в том, что:

«Работу совещания предполагается начать с информационных докладов от всех компартий, участвующих в Совещании. Затем выработать повестку дня. Мы будем предлагать такие вопросы:

- 1) О международном положении, — выступим мы и...
- 2) О координации деятельности партий. Предложим доклад сделать польским товарищам. Итогом должно быть создание координационного центра с резиденцией в Варшаве. Думаю, особый упор следует сделать на добровольные начала в этом деле.

Прошу указаний.

А. Жданов».

И Сталин одобрил. В результате обмена мнениями через четыре года после роспуска Коминтерна было создано Информационное бюро коммунистических и рабочих партий. На Западе его сразу же нарекли «Коминформом». В шифрованном сообщении Жданова Сталину давалось изложение и оценки докладов представителей партий, прибывших на Совещание. Наиболее активно и позитивно, по словам Жданова, вели себя на совещании югославы, еще не зная, что новый орган в ноябре 1949 года примет резолюцию под названием «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». Совещание проходило с 22 по 27 сентября. Интересная деталь: А. А. Жданов по содержанию, направленности и конструктивности оценил выше других два доклада — Э. Карделя, представителя СКЮ, и Р. Сланского, секретаря КПЧ. И вновь ирония судьбы: менее чем через год Кардель Ждановым будет заклеен как «империалистический шпион», а Сланский через несколько лет сложит голову в результате постыдного процесса, который будет проведен по бериевскому сценарию.

В докладе А. А. Жданова «О международном положении», одобренном Сталиным, сформулировано положение, которое долгие годы было едва ли не центральным в советской пропаганде, — «раздел мира на два противоположных лагеря». Это, пожалуй, было ответом на антикоммунистическую доктрину Трумэна. В докладе изложена оценка и плана Маршалла — «программа закабаления Европы», вновь крайне критически оценена роль социал-демократических партий. Сталин упорствовал в своих ошибках всю жизнь, не только сейчас. Жданов не поспешил на оскорбительные эпитеты в адрес социал-демократов. Сталин до конца своих дней сохранил глубокую неприязнь и недоверие к социал-демократам, что в конечном счете постоянно ослабляло не только прогрессивные силы, но и широко развернувшуюся борьбу за мир.

На встрече, учредившей Коминформ, условились следующее совещание провести в Белграде. Но, увы, оно там так никогда и не состоялось. Казалось, отношения ВКП(б) — СКЮ — самые близкие и прочные. Народы Югославии внесли крупный вклад в разгром фашизма, ни на минуту не прекратив своей героической борьбы против агрессора. Первым Договором о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве со странами, вставшими на путь социалистического развития в Восточной Европе, подписанным СССР, был договор с Югославией, заключенный во время приезда в апреле 1945 года И. Броз Тито в Москву. Сталин несколько раз с ним встречался, были весьма теплые беседы. В результате состоявшихся переговоров было решено передать Югославской

Народной Армии боевой техники и вооружения для двенадцати стрелковых и двух авиационных дивизий, танковых и артиллерийских бригад. Дружеские отношения, казалось, могут развиваться только по восходящей. В ЮНА работала большая группа советских военных специалистов, в СССР учились тысячи югославских военнослужащих. Тесным было сотрудничество и между ВКП(б) и СКЮ — и вдруг конфликт. И какой!

Ряд текущих вопросов (подготовка болгарско-югославского Договора о дружбе, направление югославского авиаполка в Албанию, заявление на пресс-конференции Димитрова о принципиальной возможности в будущем создания федерации или конфедерации европейских народно-демократических государств), по которым с Москвой «не посоветовались», вызвали гневную реакцию Сталина. Слава, власть, могущество затуманили Сталина разум. Не только у себя дома, но и среди своих союзников, считал диктатор, он может распоряжаться, как в собственной усадьбе. Глубинные корни конфликта — в политическом цинизме единовластия.

Сталин предложил провести советско-болгарско-югославскую встречу. Она состоялась 10 февраля 1948 года в Москве. Делегации возглавляли Сталин, Димитров и Кардель. От советской стороны в совещании участвовали несколько членов Политбюро: В. М. Молотов, Г. М. Маленков, А. А. Жданов, а также М. А. Суслов. В состав болгарской делегации входили известные деятели Т. Костов и В. Коларов; югославской — М. Джилас и В. Бокарич. Сталин с самого начала в раздраженной форме выразил неудовольствие расхождениями во внешнеполитических вопросах. Он, как это было присуще ему, квалифицировал некоторые шаги Болгарии и Югославии как «особую внешнеполитическую линию». На заявления болгар и югославов, что для этих упреков нет оснований, что инкриминируемые им шаги носят частный характер, Сталин вдруг выдвинул неожиданное предложение о необходимости создания федерации Болгарии и Югославии. Вождь, привыкший, что его пожелания в собственной стране всегда встречаются как решение, вдруг ясно почувствовал внутреннее сопротивление. И Димитров, и Кардель, не отвергая в принципе возможности федерации, говорили, что для этого еще не созрели условия. Кардель заявил, что он не может дать более определенного ответа до решения политического руководства страны. Сталин, привыкший повелевать во всех делах как Председатель ГКО или Верховный Главнокомандующий, пожалуй, впервые за многие годы встретил сопротивление... коммунистов! Это было неслыханно! Уже очень давно никто не возвращал диктатору. Он совершенно не был готов к этому. Спазм глухой злобы требовал выхода.

Когда же Сталин узнал, что в Белграде решили не спешить с созданием федерации, представив возможное решение этого вопроса лишь в исторической перспективе, он пришел в бешенство. Один его державный облик, даже одно слово могли решать судьбы миллионов людей! А здесь, в Москве, его предложение отвергли...

Милован Джилас, один из участников встречи югославской и болгарской делегаций со Сталиным, позже вспоминал, как Димитрову после его выступления вождь, недолго слушав его объяснений, бросил:

— Ерунда! Вы зарвались, как комсомолец. Вы хотели удивить мир — как будто вы все еще секретарь Коминтерна. Вы и югославы ничего не сообщаете о своих делах, мы обо всем узнаем на улице — вы ставите нас перед свершившимися фактами!

Карделю Сталин, по существу, так и не дал говорить. Сталин его тоже прерывает, не менее зло, хотя и менее оскорбительно, чем Димитрова:

— Ерунда! Расхождения есть, и глубокие! Что вы скажете насчет Албании? Вы нас вообще не проконсультировали о вводе войск в Албанию!

Кардель возразил, что на это есть согласие албанского правительства.

Сталин кричит:

— Это могло бы привести к серьезным международным осложнениям... Вы вообще не советуетесь. Это у вас не ошибки, а принцип, да, принцип!

Далее М. Джилас пишет: «Мы отбыли через три-четыре дня, — на заре нас отвезли на Внуковский аэродром и безо всяких почестей пихнули в самолет».

Встреча не стала диалогом. Сталин сразу хотел поставить друзей на место как республиканских секретарей своей страны.

Единовластие притупляет, а затем и лишает человека элементарной самокритичности. Самосознание личности, которое, по Гегелю, освещает себя как бы изнутри и может в союзе с совестью быть как судья, у Сталина не способно было даже заронить малейшее сомнение в своей неправоте. Он привык, что его боялись, безропотно подчинялись, со всем соглашались. И в этом случае он был уверен, что его требования будут непременно приняты. И вдруг — отпор!

Последовали импульсивные санкции: отзыв советских военных советников, резкое письмо Сталина и Молотова югославскому руководству. Тито подготовил взвешенный ответ, одобренный ЦК СКЮ. Он отвергал обвинение в недружественных действиях, в троцкизме. В нем, в частности, говорилось: «Как бы кто из нас ни любил страну социализма СССР, он не может ни в коем случае меньше любить свою страну, которая тоже строит социализм». В мае пришел ответ из Москвы уже на двадцати пяти страницах. Сталин, известный своей выдержкой, способностью собраться, тут действовал спонтанно, без реального анализа ситуации. Голос амбиции заглушил голос разума, а соответствующие органы по инициативе Берии быстро собрали множество «фактов», подтверждающих «отход», «предательство» Тито и всего югославского руководства. Сталин еще не понял, что он потерпел первое чувствительное послевоенное поражение.

Эскалация мер была стремительной. Сталин решил включить в конфликт Информбюро. В Белграде поступили два послания из Москвы с приглашением югославской делегации прибыть на заседание Информбюро в Бухарест. Югославы ответили вежливым, но твердым отказом, расценив это как вмешательство в их внутренние дела, одновременно выразив готовность нормализовать отношения.

Сталин решил проводить заседание Информбюро без «обвиняемых», но это было уже разрывом. Накануне, 15 июня, Сталин рассмотрел проект доклада Жданова в Бухаресте, озаглавленный «О положении в КП Югославии». В сопроводительной записке Жданов сообщил, что «текст доклада рассмотрен мною, Маленковым и Сусловым». Все эти деятели по решению Хозяина поехали в Бухарест. Сталин собственноручно сделал ряд правок в докладе, где уже и до него Жданов сформулировал такие положения: «Всю ответственность за создавшееся положение несут Тито, Кардель, Джилас и Ранкович. Их методы — из арсенала троцкизма. Политика в городе и деревне — неправильна. В компартии нетерпим такой позорный, чисто турецкий террористический режим. С таким режимом должно быть покончено (разрядка моя. — Д. В.). Компартия Югославии сумеет выполнить эту почетную задачу».

Как говорил Хрущев на XX съезде партии, Сталин, потеряв чувство реальности, заявил в разгар эскалации:

— Достаточно мне пошевелить мизинцем — и Тито больше не будет. Он падет.

А тут еще и Жданов сообщает из Бухареста: беседы с Костовым, Червенковым, Тольятти, Дюкло, Ракоши, Георгиу-Дежем, другими товарищами показывают, что все «без исключения заняли непримиримую позицию по отношению к югославам». Великодержавное давление, выдаваемое за пролетарский интернационализм, осуществлялось явно в угоду разгневанному диктатору. Сталин не остановился перед разрывом Договора о дружбе, отзыванием послов, прекращением экономических связей.

Кульминацией конфликта явилось принятие Советским Информбюро, состоявшимся в Будапеште в ноябре 1949 года, постыдной резолюции «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». Над текстом резолюции на сей раз хорошо «поработал» М. А. Суслов, ставший секретарем ЦК. Чего в ней только нет! Сравнение югославских руководителей с гитлеровцами, обвинение в шпионаже, блокировании с империализмом, кулацком перерождении и так далее.

Специфические особенности внутривосточного развития, отдельные шаги, отличные от сталинских схем, как и некоторые жесткие ответные меры, предпринятые в пылу борьбы югославским руководством, квалифицировались как действия «прислужников империализма», «ликвидация народно-демократического строя в Югославии». Сегодня даже трудно представить, как далеко завели амбициозность и великодержавность Сталина ВКП(б), другие коммунистические и рабочие партии. На всем этом особенно рельефно лежит печать глубокой ущербности единоначалия.

Теперь конфликт уже принадлежит истории. «Отлучение» Югославии от социализма, предпринятое Сталиным, еще раз демонстрирует глубокую ограниченность диктаторства. Почерк его один и тот же: в 1929—1933, 1937—1938 годах, как и в попытках применить цезаристские методы в отношениях с суверенными странами и партиями. Н. С. Хрущев, будучи обремененным близостью со Сталиным, тем не менее показал, что шанс совести лучше использовать поздно, чем никогда. Его поездка в Белград в конце мая — начале июня 1955 года — одна из ступеней, по которой он мужественно взшел на трибуну XX съезда партии.

Те несколько лет, что судьба отвела Сталину прожить после окончания второй мировой войны, были для вождя такими же бурными, как и вся его жизнь после победы Октября. Его заботы простирались теперь дальше собственных границ. В социалистических странах, которые с легкой руки Жданова стали именовать «лагерем», было немало проблем. Каждая из стран получила возможность создать в социалистическом строительстве нечто свое, отвечающее национальным особенностям, историческому опыту, конкретной ситуации. Никто не может отрицать, что многое в социалистическом строительстве достигнуто. Этот опыт имеет непреходящее значение. Вместе с тем вмешательство Сталина, его стремление унифицировать опыт, требование придерживаться одной модели, насаждение бюрократических и догматических штампов в политической структуре и общественном сознании нанесли немало вреда общему делу. Особенно когда пытались применять сталинские методы в ликвидации инакомыслящих. Вождь, никогда не понимавший глубин экономики, фактически способствовал механическому перенесению советского опыта в страны, приступившие к социалистическому развитию. Ошибочность таких шагов давно стала очевидной.

Но есть основания полагать, что перед смертью он, возможно, начал убеждаться в неэффективности «единого центра». «Югославское поражение» Сталина, видимо, заставило его кое-что пересмотреть в своем догматическом арсенале. Об этом свидетельствует постепенная потеря интереса Сталина к Коминформу. После «югославского дела» созывались еще одно-два совещания, и незаметно, еще при жизни Сталина, Коминформ умер. Реанимация командных методов в международном движении оказалась явно неудачной. Сталин, возможно, убедился, что при той системе, которую он создал, всем и так ясно, кто руководит этим центром.

Наряду с образованием социалистического лагеря в эти мрачные годы «холодной войны» Сталин мог отнести к крупным положительным факторам, пожалуй, лишь два события: образование Китайской Народной Республики и возникновение мощного движения народов за сохранение мира, предотвращение новой мировой войны. Конец сороковых — начало пятидесятых годов были крайне тревожными. Иногда могло показаться, что лидеры потеряли рассудок. Даже папа римский провозгласил, что любой католик, который будет оказывать содействие коммунистам, будет отлучен от церкви. Везде шла «охота на ведьм».

(Окончание следует).

Борис ПОПЛАВСКИЙ

Дальняя скрипка

Только время способно определить истинное значение подлинного художника. И если это утверждение справедливо вообще, то тем более оно справедливо по отношению к Борису Поплавскому, первому и, пожалуй, единственному русскому сюрреалисту в поэзии: его жизнь была столь коротка и стремительна, что современники, едва разглядев его талант, так и не смогли или попросту не успели по достоинству его оценить. Уже после смерти поэта Д. С. Мережковский сказал, что если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного с лихвой достаточно для ее оправдания на всяких будущих судах.

Борис Юлианович Поплавский родился 24 мая (7 июня) 1903 года в богатой московской семье. Его отец был промышленник и биржевой игрок, музыкант-любитель; с матерью Бориса он познакомился в консерватории. Будущий поэт учился иностранным языкам, музыке и рисованию.

В 1918 году Поплавские покинули Москву. Они прошли долгий путь вместе с белой армией и в 1920 году оказались в Константинополе, а затем через год семья Поплавских обосновалась в Париже. Глава семьи стал учителем музыки, мать поэта открыла магазин одежды, старший брат, бросив занятия в университете, пошел работать водителем такси.

Борис Поплавский долго не мог определить свое жизненное призвание. Его первые поэтические опыты — а писать стихи он начал в возрасте 12—13 лет — были уничтожены им самим. Он считал, что его ждет карьера живописца, и в 1922 году отправился учиться в Берлин. Но эта попытка закончилась крахом — учителя дружно отказали ему в таланте. Перенеся тяжелую нервную депрессию, Поплавский возвратился в Париж. С этого времени он все свои силы отдавал изучению философии и поэтическому творчеству.

Борису Поплавскому были чужды ностальгические настроения, владевшие большинством тогдашней эмиграции. Оказавшийся в Париже по воле родителей, он, как и многие из его поколения, старался, по словам одного из его друзей, «выйти из беженства», порвать с идеологией и настроениями отцов, начать самостоятельную жизнь.

В своем романе «Аполлон Безобразов» Поплавский задавал характерный вопрос: «Что, собственно, произошло в метафизическом плане, что у миллиона людей отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин нидерландской школы малоизвестных авторов, несомненно поделельных, а также перин и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, похожему на смерть, от которого человек встает совершенно опозоренным?» То, что было свято и составляло смысл жизни для большинства эмигрантов, было в глазах Поплавского и его друзей не более чем бутафорией, развалившейся под ударами истории:

Удар, и мертвый падает на санки
С ворот скелет двуглавого орла.

Перед молодыми поэтами и художниками, составившими своеобразный «русский» кружок на «блистательном Монпарнасе» конца двадцатых годов, со всей определенностью встал главный вопрос: как жить? Легче он решался для молодых русских художников: они тяжело и непросто, но стали художниками фран-

цузской школы, некоторые из них добились успеха и славы. Положение же литераторов было куда сложнее. Они были обречены на трагическое творческое одиночество. Отсюда во многом пессимистическая безысходность мотивов их поэзии, неприятие мира, замкнутость на теме смерти. Впрочем, возможно, все было гораздо сложнее...

Благодаря М. Слониму, руководившему литературным отделом журнала «Воля России», Н. Оцупу, с 1930 года выпускавшему журнал «молодых» — «Числа», и другим литераторам, оценившим поэтическое дарование Б. Поплавского, с конца двадцатых годов стихотворения поэта стали появляться в различных изданиях русского зарубежья. «Признали» его и в редакции «Современных записок» — главного литературного журнала эмиграции. И все же за всю жизнь Поплавскому, по подсчетам В. Казака, удалось опубликовать немного — около шестидесяти стихотворений.

В 1931 году Поплавскому посчастливилось найти мецената, согласившегося оплатить издание его книги «Флаги» — она вышла в парижском издательстве «Числа». Это была единственная прижизненная книга Поплавского. По безоговорочному требованию издателей книга была набрана по старой орфографии, из нее было выброшено многое, казавшееся им «мятежным» или «заумным»; Поплавский даже не смог держать корректуру. По этим или другим причинам первая книга Поплавского успеха не имела. Вот характерный пример: В. Набоков в берлинской газете «Руль» (1931, 11 марта) выступил с рецензией на «Флаги».

«...Трудно относиться к стихам Поплавского серьезно: особенно неприятно, когда он начинает их расцвечивать ангельскими эпитетами, — получается какой-то крашенный марципан или цветная фотографическая открытка с перламутровыми блестками. Является даже мысль, не пустая ли все это забава, не лучше ли Поплавскому попытаться силы свои в области прозы? Советовать не берусь, — всякий чистосердечный совет такого рода воспринимается обыкновенно как бестактность. И все-таки... Как хорошо бывает порой углубиться в себя, свято воздержаться от стихов, заставить музу попоститься... «О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни...» Вот звучит это, — ничего не поделаешь, звучит — а ведь какая бессмыслица...» Таков заключительный абзац рецензии.

Трудно даже поверить в то, что автор этих сердитых строк — поэт и прозаик, не могущий быть глухим к музыке, рвущейся из всякой строки Поплавского. Не эти ли — или подобные — слова дали Г. Газданову право обронить горькую фразу: «Он ушел из жизни обиженным и непонятым...» Впрочем, в своих мемуарах, вышедших в 1966 году, Набоков раскаялся: «Я не встречал Поплавского, который умер молодым, дальняя скрипка среди ближних балалаек. «О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни...» Его гулких тональностей я никогда не забуду и никогда не прощу себе раздраженной рецензии, в которой я напал на него за тривиальные ошибки в его неоперившемся стихе». Слова, сказанные с опозданием в тридцать с лишним лет.

В начале тридцатых годов Поплавский тщетно пытался издать свой роман «Аполлон Безобразов»... Издателя не нашлось. Один из его близких друзей, Ильязд (Илья Зданевич), впоследствии писал: «Когда в 1933 году рукопись «Аполлона Безобразова» была возвращена автору в который раз, я добился у одного издателя принять мою гарантию под тысячу пятьсот франков — половину расходов по изданию романа. Надо было достать вторую половину. Никто не пожелал оказать этой поддержки... Последние месяцы я встречался с Борисом каждые две недели в мэрии, куда он приходил за получкой пособия — семь франков в день, от которого, по его словам, «белели десны», и в вечерней библиотеке, где он штудировал немецкую философию, которая хороша на сытый желудок. Какие-то богатые знакомые таскали его по кабакам, в качестве приправы. Однажды он попросил у них помощи. Они отказали, зато посоветовали попросить героин». Так начался последний акт трагедии.

Но трагедия эта — коснувшаяся, впрочем, не одного Поплавского — имела куда более глубокие корни. Об этом с горечью говорили многие современники и друзья Поплавского. Трагедия «незамеченного поколения» — так назвал его В. Варшавский — была в том, что оно вступило в жизнь, не имея никаких кор-

ней, не имея поддержки в лице старших, поддержки моральной и материальной. В статье, посвященной памяти Поплавского, В. Ходасевич заметил: «...И сейчас еще далеко не миновала пора, когда молодых не хотели печатать вовсе либо печатали в аптекарских дозах, порою требуя, чтобы на рукописи имелась апробация какого-нибудь «мноغوважаемого»... Недоброжелательный нейтралитет старших литераторов не только язвит обиду младших — он губительно отражается и на их материальном положении. Отчаяние, владеющее душами Монпарнаса, в очень большой степени питается и поддерживается оскорблениями и нищетой. Я не говорю о материальных затруднениях, знакомых почти всей литературной среде; я имею в виду подлинную, настоящую нищету, о которой понятия не имеет старшее поколение. За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра потому, что ночевать негде. Нищета деформирует и самое творчество...»

«Царства монпарнасского царевич», Поплавский проводил вечера и ночи в кафе «Ротонда». Здесь, среди богемы, художников-иностранцев, неудачников, погибших гениев и всякого рода праздношатающихся, проходила жизнь замечательного русского поэта.

Я не участвую, не существую в мире,
Живу в кафе, где пьяницы живут,—

писал Поплавский. И он действительно жил так, как писал, его стихи предельно откровенны, и ему казалось, что когда уже не останется эмигрантских собраний и журналов,— «в кафе, в поздний час, несколько погибших людей скажут настоящие слова».

«То, что Поплавского всегда тянуло в «эту среду», мы все давно знали,— вспоминал позднее Г. Газданов.— Зачем ему были нужны эти люди, проводившие голодные ночи в кафе, не представлявшие, казалось бы, никакого интереса, эти псевдоинтеллектуальные нищие, не менее жалкие, чем парижские бродяги, ночующие под мостами? И все же Поплавский неизменно возвращался туда. Менялись его спутники, проходило время, а он все путешествовал там же. Он любил, чтобы его слушали, хотя не мог не знать, что его Монпарнасу были недоступны его рассуждения с цитатами из Валери, Жида, Бергсона и что его стихи были так же недоступны, как его рассуждения. И единственное, что могло сблизить Поплавского с этими убогими людьми, это то, что и он и они не вращались в жизнь; не знали ни крепкой любви, ни неразрывной независимости некоторых человеческих отношений, ни того, как следовало бы жить и к чему следовало бы стремиться».

Жизнь Бориса Поплавского оборвалась трагически. Обстоятельства ее загадочны и породили много домыслов. Вот что можно считать достоверно установленным. Незадолго до смерти Поплавский познакомился с девятнадцатилетним Сергеем Ярком. Сказать об этом человеке что-то определенное сложно. Одни утверждают, что он был грузин, биограф Поплавского. А. Олкот называет его «сумасшедшим болгаринном». Он выдавал себя за богатого человека, посещал монпарнасскую компанию художников и литераторов. Однажды он предложил Поплавскому вместе попробовать некое сильнодействующее средство, способное вызвать необычные ощущения... Ярком умер вечером того же дня, а утром 9 октября 1935 года скончался Б. Поплавский. Через несколько дней в газетах было опубликовано предсмертное письмо С. Ярком, в котором он писал любимой девушке о своем намерении покончить жизнь самоубийством и «увести с собой» еще несколько человек, чтобы не было страшно отправляться в последний путь одному. Его единственной жертвой оказался Борис Поплавский.

Нелепая случайность? Трагический исход несостоявшейся жизни? Или сбывшееся предвидение сломанного, искалеченного невзгодами и неудачами поэта:

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
Ярким, жадным, грубым, остальным.

Нам спать пора. Мы ждать уже не можем.
Как холодно. Душа пощады просит.
Смирись, усни. Пощады слабым нет.

Не внешняя схожесть, а интонация этих строк поразительно напоминает гамлетовское «умереть, уснуть». Поплавский умер во сне, повернувшись лицом к стене.

«На последней панихиде в жалкой церкви с цветными стеклами, на которых неумелой рукой нарисованы картины священного содержания, было множество народа.

Кроме тех, кто знал Поплавского как человека и как поэта, были еще люди, неизбежно присутствующие на всех похоронах и панихидах и столь же обязательные, как гроб и яма в земле, и столь же неотделимые от мысли о чьей-либо смерти. Горели свечи, капля на руки горячий воск, брызги дождя долетали сквозь открытую дверь; и как всегда, было то чувство последней непоправимости, которое не в силах заставить забыть ни изменившиеся обстоятельства, ни время, ни даже личное счастье» (Г. Газданов).

«На кладбище, в Иври, куда отвезли выкрашенный в желтую краску гроб, дождь сперва серебрил землю, мелкий на удивление, а потом перешел в ливень, размывая могилу, на которую не было брошено ни одного цветка. Кроме родных, нескольких стародавних друзей, все тех же, и ненужного духовенства, никого, разумеется, не было» (И. Зданевич).

Трагическая гибель поэта потрясла эмиграцию. Друзья на деньги, которые удалось собрать, выпустили две книги его лирики — «Снежный час» (1936) и «В венке из воска» (1938), утвердившие славу Поплавского как одного из самых одаренных, талантливых поэтов русского зарубежья. А в 1965 году Н. Татищев, хранивший рукописи поэта, издал книгу «Дирижабль неизвестного направления», куда вошли его ранние стихотворения.

При первом знакомстве со стихами Поплавского может возникнуть ощущение неточности или ненайденности отдельных слов или образов, ритмических сбоев, затаенности и недосказанности мысли. Но вспомним пушкинское: художника следует судить по законам, им самим для себя принятым. Эти законы Поплавский сформулировал в статье «Заметки о поэзии»: «Не следует ли писать так, чтобы в первую минуту казалось, что написано «черт знает что», что-то вне литературы. Не следует ли поэту не знать — что и о чем он пишет. Здесь противостоят две поэтики, по одной — тема стихотворения должна перед его созданием, воплощением лежать как бы на ладони стихотворца, давая полную свободу подбрасывать ее и переворачивать как мертвую ящерицу; по другой — тема стихотворения, ее мистический центр находится вне первоначального постигания, она как бы за окном, она воеет в трубе, шумит в деревьях, окружает дом. Этим достигается, создается не произведение, а поэтический документ, — ощущение живой, не поддающейся в руки ткани лирического опыта».

Принцип «поэтического документа» определил тональность лирики Поплавского, здесь корни ее силы и слабости. Поэзия Поплавского необыкновенно музыкальна: ее нежная и грустная мелодия, магическая живописность метафор открывают дорогу в сокровенный мир рождения чувств, и идей, и самых таинственных ритмов жизни — надежды, отчаяния, восхищения и жалости. Передать подобное состояние способна лишь лирическая поэзия, и если это под силу поэзии Поплавского, простятся все ее несовершенства, ибо в ней есть главное — чувство, возвышающее человеческую душу. Не случайно Георгий Иванов, которому, как известно, не свойственны были завышенные оценки творчества собратьев по перу, писал: «В грязном, хаотическом, загроможденном, отравленном всяческими декадентствами, бесконечно путаном, аморфном состоянии стихи Поплавского есть проявление именно того, что единственно достойно называться поэзией, в неунительном для человека смысле».

Может быть, именно этим близка нам сегодня поэзия Бориса Поплавского — мелодия дальней скрипки, которая долетела к родному берегу сквозь смерть и время.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

Уход из Ялты

Всю ночь шел дождь. У входа в мокрый лес
На сорванных петлях калитка билась.
Темнея и кружась, река небес
Неслась на юг. Уж месяц буря длилась.

Был на реку похож шоссе́нный путь.
Шумел плакат над мокрым павильоном.
Прохожий низко голову на грудь
Склонял в аллее, все еще зеленой.

Там над высоким молом белый пар
Взлетал, клубясь, и падал в океане,
Где над скалой на башне черный шар
Предупреждал суда об урагане.

Над падалью, крича, носились галки,
Борясь с погодой, предвещали зиму.
Волна с разбега от прибрежной гальки
Влетала пылью в окна магазинов.

Все было заперто, скамейки пустовали,
Пронзительно газетчик возглашал.
На холоде высоко трубы ввали,
И дальний выстрел горы оглашал.

Все было сном. Рассвет недалеко.
Пей, милый друг, и разобьем бокалы.
Мы заведем прекрасный граммофон
И будем вместе вторить как попало.

Мы поняли, мы победили зло,
Мы все исполнили, что в холоде сверкало,
Мы все отринули, нас снегом замело,
Пей, верный друг, и разобьем бокалы.

России нет! Не плачь, не плачь, мой друг,
Когда на елке потухают свечи,
Приходит сон, погасли свечи вдруг,
Над елкой мрак, над елкой звезды, вечность.

Всю ночь солдаты пели до рассвета.
Им стало холодно, они молчат понуро.
Все выпито, они дождались света,
День в вечном ветре возникает хмуро.

Не тратить сил! Там глубоко во сне
Таинственная родина светает.
Без нас зима. Года, как белый снег.
Растут, растут сугробы, чтоб растаять

И только ты один расскажешь младшим
О том, как пели, плача, до рассвета,
И только ты споешь про жалость к падшим,
Про вечную любовь и без ответа.

В последний раз священник на горе
Служил обедню. Утро восходило.
В соседнем небольшом монастыре
Душа больная в вечность уходила.

Борт парохода был высок, суров.
Кто там смотрел, в шинель засунув руки?
Как медленно краснел ночной восток!
Кто думать мог, что столько лет разлуки...

Кто знал тогда? Не то ли умереть?
Старик спокойно возносил причастье...
Что ж, будем верить, плакать и гореть,
Но никогда не говорить о счастье.

* * *

Я люблю, когда коченеет
И разжаться готова рука,
И холодное небо бледнеет
За сутулой спиной игрока.

Вечер, вечер, как радостна
вечность,
Немота проигравших сердец,
Потрясающая беспечность
Голосов, говорящих: конец.

Поразительной тленностью полны,
Розовеют святые тела,

Сквозь холодные,
быстрые волны
Отвращения, забвенья и зла.

Где они, эти лунные братья,
Что когда-то гуляли по ней?
Но над ними сомкнулись объятия
Золотых привидений и фей.

Улыбается тело тщедушно,
И на козырь надеется смерд.
Но уносит свой выигрыш —
душу
Передернуть сумевшая смерть.

Жалость к Европе

Марку Слониму

Европа, Европа, как медленно в трауре юном
Огромные флаги твои развеваются в воздухе лунном.
Безногие люди смеясь говорят про войну,
А в парке ученый готовит снаряд на луну.

Высокие здания яркие флаги подняли.
Удастся ли опыт? На башне мечтают часы.
А в море закатном огромными летними днями
Уходит корабль в конце дымовой полосы.

А дождик осенний летит на асфальт лиловатый,
Звенит синема, и подросток билет покупает.
А в небе дождливом таинственный гений крылатый
Вверху небоскреба о будущем счастье мечтает.

Европа, Европа, сады твои полны народу.
Читает газету Офелия в белом такси.
А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу,
Упав под колеса с улыбкою смертной тоски.

А солнце огромное клонится в желтом тумане,
Далеко-далеко в предместиях газ запылал.

Европа, Европа, корабль утопал в океане,
 А в зале оркестр молитву на трубах играл.
 И все вспоминали трамваи, деревья и осень.
 И все опускались, грустя, в голубую пучину.
 Вам страшно, скажите? Мне страшно ль? Не очень!
 Ведь я европеец! смеялся во фраке мужчина.

Ведь я англичанин, мне льды по газетам знакомы.
 Привык подчиняться, проигрывать с гордым челом,
 А в Лондоне нежные леди приходят к знакомым.
 И розы в магазинах вянут за толстым стеклом.

А гений на башне мечтал про грядущие годы.
 Стеклянные синие здания видел вдали,
 Где ангелы-люди носились на крыльях свободы,
 Грустить улетали на солнце с холодной земли.

Там снова закаты сияли над крышами башен,
 Где пели влюбленные в небо о вечной весне.
 И плакали люди наутро от жалости страшной,
 Прошедшие годы увидев случайно во сне.

Пустые бульвары, где дождик, упав и уставши,
 Прилег под забором в холодной осенней истоме.
 Где умерли мы, для себя ничего не дождавшись,
 Больные рабочие слишком высокого дома.

Под белыми камнями в желтом холодном рассвете
 Спокойны, как годы, как тонущий герцог во фраке,
 Как старый профессор, летящий в железной ракете
 К убийственным звездам и тихо поющий во мраке.

Черная Мадонна

Вадиму Андриеву

Синевели дни, сиреневели,
 Темные, прекрасные, пустые.
 На трамваях люди соловели.
 Наклоняли головы святые,

Головой счастливою качали.
 Спал асфальт, где полдень
 наследил.
 И казалось, в воздухе, в печали,
 Поминутно поезд отходил.

Загалдит народное гулянье,
 Фонари грошовые на нитках,
 И на бедной, выбитой поляне
 Умирать начнут кларнет и скрипка.

И еще раз, перед самым гробом,
 Издадут, родят волшебный звук.
 И заплачут музыканты в оба
 Черным пивом из вспотевших рук.

И тогда проедет безучастно,
 Разопрет и празднику не рада,
 Кавалерия, в мундирах красных,
 Артиллерия назад с парада.

И к пыли, к одеколону, к поту,
 К шуму вольтовой дуги над
 головой
 Присоединится запах рвоты,
 Фейерверка дым пороховой.

И услышит вдруг юнец надменный
 С необъятным клешем на штанах
 Счастья краткий выстрел, лет
 мгновенный,
 Лета красный месяц на волнах.

Вдруг возникнет на устах тромбона
 Визг шаров, крутящихся во мгле.
 Дико вскрикнет черная Мадонна,
 Руки разметав в смертельном сне.

И сквозь жар, ночной, священный,
 адный,
 Сквозь лиловый дым, где пел
 кларнет,
 Запорхает белый, беспощадный
 Снег, идущий миллионы лет.

Поэзия

Китайский вечер безразлично тих.
Он, как стихи, пробормотал и стих.
Он трогает тебя, едва касаясь,
Так путешественника лапой трогал заяц.

Дымится мир, над переулком снова
Она витает, дымная вода,
На мокрых камнях шелково блистает,
Как молоко, сбегает навсегда.

Не верю я Тебе, себе, но знаю,
Но вижу, как непрочны я и Ты,
И как река сползает ледяная,
Неся с собою души с высоты.

Как бесконечно трогателен вечер,
Когда клубится в нем неяркий стих,
И, как пальто надетое на плечи,
Тебя покой убийственный настиг.

* * *

Как холодно. Молчит душа пустая,
Над городом сегодня снег родился,
Он быстро с неба прилетал и таял.
Все было тихо. Мир остановился.

Зажгите свет, так рано потемнело,
С домов исчезли яркие плакаты.
Ночь на мосту, где, прячась в дыме белом,
В снежки играли мокрые солдаты.

Блестит земля. Ползут нагие ветви,
Бульвар покрыт холодной слюдою,
В таинственном, немом великолепьи
Темнеет небо, полное водою.

Читали мы под снегом и дождем
Свои стихи озлобленным прохожим.
Усталый друг, смирайся, подождем.
Нам спать пора, мы ждать уже не можем.

Как холодно. Душа пощады просит.
Смирись, усни. Пощады слабым нет.
Молчит январь, и каждый день уносит
Последний жар души, последний свет.

Закрой глаза, пусть кто-нибудь играет.
Ложись в пальто. Укутайся, молчи.
Роняя снег в саду, ворона грает.
Однообразный шум гудит в печи.

Испей вина, прочтем стихи друг другу,
Забудем мир. Мне мир невыносим —
Он только слабость, солнечная вьюга
В сияньи роковом нездешних зим.

Огни горят, исчезли пешеходы.
Века летят во мрак немых неволь.
Все только вьюга золотой свободы,
Лучам зари приснившаяся боль.

Воин, расскажи полдненным душам,
 Что ты там читаешь о грядущем.
 Воин обернулся и смеется.
 Голоса цветов смолкают в поле.
 И со дна вселенной тихо льется
 Звон первоначальной вечной боли.

Морелла 1

Фонари отцветали, и ночь на рояле играла,
 Привиденье рассвета уже появилось в кустах.
 С неподвижной улыбкой Ты молча зарю озирала,
 И она отражаясь синела на сжатых устах.

Утро маской медузы уже появлялось над миром,
 Где со светом боролись мечты соловьев в камыше.
 Твой таинственный взгляд, провожая созвездие Лиры,
 Соколиный, спокойный, не видел меня на земле.

Ты орлиною лапой разорванный жемчуг катала,
 Ты как будто считала мои краткосрочные годы.
 Почему я Тебя потерял? Ты, как ночь, мирозданьем играла,
 Почему я упал и орла отпустил на свободу?

Ты, как черный орел, развевалась на желтых закатах,
 Ты, как черный, немой ореол, осеняла судьбу.
 Ты вошла не спросясь и отдернула с зеркала скатерть
 И увидела нежную девочку-вечность в гробу.

Ты, как нежная вечность, расправила черные перья,
 Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны.
 О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни,
 Будь, как черные дети, забудь свою родину — Пэри!

Ты, как маска медузы, на белое время смотрела,
 Соловьи догорали, и фабрики были вдали,
 Только утренний поезд пронесся, грустя, за пределы
 Там, где мертвая вечность покинула чары земли.

О, Морелла, вернись, все когда-нибудь будет иначе.
 Свет смеется над нами, закрой снеговые глаза.
 Твой орленок страдает, Морелла, он плачет, он плачет,
 И, как краска ресниц, мироздание тает в слезах.

* * *

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| В час, когда писать глаза устанут | Только нищий слушает молчание |
| И ни с кем нельзя поговорить, | И идет неведомо куда. |
| Там в саду над черными кустами | Одиноко на скамейке в парке |
| Поздно ночью Млечный Путь горит. | Смотрит ввысь, закованный зимой, |
| Полно, полно. Ничего не надо. | Думая, там столько звезд, так |
| Нечего за счастье упрекать, | ярко |
| Лучше в темноте над черным | Освещен ужасный жребий мой. |
| садом | |
| Так молчать, скрываться и сиять. | Вдруг забывши горе на мгновенье, |
| Там внизу, привыкшие к | Но опять вокруг голо, темно, |
| отчаянью, | И, прокляв свое стихотворение, |
| Люди спят, от счастья и труда, | Ты закроешь медленно окно. |

Л ю с я

РАССКАЗ

— Вот так и живу,— невесело рассказывает пожилая полузнакомая женщина и силится улыбнуться, словно в чем-то оправдываясь. Ей сейчас кажется негостеприимным то, что она говорит мне. Гостеприимно — встречать друзей молодости рассказами об успехах и радостях в богатой квартире, среди приятных вещей. И нехорошо заставляя их сидеть в бедной комнате и слушать о несложившейся жизни.

— Почему же ты не с сыном живешь?

— У них одиннадцать метров. Скоро будет ребенок. Некуда даже кроватку поставить.

— Вы могли бы обменять две в разных районах на смежные.

— Это трудно. Они в деревянном доме живут. Без воды. Колонка от них за целый квартал. К ним никто не пойдет. Да и не рвусь жить с невесткой. Сейчас у меня есть хоть собственный угол. А если жить вместе, вечно быть на глазах — то вообще право на себя потеряешь... Нет уж, бог с ними. Отдала им все, что могла, так хоть стены за собой сохранию.

— Материально ты от них независима?

— Конечно. Даже сама постоянно снабжаю их чем-нибудь.

— У тебя полная ставка учителя?

— Почему же учителя? Я ведь не в средней школе, а в пединституте. У нас ставки значительно выше. Но для преподавателя вуза получаю немного. Тысячу триста. Не окандидатилась своевременно,— усмехнулась она,— и как-то лень этим заняться. Стимулов нет. Не для кого проявлять честолюбие. А из-за одних только денег не могу заставить себя... Хотя сделать могла бы, наверное, быстро. У нас ведь тут, знаешь, как диссертации пишут?.. Сплошная компиляция, общеизвестные вещи. И не только у нас, на факультете иностранных языков, а на гуманитарных вообще. Ведь это та область, где своего сказать и нельзя... Каждый старается только точнее повторить... Я на днях на одной защите была. Какая, ты думаешь, тема? «Женщина в Великой Отечественной войне. По материалам энского района энского края». Черт знает что! Смесь книжки Бебеля с передовыми из «Правды», с очерками из журнала «Работница» и цифрами выработки трактористок в колхозах... Скучно, ученически, жалко... А главное, никому на свете не нужно... Стыдно за диссертанта, за слушателей... Но появился еще один кандидат исторических... Будет получать две восьмьсот... И так большинство... У нас на кафедре немецкого языка я единственная осталась без степени. Может быть, потому, что лучше других его знаю.

— Ты говоришь парадоксами.

— Говорю то, что есть. Для меня ведь это язык материнский. С детства говорила, читала на нем. И не думала его делать профессией. Когда муж уехал на фронт и я тут оказалась с ребенком без угла и без карточек, военкомат послал меня в школу преподавать арифметику. А там оказался свободным язык... Потом получила часы в институте, через год совсем перешла туда. Веду разговорный семинар на двух курсах. А другие работники кафедр, люди со степенями, толкуют студентам ученые вещи о семантике, лексике, но живым языком не владеют. Для них это предмет, род занятия, а не романы Поля Рихтера и не басни Геллерта, которые стояли у мамы в шкафу. Уверена, что для человека, не знавшего с детства «Макса и Мо-

рица», язык всегда будет чужим... А уж о студентках, которые идут на наш факультет потому, что им некуда больше идти, и говорить не приходится. Запоминают словарь, но языка не понимают, не чувствуют. Зубрят его для стипендии. А про себя задаются вопросом, зачем им иностранный язык, когда можно прекрасно объясняться по-русски. Если быть честной, им всем надо ставить единицы и двойки. Но я и троек не ставлю. Даже худшим из них. За тройку лишают стипендии, а это для многих трагедия. Бог с ними. Неучем больше — неучем меньше... Впрочем, что я рассказываю об институте. Тебе это не может быть интересно.

Но я уже понял, что ей больше рассказывать не о чем, и спросил, чтобы заговорить о другом:

— У вас есть тут театр?

— Есть Дом культуры. Иногда актеры из Москвы приезжают. А обычно в нем кино или одноактные пьески. Дешево, плоско... Руководитель неграмотный. Недавно сказал во вступительном слове, что «на сцене происходит искусство». Но еще хуже зрительный зал. Так смеется всем плоскостям, что стулья трещат. Я редко хожу.

— Ты, вероятно, вечерами у сына?

— Нет. Он недавно женился, зачем мне мешать им? Вдвоем им хорошо, а со мною тоскливо. Хожу раз в неделю. Если достаю для них что-нибудь из продуктов, есть что отнести, то и чаще. А так обычно с книжкой дома.

— Разве у тебя нет семейных знакомых? Ведь ты тут столько лет. Неужели преподавательский состав института не связан домами, никто ни у кого не бывает?

— Мы достаточно днем надоедаем друг другу, чтобы еще вечерами встречаться,— ответила она без улыбки.— Конечно, кое у кого собираются, но только тесным кружком. А вечера не в обычае. Все сидят по домам. Я слышала, что до войны собирались, пили вино, концертировали. А теперь как-то вывелось. К одному нашему преподавателю ходят, но только мужчины для игры в преферанс. И скрывают это, как нелегальщину... Да и невозможно у нас собираться. Большинство ютится с семьей в одной комнате, а у кого есть квартиры, тем тоже не хочется тратить время и силы на организацию ужина. Ведь это не то, что зашел в магазин и купил. За всем очереди, а половину продуктов приходится возить из Москвы... Нет, Леня, «субботки» прошли вместе с нашей молодостью,— сказала она, и подбородок ее искривился.

Я отвернулся, но Люся быстро овладела собой и продолжала:

— Может быть, мне это кажется, что теперь нет домашнего, простого общения, но в нашей среде я и не вижу его. Мы много говорим на многих собраниях, заседаниях ученого совета, заседаниях кафедры и разных комиссий, а вот без стенограмм и без протоколов разговоры заглохли. Мы не разговаривали между собою о том, чего в повестке заседания кафедры нет. И это создает холодок, напряженность... Может быть, это я не умею сходитьсь с людьми, но только не чувствую в институте легкости, простоты, теплоты... Вероятно, люди тут подобрались не те, а возможно, что теперь это так нужно,— не знаю.

— А знакомых по мужу у тебя не сохранилось?

— По мужу? Он ведь был инженером. Вечно в цеху... По воскресеньям бывали его приятели с женами. Много пили. Теперь мне кажется, что время текло оживленно, а тогда не казалось. Люди это были грубоватые, шумные. И потом,— объяснила она,— это же было не здесь, а в Новосибирске. Здесь ведь я оказалась совершенно случайно. Мужа перевели в Москву, в министерство, мы жили в гостинице в ожидании комнаты, а в это время война началась... Его послали сюда переводить местные фабрики на выпуск снарядов. Так как Москву в это время бомбили, он взял нас с собой. И я тут осталась,— потом уже некуда и не к кому было ехать в Москву... Тут и маму похоронила в сорок четвертом... Она все просила меня перехоронить ее, когда будет возможно, отвезти, положить рядом с папой. Я долго копила на это, год хлопотала о разрешении на товарный вагон, а в заключение узнала, что папиной могилы уже не существует. На кладбище эвакуированный завод расположили. И чьи могилы без присмотра остались, те на новое место не перенесли.

— Где ты познакомилась со своим мужем? — спросил я.— Он местный был? Я фамилии Гришина в городе что-то не помню.

— Он товарищем брата был. Они вместе работали в Новосибирске. Приехал в командировку, привез письмо Коли, остановился у нас. Мы тогда с мамой оставались уже только вдвоем... Иначе, может быть, я и не вышла бы... А он снова внес в дом шум и жизнь. Так и прожила с ним восемь лет в громком говоре, громком смехе и... без проблем. Ростом и костью он был на папу похож. Но его шум был не папин. Просто шум от большого здоровья. Крутлый год окатывал себя утрами холодной водой. Мог выпить литр водки, мог двое суток проводить в цехе без сна. Никогда не выключал репродуктор, и чем громче гремело, тем больше ему это нравилось. В кино и театр ходил только на комедийные вещи. Я повела его однажды на Ибсена, он нашел его скучным. По-настоящему ему нравился, кажется, только Джек Лондон. Мало задумывался. Разве только над вопросами машиностроения. Чтобы разминать себе мускулы, подбрасывал меня и сына до потолка и не делал между нами различий... Я всегда чувствовала себя с ним оглушенной, чуть-чуть утомленной. От громкоговорителя и от него. Действительно дорогим он стал мне, когда не стало его... Только тогда увидела, как все пусто кругом.

— Когда он погиб?

— Когда все радовались — в летнем наступлении сорок четвертого. Около Вильны.

— Сын в него?

— Сын сам в себя. Внешне похож на отца, а характером ни на кого. Не боек, скорее спокоен, но очень упорен. Вот женился сразу по окончании техникума, и я ничего не могла с ним поделать. Читает о пневматике и автоматике... Хочет обставить себя всеми завоеваниями науки и техники, а живет, как дикарь.

— Я не понимаю тебя.

— Это действительно трудно понять. Мы ни до чего с ним не дотолковываемся и, собственно говоря, ни о чем серьезном давно уже не толковали.

— Это плохо.

— Да. Очень, — подтвердила она. — Но что же делать? Это уже поколение такое. Живет на картошке, но с телевизором. Не привыкло к гардинам на окнах, но хочет иметь дома театр. Ведь они никогда не знали уюта, собственных комнат, разницы между столовой и спальней, но зато могут до хрипоты толковать о разных марках автомобилей. Пока я не купила им полотец, они вытирались носовыми платками, но зато он обменял телевизор с маленьким экраном на большой. Уже два года, как он зарабатывает, и зарабатывает в цеху около тысячи в месяц, а деньги уходили на приплаты за новые марки приемников, на части мотоциклета, который он сам собирал, на фотоаппарат, пленку, увеличитель, бог знает на что... Теперь вот женился, но никакого чувства ответственности... Впрочем, она точно такая же... С ним вместе училась, а в семье видела еще меньше, чем он... На первую получку приобрела патефон и... клеенку. Понимаешь, именно клеенку, не скатерть... Я отдала им почти всю посуду, но, когда прихожу, вижу, что колбасу они едят прямо с бумаги... Покупать на базаре продукты им кажется дорогим, и обедают они только в столовке, зато тратят сотню рублей, чтобы съездить в Москву на футбол... Ты поймешь, что мне трудно найти с ними общий язык. Ведь они не чувствуют убожества всей этой жизни. Им кажется, что они приобретают все высшие блага.

— Если им это кажется, зачем тебе разубеждать их? Зачем портить им жизнь, которой они как будто довольны?

— Довольны! Вот это-то и угнетает меня. Довольство каморкой, куском колбасы, говорящими ящиками! Если бы мой сын видел, как жил его дед, он бы понял, какое пришло опрощение жизни. А ведь папа не имел никаких капиталов. Мы жили, как все. Ни у кого тогда не было домашнего кинематографа, но покоя и внутреннего довольства было в десять раз больше. А ветчина тогда не считалась деликатесом.

Она сказала это ожесточенно и поднялась.

— Извини меня. Заговорила о ветчине и вспомнила, что до сих пор не покормила тебя. Я сейчас...

— Люся, не нужно. Я плотно обедал.

Но она уже вышла на кухню.

Я остался один, и мне стало это отчего-то приятно. Схватило сожаление, что я к ней зашел, и захотелось сейчас же уйти от предстоявшего ужина.

Но это нельзя было сделать. Я принялся рассматривать фотографию Николая Антоновича и Ольги Артуровны, висевшую в рамочке над диваном-кроватью. Они сняты были в подвенечных нарядах. Этой карточке было, наверное, целых полвека. Я знал ее с детских времен... С другой фотографии на меня глядел рослый офицер со шпалой на воротах, облокотивший руку на спинку высокого кресла, в котором сидела еще совсем молодая красивая Люся, прислонив к своим коленям пухлого мальчика семи-восьми лет. Снимок сделан был, конечно, перед уходом интенданта первого ранга на фронт. Этой карточке было около тринадцати лет. За это время у Люси выцвели глаза, высохли губы, ссутулились плечи...

Я подошел к книжному шкафику. Здесь не было ни одной общеизвестной, привычной в домашних библиотеках нынешней книги. Одна полка занята была под лингвистику, языковедение и педагогику, на других стояли потрепанные старинные немецкие и переводные книжки. Среди них были романы путешествий по Индии, Египту, Южной Америке...

— Удивляешься, наверное? — спросила Люся, застав меня с одним таким экзотическим романом в руках. — Это чудесная книжка. С ней можно совершенно забыть на пять-шесть часов. Почти детектив. Похищение бриллиантов из пирамиды. Великолепная чушь. А вообще я с удовольствием читаю сейчас путешествия. Они куда-то уносят. Ведь что мы видали из чудес мира? Совсем ничего... Но здесь в шкафу все давно перечитано. Я в институтской библиотеке беру. Счастлива, что не разучилась читать. Единственная радость осталась... А все-таки, знаешь, нет такой книги, чтобы ничего, кроме нее, не видеть, не слышать, целиком бы войти. Ну, садись, Леня.

На столе шипела сковородка с яичницей, лежали сыр, колбаса.

— Ох, Люся, — спохватился я, — подождем минутку, я сбегая вниз за вином. Встретиться через такое количество лет и не чокнуться — это...

— Не нужно, — перебила она, усмехнувшись. — У меня есть коньяк.

И достала его с нижней полки книжного шкафика.

Мне показалось, что она покраснела. И не от того, что нагнулась.

— Подливаю иногда в чай, чтобы заснуть, — сказала она, хотя я не просил объяснений.

Мы сели за стол.

— Ну, давай, Леня, за нашу молодость, за период, когда у нас были надежды!

— Нет, Люся, — отставил я стопку. — Это бессмысленный тост. Я пью за то, чтобы тебе стало радостней, чтобы ты стала радостной.

— Мне? — переспросила она и опрокинула стопку спокойным движением, сразу убедившим меня, что это не первая на последней неделе. — Мне, конечно, станет со временем радостно. Когда совсем постарею. Ведь я сейчас пожилая, а это наиболее видящий возраст. Но вот доживу до слепого.

— Перестань, — сказал я, — выпьем за то, чтобы у тебя мысли переменились.

— Это резон! — согласилась она. — Для перемены мыслей все люди и пьют.

— Давай переменяем лучше всего разговор, — предложил я, накладывая себе на тарелку яичницу. — Ты вот говорила, что у вас трудно с продуктами, а у тебя — полный стол. И ведь ты не ждала меня.

— Я и себя не ждала. Продуктов я набрала вчера две авоськи в Москве. Для своего дорогого сыночка. Но зачем это делаю — сама не пойму. Вероятно, из-за свойственной женщинам глупой потребности о ком-то заботиться. А сыночек мой все равно не оценивает ни стараний матери, ни тонкой еды. Он здоровый парень, ему нужно на завтрак умять котелок, и каша для него ощутительней невесомых яиц. А я простаиваю за ними по два часа во дворе диетического. Потом еще за чем-нибудь у прилавков давлюсь. Устаю я от всего этого. От постоянной борьбы. За место в поезде, за кусок колбасы... Если бы не сын, ничего никогда бы не покупала. Я ведь дома почти что не ем. Хожу в столовую. И даже стараюсь сидеть там подольше. Все-таки люди кругом, не одна... Обедаю медленно-медленно. Ведь никто дома не ждет... Тяну время в столовке... Но сколько можно подносить вилку ко рту!.. Приходится в конце концов уходить.

Она замолчала. Я не знал, что сказать.

— Ну, давай по третьей, — встрепенулась она. — И не надо выдумывать никаких пожеланий. Выпьем за ничего.

Мы выпили.

В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, открыли ее.

— Нам ордера на дрова принесли, — дала Люсе бумажку вошедшая женщина и сейчас же заулыбалась: — Ох, у вас тут сидят! Простите, не знала.

Она с жадным любопытством окинула глазами стол и меня.

Люся ничего не ответила ей.

— Опять по четверти метра на комнату, — сообщила она. — Ну, что вы с ним делаете! Продолжает свое безобразие, и только. В семнадцатом номере давно уже дали по метру, а наш, видите, до весны дотянул и только по четвертушке дает.

И объяснила:

— Это, понимаете, наш управдом ордера на дрова пропивает. А мы с Людмилой Николавной мерзнуть должны.

Женщина топталась на месте, явно желая присесть и продолжая меня изучать. Но я не поддержал разговора, и ей пришлось с досадой уйти.

— Думаешь, она вправду не знала, что у меня кто-то сидит? — сказала с оттенком брезгливости Люся. — Знала. Поэтому и прилетела сюда. Ведь это событие — мужчина зашел ко мне. Как же можно носа не сунуть!

Люся нервно и зло засмеялась.

— А ты еще спрашиваешь, почему у меня нет приятельниц среди соседок и сослуживиц! Да разве это дружба, если вместе работаем или живем! Эта вот милая соседка — текстильщица. Тут вообще город текстильщиц. И больше половины не имеют мужей. Каждый мужчина — предмет раздоров, охоты. И столько тут гадостей... Бабы развращают мальчишек. Дело доходит до анекдотических случаев, когда влюбленные девушки провожают после кино домой своих женихов, чтобы к ним не приставали... Женский город... А нескрываемая похоть женщин в десять раз отвратительнее, грубее мужской. В этом смысле я рада, что Коля женился.

— Ты запачкала яичницей ордер, — заметил я ей.

Люся стала обеспокоенно счищать желтизну с бумажки.

— Этого еще не хватает, — сказала она. — И без того придется ходить к управдому, выклянчивать еще хоть полметра. Бутылку носить ему... Улучить момент, когда сунуть...

На ее лицо легли брезгливость и утомление.

— Ах, Леня, Леня! На что уходят остатки энергии...

— Люся, — сказал я, — каждый человек тратит часть своих сил, часть своей жизни на заботы по поддержанию жизни. Но ты воспринимаешь все по-особенному, ты болезненно чувствительна к этому, как-то очень уж непримира.

— Может быть... И скажу тебе, почему. Потому что я помню базар, на котором стояли сотни возов с дровами жарчайшей лиственничной породы, и вовсе не нужно было затрачивать силы на температурное поддержание жизни. Сажень стоила три — три пятьдесят. И я задаюсь иногда простым, но беспокойным вопросом: зачем было нужно, чтобы на смену дровам, которых было достаточно, пришли ордера на дрова, которых всем недостаточно? А за этим вопросом набегают другие... Зачем было нужно, чтобы я вскакивала на час раньше времени и бежала за молоком, когда у нас дома молоко прокисло? Зачем было нужно, чтобы мой сын жил на окраине случайного города, в тесной каморке, когда у его деда был в другом городе пятикомнатный собственный дом?! Зачем было нужно, чтобы я изучала теорию права, а потом мои знания оказались никому не нужны и я кормилась случайным наследством, каким был для меня немецкий язык?! Что тут от разума, что тут от плановости, когда жизнь определяют случайности! Не больше ли покоя и смысла было в ту пору, когда внуки жили там же, где деды, и жизнь у всех текла тихо и ровно? Теперь все торопятся, летят, истощаются. А в прежней жизни не было спешки. Она не опрокидывала людей на ходу. Зачем же нужно было переворачивать землю, разбросать всех по ней, перетолочь, расшвырять, породить столько напряжения и неуютности?! Зачем, скажи мне, к чему?! Ради заводов и фабрик?

Мне и в тяжелейшие минуты существования не приходило на ум то отчаянное, что говорила сейчас эта женщина. И на лице моем изобразилось, наверное, столько изумления этим словам, что она невесело засмеялась, быстро налила себе одной коньяк, опрокинула его в себя и продолжила нервной скороговоркой:

— Тебя, кажется, легко ошарашить. Ты не привык, наверное, к мыслям, возникающим без особого на то приказа. Ну, а у меня они рождаются непривольно. Я достаточно намаялась, чтобы прийти к ним. Неужели ты не видишь, не понимаешь, что наше поколение вырвано из подлинной жизни? Неужели не чувствуешь, что плохое существование не становится хорошим от похвалы? И самая вера в то, что оно хорошо, не твоя вовсе вера, а следствие внушенной, навязанной мудрости? Настоящая, неподдельная жизнь ушла вместе с нашей молодостью.

Глаза Люси блестели, и в ее злом, страстном шепоте уже сказался коньяк. Но он дал знать себя и во мне. Я потерял дистанцию встречи, дистанцию пола.

— Слушай,— грубо перебил я ее,— в том, что ты городишь сейчас, меня ошеломляет не самостоятельность мыслей, не их новизна, а... их страшная старость. Эти мысли худощавы, как... ты. Они могли зародиться только у человека, привыкшего покупать дрова, а не... рубить. Ты понимаешь ли, как добывалась сажень? Знаешь ли, сколько дней, сколько верст надо было волочить ее из тайги по воде и на лошаденке? И не эти ли люди были довольны и сыты, которые неделю надрывали здоровье за трешницу?! На базаре стояло, говоришь, много возов? Помню, помню. Они от базара до самой Садовой тянулись. Стояли до позднего вечера. Иногда ночевали. Их было больше, чем покупателей. Но разве ты, действительно, не понимаешь, что это значило?! Всерьез невдомек тебе или делаешь вид, что не понимаешь?! Это значило, что голодных было больше, чем сытых. И кто это не торопился, кто жил ровно и тихо? Не те ли, кто бродил целые дни по дворам, вымаливая, чтобы хозяин согласился сменить гнилую дощечку в крыльце и дал им заработать полтинник?! Ты недурную нарисовала идиллию. Беда только в том, что ее никогда вовсе не было. Твой сын опростился до фабричного мастера, но с вопросом о том, зачем это нужно было, попробуй обратиться к родителям, чьи сыновья поднялись до заводских мастеров. Все, что ты говорила,— это такое барство, такое...

— Ну, что такое? Может быть, помочь тебе подобрать нужное слово?

— Тут нечего смеяться, тут...

— Я не смеюсь. Я очень хочу, чтобы ты что-нибудь во мне определил. Я сама не умею. Все кругом стало для меня непроницаемо.

Она сказала это изменившимся тоном, тихо и медленно, очень серьезно. Так серьезно, что я невольно осекся.

— У тебя не бывало ли, Леня, такого периода, когда... все идет мимо тебя? — спросила она.— Когда ты вовсе не хочешь в себя уходить, а уходишь. Не из-за мыслей, а... потому что чувствуешь себя вдруг каким-то вчерашним. И тогда нет мнений, а ощущения. Ты думаешь, я не понимаю, что очереди за маслом — это только очереди, а не приговор! Но очереди ведут к умственному изнеможению. А может быть, вовсе не очереди... Я не знаю. У меня не хватает больше здравого смысла. Встаешь утром с тяжелой головой, выходишь на кухню, там заняты все конфорки, ты вдруг раздражаешься, и потом это происходит уже целый день, и не знаешь, против чего это раздражение будет направлено и какими пределами оно ограничится. Раздражаешься против себя, против студентов, сослуживцев, завмагов, против наших порядков, системы, против всех и всего. И не знаешь, исчезает ли от этого ясность суждений или, наоборот, именно в таком состоянии они делаются беспощадно-верны... Во мне безобразная куча ощущений, появляющихся от раздраженности, и я не умею да и не хочу в ней разобраться. Это и невозможно, наверное. Не верю, чтобы человек мог привести свои мысли и чувства в единство. Не верю в цельность, монолитность, гармоничность натур, во все, что сейчас проповедуется. Меня злят резонерства на тему о том, каким должен быть человек. Нам вообще проповедуется только о должном, лишь об обязанностях и ничего о правах. О праве быть такой, какая я есть. А впрочем, я опять, кажется, говорю совершенно не то... Дай мне закурить.

— Ты разве куришь?

— Нет. Так, иногда.

Блеск ее глаз исчез, они помутнели, с лица сошло возбуждение, оно выглядело сейчас не только усталым, но и больным. И мне вдруг почуялось, что все Люсины речи, все, что я от нее сегодня услышал,— это были не слова, а симптом.

Я поднялся.

— Поздно, Люся. Ты выглядишь очень утомленной сейчас. Тебе надо ложиться.

— Ох, какая заботливости! — усмехнулась она. — Скажи просто, что тебе скучно со мной. Но посиди еще двадцать минут. Я думаю, что если друзья детства не видались двадцать лет с лишком, то двадцать лишних минут не так уже много для встречи после подобного срока. Скажи, сколько ты еще тут пробудешь?

— Дня два.

— Ну, так приходи ко мне это время обедать.

— Что ты! Зачем? Для чего тебе бегать по утрам на базар, возиться с готовкой? Я здесь великолепно в столовых обедаю.

— Не выдумывай. Великолепно там невозможно обедать. А готовить мне, может быть, будет приятно. Я, может быть, самой себе хочу праздничные обеды готовить. Откуда ты знаешь? Почему не перенестись хоть на несколько дней в обстановку сибирского гостеприимства? Ведь ты для меня — вестник из прошлого. А кроме прошлого, у меня нет ничего. Если бы ты в первый момент, когда мы столкнулись на улице, проявил чуть больше души и не ограничился рукопожатием, я бы сразу полезла к тебе целоваться и, несомненно, заплакала бы. А ты этого не понимаешь. Все стали сейчас какие-то черствые, очень уж трезвые. Или это возраст другой? Я вот смотрю на тебя и удивляюсь. Ты изменился невероятно. Не в том дело, что виски поседели, а... годы сделали тебя очень сдержанным. А меня, наоборот, рассентиментализи. Ну, в общем, я требую, чтобы ты приходил в четыре к обеду. Тебе разрешаю вино приносить. Только не сухое. Я не перевариваю этой кислотности. Не понимаю, что в ней публике нравится.

— Ну, если ты так настаиваешь... Но к чему тебе эта забота?!

— За заботу ты можешь отблагодарить меня. Послезавтра у нас в институте вечер по поводу женского дня. Я обычно на вечера не хожу. Но ты меня поведешь. Будешь моим кавалером. Отдашь меня за заботу. Согласен?

— Конечно, пожалуйста.

— Ну, вот и договорились. А сейчас я попрошу тебя вот о чем...

Она на минуту замялась, потом, решившись, сказала:

— Когда будешь сейчас выходить, не разговаривай со мной в коридоре... И выйди неслышно...

На моем лице выразилось, вероятно, недоумение, потому что она сейчас же отвела глаза и добавила:

— Пожалуйста, не спрашивай. Мне это надо...

И я вышел мышью.

Я долго ворочался на своей койке в Доме колхозника...

Эх, Люся, Люся!..

Не столько блеклость ее кожи уязвила меня, — хотя и она не могла не оставить какую-то порцию боли, — сколько блеклость всей ее жизни, всех слов...

То, что она говорила, было не системой взглядов, а состоянием самого человека.

И я жалел ее, жалел до боли в груди. Жалел, что неправильно вел себя с нею, показался ей черствее, чем есть, жалел свою собственную утекшую молодость... Долго-долго жалел и Люсю, и себя, и наше бессилие сохранять в себе бодрость... Я раскаивался в том, что заспорил с ней... Ведь это так понятно, так объяснимо, что женщина, бессильная удерживать в время, бичует теперь с о в р е м е н о с т ь... И бичует с особым отчаянием, если время отняло у нее, кроме молодости, еще и обеспеченность, в которой жила... Ведь прошлое, как его ни скобли, не соскабливается...

Эту последнюю несложную мысль я откровенно высказал Люсе, когда она на следующий день резко заговорила о книге, которую я носил с собой, чтобы не терять время в автобусе.

— Как ты можешь это читать? — сказала она. — Или ты решил одолеть ее, потому что она так захвалена? Но это же у нас обычное дело — громкие фразы о книгах и никчемные книги. Ты вот что прочти, — протянула она мне грязноватую книжицу, с которой уже почти слез коленкор. — Юморески прошлого века. Тут о тещах, о браке, о парламентских дебатах. Автор не вторгается со своим учением в душу, у него вообще нет никакого учения, но

сколько непринужденности, простоты, занимательности! На этом отдыхаешь душой. Наши книги читать утомительно, в них все страницы с бою берешь, а тут не нужно никакого усилия, странички сами листаются, и досадуешь, когда книжка кончается. Тогда жалеешь, что так мало часов провела в безыдейном чарующем мире, что приходится опять возвращаться в скуку идейной действительности. И алкаешь права на безыдейность, на книжку, в которой предполагается общая сытость, на книжку без машинных проблем, на занимательность как таковую.

Я ухватился за выражение «предполагается общая сытость» и сказал Люсе о тяготении над ней ее прошлого.

— Чепуха, милый мой,— ответила она очень спокойно.— Ты истории со щенками Ликурга не знаешь? Он взял от собаки двух сосунков, одного приучил к безделью и лакомствам, а другого — к суровой охоте и доказал, что происхождение не имеет никакого значения. Так что толковать о социальном происхождении предоставь лучше кадровикам. И к тому же папа был умственным пролетарием, а не буржуа. Он, правда, вспоминал иногда о дворянстве, но оно всегда было сугубо мелкопоместным. А я лично и мелкого поместья уже не видала. Кроме того, мода объяснять настроения происхождением давно уж прошла и объявлена вульгарным социологизмом. Да и неудобны сейчас ссылки на социальные корни — как-никак прошло тридцать шесть лет!

Обед Люся приготовила действительно великолепный: салат из крабов, бифштексы, снежки.

— Но если для тебя главное — суп, то я подвела тебя,— извинилась она.— Хотела сделать бульон с пирожками, да не успела. Ведь четыре часа в институте... Но мозговая кость уже есть, и мясо на пирожки тоже провернуто. Так что это у нас будет на завтра.

Бифштексы были сочные, розовые, с жареным луком и гарниром из овощей. Но Люся не приняла моей похвалы.

— Нет, они недостаточно мягкие. Но разве у нас достанешь филейную вырезку? Берешь, что дают.

Даже о снежках, которые я не ел множество лет, она отозвалась скептически:

— В детстве я считала их самым безвкусным из всех сладких блюд. А теперь они хороши только тем, что напоминают мороженое. Настоящее, из яичных желтков, а не фабричную смесь молока с чепухой. Ведь нынешнее мороженое совершенно лишено желтизны, аромата... Помнишь, как вы все приходили и крутили мороженицу...

В общем, как ни хорош был обед, а желчь и тоска сидели за столом вместе с Люсей. Сидели, несмотря на ее старания отгонять их и быть оживленной хозяйкой. Для этого Люся принимала все меры — украсила стол мимозами, которые уже продавали на базаре кавказцы, декорировала салат узорами из майонеза, положила к приборам салфетные кольца и, желая сделать обед как можно более праздничным, пыталась поднимать свое и мое настроение гостями, которые были бы веселее вчерашних.

— Давай, Ленечка, выпьем за старую дружбу! — сталкивала она свою стопку с моей.— Она самая верная и терпеливая. Можно четверть века не видеться и не пытаться узнавать друг о друге. Разве менее долголетняя дружба выдержала бы эдакий срок!

— Этот упрек,— отвечал я,— ты можешь адресовать себе так же, как мне.

— Да, конечно,— соглашалась она и сейчас же снова наливала вино.— Давай выпьем за то, чтобы через следующие четверть века, когда мы случайно снова увидимся, ты нашел меня радостной, спокойной старушкой.

— Нет, я желаю тебе не стареть.

— Чепуха. Я завидую семидесятилетним. Сорок шесть лет — это ужасно. Женщинам надо убивать себя в тридцать пять или переживать свой промежуточный возраст под крепким наркотом. Не жить в периоде, когда считают назад и соглашаются раз в несколько лет прибавить себе год-полтора. Лучше полная старость... Ты купил неплохое вино. Но давай смешаем его. Я не знаток, не гурман, а предпочитаю покрепче. Не возражаешь?

Слила из бутылок в графин, тут же наполнила стопки. Я молча за ней наблюдал.

— Леня! Как ты изменился! — удивленно сказала она.— Ведь ты же

был говорун, всех перебивал, обо всем сейчас же имел свое мнение, а теперь только слушаешь или цедишь односложные фразы. Что тебя убило? Работа? Жена?

— Ты тоже стала совершенно другой. Раньше была молчащей, тихонькой девочкой, а теперь говоришь, говоришь...

— Не говорю, а выговариваюсь, мой дорогой. Это разница. Редкий случай пришелся, я и пользуюсь им. Где же еще взять человека, которому можно сказать все, что чувствуешь! Ведь с тобой мы были ближе, чем с братом. Наверное, поэтому, Ленечка, мы и не влюблялись друг в друга. Если бы не вместе росли, у нас с тобой мог быть роман. И мы имели бы сейчас десять томов совместно написанных живых мемуаров — пять сыновей и пять дочерей. Ты бы их прокормил?

— Бифштексами, конечно, не смог бы. Разве что концентратами.

— Ну, вот видишь. А я бы страдала от этого. Значит, хорошо, что так вышло, что у нас ничего с тобою не вышло. Давай тогда выпьем за благополучно упущенную нами возможность.

— Ты очень деятельно пьешь. Больше, чем ешь.

— Оживляюсь, дорогой, оживляюсь! Что мне еще делать, когда упускала в своей жизни то одну, то другую возможность!

— Да, некоторые я еще помню...

— Только не демонстрируй мне свою память. Не надо. Держи при себе. Зачем меня ранить? Во мне уж и так не осталось ничего непораненного. Бывают инвалиды войны, инвалиды труда, а я инвалид жизни, мой милый.

— Ты сама себя такой делаешь. Миллионы людей пережили значительно больше, чем ты, и...

— Дело не в том, что люди переживают. Важно, как они переживают. И ты не можешь этого знать обо мне. Сие никому о другом знать не дано.

— Допустим. Но если бы ты не была для самой себя центром, ты переживала бы меньше.

— А что должно быть моим центром? Сын? Он женат, у него своя жизнь. Или ты хочешь сказать, что мне надо избрать своим центром людей вообще, коммунизм, все безличное человечество мира? Это ты, что ли, имеешь в виду? Но я не могу любить всех незнакомых людей. Не умею я это. Желаю им всяческих благ, но три миллиарда объектов любви для меня слишком много. Объектом может быть только один — с голосом, лицом, и при этом его лицом, а не чьим-либо прочим.

Она сказала это довольно возбужденно, спохватилась и перебила себя:

— Давай лучше снежки доедать, чем определять центры вселенной. Хочешь, мы сделаем из этого соуса чудесный напиток? Сошьем его, добавим вино — и получится яичный ликер.

Убрав со стола, Люся предложила мне соснуть на диване.

— Конечно, после такого обеда, без супа, отяжелеть невозможно. Для мужчины это, вероятно, вообще не обед. Но все-таки посибаритствуй. Ведь в Москве такая роскошь тебе недоступна. Там ты целый день в учреждении, а в командировке можешь покойфовать.

— Спасибо, но я днем не сплю. Не привык.

— Ну, так просто отдохни, почитай, пока я буду на кухне возиться. Сними пиджак и приляг. А вечером ходим в кино, если тебе не надо опять в учреждение.

— Надо. А прилечь я могу пойти к себе в дом колхозника.

— Это ты называешь «к себе»?! Не представляю, как человек себя чувствует, когда в ногах, в голове, справа и слева лежат еще пять мужиков! Не хочешь ли ты подчеркнуть, чтобы и я при приездах в Москву не ориентировалась на твое обиталище?

— Что за нелепая мысль!

— А если нелепая, так сейчас же снимай пиджак и ложись. Я тебе дам юморески и наслаждайся. А я вымою посуду и сделаю тесто на третий сладкий пирог. Пока ты один рассказик прочтешь, он у меня в «чуде» уже испечется. Выпьешь чай и пойдешь.

— Ни в каком случае. Я не хочу, чтобы ты целый день возилась из-за меня. С чего это ради! Пойми, что меня это тяготит, что мне...

— Я уже говорила тебе, что делаю все для себя. Я так хочу. Мне это нравится. И кончим на эту скучную тему.

Я прилег. Люся пошла ставить тесто. Дверь из комнаты она за собой не

прикрыла. По коридору прошла какая-то женщина, увидела меня на диване, разинула рот и сейчас же застучалась к соседкам. Через минуту их зашмыгало мимо меня до полудесятки. Я встал, закрыл дверь, но Люся, вошедшая за вареньем для пирога, снова оставила дверь полуоткрытой.

— Ты забываешь о любопытстве соседей,— заметил я мягко.— Моя поза может внушить им неверные выводы.

Она немного смутилась.

— Ну и пускай. Мне плевать...

И вышла, плотно притворив на этот раз дверь.

Такое безразличие удивило меня. Ведь все мы всегда опасаемся, как бы о нас чего не подумали, и никто не свободен от оглядок на окружающих. А Люся пренебрегала общественным мнением коммунальной квартиры! Героически провоцировала это мнение своею небрежностью... И вдруг я понял, что тут не небрежность, а... расчет и намеренность. Люся делала это нарочно! Ибо что могла означать ее вчерашняя просьба уйти совершенно неслышно.

Она хотела заставить соседей подумать, что я не уходил! Эта догадка ошеломила меня. С такой странностью мне еще не приходилось встречаться. Каждая женщина старается тщательно скрывать свои случайные связи, а Люся хотела, чтобы ее заподозрили в несуществующей связи... Мне сделалось не по себе. Что-то очень уж жалкое было в этом желании...

Следующий день был женским праздником. Особого оживления в городе по этому поводу не замечалось, ибо празднично настраивать женщин могут только мужчины, а не плакаты, местные же мужчины были избалованы женщинами и видели отличие дня в том, что жены ради их праздника должны расщедриться на полулитровки взамен четвертинок будничных дней. Полулитровки были распроданы во всех магазинах еще до перерыва, а у прилавка «Главпарфюмера», где я брал Люсе флакон духов «Красная Москва», было просторно.

Меня удивило, как растрогана была Люся столь обычным в подобных случаях подношением.

— Это ты мне? — даже растерялась она.— Ну, спасибо.

Расцеловала меня неожиданно в губы, быстро вышла, сейчас же опять возвратилась, и я понял, что она выбегала смахнуть в коридоре слезинку. Но едва она начала говорить, как навернулась вторая.

— Ты не смотри на меня, что я плачу, не смей смотреть,— сказала она совсем по-ребячьи.— Просто... последний раз муж покупал мне духи перед самой войной. Принес в общем пакете с зубной пастой и мылом. Я тогда ругала его, что не умеет дарить. Тоже «Москва» была... Я их однажды уронила и разлила. А флакон у меня все время стоял... В день свадьбы сына тут было много народа и кто-то разбил его. Меня это почему-то очень кольнуло. Тут символика была, понимаешь? Сын женится, это значит, что от моей собственной жизни не остается даже реликвий.

Она сказала это то скороговоркой, то запинаясь, и я почувствовал, что слезинка было у нее в эти годы больше, чем на флакон...

— Эх, ты! — сказал я с нарочитым смехом.— Разбился флакончик, и ты впала от этого в мистику!

— При чем тут мистика? — опять надула она губы по-детски.— Просто вошла в меня какая-то чушь.

На обед у нас был крепкий бульон со слоеными пирожками, ветчина с зеленым горошком и вчерашний пирог с клубничным вареньем.

— Люся,— сказал я,— прости за нескромность, но... почему ты сына не позвала? Ведь мне интересно было бы на него поглядеть.

— Абсолютно неинтересно,— возразила она.— Ты ничего не понимаешь в поршнях, светофильтрах, футболе, а он не понимает ничего остального. Ты был бы для него недотепой, он — для тебя. И вообще друг маминого детства ему нелюбопытен. История мира начинается для него примерно с момента поступления в техникум. Смутно помнит еще и период продовольственных карточек. А люди, помнящие чуточку дальше, ему кажутся уже полупещерными. И, главное, никакого любопытства — вот что самое страшное. Ни к зрелому возрасту, ни к политике, ни к гуманитарной сфере вообще. И знаешь... именно потому, что я все-таки люблю свое чадушко, я не хочу, чтобы он тебе не понравился.

После обеда она выгнала меня на часок, чтобы переодеться.

— И, знаешь, Ленечка, я попрошу тебя... зайди в цветочный магазин,

возьми мне, пожалуйста, что-нибудь голубое на срез. Один-два цветочка. Мне нужно к платью. Я совсем упустила из виду. Только не хризантему, не астру, это слишком грузно, кричаще. Что-нибудь небольшое. Типа гвоздики или фиалок. Ты извини... У меня вылетело из памяти. Только помни — синее, голубое, а не яркого цвета.

В магазине ничего подходящего не было. Вопреки первому моему впечатлению в праздник раскуплены были не только бутылки. Я смог взять лишь два горшка хризантем, которых она просила не брать.

Люсю я застал преобразившейся. На ней было серое платье-костюм, отделанное полосками синего бархата, с огромным аквамарином на вырезе. Она выглядела сейчас не худощавой, а элегантно и стройной. Это сделали не только платье и камень, но и оживившая губы легкая краска, аромат тонких духов и чудесные светлые волосы, прелесть которых скрывалась прежде старушечьим гладким зачесом, а теперь выдавалась легкой волнистой завивкой. Но главное, что резко помолодило ее, — это возбуждение, ожидание, праздничность, заструившиеся сразу из глаз. А заструились они, когда она поймала в моих глазах приятное удивление ее изменившимся обликом. Люся, очевидно, ждала этой молчаливой оценки, готовилась схватить впечатление, которое должен был выдать мой взгляд, хотела проверить, не тщетна, не смешна ли попытка появиться на людях не старухой, а женщиной. И как только мои глаза подтвердили ей, что нет, не смешна, в ней заискрилась необычная веселость.

— Ну зачем? Зачем ты, Ленечка, притащился с горшками? — засмеялась она. — Раз не было, так и не надо. А ты из мужской щепетильности не захотел возвращаться с пустыми руками.

И опять засмеялась:

— Мужчина может дожить до седин, а в нем все-таки будет мальчишеский гонор.

Она быстро отломала одну хризантемку, приколола к груди, но тут же отколола ее.

— Нет, нехорошо. Ну, ладно, бог с ними. Ты узнаешь мамин аквамарин? Он очень оживает, не правда ли? — экзаменовала она себя перед зеркалом. — А ты, Ленечка, будешь сегодня за мною ухаживать? Пожалуйста, постарайся немножко. Вообрази, что ты с молодой красивой женщиной, и изображай на лице удовольствие. Пусть фантазируют, выдумывают себе, что хотят. Ну, пошли, Ленечка? Нам уже пора. До института от меня далеко. Скоро начнется доклад.

— Ну и бог с ним! Эти доклады — обычно такая тоска... Давай лучше к началу концерта.

— Нет, почему же? Доклад делает преподавательница новой истории. Это женщина с большой культурой и свежим языком, о котором я бы даже сказала, что он не лишен бывает приятности.

Я удивился про себя этой редкой в устах Люси характеристике, кстати, вполне подтвердившейся, но удивляться преображению Люси, ее оценок, суждений и мыслей мне пришлось затем целый вечер.

Люся оказалась права — ее появление с неизвестным мужчиной действительно разожгло любопытство и я все время ощущал его на себе. На нас смотрели, о нас перешептывались... Руководительницу семинара знали за сдиноку, малообщительную и небрежно одетую женщину и вдруг увидели ее оживленной, нарядной, под руку с каким-то приезжим и, видимо, близким ей человеком, ибо сидевшие поблизости люди слышали, что она с ним на «ты»... В коллективе, состоящем на девять десятых из женщин, такое событие не могло не возбудить интереса. В антрактах, когда мы гуляли по коридорам, с нами то и дело старались столкнуться нос к носу наиболее беспокойные женщины, рассчитывая, что Люся познакомит, представит... Даже супружеские пары, и те явно старались заговорить. А когда начались танцы, к Люсе, не выдержав, сами стали подходить мужчины и женщины, громко приветствуя, делая комплименты тому, как она выглядит, и интересуясь, как ей понравилась такая-то певица и такой-то скрипач. Избавляя Люсю от необходимости представлять меня, я коротко сам называл свое имя-отчество и не гасил любопытства. Люся благодарила меня молчаливо, пожатием пальцев.

Я не танцую. В моей молодости танцы не поощрялись, я им не научился, а в зрелом возрасте они уже не привлекали меня. Наблюдательные люди

быстро заметили это и стали подходить ко мне, прося разрешения пригласить мою даму. Люся много танцевала в этот вечер, лицо ее разгорелось, и в нем ожила погребенная под морщинками прежняя его миловидность. Ей было хорошо. Впервые хорошо за многие годы. И после каждого танца она рассказывала мне о партнере:

— Это заведующий кафедрой английского. Пишет докторскую. Очень неглуп. Карьерист, но карьерист поневоле. Он бы не гнался за степенью, но его же сотрудник может его обогнать, и тогда кафедра переключается к тому. А, в общем, человек он милый, приятный и не без юмора. Спрашивал, являешься ли ты моим плюсквамперфектум или восставшим из имперфектума презенс.

— Это доцент с кафедры общего языковедения. Очень способный, даже, можно сказать, одаренный. Задолго до Сталина — и, конечно, самостоятельной Сталина — давал в своих лекциях убийственный анализ теории Марра. Его тогда чуть не выгнали. Думающий, честный и, как видишь, еще молодой. Он будет настоящим ученым.

О каждом Люся имела сказать что-то хорошее. И только к концу вечера она отозвалась об одном человеке решительно плохо:

— Это Прозоров. Заведует учебной частью и преподает диамат. Представитель уголовного элемента в педагогическом мире. Нет такой хорошенькой девушки, которую бы он не принудил к сожительству. Ведь он для студенток — страшная сила, от него зависят оценки, стипендии, потом назначения. Тех, кто противится его домоганиям, он проваливает на зачетах, а при распределении посылает в самую глушь. Все это знают, все говорят о разных пакостных случаях, но ничего не меняется... Ходит слух, что он женат на сестре кого-то портретного, и это парализует... Просто ужас, кому у нас поручается учить молодежь ленинизму! Диалектику он излагает, говорят, очень гладко, умеет легко объяснить, что «конец свиньи есть начало сосисок», но, когда теория пропагандируется таким проходимцем, студенты начинают склоняться к тому, что всякая пропаганда есть ханжество. Поэтому марксизм для них — только докучный предмет. Знаешь, когда я вспоминаю, какие у нас кипели философские страсти, и гляжу на этих студентов, стремящихся только сдать и избавиться, я ненавижу этого Прозорова, мне начинает казаться, будто он предал мою молодость. Эта спокойная профанация ленинизма буквально потрясает меня.

Я изумился.

— Тебя? Профанация?

— Конечно. Чему тут удивляться! А тебя разве такие вещи не возмущают? Когда у людей отнимают всякую веру...

— Позволь. Но ведь ты говорила, что эта вера внушенная, вера навязанная.

Люся на секунду смешалась.

— Ну, говорила. Так что же? Это не значит, что всякий прохвост смеет разочаровывать в ней молодежь.

Я улыбнулся.

— У тебя нет последовательности.

— Ну и пусть нет.

Но мое замечание, по-видимому, уязвило ее, и она продолжила наш разговор по дороге домой.

Дорога эта была очень длинной. Пединститут стоял на отшибе, на далекой окраине, в рощице, почти у полей. Путь лежал по широким, обсаженным густыми деревьями и хорошо замощенным аллеям, за обочинами которых догаивал снег. Ночь была теплой и влажной, совершенно не дул холодок, в воздухе стояла весенняя свежесть. Нас высыпало из помещения много, и сначала все пары шли перешучиваясь, в общей компании. Потом державшая меня под руку Люся попросила пойти медленней, мы поотстали. Люся не торопилась домой, а может быть, ей не хотелось, чтобы знакомые видели, как мы с ней у ворот ее дома расстанемся.

— Чудный вечер, — сказала она, когда мы оказались уже почти совсем одни на аллее. — Я бы на месте правительства все время устраивала разные праздники. Для хозяйства они были бы, конечно, накладны, но зато как это сближает людей! Мы говорим о единстве, а собираются у нас люди только два-три раза в году. Нужно чаще быть вместе, петь, танцевать. Чтобы действительно приходило ощущение общности!

— Знаешь, Люсенька, меня очень радует все, что ты сегодня высказываешь. Это так непохоже на то, что ты говорила вчера и третьего дня.

— А что я говорила тогда такое особенное?

Я рассмеялся.

— Вспомни сама. Знаешь, как такой разговор можно было перевести на политический, жесткий язык? Как мечты о реставрации капитализма.

Люся ответила не сразу, а потом заговорила медленно, отвечая столько же мне, сколько самой себе:

— Странный ты, Леня. Разве все, что мы говорим, должно быть между собою увязано? Сейчас я могу думать одно, а через час совершенно другое и не понимаю, почему это надо называть непоследовательностью. Если у меня появляются противоречивые мысли об одних и тех же вещах, значит, это вещи противоречивые, а не мысли мои. Не приходило тебе это в голову, а? И скажи, пожалуйста, почему это я должна говорить только ДА или НЕТ? А может быть, они во мне соприкасаются? Что, если у меня в душе есть и ПРОТИВ и ЗА? Если они сосуществуют? Если в меня вмещается и то и другое?! Что мне с этим фактом поделаться?! Я вот в газетный пафос не верю, и все-таки во что-то внутренне верю. С одной стороны, меня возмущает, что мне преподносят одним и тем же ограниченным количеством слов одну и ту же идею, а с другой стороны, я готова расстреливать прозоровых, всех ханжей и лицемеров за то, что они подрывают веру в эту идею. Ты скажешь, что в этом нет логики. Ну и пускай. Значит, логика и чувства — совершенно разные вещи. По логике человек не может судить об одном и том же предмете совершенно по-разному, а на деле этот предмет может и привлечь его, и отталкивать. И если до тебя это не доходит, значит, ты с твоей логикой «хаст дих херауштудирт аус дем Лебен». Это выражение Гете. Сказано по другому поводу, но великолепно сказано, верно? Только, к сожалению, никак перевести невозможно. Пожалуй, что так: «Чрезмерным штудированием выштудировал себя из подлинной жизни». Поэтому ты исходишь из того, что во мне должно быть единство, и не хочешь понять, что ему неоткуда взяться во мне, потому что живу я среди сплошных, отчаянных противоречий. А ты, прости меня, хочешь все свести к такой простоте, словно живой человек только газетный читатель.

Мы шли медленно, не торопясь выйти на деревянные улицы, с аллей на тротуарные доски. Люся не выпускала моей руки и говорила вполголоса, но все горячее. Я вяло возражал ей, доказывал, что нельзя вечно думать то эдак, то так, что надо какое-то основное настроение жизни иметь.

— Значит, по-твоему, во мне вечная борьба раздумий должна быть? Мне надо с собой умственную тяжбу вести? Не могу, Леня. Я не философ. Я только женщина. Не могу ни преодолеть разноречий, ни выплеснуть их из себя. И... пусть уживаются. В моей крови есть какая-то вера, какое-то чувство, общее всем. Вот побывала среди людей, это чувство усилилось, а домой приду... не знаю, какой буду, когда буду... одна.

Она помолчала и продолжала:

— Когда я одна, в меня вкрадывается какая-то злая болезнь. Болезнь сомнения, если можно сказать так. И тогда я не знаю, где мера жизни, где признаки, по которым судить о ней. То ли жизнь эта тем характерна, что управдом взятки берет, что десятки людей в институте против одного негодяя бессильны, что продукты всегда нужно достать, а не просто купить, или же все это мелочи, а главное — это слово «товарищ», заводы, каналы, не знаю что... Я не умею себе ответить на это, не хватает сил напрягаться ответить искать. Да и для чего их искать? И думаю поэтому самые разные вещи, и ни от какого своего утверждения не хочу отказаться. Ни от того, что вчера говорила тебе, ни от сегодняшних. В целом это может тебе показаться бессвязным, а в отдельности правильно и то и другое. Между прочим, — спросила она, — ты не обращал ли внимания на то, что и в книгах — не только романах, но и рассказах, и даже самых малюсеньких — больше правильности в каждой отдельной страничке, чем во всех, вместе взятых? Я это очень давно уж заметила. И у Толстого так, и у Манна, вообще у любого. И знаешь отчего? Оттого, что всех писателей нудит забота: в с е м у меня научить, на все дать мне е д и н ы й ответ. А я еще такой книги не встретила, в которой этот ответ бы нашла.

Я впервые сталкивался с такой философией — философией отдельных,

дробных, частных и маленьких правд — и сказал Люсе, что нельзя утверждать право на них, право судить о нашей действительности то этак, то так.

— А я хочу судить то этак, то так! — горячо возразила она. — Я живой человек, я собрание мнений, а не собрание истин. Когда мне говорят, что я должна почитать себя за счастливую, на долю которой выпало быть современницей нашей великой эпохи, то я соглашаюсь, поддаюсь на такое внушение. И в то же время я ощущаю себя несчастной современницей нашей эпохи, на долю которой выпал переизбыток войн и нужды, какого люди прежде не знали. Значит, я и счастливая, я и несчастная. И когда мне толкуют только о первом, то это книжная правда, а не действительная. В действительности верно и то и другое. Может быть, есть люди с одной только правдой и они во всем, что у нас происходит, видят только вселенскую сторону дела, а я человек маленький, крошечный, для меня есть только отдельные правды, и я высказываю их тебе, как понимаю, потому что не хочу врать и вилить.

Мы подходили к Люсиному дому. Она замолчала. Потом вдруг очень горячо, будто я уже отказывался и надо было меня убеждать, попросила:

— Ленечка! Сделай это для меня — зайдем, посидим еще час. Мне так хочется еще поболтать, так тоскливо опять оставаться сразу одной... Зайдем доедим пирог, допьем наше вино. Все равно поужинать ты нигде больше не сможешь, сейчас около часа. Очень прошу тебя, Ленечка. Ведь в Орехове ты уже больше не будешь, а я в Москве вряд ли сумею к тебе заглянуть. Всегда тороплюсь после магазинов на поезд и нигде не успеваю бывать. Мы, может быть, опять не встретимся теперь целую вечность. Так что очень прошу тебя — пожертвуй мне еще часик из сна, поскучай еще немного со мной.

Мне опять стало жалко ее.

— Такая страстная мольба, — сказал я, — совершенно не требуется, я с удовольствием просижу с тобой хоть целую ночь.

Мы поднялись. В коридоре был свет. В комнатах стоял пьяный шум. Несмотря на то, что пилила гармоника, слышались нестройные песни. За дверьми находились, наверное, красные и бледные люди, они лениво горлачили, лениво допивали бутылки, лениво дожевывали. Это была третья, тоскливая стадия всех вечеринок, когда веселье проходит, сменяясь усталостью, одурью. Люся быстро отперла свою дверь и попросила меня:

— Покури, Ленечка, пять минут в коридоре. Я только переоденусь.

Я выкурил две папиросы, простоял в коридоре с четверть часа. Но Люся не переоделась. Сняла камень, взглянула на себя в зеркало, еще раз всмотрелась и осталась стоять перед ним. Когда я постучался, она вяло сказала: «Войди».

— Что с тобой, Люся?

Она не ответила.

Я взглянул в зеркало. Оттуда смотрело потускневшее, лишенное всякой окраски лицо. Губная помада только подчеркивала его необычайную бледность. Оживление вечера бесследно исчезло.

Она медленно повернулась ко мне и дрожащим голосом тихо сказала:

— Старость, как ее ни подмазывай... в глазах стоит.

Я возразил ей что-то неубедительное.

Люся нервно, быстро накрыла на стол, поставив посредине его бутылку «пять звездочек».

— Когда это ты успела купить? — удивился я.

— Ты же позаботился преподнести мне духи. Почему же я должна была оказаться менее предупредительной?

— Ох, боюсь, что эта забота простиралась не на меня одного, — сказал я откровенно.

— А если и так? Да, хочу опьянеть. Продолжить иллюзию веселого вечера... Потом бездумно заснуть.

— Ты, кажется, частенько прибегаешь к такому снотворному?

— Бывает. А что мне еще делать одной? Неужели ты думаешь, что мне всегда должно быть достаточно только собственного постоянного общества? — сказала она таким тоном, словно это я виноват был в ее одиночестве.

— Но ведь коньяк не заменяет...

— Неверно. Когда немножко пьянею, сейчас же кто-то рядом со мною садится, из стенок какие-то люди выходят. Я уже делаюсь не единицей, а семьей в едином лице.

И с невеселым смехом добавила:

— Вот так и развлекаю себя.

— Недурное развлечение...

— А какое было бы лучше? Шахматные задачи решать? Нет, знаешь, каждому видней, какие развлечения для него хороши и какие нехороши. Ну, садись, я наливаю.

И стала наливать одну за другой.

Я был ошеломлен нетерпением, с каким Люся старалась влить в себя больше спирта. Это не была жадность пьяницы, которому хочется пить, то есть ощущать спирт в горле и пищеводе. Нет, Люся пила с отвращением, словно глотала мочу или уксус, пила лишь для того, чтобы коньяк скорее оказал свое действие.

— Что ты уставился на меня? — грубовато спросила она.

Я хотел ей ответить, что поражаюсь резкости происходящих в ней перемен, но сказал не то и не так:

— Смотрю, как ты пьешь, и не верю, что ты — это ты. Я еще не могу отрешиться от образа спокойненькой девушки, которой Николай Антонович ерошил волосы, а она без возражений это переносила и все время их поправляла. Такая была мирная, беззлобная девушка и...

— Перестань! — резко перебила она. — Мне неприятны сейчас воспоминания ни обо мне, ни о папе.

И добавила:

— Ты не находишь ли, что он был бы сейчас невозможен? Среди людей, которых мы только что видели. В нем не было мимикрии, хитрости, он не умел гнуть язык. А в этих кандидатах и докторах инстинкт понимания, нюх на возможности. Да, да! Не мировоззрение, не идейная сила, а нюх на возможности.

— Час назад ты иначе отзывалась о них.

— Не знаю. Не помню, чтобы я говорила, будто верю в их убежденность. Она далась им слишком легко. Без выбора и без усилий. И перестань ловить меня. Это надоедает. Я уже говорила тебе, что не признаю одних только «да» или «нет». Есть много оттенков. А у нас делают вид, будто их не существует. У нас все на искусственном «или-или» построено. Применительно к людям, к науке, ко всему вообще.

— Такова сила всякой теории.

— А меня не интересует теория. Она не помогла мне ни себя, ни семью, ни покой сохранить. Ничего не принесла. Ни капельки счастья. Вот если бы существовала теория, которая показала мне, где радости брать, за такую бы я уцепилась. Но этой мудрости мне не открыли. Не выдумали ее еще для меня.

— Знаешь, Люся, — вяло ответил я, — было бы бесполезным тебе возражать. Ты понимаешь не хуже меня, что теория служит устранению социальных несчастий, а устройство личного счастья...

— Выпадает из ее поля зрения и предоставляется каждому, как он хочет и может, — перебила она. — Знаю, знаю. И чтобы я не распознала эту практическую беспомощность всякой философии и всякой политики, мне дополняли их лозунгом, будто в нашей стране каждый может добиться всего, что он хочет. Этим лозунгом нас пичкали в юности. А когда она безвозвратно прошла, мы убедились, что лишь тот смог добиться, чего он хотел, кто хотел очень малого.

Она опять налила свою стопку, забыв о моей.

— Вот поселили нас, разных людей, в коммунальной квартире и таким же порядком общую коммунальную теорию дали, — сязвила она. — Свели под одну крышу людей, а всю мудрость жизни — в единый учебник. А хорошо ли жить в комнатах и теплей ли на душе от учебника — этого никто не видит, не спросит...

Я чувствовал себя усталым, разморенным от коньяка, понимал бесполезность спора с Люсей, каждый раз принимавшей за истину настроение данной минуты, не хотел ничего возражать, а бездумно и глупо спросил:

— Какая же тебе нужна теплота?

Тогда Люся внимательно на меня посмотрела, посмотрела так, словно я был новым для нее человеком, и медленно сказала:

— Ты спрашиваешь женщину, какая ей нужна теплота? Или я уже действительно совершенно непохожа на женщину?

Я спохватился, смутился.

— Что ты! Я просто не понял тебя. Мы говорили о теории, а ты...

— Не хочу я теории. Не хочу! — вскочила вдруг Люся. — Мне все надоело. Понимаешь ты, все! Институтские рожи, репродуктор, газеты, соседи, эта комната и... сама я себе.

Эта вспышка была такой неожиданной и в ней прорвалось столько накопленной боли, что мое равнодушие сразу исчезло.

— Люся, — пробормотал я, — ты просто... бесконечно устала. Тебе надо лечиться. Надо поехать в отпуск на юг, переменить обстановку, укрепить свои нервы.

Я начал горячо доказывать ей пользу хвойных ванн и морского купанья, необходимость отвлечься, развлечься.

— Хочешь, я тебе достану путевку?

Вместо ответа она налила в стопку остатки коньяка, быстро и с отвращением выпила.

Лицо ее стало действительно совершенно больным, глаза помутнели.

— Изжога, — сказала она, — гадость... Мы пьем страшную гадость... Я, кажется, совсем опьянела.

И вдруг грубо и зло засмеялась.

— Лечители... Всюду лечители... Ты — ванны, наш секретарь уверяет в докладах, что лечит ото всего самокритика, а Мура говорит, что мне нужен здоровый правофланговый.

И сказала, будто совершенно забыв обо мне:

— Она, кажется, ближе всех к правде... Иногда бывает... От прохожего идет электрический ток... Потом в висках стучит, болит голова... Не знаешь, как скинуть... Гадость... Кругом и во мне одна гадость...

Я обомлел. Люся действительно была совершенно пьяна.

Она смотрела на меня, не видя меня, смотрела мимо обесмысленными, пустыми глазами. Потом закрыла их, запрокинула голову. Я не знал, что мне делать. Не решался растегнуть тугой лиф, уложить ее на диван, не решался уйти, оставив ее в таком состоянии. Потом взял полотенце, пошел в кухню, смочил его и приложил ей к вискам. Она вздрогнула, открыла глаза и вскочила.

— Ох, извини меня... Это бывает... минутами... Потом все проходит...

— Нет, Люся, тебе надо ложиться. Я пойду.

— Ни в коем случае! Я тогда десять лет не смогу простить себе, что так вот заснула и... ты сразу ушел. Нет, нет! Мы выпьем сейчас крепко-ко чай.

— Люся...

— Не говори мне, слышать ничего не хочу.

Больные нервы давали ей силу упорства. Она побежала на кухню.

Мне очень хотелось воспользоваться этой минутой, уйти и лечь спать, но я чувствовал, что это обидело бы Люсю больно и навсегда. Надо было уже страдать. Все равно, подумал я, завтра домой, а больше, слава богу, мне никогда уже не придется быть в этой комнате гостем... И я покорно сидел, пока она не вернулась с крепким, великолепно заваренным чаем.

Мы пили его с наслаждением. Он прогонял сейчас и сивушную одурь, и изжогу, и жажду. Мы ели пирог, и его сладкая, сытная мякоть тоже насыщала, укрепляла, бодрила.

— Люся, — спросил я, — ты упомянула какую-то Муру. Это не та ли, что с нами училась?

— Да, училась. А разве я упомянула ее? По поводу чего? Это моя двоюродная сестра. Ты помнишь ее?

— Очень хорошо. Где она сейчас?

— В Сибири. Очень известна там. Сельскохозяйственный деятель. Мы каждый год видимся, потому что она депутат РСФСР и приезжает на сессии. Старшая дочь ее тоже время от времени бывает в Москве. У отца останавливается. Ты не помнишь его? Ассистент у нас был. Крупный такой, с широкими скулами. Игнат Александрович. Это первый Мурин муж. Он теперь в академическом мире большая фигура. Если хочешь, могу дать тебе его телефон.

— Нет, не нужно. А кто сейчас Мурин муж? Я помню, она была близка с таким высоким, худым парнем Андреем. Не он ли?

— Андреем? А... Нет, тот давно потерялся. У Муры уже пятый муж

и куча детей. Она ведь особенная. Ей узки рамки брака. А вообще она очень счастливая...

— Да? Чем, например?

— Всем. У нее большая семья, любимое дело, успехи, она предмет восхвалений, совсем не стареет...

— Ну, это не может быть.

— Нет, это так. Она чудесно выглядит, до сих пор имеет поклонников. Стареет, конечно,— поправилась Люся,— но замечает это по детям и внукам, а не по себе. А главное, она очень любит, ее очень любят...

— Ну, это еще не особенность. Таких счастливых немало.

— Может быть, и немало, но те счастливые не понимают этого, не знают. Им обычно кажется, что счастья вообще нет, что оно в другом месте находится. А Мура понимает свое счастье, очень хорошо понимает, и в этом смысле я и назвала ее человеком особенным.

— Я в этом, признаться, не вижу особенности. По-моему, каждый человек чувствует, счастлив он или несчастлив.

— Нет, не говори. Счастье обычно не замечается. Я вот с мужем жила и не понимала, что была тогда совершенно счастливой. Для человека моего склада сознание счастья приходит лишь после того, как само счастье уходит... Для меня счастье — воспоминание. Или,— добавила она,— ожидание. Пустое и глупое.

— Почему же пустое? — сказал я неискренне.

— Перестань. Ты понимаешь не хуже меня, что старая баба пикому не нужна. А если бы нашелся такой же, как я, бесприютный, то я не смогла бы теперь уже сжиться с внутренне чужим человеком. Такие браки между неприкаянными пожилыми людьми мне кажутся еще непереносимей, чем жизнь моих соседей, которые ложатся с первыми встречными мужиками в постель. Они и блудливы без страсти, и горланят, как слышишь, без всякого желания петь. А я так не могу.

— Знаешь, Люся, я считаю, что ты все-таки слишком уж уныло настроена. Нельзя жить, ничему абсолютно не радуясь. У тебя не удалась личная жизнь, но есть ведь и кроме любви разные радости. Мне кажется, что чем в человеке больше культуры, тем круг этих радостей может быть шире. Разве театр — не радость, музыка — не радость, картины — не радость? А дружба? А прогулки по новым местам? Для человека, который умеет понять, вдохнуть, оценить, — все это огромные удовольствия, самые настоящие радости. А разве ощущение здоровья — не радость? Если бы ты вылечила свои нервы, то это уже само по себе позволило бы тебе замечать и прочие радости. А купанья? А лыжи! Помнишь, как мы на них ходили в тайгу? Я и сейчас езжу по воскресеньям кататься на Сходню, в Измайлово. Это такое удовольствие — легишь, как по воздуху. Возвращаешься домой, тебя всего ломает, а дышишь великолепно и спишь потом, как мальчишка. Теперь разреши спросить: неужели у тебя вовсе нет честолюбия и ты не видишь приятного в том, чтобы удовлетворять его? Неужели нет даже самолюбивого желания подниматься в работе над другими преподавателями? И, наконец, я думаю, что ты вообще не знала бы скуки, если бы занялась окружающим. Хотя бы жизнью студенток. В общем, если ты всмотришься, так найдешь по меньшей мере пятьдесят удовольствий и отвлечений всяческих видов и сто способов ими воспользоваться. А ты себя мучишь, терзаешь...

— Я могу даже сама дополнить твой перечень радостей. Ты упустил самые ценные,— сказала Люся серьезно.— Вот я была сегодня на вечере, и... немножко поднялось настроение. А ведь это не вечер, а так... А если бы в Большом театре, в роскошном каком-нибудь зале, где люстры, музыка, бальные платья... Ты думаешь, это не манит меня? Ты думаешь, я такой ипохондрик, что мне очень хочется проводить каждый вечер вот тут?.. А понятна ли тебе радость от разговора? Понятно ли, почему я навязала тебе свое общество? Потому что хочется выпрастывать душу. Это в сто раз большая радость, чем прогулки, музеи, морские купанья и прочее... Скоро двенадцать лет, как я присутствую на проводимых в институте беседах и смертельно стосковалась поэтому по натуральной человеческой беседе. Ты и не представляешь себе, как дороги мне каждые лишние десять минут, что ты здесь... А удовольствия, которые ты перечислил... нет, для меня это не удовольствия. Ну, с чего я понесусь вдруг на лыжах? Меня же засмеют все мальчишки... И какое я могу находить удовлетворение в том, чтобы мои сту-

денты заняли первое место по успеваемости? Ну, допустим, похвалят меня за это в стенгазете или приказе... Куда мне поспешить с этой вестью? Ведь за меня некому радоваться... Какие могут быть цели, стремления, когда в комнате пусто?.. Хорошо или плохо мне, нормально ли обстоит в институте или у меня неприятности,— это не интересует ни одного человека на свете. Мне некому рассказывать о прожитом дне...

Она замолчала, потом глухо добавила:

— Приходишь домой... четыре стены. И ни одна не заговорит. Ни одна...

У меня сжалось сердце.

А Люся продолжила тем же изменившимся голосом, ставшим хрипатым от коньяка или тоски:

— Каждый вечер похож друг на друга, как волос на волос. И уже с вечера завтрашний день кажется бесполезным, ненужным. Заранее ненавидишь его... Вот немцы говорят, что ночь — не друг человека. А мне и утро — не друг. Просыпаешься от соседского радио, принудительно слушаешь и на целый день раздражаешься... Кто-то выполнил план, кто-то что-то освоил... Одно и то же тягучее, постоянное, скучно-противное... Может быть, это вечность творится, громада, а мне только противно. Подходишь к зеркалу — противно лицо свое. Выглядишь измятою тряпкой, и хочется, чтобы скорей пришла полная старость, пришло безразличие ко всему, равнодушие. А сейчас равнодушия нет... В этом весь ужас... Нет равнодушия.

Она говорила все это медленно, но обнаженно, дробно, разорванно, как разорванным было все ее существо. За словами лежало долгое, злое страдание.

— Люся,— сказал я взволнованно,— но у тебя будет внук, появятся снова и цель, и любовь, он будет тебе улыбаться, ты будешь смеяться с ним.

— Да,— подтвердила она.— Тогда все будет ясно. Тогда конец... Буду знать, что я исчерпана, кончена. Что так, значит, пропето было мне в колыбель. Именно так, не иначе... Буду купать в ванночке кусочек красного мяса, потом слушать лепет... Умиляться, может быть, плакать... Плакать от радости, что он машет ручкой, а меня больше нет... Да, так оно будет. Появится что-то, к чему причащаться, в чем стараться топить себя... И уж скорей бы, скорей... Пусть буду бабушка. Это даст лицо, положение... Хожу, мол, к внуку, занята внуком... А никем на занятая — живешь без лица. Баба сидит в кино с мужиком, и ты рядом с нею неполноценная. Она держит его на улице под руку, выставляет всем напоказ, и ты скользишь мимо, буд-то клеймо у тебя на щеке. Как черная в обществе белых... Не могу видеть, как бабы здесь ведут своего... Шагают с ним сознательно медленно... Держат цепко, как чемодан на вокзале... Ненавижу я этих баб... У другой, может быть, муж, как маломощная курица, а она несет его по тротуару, как несет на себе габардин. Хвалится малодоступным товаром... Нет, пусть буду бабушка. Пусть. Не могу больше так... Не могу больше сама собою держаться.

Она действительно не могла больше держаться. Спирт и перенапряжение взяли свое. Ею овладела внезапная и уже долгая слабость. Люся вдруг опять откинула голову, закрыла глаза и через некоторое время тихо сказала:

— Вот теперь, Леня, иди... Теперь, кажется, наступает протрация... Спасибо, что побыл со мной... Я как-нибудь в Москве позвоню... Иди, дорогой... Мне сейчас хорошо... Не обращай на меня, бога ради, внимания...



Надежда АЖГИХИНА

Противостояние

Что может народ? Какова его роль в истории? В чем состоит главный закон его жизни, тайный двигатель, загадка его души? Кто, наконец, ответствен за те драмы и горести, которыми полнилась народная судьба? Кто поведет в будущее? Эти вопросы, издавна волновавшие отечественную литературу, зазвучали сегодня с новой силой и настоятельностью. И в поисках ответов мысль современника все чаще обращается в наше прошлое в надежде установить коренные закономерности движения истории, ее скрытые пружины, трагические противоречия.

К событиям коллективизации возвращается нас повесть Федора Абрамова «Поездка в прошлое» («Новый мир», 1989, № 5). Это произведение, долго ожидавшее возможности увидеть свет (закончено в 1974 году, а первый вариант создан еще в 1963-м), удивительно органично вписалось в современную литературную ситуацию, вступая в переключку с такими публикациями, как «Все течет» В. Гроссмана («Октябрь», 1989, № 6) и «Год великого перелома» В. Белова («Новый мир», 1989, № 3), — произведениями, тяготеющими к построению самостоятельной концепции исторического развития. Созданные в разное время, эти произведения почти одновременно появились на журнальных страницах, обнаружив многочисленные точки соприкосновения и отталкивания в позиции авторов, подчас яростно полемизируя друг с другом, обнажая в полемике самые большие вопросы, волнующие сегодня общественную мысль.

В творческой эволюции и мироощущении Абрамова «Поездка в прошлое» занимает особое место. Пожалуй, это самая «нехудожественная» его повесть — мы не найдем здесь такого богатства красок и оттенков в создании характеров, такой поэзии в пейзаже, буйства народной речевой стихии — «северной говори», как, скажем, в «Деревянных конях» или «Пелагее». Пейзаж здесь скуп, язык строг, портреты нарисованы по-абрамовски точно и емко, но лаконично, по закону скорее графики, чем живописи. Писателю важна не полифония звука и цвета, но суть, идея. Ни в одном другом произведении, пожалуй, герои не отмечены у Абрамова таким масштабом обобщения

— в них сильно не индивидуальное, но родовое, тяготеющее к символическому началу. Не раз и не два во время чтения вспоминается публицистика писателя, в первую очередь очерк «Вокруг да около» (завершенный, кстати, в ту самую пору, когда начиналась работа над «Поездкой в прошлое»).

В то же время это произведение, быть может, более всех других у Абрамова пронизано коренными, традиционными темами и мотивами отечественной литературы; здесь схлестнулись многие мучительные вопросы, волновавшие в разные эпохи писателей: взаимоотношение народа и государства, состояние и движущие силы народного организма, диалектика путей поиска справедливости и переустройства жизни, роль личности в истории.

«Поездка в прошлое» прочно укоренена в советской литературе, продолжает и развивает наиболее продуктивные открытия предшественников. Первая литературная ассоциация, возникающая при чтении, связана с именем Шолохова. Это закономерно: Абрамов начинал как критик, автор статей о творце «Тихого Дона», совместно с В. Гурой выпустил книгу «М. А. Шолохов. Семинарий» в помощь студентам; диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, которую он защитил в 1951 году, была посвящена «Поднятой целине». Критика справедливо отмечала влияние шолоховских традиций на ранние произведения самого Абрамова — надо сказать, это влияние ощущается и в поздних работах. Создатель образа Григория Мелехова на протяжении всей жизни оставался для писателя величайшим авторитетом. «Тихий Дон», говорил он, — «великая книга XX века. Может быть, это самое крупное явление в мировой литературе». Однако отношение к «Поднятой целине» с годами менялось. «...Неровная книга», — охарактеризовал ее Абрамов в 1978 году на встрече с ленинградскими журналистами, — «есть главы, граничащие почти с провалом» («Журналист», 1989, № 3). Связано это было прежде всего с тем, что прозаик в 60-е годы сам серьезно занялся исследованием проблем коллективизации, которая со временем представляла ему все

более сложным и противоречивым явлением.

В основе «Поездки в прошлое», как это практически всегда бывает у Абрамова, лежат события вполне конкретные. Действительно, на Пинежье существовал поселок, построенный спецпереселенцами из южной России. Действительно, был случай: деревенский конюх после поездки с незнакомым человеком на место бывшего поселения тяжело запил. Но это только внешняя канва. Известно, что материалы, связанные с эпохой «великого перелома», писатель собирал многие годы — не только на родном Севере, но и в Сибири, в Центральной России, встречался с очевидцами, изучал архивные документы, выписки из которых полнял его дневники. Весь собранный материал и стал основой для масштабного обобщения, создания собственной концепции не только коллективизации, но и всей послеоктябрьской истории. Показательно, что позиция Абрамова, взявшегося за исследование темы, достаточно хорошо знакомой советскому читателю, как бы заново, перекликается с мыслью А. Твардовского (кстати, в «Новом мире» Твардовского Абрамов дебютировал в 1954 году статьей «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», вызвавшей широкий резонанс). «В каком бы виде и что бы ни писать о сегодняшней колхозной деревне, — заносит А. Твардовский в рабочую тетрадь, — нужно начинать с самого начала, взяв как бы под сомнение все дело в целом и дав полную волю печальным наблюдениям... Только так» («Знамя, 1989, № 7).

Повесть Абрамова являет нам те самые печальные наблюдения, наблюдения пристрастного сердца, полные горечи и сострадания. Это определяет главную тональность «Поездки в прошлое» и полемический настрой по отношению к многим произведениям, в которых революция в деревне представляла победным шествием, сопровождаемым одним воодушевлением и звуками фанфар. Можно заметить в подтексте повести и полемику с некоторыми образами «Поднятой целины» — так, фигура Александра Кобылина, не ведающего сожаления и угрызений совести, как бы показывает оборотную сторону романтической увлеченности Нагульнова; страх и всеобщее оцепенение жителей Сосновки периода сплошной коллективизации слишком разнятся с тем подъемом, который ощущается в жителях Гремячего Лога, и даже язык, столь щедрый у Абрамова на меткое народное слово, шутку, как будто скован воспоминанием о пережитом. Писатель углубляет и дополняет картину, нарисованную в «Поднятой целине», указывает на иные, неизвестные еще большинству читателей в те годы аспекты коллективизации.

Редакция «Нового мира» сопроводила текст повести публикацией рабочих записей и вариантов глав, сделанных в разные годы (здесь нельзя не сказать об

огромной работе публикатора и комментатора, которую ведет в последние годы вдова писателя Л. В. Крутикова-Абрамова). В них прослеживается движение писательской мысли, звучит настоящий спор с односторонней трактовкой переворота в деревне, которая бытовала в 60-е и 70-е годы. Нельзя не заметить, что в пылу полемики голос Абрамова подчас звучит предельно резко. «Были ли кулаки в советское время? — пишет он, захваченный спором с «лакировщиками». — Не было! Как они могли быть? Что же, какие-то мироеды грабили, пили кровь из бедняков, батраков, а Советская власть со стороны смотрела на все это?.. Вся разница в том, что так называемый кулак обрабатывал свой надел, все выжимал из него, а бедняк цветки, то есть сорняки, выращивал... Вот тебе и вся политграмота о кулаках». Подчас просчеты периода коллективизации представлялись писателю и причиной дальнейшего бедственного положения села: «Раскулачивали наиболее расторопных, хозяйственно инициативных мужиков. Желанный, идеальный гражданин — лодырь, бездельник. И вот хозяйственных мужиков — под корень, а люмпен-пролетариев поставили руководить сельским хозяйством. Вышел конфуз. Страна осталась без хлеба. Миллионы людей погибли с голоду... В коллективизацию разрушили сельское хозяйство. А теперь продолжается этот бардак. Ибо за 40 лет из мужика выбили всякую инициативу, всякую активность. Земля стала ничейной, безразличной мужику, а сам крестьянин стал работягой. И сегодня подряд все батраки... Вот конечный результат работы...»

Главная тема «Поездки в прошлое» — прозрение героя, пробуждение в нем личности, осознание своей связи с историей страны, соучастия в ней. Микша, сосинский конюх, после поездки со случайным попутчиком в Курзико, на место бывшего поселения раскулаченных, начинает заново осмысливать историю своей семьи, в которой преломилась история всей страны, всего народа. В 1930 году Микше было двенадцать лет, но он уже считал себя строителем новой жизни, продолжателем дела своих дядьев — Александра и Мефодия Кобылиных, активистов коллективизации. Вся последующая жизнь Микши проходила под сенью памяти о героических деяниях дядьев. Отца ся вспоминал мало: тихий, жалеющий раскулаченных, молящийся по ночам за «вражеских» ребятишек, Иван Верзубов уважения у сына не вызывал никакого. В 1937 году, когда отца арестовали, Микша публично отрекся от него, взял фамилию матери — дядьевскую.

Два начала — отцовское и дядьевское — противостоят в сознании Микши, противостоят, по мысли писателя, в душе народа. Первое — разрушительное и жестокое, не ведающее сострадания и уважения к человеку. Образы дядьев Ку-

белиных в повести обретают символическое звучание: нигде больше у Абрамова мы не встретим героев, как бы аккумулярующих в себе человеческое зло, дикость необузданной человеческой природы. (Примечательно, что в набросках к характерам братьев Кобылиных Абрамов вспоминает многочисленные рассказы и личные наблюдения, связанные с проявлением необузданного, стихийного начала в человеке.) Вера Александра и Мефодия в революцию держится не на понимании исторической закономерности, а на инстинкте. Кровавый террор для такой веры становится элементарным способом выхода накопившихся, не осознающих себя сил.

Показателен разговор Микши со старухой Федосеевой о причинах большого террора.

« — Ты слыхала про то, что в Ленина белые стреляли? — спрашивает «политически подкованный» Микша. — В Москве, на одном заводе? Ну, дак за Ленина, за вождя революции тогда мстили. Красный террор. Чтобы впредь не повадно белякам было. Понимаешь? »

— Да ведь в Ленина в Москве стреляли, с Москвы и спрашивайте. А наши-то мужики чем виноваты? За тысячу верст от Москвы живем. — Тут Федосеевна по старой привычке перешла на шепот. — Да мы, Никифор Иванович, в те поры и про Ленина-то не слыхивали. Это потом все — Ленин да Ленин, а тогда чего мы знали... »

Почти одновременно с «Поездкой в прошлое» «Новый мир» опубликовал еще одно произведение, обращенное к истокам «перегибов» разного рода в нашей истории, «Год великого перелома» Василия Белова, новую работу писателя, продолжающую многолетний труд, начатый в романе-хронике «Кануны». Позиция В. Белова и Ф. Абрамова имеет точки соприкосновения. Так, и один, и другой авторы совпадают в оценке событий 30-х годов в деревне, как всенародной беды, отголоски которой по сию пору сказываются в народном бытии, совпадают в своем сочувствии хозяйственным крестьянам, ставшим жертвами раскулачивания, испытывают схожую симпатию к тем деревенским жителям, которые не спешат сломя голову броситься в неизвестные новшества, предпочитая все сначала обдумать. И в то же время в трактовке причин происшедшего писатели резко расходятся, вступая — несмотря на разделяющие эти произведения годы — в принципиальный спор. В. Белов склонен возложить вину за «раскрестьянивание» России на руководителей страны — «троцкистов», Кагановича, Яковлева и пошедшего у них на поводу ради сохранения личной власти Сталина (за планами «троцкистов» доктор Преображенский, герой, отмеченный авторской симпатией, усматривает очевидные интересы мирового империализма, которому на руку уничтожение русского крестьянства). Источник зла, таким

образом, обретает поистине планетарный масштаб. Федор Абрамов не заводит разговора о «верхнем эшелоне» власти — его интересует, как и в других произведениях, будь то «Пути-перепутья», «Дом» или «Деревянные кони», власть местная, соприкасающаяся с народом, и народ, соприкасающийся с властью. Далее: у Белова исполнители воли «троцкистов» — будь то Игнашка Сопронов, заезжие комиссары или недочеловек Арсений Шилловский, путь окончательного падения которого воссоздан автором с необычайной художественной силой (кстати, все эти герои далеки от подлинно народной жизни), — пешки, винтики, лишенные инициативы в запущенной машине зла. Абрамов, напротив, показывает, как зло творилось руками и энтузиазмом самих же крестьян: братья Кобылины ничьей воли не исполняли, они действовали по внутреннему убеждению, соответствуя своей природной сути, которой потворствовала ситуация. («Что было за время, — записал Абрамов. — Друг друга душили. Детей. Убивали людей. Своих, русских. Кого? Лучших хозяев») Сплошная коллективизация, по Абрамову, предстает не как насильственный акт истребления инициативного начала в народе чьей-то волей, но прежде всего как самоистребление народа. И в этом столкновении позиций Абрамова и Белова обнажается суть старых, вновь обострившихся в наши дни споров о народной судьбе.

«Народ — жертва зла, — заметил Абрамов в дневнике. — Но он же — и опора зла, а значит, творец или по крайней мере питательная почва зла». Эти слова принадлежат писателю, поведшему миру о подвиге и величии русской крестьянки, создателю образов Лизы и Михаила Пряслиных, на которых земля держится, человеку, главной думой, главной болью которого был народ. Но служение народу и любовь к нему у Абрамова были сродни тому, что Толстой называл «любовью деятельной», — крестьянский сын, интеллигент в первом поколении, корнями, душой связанный с родной почвой, — одним из первых в нашей литературе заговорил о том, что подлинная любовь требовательна, что истинное служение заключается в пробуждении и активизации всего лучшего, что есть в народе, а не в молитвенном отношении к нему. Потому и написал знаменитое открытое письмо землякам «Чем живем-кормимся», призывая не только веркольцев, но и всех сограждан пробудиться от апатии и равнодушия, оглядеться окрест, ужаснуться, начать нелегкий путь совершенствования жизни.

Споры о письме землякам не так давно вновь возникли в критических выступлениях. Почти одновременно вспоминали о призыве Абрамова И. Золотуский в «Литературном обозрении» и Н. Иванова в «Огоньке», указав на актуальность его в наши дни. В ответ критик В. Иванов со страниц «Литературной учебы» бросил упрек не только кол-

легам, но и самому писателю, сочтя резкие слова о народной пассивности заблуждением, случайностью, не характерной для Абрамова. Больше всего возмутила В. Иванова дневниковая запись, опубликованная вдовой писателя в своих воспоминаниях: «Кадение народу, непрерывное славословие в его адрес есть величайшее зло. Оно разлагает народ, усыпляет его. Культ, какую бы форму он ни принял, всегда опасен для народа!» Не углубляясь в ход бескрайней дискуссии о ритуальности современного мироощущения, многочисленных не изжитых еще культах, и в том числе — социальных групп, классов и народа в целом, дадим слово для комментария самому писателю. «...Для меня эта работа исключительно важна, — писал он о «Чем живем-нормимся» главному редактору альманаха «Шаги» Ю. Оклянскому. — Знаю, она вызвала неудовольствие у братьев-славян. Да ведь мы с ними поразному смотрим на народ. Они — на коленях перед ним, каждую мерзость готовы оправдать, а я — со счетом к народу. Я считаю, что в наших мерзостях немалая заслуга и нашего великого народа» («Вопросы литературы», 1988, № 41).

«Поездка в прошлое» как бы продолжает этот давний спор, убеждая в том, что реальность полнее и страшнее любой абстрактной идеи, как бы благородна и красива она ни была, — даже идеи богородности народной почвы, — ибо на огромной территории и многократно от имени и во имя народа люди из народа (не пришельцы и не завоеватели!) уничтожали своих же соседей и их семьи.

Эта проблема, волнующая нас сегодня как никогда, тревожила писателя давно. Еще в 1955 году, готовясь к выступлению на партийной конференции Ленинградского университета, Абрамов занес в дневник: «Как это могло случиться? Как могло случиться, что многие работники МГБ, выходцы из народа, из рабочих и крестьян, дети того же замученного большевика, который завоевал им власть, стали слепым орудием?...»¹ Тот же вопрос — о соучастии в истории, в творимой несправедливости — многократно звучит в прозе — в «Путих-перепутьях», «Доме», миниатюрах из цикла «Были-небыли»...

Один из ответов на этот вопрос — в посмертно опубликованном, хотя и давно написанном рассказе «Старухи» («Наш современник», 1987, № 3). Суть проста: литератор приезжает на родину, заходит к соседке, у которой под портретом Сталина («Послабление ноне вышло», — поясняет хозяйка, передавая слова заезжего райкомовца) собрались деревенские старухи вспомнить былое. Рассказы героинь по-абрамовски лаконичны и емки, повествуют о жизни поистине нечеловеческой, полной утрат, и мук, и непосиль-

ного труда. «Встаньте, люди! — возвышает голос автор. — Русская крестьянка идет! С восьмидесятилетним рабочим сажем». За прожитую жизнь, за беспримерный труд положили старухам по двенадцать рублей пенсии. Автор здесь же, в избе, начинает составлять письмо в Верховный Совет с просьбой перераспределить колхозный бюджет, увеличить — без государственной помощи, самим, — пенсии хотя бы одиноким, «ибо нельзя человеку прожить на двенадцать рублей». Финал ошеломляет: поплакав, старухи одна за другой бочком выходят из избы, не желая подписывать документ.

«Я остался в избе один. Вернее, вдвоем с Ним.

Давно, давно не верю во всякую чертовщину, но, честное слово, в эту минуту мне показалось, что Он своим прищуренным глазом внимательно смотрит на меня. Смотрит и самодовольно улыбается: «Надо знать своих земляков, товарищ писатель».

Ну что я мог возразить на это?»

В этом небольшом рассказе (датирован 1969 годом) Абрамов одним из первых в советской литературе заговорил о трагической черте русского народа, подмеченной в свое время чрезвычайно авторитетным для писателя мыслителем — П. Я. Чаадаевым. О многовековой привычке к несвободе и долготерпению, которое незаметно превращается в рабское чувство, будь то ожидание «барина», боязнь заступиться за невиновного или страх потребовать к себе элементарного человеческого отношения. «Многое в истории каждого народа определяется особенностями национального характера, — говорил он в одном из поздних интервью, — в нем таятся как взлеты, так и провалы истории». И продолжал: «В русском характере — об этом не раз говорилось и на то были свои исторические причины — нередко уживаются самые полярные тенденции, — скажем, стремление к государственности и тяга к своеволию, нередко граничащему с анархией...» Мысль об «антиномичности», противоречивости народного характера, о разноставности народного организма, многообразии национальных типов пронизывает все творчество Абрамова. Показательно, что и в прозе, и в публицистике писателя национальный характер предстает не как некая эстетическая и философская категория, но как конкретная, исторически обусловленная реальность. Национальное для Федора Абрамова было частью народного, и характер национальный предстает народным характером — меняющимся во времени, сотканным из противоречий.

Самая ненавистная для Абрамова черта — воспитанная рабским чувством гражданская пассивность, душевная глухота, заползающий в душу страх. В основе, считал писатель, лежит та самая «способность к страданию, долготерпению», которая «имеет и свои отрицатель-

¹ Из архива писателя, любезно предоставленного Л. В. Крутиковой-Абрамовой.

ные, даже пагубные стороны». Именно это рабское чувство, оцепенение страха и заставляло молчать, терпеть беззаконие; этот страх крепостного не давал сунуть корку хлеба в дрожашую руку раскулаченного старика, не давал открыть дверь плачущим ребятишкам. Рабство потворствовало преступлению, превращая его в массовое... «Вся страна участвовала в преступлении, — пишет Абрамов. — Да, вся... в том числе и он (Микша. — Н. А.) — и старухи (не пускали ночевать). Взрослые — ну куда ни шло. А дети?» И дальше: «Преступление, к которому были причастны большие массы людей, о пустош и ло души, сделало их несчастными». Добавим — не только души соучастников, но и их потомков.

Это к концу повести отчетливо понимает Микша. Понимает, что вся жизнь его была исковеркана непосильным грузом наследия, доставшегося от прошлого. Что пьянство его — жалкая попытка спрятаться от мук совести, от понимания правды о себе самом и о дядях. И что недостает сил в одиночку противостоять этому наследству. «...Это образ современной русской нации, — записал Абрамов в дневнике отзыв первого читателя повести художника Е. Мальцева. — Мы все так или иначе расплачиваемся за кровь, столь обильно пролившую на нашей земле. И это одна из причин нашей повальной пьянки». Коротенькая рецензия содержит глубокую мысль: Микша действительно всю жизнь расплачивается за зло, творимое в прошлом.

Мотив вины — наследственной, родовой, роковой — один из старейших в отечественной словесности. Рефлексия по поводу собственной — не столько личной, сколько именно родовой вины, понимание ее, жажда искупления подняли русскую литературу до вершин художественных открытий и нравственных абсолютов, которые по сию пору служат нам ориентиром. Вина писателя, интеллигента перед народом давно стала знаком русской литературы, и на то имелись свои исторические причины. Советская литература с самого рождения избавлена была от этого чувства — не стало пропасти между классами, изменилась общественная ситуация, да и в писатели выходили уже из иных социальных слоев. Но вот что интересно — спустя десятилетия в произведениях советских писателей возникает неожиданный на первый взгляд мотив. Герои Ю. Трифонова мучаются под тяжестью груза ошибок, совершенных родителями — красными командирами и революционерами. Мотив чужой неправоты, чужой судьбы, которая довлеет над собственной, не дает расправить крылья, звучит в творчестве В. Маканина, и вслед за тем — в произведениях более молодых прозаиков, и, вероятно, будет звучать еще долго. Показательно, что рефлексия по поводу вины предшествующих поколений харак-

теризовала по преимуществу героев «городской» прозы, что давало повод критикам вновь упрекнуть и город, и интеллигенцию в отсутствии позитивного духовного начала, противопоставляя им по привычке «натурального» крестьянского сына (не замечая при этом, что современный крестьянский сын в почву не верит и традиции утратил в раннем детстве). Микша из «Поездки в прошлое» не только современник, но и родной брат «городским» героям — как самый что ни на есть «амбивалентный» из них, он только после сорока начинает всерьез задумываться о жизни, и потрясен прозрением, и ужасается понятию.

С возвращения Микши из Курзии в родное село начинается покаяние героя. Он мечется по деревням, пытается собрать хоть какие-то крохи памяти об отце, от которого отказался в 37-м, он впервые идет к отцу на кладбище, он вспоминает все, все...

Повесть Федора Абрамова — это покаяние. Покаяние за весь народ, за зло, творимое всем народом. Ибо на каждом из нас есть доля общей вины, и надо начинать искупать эту вину. И самое верное — начать с осознания ошибок и заблуждений.

О покаянии сегодня немало говорят и спорят — такое пришло время. И нельзя не согласиться с прозвучавшими в критике голосами — интимное это дело, нельзя требовать от писателей поголовного публичного покаяния. Действительно, требовать нельзя — так же, как странно требовать от писателя или любого другого человека быть совестливым, гуманным, отважным — дело сугубо личное. Но ждать от нашей литературы, наследующей великие классические традиции, сегодня покаяния — вполне естественно. Ждать не частных, отдельных слов о личной неправоте (они звучат, и это закономерно) — но общего покаяния литературы за весь народ, от имени народа. Так думал Федор Абрамов, и в этом смыкался с Василием Гроссманом, грустно заметившим на страницах повести «Все течет», что нет неповинных в этом мире и не может быть, что соучастник истории — каждый. «...Нет среди живых невиновных... Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и суде», — пишет В. Гроссман. Мысль о личной причастности к творящемуся в стране злу и несправедливости приходит и к героям повести. Мучительно переживает увиденное в период коллективизации и голода на Украине в 30-х годах Анна Сергеевна Михалева — это один из самых светлых образов повести, и характерно, что в ее глазах собственная вина не становится меньше оттого, что все вокруг были «околдованные», что само время лишало многих истинного зрения. «Какое-то незнакомое, впервые в жизни пришедшее, томящее чувство» испытывает после смерти Сталина и Николай Андреевич, преуспевающий физик, — «странное

и особое чувство вины за свою душевную слабость, за свои выступления на митинге, за свою подпись под коллективным письмом...», и к чувству этому примешивается горячая обида на жизнь за то, что, оказываясь, не общий энтузиазм, не государственный интерес водил его души все эти годы — сама душа была слишком повинна.

«Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость», — сказано у В. Гроссмана. И мысль эта, столь созвучная сегодняшним спорам, многое в них самих проясняя, перекликается с важной идеей еще одного произведения из «писательского архива» — рассказа В. Тендрякова «Охота» («Знамя», 1988, № 9). Рассказ, действие которого разворачивается в нескольких общественных срезах — в голодной послевоенной деревне, в студенческой среде, в литературных кругах Москвы, где началась кампания по борьбе с «безродными космополитами», — показывает неразрывное, нерасчленимое единство всех областей жизни страны, говорит об очень разной и в то же время общей для всех современников ответственности за происходившее. Своя степень вины у Фадеева, сидящего в президиуме «проработочного» собрания, своя — у Юлия Марковича Искина, который сам подвергся гонению, — и он виноват, своя — у Раисы, написавшей гнусный донос на притивших ее людей, своя — у безответной домработницы Клавдии, матери Раисы. Не ее ли безропотность создала почву для безнаказанной подлости Раисы? Не ее ли темнота и безынициативность потворствовали разгулу несправедливости по всей стране? В. Тендряков дает на это однозначный ответ, и рассказ, написанный в 1971 году, — страстная попытка очищения, искупления вольной или невольной вины народной.

Создавая «Поездку в прошлое», Ф. Абрамов видел перед собой и задачу, несколько отличную. Он стремился не только увидеть реальные события коллективизации во всей полноте. Он искал в народном организме реальную альтернативу рабскому чувству, те силы, которые противостояли ему в истории и смогли бы противостоять сегодня. Пожалуй, он один из немногих писателей увидел в свое время такие силы.

В опубликованном посмертно рассказе «За земляков» («Огонек», 1989, № 9) обращает на себя внимание фигура Алексея Максимовича, бывшего красного партизана, назначенного в 30-е начальником тюрьмы. Убедившись в невинности оклеветанного односельчанина пинежанина, он на свой страх и риск отпускает его (как отпустил, как оказалось, и раньше десятки земляков, ставших жертвами оговора). Расплата неизбежна: понимая это, Алексей Максимович застрелился в ожидании собственного ареста. Здесь обрел предельную остроту конфликт, достаточно характерный для абрамовской прозы, — конфликт двух начал в народе,

начала рабского, потворствующего доносительству и прощанию, и начала сопротивленческого, основанного на чувстве личной ответственности. Рабское чувство имеет альтернативу в мире Абрамова — это стремление к свободе, к истине, нарушающее зачастую общепринятые установки и привычки. То, что писатель любил называть «еретичеством».

Понятие «еретичества» для писателя на протяжении многих лет было синонимом прогресса. Именно этим качеством привлекала его фигура Аввакума, личность Льва Толстого, эту черту он ценил во многих земляках. «Еретиком», по мысли Абрамова, должен быть и каждый значительный писатель. И своему первому и любимому редактору А. Твардовскому Абрамов дает характеристику редкой глубины: утверждая, что путь духовной эволюции Твардовского — это путь внутреннего раскрепощения нескольких поколений русских людей, завершает свою мысль о противоречивой личности поэта: «ему не доставало еретичества, чтобы стать гением». Непременное условие противостояния, по Абрамову, — осознание ценности человеческой личности, ее ответственности, право на самостоятельный выбор (здесь снова звучит переключка с Гроссманом). Давняя и стойкая традиция отечественной эстетической мысли определяла личный выбор, личное достоинство как основу западного, европейского индивидуализма, противопоставляя ему хоровое, родовое, общинное русское начало. Отголоски этой традиции звучат и во многих прекрасных произведениях современной «деревенской прозы» — выбор за любимых авторами героев и героинь совершают веками определившийся уклад, род, своим устройством как будто гарантирующий правоту и нравственность. Позиция Абрамова с первых же произведений была принципиально иной — вероятно, в ней сказались и привычка во всем «дойти до самой сути», и простой крестьянский здравый смысл — печальные наблюдения за бытием народной жизни привели писателя к убеждению, что сам род не есть абсолют, неподвижность, что в нем борются противоречивые начала, и не всегда в этой борьбе правда за большинством; что традиции рушатся, и только личная ответственность и воля каждого спасают и личность, и весь народ. Надо сказать, идеи эти оказались продуктивными для нашей литературы о деревне — в этом же направлении идет поиск и Б. Можаяева, и А. Ананьева, и Б. Екимова (предвозвестником его можно считать Е. Дороша, автора «Деревенского дневника», оказавшего на развитие прозы влияние не меньшее, чем на публицистику).

Любимых героев Федора Абрамова отличают редкая самостоятельность и независимость — будь то Лиза и Михаил Пряслины, Игорь Злосчастьев из рассказа «Сосновые дети» или староверка Соломида из рассказа «Из колена Аввакумова». Таким героем является и отец

Микши, Иван Верзубов в повести «Поездка в прошлое». Его образ восходит к героям — «деятелям» русской литературы конца прошлого и начала нынешнего века, близок он, скажем, чеховским или булгаковским провинциальным интеллигентам, убежденным в том, что главное — честно делать свое дело на своем месте. И здесь нельзя не сказать о том пристальном внимании, с которым Абрамов относился к толстовской теории «малых дел». «В деле перестройки и усовершенствования жизни, — не раз утверждал писатель, — одними социальными реформами не обойтись», нужен одновременно «второй способ» — «путь нравственного самоусовершенствования и самовоспитания», конкретные добрые дела. В годы, когда застойные тенденции в нашем обществе набирали силу, Абрамов укреплялся в этой уверенности и считал главной задачей современного интеллигента просвещение народа, воспитание его на конкретных примерах добра.

«Поездка в прошлое» рассказывает о том, что именно Иван Верзубов, ставший жертвой террора не без помощи своих родственников братьев Кобылиных, и близкий к нему духовно сельский учитель, также много лет проведенный в лагерях и вернувшийся в село, где его оклеветали собственные ученики, — именно эти люди являются в итоге авторитетами и примерами в глазах людей. О них бережно хранят память, о них рассказывают детям. Они становятся волей истории альтернативой злу и покорности в душах каждого жителя Сосновки. К этому приходит и Микша. Понимая в конце повести отчетливо, что само время расставило акценты, что спустя десятилетия ложный, замешанный на крови кобылинский порыв стал злой «былью-небылью», а побежденный кобылиными, не поддержанный большинством, кажущийся слабым Иван Верзубов и оказался героем эпохи, подлинным народным героем.

В споре «двух путей» — отца и дядьев — возникает тема русской революции, ее движущих сил и сути. Тема — одна из наиболее дискуссионных в последнее время, вызывающая противоречивые суждения критиков и писателей. Так, критик В. Васильев, оценивая творчество

Абрамова, писал о противоположении в его книгах революционеров и сеятелей, отлучал героя романа «Дом» Калину Дунаева, красного партизана, от авторского идеала как не ведающего «власти земли» («Наш современник», 1987, №№ 3—4). Однако все творчество писателя опровергает такое утверждение: идеалы русской революции на протяжении всего пути были для Абрамова святы, герои революции становились примером, подчас недосыгаемым, для потомков. Об этом рассказы «Могила на крутояре», «СОЭ», тема эта звучит в тетралогии. Но принимать революцию и понимать ее подлинно народный характер для писателя вовсе не означало согласие со всеми последующими «перегибами» и неправыми методами борьбы за новое. Вступая в литературу, он записал в дневник: «...Я хочу, чтобы у нас меньше было ошибок и произвола. Я хочу, чтобы русский мужик жил лучше. Я хочу большой советской литературы». В этих словах — кредо писателя, которому он впоследствии не изменял, кредо неистового борца за справедливость. Как и в том, что в решении вечного вопроса о путях и средствах он выступал противником насилия, следуя и здесь гуманистической традиции русской литературы.

«Да, отец тоже был связан с революционерами, — заносит Абрамов в рабочую тетрадь об Иване Верзубове, — только не с теми. Он за мирный путь перестройки жизни». Эта мысль о двух путях изменения облика страны и сегодня звучит актуально и настоятельно, обращая нас не только в глубины истории, но и в ближайшее будущее. Прислушаемся же к Федору Абрамову, к сказанным им в далекие от теперешней демократизации и плюрализма времена словам...

«Одно из главных назначений писателя, — считал Абрамов, — поддерживать в духовной форме свой народ». Он к этому стремился на протяжении всего творческого пути. И был, быть может, одним из самых глубоких реалистов, пишущих о деревне, — потому что писал обо всей стране, обо всем народе, неделимом на группы и меньшинства, призывая его к пробуждению, к совести, к покаянию и движению вперед. Потому что народ должен идти вперед только сам.

«Не исцелиться ранам прежних дней»

ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
ПОЭЗИИ КАЙСЫНА КУЛИЕВА

Суровый урок Отечественной войны, участником которой был Кулиев, трагедия его народа, разделившего по жестокой воле Сталина судьбу некоторых других народов, объявленных «нациями предателей», много значит в становлении художественного сознания поэта.

Время больших надежд, связанных с XX съездом КПСС, краткая пора реформ и демократизации общества, первая попытка возвращения к ленинским нормам жизни, затем — тихий «дворцовый» переворот, победа бюрократической касты, торжество «застойной» эпохи... Грозовые разряды эпохи и духота, безвоздушность атмосферы, в которой не уму и таланту, а лжи и двоедушию были открыты пути; смятение личности, как бы прописанной в двух абсолютно несовместимых сферах — области высоких помыслов о братстве людей, добре ненасильственного мира и жестоких истин разочарования; понимание разрыва между идеалом и действительностью — вот в каких резко выраженных координатах духовной жизни стически развивалась мужественная поэзия Кулиева.

Немного не дожил он до нашего поворотного времени. Но в том-то и особенность художественного творчества, что его сила всегда жизненна, постоянно устремлена к тем идеалам человека, которые «работают» на счастье, борются со злом. Во все эпохи, во все времена.

Война... Дни отступления. Хмурая тень печали, глаза тоскующих матерей, провожающих солдат.

Ранение за ранением. Раны были и в душе. В дневниковых записях (нарушая уставы, он записывал в маленьком блокноте свои впечатления) — искренние, человеческие нотки боли то и дело прорываются среди привычных общих фраз той поры.

Парашиотист Кулиев под Москвой читает Лермонтова бойцам и поражается тому, как они слушают — серьезно и с пониманием своей исторической роли. Большое, судьбоносное значение событий — главное в записях первых лет войны.

В боях под Орлом, под Ростовом, на Украине, в Крыму он продолжает фиксировать свои наблюдения: они становятся все серьезнее, все меньше в них расхожих газетных штампов, все чаще задумывается поэт над ценой войны, войн вообще.

После серьезного ранения Кулиева переводят из строевых частей в газету. Он печатает статьи, очерки, стихи. Стихи, правда, «риторические, пока «не свои». Однако трагическое мужество той поры отразилось и в некоторых из них.

...Мартовским утром 1944 года поэт получил от незнакомого горца письмо-предупреждение. В нем говорилось о трагедии балкарского народа.

Но письмо опоздало. Он уже знал все. Вот как об этом впоследствии написал фронтовик Магомед Огурлиевич Башиев, тоже балкарец. Весной 1944 года о выселении балкарцев рассказал ему начальник особого отдела полка дагестанец Пашаев.

«Во всей 51-й армии, куда входила и наша дивизия, — писал Башиев, — я знал только одного человека, с кем мог бы разделить свое горе. Это был Кайсын Кулиев, старший лейтенант, сотрудник армейской газеты... В это время и приехал Кайсын, заруливает на «виллисе» и сразу ко мне. Радостный такой, сияет... отошли подальше в поле и сели на травке. У меня с собой была фляга со спиртом, я налил ему, себе. Выпили, и я ему все рассказал. А он перебивает меня все время и говорит одно и то же: «Не может быть, Магомед! Не может быть, Магомед!»... Долго мы с ним так сидели... Больше я офицера Кулиева не встречал, а Кулиева-спецпереселенца видел много раз в столице Киргизии Фрунзе».

Для того, чтобы понять масштабы национального бедствия балкарцев, а вместе с этим как следствие масштаб трагической поэзии Кулиева, надо знать, что же на практике означал термин «спецпереселение».

Речь идет о геноциде, имевшем в ряде случаев необратимые последствия. В 1943—1944 годах в Казахстан и Кир-

гизию было депортировано около семисот тысяч спецпереселенцев. Здесь оказались балкарцы, карачаевцы, ингуши, чеченцы, калмыки, черноморские греки, немцы и др. В 1948 году был подписан документ, гласящий, что «народы-изменники» высланы навечно и возвращению в свои края не подлежат. До этого у высланных, в том числе у Кулиева, оставалась какая-то надежда на изменение судьбы. Теперь меры пресечения уже сточились. Отцов, матерей, их детей и внуков нередко разлучали навек, случалось и так, что они ехали в разных эшелонах. За самовольную перемену местожительства грозила кара: двадцать лет каторжных работ. Ссылные должны были ежемесячно отмечаться в комендатуре. Шло и духовное растение народа — каждый десятый обязан был нести ответственность за свое «десятидворье», проще говоря, являлся надзирателем и потенциальным доносчиком. Дети часто так и оставались неграмотными — либо по причине плохого знания чужого для них языка, либо просто потому, что были крайне бедны, не имели одежды и обуви, чтобы ходить в школу. Умирали от непривычных климатических условий жизни — в Казахстане морозы достигали сорока градусов, в Киргизии летом стояла сорокаградусная жара. Только в 1956 году балкарцам разрешили вернуться на землю предков. Очевидцы рассказывают: плакали от счастья, палили в ночное небо из ружей...

Но вернувшись, многие не находили места — в предгорьях жили другие люди, в горах пустовали разграбленные и разрушенные сабли. Перепись 1969 года дает цифру — 34 тысячи балкарцев. До войны статистика не имела данных о точном числе населения, но известно одно — не было ни единой семьи, которая не понесла бы значительный урон. Еще страшнее было другое — нарушенным оказался генофонд. Известно, что сегодня особенно часто умирают дети и даже внуки тех, кто был сослан.

Как же сложилась судьба Кулиева в сороковые годы?

Для этого надо вернуться в годы военные. Черная весть о горе народа потрясла его, но поэт пытался заглушить боль и доказать свою преданность Родине мужеством на фронте. С тяжелым чувством шел Кулиев в очередную атаку. Он был снова ранен, награжден орденом, который вручил ему в госпитале командующий 51-й армией. Его приняли в партию. Но, как и многие фронтовики-балкарцы, поэт чувствовал, что в душе теперь поселилось трагическое противоречие — на долгие, долгие годы останется оно подосновой творчества Кулиева. Быть может, именно эта неслиянность реального опыта, идеала с реальностью жизни и заставила художника все чаще с годами обращаться к опыту веков, к вечным темам.

Но все это созрело исподволь, само творчество было потом, — Кулиев в это

время ничего не писал, — а сейчас его везли в санитарном поезде на Кавказ. Скупко пишет поэт о том, как поезд остановился в Пятигорске, как он увидел Эльбрус. Большинство раненых балкарцев, выписываясь из кисловодского госпиталя, направлялось прямо в ссылку. Благодаря хлопотам Н. Тихонова Кулиев мог остаться в России. Этому могло способствовать такое веское основание, как факт его родословной, — в роду его была кабардинская кровь, и Кулиеву предложили выписать паспорт, где в графе «национальность» стояло бы «кабардинец». Но поэты не меняют судьбу. Кулиев уехал в ссылку добровольно. Единственное, что он принял от Тихонова, это помощь в воссоединении семьи (часть ее проживала в Казахстане, теперь же все собралось под Фрунзе).

В ссылке Кулиев находился двенадцать лет. Помню удививший меня снимок в «Литературной газете»: группа делегатов II съезда писателей. И подпись — «делегат от Киргизии, поэт К. Кулиев». Удивило это потому, что на снимке он беседует с осетинскими поэтами, соседями по Кавказу. Кого же, подумалось, представляет «делегат» — киргизов или все-таки не названную, но подразумеваемую литературу балкарцев?.. Однако в то время ответа было ждать бессмысленно. Многое не соответствовало себе: написанное — действительному, слово — делу...

«Я старался не говорить жалких слов, унижающих достоинство человека», — заметит позже Кулиев. Он гордился тем, что никогда не предал веры в жизнь, был стоек перед лицом бед. В воспоминаниях о друге Миколе Бажане Кулиев писал: «Без мужества невозможно ни созидать, ни бороться против всего злобного, ни делать добро. Чем труднее людям жить... чем больше приходится живущим сталкиваться с жестокостью, тем больше они нуждаются в энергии и твердости. И поэзия, обязанная служить людям, стать им опорой, тем более должна быть мужественной, внушительной борющимся с тяготами стойкость, стараться быть им поддержкой».

В ссылке он много читал. Именно в эти годы значительно расширился круг его интересов, он впитывал идеи и образы мировой литературы. Трагический героизм Романа Роллана, нервная страстность Стефана Цвейга, глубина печали Бунина казались особенно близкими. Великие русские поэты, а также Словацкий, Мицкевич, Шевченко, Петефи. Лорка, Пшавела были постоянными собеседниками его духа. Он слушает Бетховена, Грига, Шопена и... видит снежные горы своей родины: «Музыка и живопись играли... в моей жизни не меньшую роль, чем поэзия. У меня были великие друзья — лучшие художники человечества. Они вели меня за руку в трудные дни моей жизни».

С благодарностью вспоминал Кулиев Бориса Пастернака: «Я постоянно чув-

ствовал на плече его руку. Его голос доходил до меня в моей среднеазиатской дали, он был опорой и поддержкой». Благородные традиции русской интеллигенции, подчеркивал поэт, вливали силы в душу, помогали жить и верить в жизнь.

В начале июня 1956 года Кулиев вернулся на родину.

«Я снова встретился с вечной мощью хребтов Кавказа... На второй день мы поехали в Чегемское ущелье. Молчали скалы. Молчал и я. Без слов мы понимали друг друга».

В поэзии Кулиева — внутренне цельной, эстетически устойчивой к нормам, выработанным горским стихом, при постоянстве нравственно-мировоззренческих критериев — почти не ощущаешь так называемых «этапов».

Только очень суммарно можно указать на два больших временных отрезка, в значительной степени контрастных. И то лишь по одному признаку — общей тональности лирики.

В 30-е годы в поэзии Кулиева перед нами предстает мир, полный доверия и радости.

Затем наступает большой, главный массив стихов и лет. Это поэзия в основном драматического видения мира.

Стихи 1945—1965 годов — словно подъем в гору: постепенное постижение сложных духовных коллизий. Так пианист пробует клавиши: звук еще робок и приблизителен. Традиция горского стиха с его пантеизмом и этическими максимами, патристическое самоутверждение, первые тревожные сигналы трагической подосновы бытия.

Лирика 1966—1974 годов — перевал, с которого далеко и ясно виден горизонт творческого мира поэта. Ощущением выстраданности и спокойного величия веет от этих стихов. В полный голос звучит тема судьбы человеческой. Спокойная мудрость вершит высший суд над страстями. Связь времен воплощается в образах гармоничных и классически цельных. С перевала виден и пройденный путь, его тернии, его далекий источник — детство, прекрасная страна сказочного неведения и распахнутого надеждам сердца. «Лунноргие быки» воспоминаний. «Свет матери». Все, что оставлено позади...

С перевала начинается спуск. «Вечерняя звезда» светит холодным светом. Стихи 1975—1984 годов — подведение итогов. Человек готовится достойно проститься с миром — прекрасным, суровым, полным искушений красотой. Стихи о последней любви, вспыхнувшей на закате жизни. Лебединая песня поэта.

Горе и радость надо принимать одинаково — стиснув зубы. «Стихи, написанные в день рождения» — исповедь ссыльного поэта, благодарного второй родине, земле киргизов, незатухающая боль человека, верного земле отцов.

И нас на свете жизнь не только греет
И шлет нам молнии своих невзгод.

Но мы не проклинаем, а мудреем.
Приемля все, что жизнь нам ни пошлет.

В шестидесятих годах определяется эта стоическая философская линия творчества Кулиева, переход к вечным темам, как бы отрешение от конкретных обстоятельств исторических событий и обращение к душе человеческой, через собирательный образ — живописный или афористический.

В младописьменных литературах (а к ним относится и балкарская) до наших дней сохранилась живая связь образа с устойчивыми признаками изустной легенды, сказки, эпоса.

Нетронутое дерево скорбит,
Хоть люди рубят дерево другое,—

это и взаимосвязь в тесном мире XX столетия, но это и древнейший отголосок пантеизма именно балкарского происхождения. Предки балкарцев, гунны, приносили животных в жертву дереву. Об этом писал грузинский историк Вахушти в XVIII веке. Священные рощи существовали еще в мои детские годы, в начале 20-х годов, в Теберде, где я жил одно время. Слова «орешник» и «родить» однокоренные в языке балкарцев. Кизил — символ женской любви, платан — силы, могущества, орешник — плодородия, семейного благополучия. Может быть, думаю я, в каменистом краю именно дерево означало жизнь, обновляемую и продолжающуюся по весне? Рубить дерево — все равно, что наносить рану человеку, звук топора ассоциируется с покушением на саму жизнь.

Постоянный мотив образной гармонии в поэзии К. Кулиева — тема камня. В японской поэзии есть хокку о князе-гордеце, которого согнала с коня красота цветущей сакуры. В балкарском фольклоре есть сходный мотив в легенде о князе, который, наоборот, не слез с коня у священного камня. Герой древнего эпоса о нартах Сосрук родился из камня. Горцев хоронили среди скал. Старики по обычаю сидят у той стены, которая примыкает к скале, это наиболее почетное место в сакле. В европейской поэзии камень — символ бесчувствия, черствости сердца. На Кавказе камень имеет душу. У горца плачущий камень — образ постоянный. И поэтому «Раненый камень» Кулиева не воспринимается на родине поэта как неожиданный, «смелый» образ.

Пантеистические начала в его поэзии — это и родство всего творящего, созидательного в природе. Он говорит о себе, что работал терпеливо, как мул, весело, как ласточка. И, между прочим, работа эта помогла ему постигнуть, отчего весела птица, сосредоточен мул. Отчаяние преодолевается самой природой:

Случаются такие времена,
Когда в мой дом влетает ветер черный,
Когда мне кажется, что грош цена
Всему, на что потрачен труд упорный.

...Но вдруг услышу голос в тишине,
Какой-то свет блеснет издалика мне,
И слово пробивается во мне,
Как веточка зеленая на камне.

И вновь мне кажется, что я постиг
Язык дугов и речек всех на свете,
И черный ветер улетает вмиг,
И в дом ко мне влетает белый ветер.

В ссылке поэт пытается убедить себя: в Киргизии — почти такие же горы. Но, кроме гор, всюду неодинаковых, есть еще нечто, что нельзя заменить и забыть — земля отцов.

Тема начинается с попытки определить «свое», очертить круг достоинств своего народа. В стихотворениях «Люди моей земли», «Предки мои», «Горные вершины», «Какого ни прошел бы я ученья...», во многих иных поэт с гордостью говорит о кодексе чести и достоинства, о верности слову, о мужестве, скромности, благородстве, трудолюбии горца. И надо всем этим царит сознание природности, естественности поведения простого человека:

У земли я учился, у неба,
Я все годы лелеял мечту —
Позаимствовать щедрость у хлеба.
У весны перенять доброту.

На собственной беде, на удачах других учился поэт упорству реки, точащей русло, у камня — терпению, у гор — молчанию, еще и еще раз определяя этический кодекс человека. Нет, Кулиев не ослеплен, не идеализирует свой народ. Он слышит два голоса, спорящих о добре и зле. Он знает, что в наследии веков было всякое. Побеждает вера в добро. Если Прометей держит скала, то она отвечает за насиле, к ней прикован он по воле богов, не так ли?

Волею «богов» земных его народ был разлучен с землей предков. Многие стихи 1944—1956 годов были утеряны или уничтожены самим поэтом.

Спасибо, что за все мои грехи
Меня ты не лишила дара слова,
Что ветром разнесенные стихи
Ты помогла собрать и вспомнить снова.

Так глухо отзовется потом таинственная история утраты многих стихов сороковых — пятидесятих годов. К. Кулиев говорил мне, что их было много и они были «кажется, удачнее многих сохранившихся», но их «пришлось потерять». В каком смысле? Забыть? Навсегда? На время?..

Но ни следов народной трагедии, ни боли художника не стерло время. Не только во времена «благополучные», задолго до «гласности», в самые трудные времена поэт — то совсем глухо, то яснее — свидетельствовал: ранен камень надолго, глубока эта незаживающая рана.

...Белеют нового аула зданья.
Что ж у развалин плачешь ты, поэт?
— Не возвратиться мертвым из изгнанья,
Не исцелиться ранам прежних лет!

Упал я на колени пред камнями
И горько плачу о недавнем зле.

Нет, не бывать жестокости над нами!
Пусть ей жилья не будет на земле!

В стихотворении «Мой хлеб и вода» читаем: «Сознание, что буря не сумела народ мой уничтожить навсегда, сознание, что песня уцелела, — вот хлеб мой и вода». Лишь во сне мать встречает его «в доме отчем в тот день, когда окончилась война». В «Ласточке» говорится о «мудрости необъяснимой» птиц, устремляющихся к родному гнездовью. Поэму «Золотая свирель» поэт посвятил Кязиму Мечтаеву: «...Остыл в этом доме очаг, а раньше здесь всякое было. Бывали здесь горе и враг, бесчестье сюда не входило». Бесчестье! Вот еще что такое ссылка для горца. «Я мог и за решетчатым окном, где моего никто б не слышал зова, окончить жизнь и в мерзлый глинозем лечь, не увидев края дорогого», — говорит Кулиев в стихотворении «Я должен быть благодарен судьбе».

Но «благодарность судьбе» оборачивалась и нестерпимой памятью о тех, кого судьба не пощадила. И тогда подобие вины терзало Кулиева. Он честен, как всегда. «...Был я только молчалив в те дни, когда другие были немые». Многозначительное признание! Нем он не был никогда. Но тяжело давалась ему «молчаливость»:

Прости меня, судьба, я жив и рад
Тому, что не пропал в огне и стуже.
Хоть знаю, сколько не пришло назад
Людей из тех, кто был меня не хуже.

Я вижу полдень, полночь и зарю,
Я жизни рад, хоть сам порой не знаю:
Я за себя судьбу благодарю
Или за тех — погибших, проклинаю?

Для Кулиева нет противоречия между патриотизмом и всечеловечностью. Напротив, одно вытекает из другого. Просто его герой, человек труда, не понимает все громких слов: «Тревожит рассуждающих не вечность, не старый спор: что истина, что прах. И в речи их нет слова «человечность», а просто человечность в их словах». А из этой программы прямо вытекает: «Таких на свете нету островов, где горе человека не тревожит. Огонь, который лижет чай-то кров, и твоего коснуться крова может». Герой Кулиева видит истину поверх барьеров национального эгоизма: «Потеряв дом, хочу, чтобы он был у всех свой на большой земле».

В январе 1983 года Владимир Тендряков писал в письме к поэту: «...Верю! Через тебя радости и горе балкарцев станут всепланетно общими, ибо утверждение национального не в славословии своей нации — мол, мы чем-то чище других, — а в щедрой отдаче — берите наше, пользуйтесь, люди! Я, едва познакомившись, с твоими стихами, поразился твоей великой духовной щедрости...» Сам поэт говорил так: «Всякую национальную замкнутость и ограниченность считаю неприемлемым для себя и вообще для художника нашего времени. Я уверен в том, что все ценное в культуре человечества должно быть достоянием всех народов».

Всечеловечность рождается из глубины

сознания. Она дитя народной морали. Философия опыта.

В поэзии К. Кулиев верен той традиции гуманизма, символом которой давно стала мысль Достоевского о цене слезинки ребенка. Если вообще счастье достигается такой ценой, то это и не счастье вовсе. Мы знаем сегодня на собственном опыте, как маскировалась разница между гуманизмом и казарменным социализмом. Позиция Кулиева — в традициях гуманизма.

«Растет ребенок плача» — есть пословица. Но если плач ребенка слышу вдруг, Так больно сердцу моему станвится, Как будто горы в трауре встанут.

Я помню, как детей беда военная
Гнала в крови, среди выжженных путей.
Мне кажется, рыдает вся вселенная,
Когда я слышу плачущих детей.

Война и ссылка явились тем горнилом, в котором должен был переплавиться характер, окончательно определиться мировосприятие поэта. Так оно и случилось. В то же время яснее и тверже проступили самобытные черты личности.

В письме К. Кулиеву от 25 июля 1948 года Б. Пастернак писал: «Поразительно то, что прирожденный талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в Ваше сердце... Дарование учить чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования».

Демократизм, несуетность и глубина постижения времени как момента вечности — эти основы бытия, определившие суть творчества Кулиева уже в начале пути, оказались решающими и именно в последующие, 60-е и 80-е годы.

В поэтическом мире Кулиева этика сурова и неподкупна. Когда-то, помнится, меня смущали образные формулы типа: «на свете надо мало человеку», «не надо мне других щедрот», «каких еще желать мне благ?» Смущало демонстративное выделение терпения как добродетели. Потом постепенно пришло понимание особого типа отношения к жизни, который исповедовал при жизни поэт. «...И страх сидел во мне, но долг велел: терпите!» Терпенье — не от страха, а вопреки ему, **Как сопротивление.** «Терпи, как пуля сжатая в стволе...» И уже совсем точно: «Терпенье — вот, мой друг, оружие героя, коль выбито из рук оружие другое».

Горская выдержка была и тут к месту: «Большая боль не вопиет, печаль всегда немногословна», «Кто слушает, мудрее говорящих». Но стойкость перед лицом бед не замыкает цепь отношения к жизни. Жизнь превьшее всего. И самоценность ее тоже причина стойкости и терпения. Может быть, лучшее в поэзии Кулиева — это несокрушимость идеала. Это возвышенное, почти романтическое преклонение перед всем живым. Часто, трагическая в своей основе, поэзия его борется. Пусть скромно, негромко, сознательно избегая пафоса, но герой Кулиева упрямо

борется за жизнь. Человек должен преодолеть себя, выстоять.

Самое преступное — ожесточиться против судьбы. Отказаться от радости. Да, радости жить, даже страдая. В письме к Кулиеву армянский критик Левон Мкртчян писал: «Помню, как в Ереване тебя поразила пословица: «Бог ищет вершины, чтобы покрыть (посеребрить) их снегом». Вершины твоей поэзии освещены солнцем твоей могучей природы, твоего великого доброго сердца и посеребрены снегом, холодом страданий, боли. Что поделаешь, дорогой Кайсын. Бог ищет вершины...» Сам Кулиев писал о Пастернаке: «Я не мог не чувствовать такие строки: «И не слышал колосс, как седеет Кавказ за печалью».

Страдание само по себе — не достоинство. Достоинством оно становится, когда оно искупительно, когда становится уделом большой личности. Страдание тогда благо, когда оно — сострадание.

«Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми в любом положении, даже в горе», — пронизательно определил одну из главных черт дарования Кулиева Борис Пастернак. Эти слова почти текстуально совпадают со строкой из поэмы Кулиева о Казиме: «Но видел я радости лик, и горькие песни слагая». Это говорит в поэме герой, но так впрямую сказать Кулиев и о себе. В статье о Блоке он писал: «...Конечной целью искусства является радость... Все крупные художники, даже самые трагические, стремились не к отрицанию жизни, а к ее утверждению».

В его кодексе чести была терпимость, которой так не хватает в мире. Он писал: «Друзья мои, родня — ткачи и хлеборобы, учили вы меня на мир глядеть без злости, тем не желать невзгод, не посылая проклятий, кто мыслит и живет вразрез с моим понятием».

Одним из любимых его присловий было такое: зло только зло рождает. А добро в его понимании всегда щедро и безгранично. Ведь «какой бы сила ни была, есть сила и над ней», а добро не враждует ни с кем, одаряя всех и оставаясь несметным богатством каждого.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

Многое говорит теперь нам дата под стихотворением — 1945 год: радость Победы, горе, рожденное несправедным произволом.

Драматически контрастное видение жизни многое проясняет в поэзии Кулиева 60—80-х годов. Жизнь и смерть как крайние проявления бытия в борьбе разных начал входят в стихи.

Любопытно сопоставить два замечательных образца советской поэзии — «Есть три эпохи у воспоминаний» Ахматовой и «Воспоминания — это дерева...» Кулиева. Если Ахматова констатирует трезвую горечь забвения как психологи-

ческое свойство человека, Кулиев, верный постоянной своей готовности к мужественному противостоянию энтропии, как бы заставляет себя преодолевать и саму натуру человеческую:

Осталась в том лесу моя родня,
Осталась мать, и говорю я с нею.
Все, что с годами дальше от меня,
Мне с каждым годом видится яснее.

И все же в том лесу с теченьем дней
Стволов все меньше и все больше пней.

Редют деревья в лесу моем.
Но чаще я туда бегу, чем прежде.
Воспоминания под стать надежде,
Мы с вами дня без них не проживем.

Это свойство поэтической «дальнорзости» балкарского поэта сродни героической его позиции — преодолеть забвение, сохранить память рода. Быть может, в этом сказалось чувство самосохранения малой нации, чутко реагирующей на угрозу ее существованию.

Когда-то Твардовский написал стихотворение «Новая земля», в котором выразил убеждение в крепости человеческой привязанности к привычным формам жизни; для того, чтобы новое стало органичным, потребуется, возможно, не одно поколение. Увы, как был прав А. Твардовский! Многие поспешные «восприятия жизни» были навязаны нам актами волюнтаризма. Законы жизни — вот что оставалось в стороне. «Крестьянская» осторожность Твардовского — это здоровый общенародный подход к историческому процессу, разумный, с неторопливым вглядыванием в сомнительные эксперименты. Кулиев близок тут Твардовскому. Его герой говорит: «Бытует мудрость только в простоте, а простота — лишь мудрость и работа». Ведь и мудрость, идущая от опыта, и работа, поставленная уроки опыту, — одного корня. Это личный взгляд на происходящее в мире вокруг тебя.

Истинно народные поэты, какими были и остаются для нас Твардовский и Кулиев, учат достоинству личности, без навязываемого посредничества оценивающих жизнь и ее законы развития.

Не любитель ввязываться в полемику по чисто профессиональным поводам, Кулиев считал себя не вправе молчать, когда задевались его выстраданные убеждения, касающиеся жизненного поведения, морали и ответственности человека перед обществом, другими людьми. Как правило, такая полемика содержится в первую очередь в его стихах, значительно реже — в статьях и выступлениях. В стихах же он убедителен той «собой убежденностью художника, которая дает ему преимущество перед оппонентами, идущими в своих рассуждениях от умственных построений, связанных больше не с самой действительностью, а со стереотипами и догмами. В литературно-общественной ситуации 50—70-х годов Кулиев остро воспринимал и переживал тенденции, нараставшие в годы застоя: неправду в любых проявлениях, разоружение культуры, спекулятивность в политике, возрожде-

ние нравов, чуждых принципам чести и достоинства личности, достоинство каждой, будь она большой или малой нации.

В частности, его мучительно задевали идеи разрыва времен, которые он ощущал почти интуитивно в ряде писаний современников. Он искренне не понимал, как прошлое в его заведомой патриархальности может быть судьяй настоящего, в котором все уже дышит по-новому. И с другой стороны, как могут некоторые литераторы не понимать того, что и само это новое растет из старого, а значит, жизнь неостановимо произрастает от общих корней. Он не разделял утопических иллюзий тех современников, кто видел в скомпрометированности ряда социальных институтов повод для замены идеала революционного изменения действительности неким абстрактным понятием духовности, оторванной от жизненных целей человека. Смысл духовности Кулиева заключался в ином. Социальное и философское в его поэзии связано надежной связью — демократизмом его позиции. Мир, война, жизнь, смерть не абстракции. Скромный очаг в сакле, вкус хлеба и воды, труд в поле, верность дружбе, руки матери в глине и тесте, опустевшие аулы, плач ребенка, голод и холод, могилы односельчан далеко от родины — все это историческая суть стиха Кулиева, который не уставал повторять, что поэт тоже «пахарь», что нет ни профессий, ни званий, которые поднимали бы одно лицо над другим в их совместном праве на счастье и достоинство:

Издrevле рушились оплоты,
Казавшиеся тверже скал,
Когда, чтоб зваться первым, кто-то
Других последними считал.

Серьезность проблематики в стихах Кулиева сродни творческим открытиям современной прозы. Миф и атомная эра встретились сегодня в трагическом своем родстве. История далеко не всегда нуждается в мифе. Сегодня, в конце второго тысячелетия, миф возрожден прежде всего как предупреждение о роке Смерти. Сложное наложение этого дьявольского рока XX столетия на представления, идущие от нартского культа героя, дало у Кулиева самобытный образ — тотального мужества человечества перед лицом атомного апокалипсиса. Беспрецедентное упорство и терпение, опять-таки из признаков характера поэта и его горской природы, на фоне этой идеи всеобщности спасения рода землян, не может не быть воспринято как сила, выходящая за рамки легенд и сказок, уповающих на победу добра над злом: Кулиев стремится победить в планетарном масштабе безбрежную ложь, горе, боль человечества, зависть и кровь. Вот почему, по-видимому, негромкая поэзия простых слов и привычных образов — гор, облаков, матери, хлеба и земли — обладает для читателя скрытой энергией никогда не успокаивающейся тревоги и огромного резонанса поэтического звука. Не об этом ли достоинстве поэзии Кулиева писал Б. Пастернак,

так характеризую стихи балкарского поэта: «Это не только выношено и выражено с большой покоряющей силой, это каждый раз изображение самой этой силы, хмурая, грустящая, плененной, это каждый раз ее новый образ в той или иной форме прометеевой скованности и неволи». Пастернак имел в виду стихи, написанные в Киргизии, но я думаю, с полным правом эту оценку можно распространить на все творчество Кулиева, особенно на лирику второй половины его пути. Если, конечно, понимать мысль о «прометеевой скованности» не узко, а в богоборческом значении долга поэта перед человечеством. Вот почему фигура Кулиева несомненно является одной из самых значительных в поэзии второй половины XX века, и не только, я полагаю, в советской.

Однажды, лишь однажды автор этих строк услышал от Кулиева горькое совершенно «некулиевское» признание: «Ты удивишься, брат, но мир неизлечим...» И хотя это высказывание можно было отнести на счет подавленности сознания, временной оговорки мужественного поэта — ведь сказано это было незадолго до смерти, а поэт знал, что обречен, — все равно сказанное было услышано.

Безбрежна правда, но и ложь безбрежна,
И я молил, чтоб перестали лгать.
Так над больным ребенком безнадежно
О чуде исцеленья молит мать.

Я знал, что много в этом мире горя,
Но я молил, чтоб сгнуло оно.
Так о дожде аллаха молит горец,
Когда уже все поле сожжено.

Я знал, что в этом мире много боли,
Но я молил, чтоб ей пришел конец.
Так молит дочь, чтоб жил как можно доле
Ее отец, хоть он уж — не жилец.

Есть в мире зависть, я ей слал проклятья,
Молил, чтоб успокоилась она.
Так молит истово и ждет зачатья
Заведомо бесплодная жена.

Я знал, что кровь лилась и литься будет,
Но, чтоб не литься ей, я все равно
Молил, как люди молятся о чуде,
Которому свершиться не дано.

Как ни странно, это еще стихи 1966 года. И рядом с этим криком отчаяния мы обнаружим другие песни, полные солнца, надежды, уверенности в завтрашнем дне. Вероятно, большие поэты именно этими «противоречиями» и сильны. Ведь поэтический итог самого «безнадежного» состояния духа — протест против него в душах людей, отрицающих идеи небытия по самой сути природы человека.

Тема смерти в творчестве Кулиева находит разные выходы в поэтической диалектике мысли.

Смерть укрупняет все в жизни человека. Заставляет вернуться живых к мыслям о главном и высоком. Так, в стихотворении «Как жизнь сама, очаг передо мною»: «Огонь багровый, серая зола» — уже в одной клеточке поэтической ткани этой — краткая «биография» темы, мгновенный акцент смысла. Жизнь и смерть — рядом. От серой золы — к вос-

поминаниям об утраках близких, а поющий в ночи ветер словно зовет в «дорогу снежную», ту, последнюю... Так и отец сидел у этого очага. И финальная фраза: «О, как трудно, как долго возвращался я домой!..» — таит новый подтекст: тут и старая боль войны и репрессий, но и холодный намек — теперь уж скоро он навеки уйдет туда, откуда нет возврата к родному очагу.

«Больничная тетрадь», «Лебединая песня»¹ — последние циклы поэта — последние разрозненные стихи, написанные в больнице Ростова-на-Дону, где Кулиев оказался, будучи в командировке в 1984 году, проникнуты единым чувством борьбы, надежды, трезвой готовности ко всему, надежды увидеть снова синее небо и любимые горы.

Еще в январе 1985 года он писал стихи, писал до последнего дня...

Вершина творчества Кулиева — лирика. Здесь он достигает предельной концентрации своего таланта. Меньше ему удавались развернутые повествовательные стихи.

Что же касается поэм, а Кулиевым написано их немало, — достижения поэта скромнее. Он не обладал поэтным мышлением и часто имел поэмами либо циклы стихов, либо соединенные воедино фрагменты, связанные повествовательным сюжетом. Иногда это пересказ легенды, вариация на легендарный сюжет. Чаще — стихотворное воспоминание биографического характера с выкраплением вымышленных героев и обстоятельств.

Надо сказать, что младописьменные литературы только осваивали жанр поэмы. Он был не разработан, поэтому известная наивность построения эпических произведений Кулиева имеет и объективные предпосылки. Нельзя сказать, чтобы в советской поэзии последнего тридцатилетия вообще были заметны выдающиеся ориентиры в этом жанре, требующем в первую очередь самостоятельности философского, эпического воззрения на действительность. Эпоха здесь не шла навстречу таланту. Драматические поэмы литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса едва ли не единственный пример успешного освоения крупной поэтической формы. Но и его поэмы обращены в прошлое литовской нации. После Твардовского, который, кстати, тоже испытывал немалые трудности в переходе к лиро-эпическому сюжету в поэме «За далью — даль», мы надолго вступили в пору «беспоземья». «Реквием» А. Ахматовой, «По праву памяти» А. Твардовского не публиковались в те годы. «Середина века» В. Луговского, «Строгая любовь» Я. Смелякова, лирические поэмы А. Вознесенского и Е. Евтушенко при всей талантливости их авторов и новом содержании еще носят следы инерции общей мысли, с них, образно говоря, «не сняты леса», в них не явлена

¹ Название циклов, впрочем, не авторское.

оригинальная концепция мира и человека.

Это отступление необходимо не только и не столько для «оправдания» Кулиева, сколько для объективности в оценке исторических возможностей искусства в сложное, переломное время.

Особую группу поэм Кулиева составляют событийные повествования традиционной формы — «Горская поэма о Ленине», «Золотая свирель», «Завещание». В центре этих произведений — история. История века, проходящая через судьбы соплеменников поэта, гражданская война, социальное размежевание.

Параллельно во всех трех поэмах существуют темы становления сознания горца, приобщение его к культуре, мечта о справедливом устройстве жизни, потом война, героизм балкарцев и жестокая реальность геноцида. В «Золотой свирели» — это судьба Кязима Мечиева, его заброшенная кузница, воспоминание о том, как отковал он серп и сложил песню бедной, обделенной счастьем женщине, как лебедою зарос двор мудрого старца...

Какие дома сожжены,
Какие мечты и желанья!

Сегодня с высоты исторического знания многое в поэмах Кулиева может показаться не договоренным до конца, половинчатым. Но надо помнить, в какие годы все это было написано.

Кулиев был сыном своего времени и, как многие из нас, верил в идеалы Революции, видя в глубоких деформациях социализма только отдельные ошибки и промахи. Он трогательно и искренне писал о новой жизни, боясь разочарований, отторгая любое неверие и сомнение.

Хотя горская поэма о Ленине писалась уже после ссылки, в Чегеме, Кулиев продолжал свой спор, недоуменный спор с неведомым противником, потрясенный случившимся с целым народом, не находя еще своего решения, но продолжая верить в окончательную победу справедливости.

«Завещание», как и «Огонь» написано не сразу, но задумано и начато в ссылке. Переведенная С. Липкиным в 1989 году, поэма «Завещание» подводит своеобразный итог теме народного бедствия. В ней прослеживается судьба народа, начиная с борьбы за власть Советов, через гражданскую и Отечественную войны. Автор говорит о бедности и нужде, терпении и счастье в довоенные годы, о надежде на лучшую долю после войны, о страшной разлуке с родиной, наконец, о возвращении. Построение поэмы напоминает реквием, где постоянным лейтмотивом проходит тема горской выдержки — герой не плакал, потеряв сына, как не плакал, потеряв отца, пораженного молнией; не плакал, сорвавшийся со скалы, когда, окровавленный, едва дополз до сакли; не плакал, когда, расстрелянный, но оставшийся живым, выполз из расщелины; не плакал, когда близкие

ему люди отправлялись в далекую Сибирь, на Кольму в лагерь; не плакал он, Харун, и тогда, когда война разлучила его с двумя последними сыновьями, уходившими на фронт... Но вот пришла пора и ему, старику, сесть в товарный вагон, как врагу, отщепенцу, предателю Родины:

О, слезы гор! О, марта дождь кровавый!
В свой скорбный путь пустился эшелон.
Казалось, почернел Эльбрус двуглавый,
Детей своих услышав плач и стон.

Но вот уже и горы удалились.
Харун взглянул на них в последний раз,—
И слезы горя хлынули из глаз,—
Из этих глаз они впервые лились!

Смерть находит Харуна в чужом краю, он велит вернувшимся с фронта сыновьям похоронить его здесь, но могилою считать яму среди далеких родных скал, наполненную камнями. Он верит, что дети его когда-нибудь вернуться в горы, к родным очагам. Многие детали сюжета напоминают Мечиева, строки в его прощальных стихах, и строки Кулиева в его поэме о Кязиме «Золотая свирель». Кязим Мечиев жил в далеком ауле, его произведения были почти неизвестны за пределами родного края. Краткая встреча с ним обогатила Кулиева. Он полюбил стихи балкарского мудреца, который сочинял стихи в своей кузнице, на поле, на дороге, полюбил человека, в душе которого, если воспользоваться словами Кайсына о пастухах в рваных бешметах, светили звезды. Да и почему не сравнить Мечиева с героями его стихов? Жил он в такой же бедности, на старости разделив общую с народом судьбу — был выслан, умер там от голода... В начале века Мечиев странствовал по Востоку. В его поэзии многое от арабской поэзии, но корни — в родной каменной земле Балкарии. Он писал о нелегком труде земляков, ослике с натруженной спиной, одинокой чинаре. Писал Мечиев о жизни и смерти, о старости. Он создал поэмы о своем народе, его судьбе. Кулиев многое взял у своего учителя, навсегда сохранив в своем творчестве тот благородный тон скромности и сознания первоистока народной жизни, который отличал стихи Мечиева.

Конечно, не мог Кулиев при жизни напечатать поэму, где не через аллюзии о нартах и эмеренах, а впрямую говорилось о Кольме, о страданиях неповинных соплеменников.

Мы поняли, что всех больших тиранов
Ты долговечней, маленький народ,
И, над большой жестокостью воспрянув,
Ты, малочисленный, идешь вперед.

...Старик Харун, твоя судьба близка мне.
Пусть наши испытанья позади,
Но высечена наша боль на камне,
Ее не смочат времени дожди.

Горец Кулиев воспринимал ход времени как вечное стремление к вершинам, как постоянное восхождение к ним.

Достоин восхищения его тяготение к культуре. Помню, как откликнулся он

на мою просьбу написать статью о пользе знаний для молодого поэта. Статья была опубликована в «Юности», 1972, № 12, вызвала много откликов от благодарных читателей. Кулиев с гневом говорил о невеждах, гордящихся своей «натуральностью», тем, что они не знакомы с общечеловеческой культурой, да и знакомиться не собираются.

Жаль, что поэт не записал своих мыслей о Достоевском, книги которого были прочитаны в ссылке, а до этого в госпитале. Мне запомнились некоторые его высказывания о «многомерности» образов героев Достоевского, о том, что в «Бесах» и «Братьях Карамазовых» спорят не люди, а «наши стремления быть выше самих себя — с нашей слабостью и бессилием». Помню еще слова Кайсына о том, что он убедился после чтения Достоевского окончательно: только в контрастах и конфликтах живет образное содержание искусства.

Слово похоже на человека, как мул на хозяина, любил повторять Кайсын. А человек был мерой всех вещей в его творчестве. Вот почему его слово просто, правдиво, ясно и всегда определяет главное свойство предмета, явления, образа.

Кулиев считал, что поэзия — вторая жизнь, новый ее облик.

Он справедливо полагал, что начало поэзии — правда. «Кто может, выгоде в угоду, кричать о том, что ворон — бел, тот не поэт и не был сроду поэтом, как бы он ни пел».

Не раз и не два повторит он: поэзия исцеляет, в этом ее призвание. Живущий должен опереться на слово, как раненый о дерево. Он любил цитировать Твардовского: «И чью-то душу отпустила боль».

...Когда хоронили Твардовского, Кайсын, рыдая, положил руку на край гроба и долго не давал опустить крышку. На тыльной стороне кисти долго оставался шрам. Но душу его отпустила боль, которая была невыносимей физической...

Кулиев безошибочно находил правдивых, талантливых и порядочных людей. И был им верен. Его человеческий облик рыцарски благородной и непосредственной, увлекающейся личности прекрасно запечатлен Марией Петровых. Стихотворение написано в годы войны, в 1942 году. Оно сохранилось в архиве поэта.

Когда ты стискиваешь кулаки и зубы,
Склоняя голову — ты так хорош!
Гляжу и повторяю: люблю, люблю!
Ты еле слышных слов не разберешь.

Когда ж ты руки распахнешь и ветром
Меня охлынет с горной высоты,
Таким широким, прямодушным, щедрым,
Тогда... тогда еще прекрасней ты.

Кулиев пишет: «Я жил, как все...», а далее: «Но песню я со дна души своей, как птицу, выпускал весне навстречу». Если бы на этом и была поставлена точка, Кулиев не был бы Кулиевым. Снова в стихотворение входит тема «как все»: он так же, как все, «страшится расстаться» с жизнью. Вот она, точка. Жизнь — выше поэзии. Она — изначальная ценность, она первичнее.

Кайсын не любил разговоров о новаторстве. Он считал, что для человека каждый раз все возникает заново, и он постоянно должен решать каждый вопрос для себя заново. Вот и все. Так называемые «старые» вопросы появляются вновь и вновь, приобретая иные обличья и разный смысл. «Ново в поэзии только то, что выражает жизнь с наибольшей полнотой...» — утверждал он. Помню, однажды он сказал: «Выдающиеся поэты... не новыми не бывают». И был прав: талант — уже новость, как говорил Борис Пастернак.

Трагичность кулиевской музыки воспринималась нами как греческий хор — голоса как бы парят над землей, возвышая души, просветляя их, но и отрывая от боли и страсти живого человека, от поводов этой боли и этой страсти, разве что изредка напоминая нам, что любить все человечество все же легче, чем полюбить ближнего... Но вот история перелистала назад тяжелые страницы опыта, и мы совсем иначе увидели знакомые строки балкарского мудреца как ощущение неблагополучия мира, в котором зло имеет вполне конкретный смысл и конкретное лицо — тирания, насилие над человеком и народом... И как это ни покажется непоследовательным, а это так — именно историческая конкретизация зла — сталинизма — «расшифровала» многие поэтические идеи горского поэта, придала им насыщенное тепло и подлинную современность без внешних потуг политической лирики многих и многих его современников-стихотворцев.

Поучительный урок. Знаменательная судьба.

Стоять на своем

•
Елена Ржевская. Берлин, май 1945. М., Правда, 1988; Далекий гуд. Повесть. «Дружба народов», 1988, № 7.

•
Последние месяцы своей армейской службы Елена Ржевская провела в расположенном к западу от Берлина городе Стендале (он отмечен не только на географических, но и на картах литературы: автор «Красного и черного» выбрал его название для своего писательского псевдонима, под которым он куда более известен широкой публике, чем под доставшейся ему при рождении фамилии Бейль). Здесь, в этом уютном немецком городе, который пощадили бомбежки и разрушения, Ржевская в соответствии со своей армейской специальностью военного переводчика разбирала бумаги из «Фюрербункера» — последнего подземного убежища заправил третьего рейха. Война осталась позади, ее фронтовые товарищи, как и она, ждали демобилизации, и один из них на прощанье сказал ей: «Нас было на всех этапах этой гитлеровской эпопеи трое. Из нас троих только вы можете об этом написать».

Елена Ржевская и сама, надо думать, без подсказок и напоминаний понимала, что обязана поведать людям о том, чему была деятельной свидетельницей. Коли судьбе угодно было приобщить ее к уникальным историческим событиям, коли она не сомневалась, что ее удел писательство, сам бог велел ей поделиться тем, что попало в поле ее зрения.

Но между осознанием этого долга и его исполнением прошли годы. Ржевская и ее литературные сверстники ушли на фронт со студенческих скамей. По горло сытые войной, они по возвращении в институтские аудитории куда в большей мере были устремлены в будущее, нежели чувствовали потребность оборачиваться на недавнее прошлое. Но и потом, когда испытанное на войне, пользуясь словом поэта, «очнулось» в них, им не легко было найти дорогу к читателю.

Зажатая в тиски бесчисленных ограничений, литература второй половины сороковых и начала пятидесятых годов почти не оставляла надежд на то, что честное и правдивое свидетельство о войне может пробиться в свет. Спору нет, ободряющим примером для тех, кто готовился запечатлеть свой фронтовой опыт, могла

послужить прекрасная книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Но одна эта ласточка не делала весны. Тем паче что повесть Некрасова пребывала в двусмысленном положении. С одной стороны, Сталинская премия, которой она вопреки угрожающим наскокам чудом была удостоена, давала ей охранную грамоту и превращала в нечто вроде образца для подражания. С другой стороны, следование этому образцу расценивалось едва ли не как покушение на устои и пресекалось самым решительным образом. Малейшие попытки выйти за границы спущенных сверху установок, которые год от года становились все более и более жесткими и непререкаемыми, либо душились на корню, либо подвергались сокрушительному разгрому тотчас же после публикации. Чего уж там говорить о первых пробах пера литературных новобранцев, если даже «Родина и Чужбина» Твардовского, «Дым отечества» Симонова, «За правое дело» Гроссмана не избежали этой участи.

Лишь после 1956 года, когда начали подтаивать ледники сталинской эпохи и стала сокращаться зона бесчисленных запретов, новый импульс получила литература о войне. Тогда-то громко заявила о себе «проза лейтенантов». Появление книг нового поколения писателей мало походило на победное шествие триумфаторов. Куда больше общего имело оно с изнурительными наступательными боями.

Нынче многие из нас, сильнее всего удрученные падением, до какого докатилась наша общественная жизнь в брежневские годы, склонны вспоминать предшествующее им десятилетие преимущественно в восторженном тоне. Нет никаких сомнений в том, что в целом это был период движения вперед. Зима отступила. Но ведь и тогда порою дули ледяные ветры. Время было не однородным, а двуслойным. О нем можно было бы сказать строкой Пастернака: «Светало, но не рассветло». В нем проступало немало обнадеживающих примет занимающейся зари, но оно же хранило черты эпохи, из недр которой вышло. Те, кто как рыба в воде чувствовали себя в минувшую пору, не собирались складывать оружие и готовились к контрастному наступлению, которое в середине шестидесятых годов увенчалось если и не полным, то все же достаточно ощутимым успехом. В литературе эта противоречивость проявлялась довольно явственно. Печатное слово высвобождалось из оков, и вместе с тем ставились преграды на пути его вольного развития. Возвращались из насильственного забвения имена и

книги и трубились сборы, на которых устраивались публичные выволочные писатели, отваживавшимся высказывать мнения, не совпадавшие с ходячими трафаретами. Во главе «Нового мира» встал Твардовский, но одновременно развернулась травля Пастернака. Был арестован роман Гроссмана, а вслед за этим опубликован «Один день Ивана Денисовича». Эта двойственность давала себя знать в литературе, так или иначе связанной с войной. Каждое усилие высветить то, что погружено было в тень, не находило поддержки или встречалось в штыки.

В «Далеком гуле» Ржевская приводит заявку, какую она в 1960 году подала на имя Главного редактора Воениздата. В ней она писала:

«Близится пятнадцатилетие штурма Берлина. Эта дата, видимо, будет отмечена появлением новых книг, посвященных последним дням войны. В связи с этим прошу рассмотреть эту заявку.

При овладении рейхсканцелярией я в составе разведгруппы участвовала в выполнении задания, связанного с захватом главнейших фашизма и важнейших документов...

29 апреля меньше пятисот метров отделяло наших бойцов от рейхсканцелярии, но каждый метр продвижения вперед завоевывался в упорном сражении, оплачивался смертями. Штурм имперской канцелярии был последним штурмом в Берлине. Вслед за рейхстагом наши войска овладели этим главным правительственным зданием, в подвале которого вплоть до самоубийства 30 апреля находился Гитлер со своим штабом.

Мне хочется рассказать об исторических днях в Берлине, о наших солдатах и офицерах, беззаветно отдававших жизнь на пороге победы. О людях, которых я знала на протяжении войны. Об освобождении военнопленных и невольников всех наций. Уличные сценки, атмосфера тех дней и затем Победа, первый день мира на земле — обо всем этом я хотела бы рассказать, пока крепка память, свежо чувство, живы участники событий и не истлели фронтовые записи.

Ведь впоследствии никакая беллетристика не возместит того, что должно быть написано очевидцами событий».

Кому, как не военному издательству, следовало обеими руками ухватиться за эту заявку, вступить с автором в договорные отношения, побуждая его как можно скорее осуществить плодотворный замысел? Как бы не так! Ни военное, ни гражданские издательства не проявили никакого интереса к выпуску подобной книги.

Странно, не правда ли? Может, дело было в том, что прошло пятнадцать лет со дня Победы, за время которых вышло немало книг о войне — художественных, документальных, мемуарных, написанных поэтами, прозаиками, журналистами, историками, профессиональными военными, и Ржевская явилась к шалочному

разбору? Может, задуманная ею книга уже мало что способна была прибавить к тому, что успели сказать другие?..

Осенью 1965 года Ржевской неожиданно-негаданно позвонил маршал Жуков и попросил ее встретиться с ним. Работая над своими мемуарами, Георгий Константинович знакомился со свидетельствами участников войны. Прочел он и ротаторный экземпляр рукописи Ржевской «Берлин, май 1945», готовившейся АПН для издания за границей — в нашей стране она еще не была опубликована. Оказалось, что Жуков, командующий 1-м Белорусским фронтом, тем самым, в состав которого входила разведгруппа, о которой рассказывала Ржевская, не имел ни малейшего представления о бесценных данных, добытых этой группой. Ни тогда, когда эти данные были получены, ни позже. В тот короткий осенний день, когда они встретились, маршал сказал автору рукописи: «Я не знал, что Гитлер был обнаружен». Даже для Жукова рассказанное Ржевской явилось откровением. Что же говорить о других читателях, знавших о войне неизмеримо меньше, чем один из самых выдающихся ее полководцев?

Вскоре после двадцатилетнего юбилея Победы книга Ржевской «Берлин, май 1945» вышла не только за рубежом, но и в нашей стране. И несмотря на то, что печать, хоть и отозвавшаяся о ней добрым словом, уделила ей весьма скромное внимание, книга не осталась незамеченной читателем. Мне представилась возможность воочию в этом убедиться. Летом минувшего года я на одной из московских улиц увидел гурьбу, окружившую газетный киоск. Заняв на всякий случай очередь, я полюбопытствовал, за чем это толпится народ. Выяснилось, что привезли несколько пачек книги Ржевской, в которую помимо записок, давших ей название, вошли две повести о войне и мемуарный очерк о встрече с маршалом Жуковым. В считанные минуты все экземпляры были распроданы. Желавших обзавестись этой книгой оказалось намного больше, чем сумевших это сделать. Сколько я потом ни спрашивал книгу в других столичных киосках, везде слышался один и тот же ответ: разошлась.

Отчасти успех книги — и прежде всего записок о мае 1945-го в Берлине — был вызван материалом, что лежит в ее основе. История того, как звено за звеном была восстановлена цепь событий, предшествовавших и сопутствовавших падению последнего оплота нацизма и самоубийству Гитлера, как искали, не могли найти, а потом обнаружили отравившегося фюрера, как с исключительной какой бы то ни было сомнениями точно было установлено, что это труп именно Гитлера, а не одного из его двойников, о которых тогда ходило множество правдоподобных слухов, по самой природе своей была исполнена сюжетного напряжения, представ-

ляя собой готовый детектив. И все же не материал сам по себе, а художественное его постижение сделали записки явлением литературы.

Когда Ржевская встретила Жукова, разговор их в первые минуты принял резкий оборот. У маршала не помещалось в голове, как Сталин, получивший исчерпывающие данные решительно обо всех обстоятельствах, связанных с концом фюрера, мог с иезуитским коварством допытываться у него: где же Гитлер? Жуков сознавал, что Сталин поставил его в унижительное положение. Выступая после Победы на пресс-конференции, он недвусмысленно заявил, что ничего о Гитлере не известно, и журналисты поспешили разнести его слова по всему миру. Он говорил искренне, имея все основания полагать, что кому-кому, а ему, командовавшему армиями, взявшими Берлин, доступна правда во всем объеме, без каких бы то ни было изъятий. Но на поверку выходило, что он чуть ли не преднамеренно вводил людей в заблуждение. Для Жукова, ощущавшего себя человеком чести и слова, содержащиеся в рукописи Ржевской факты о Гитлере явились подлинным шоком. Мало того что в послевоенные годы его то и дело отправляли в опалу, отстранили от какого бы то ни было участия в государственной и общественной жизни, возводили на него напраслину, приписывая намерения, каких у него и в мыслях не было, так и на то, чем по праву он гордился, на звездные часы его биографии ложилась тень. Трудно ему было снести этот удар, и в нем зыграло ретивое. Удостоверившись, что у автора рукописи нет документов и фотографий (а откуда они в атмосфере полнейшей секретности могли взяться?), которые могли бы подтвердить излагаемые факты, маршал с угрожающей жесткостью сказал: «Ведь от того, как я напишу, зависит судьба вашей книги... Если я напишу, что мне об этом неизвестно, вам не поверят». Коса нашла на камень. Беседа, едва завязавшись, грозила тут же оборваться. Но, спохватившись, что он погорячился, что автор книги не должен расплачиваться за то, в чем он ни сном ни духом не повинен, Жуков оттаял и смягчил тон. В конце концов все образовалось. В своих мемуарах, предназначенных для зарубежного издания, он, вспоминая заключительный эпизод войны, отослал читателя к книге Ржевской как к надежному источнику, на который всецело можно положиться.

В разговоре с писательницей Жуков, признавшись, что он ведал не ведал о том, что она рассказала, произнес знаменательные слова: «Но вот я прочитал об этом у вас и поверил. Хоть ссылок на архивы нет, как принято делать. Но я верю вам и вашей писательской совети».

До известной степени предубежденный читатель, каким невольно оказался

Жуков, и тот поверил! Вопреки своим интересам. Вопреки внутреннему сопротивлению.

Доверие к написанному составляет не только пробный, но и краеугольный камень литературы. В том числе и, может быть, прежде всего литературы мемуарной. Примечательно при этом вот что. В одном случае — цитаты, ссылки, сноски, парад документов, заверения и клятвы в приверженности фактам, а читателя не оставляет сомнение в подлинности того, что ему сообщается. В другом — минимальный аппарат, нет и намека на фамильярное братание с апробированными авторитетами, на читателя не оказывается ни малейшего силового давления, а пробуждающееся с первых страниц доверие к написанному не оставляет тебя до конца чтения.

Это доверие внушают книги Ржевской. Рассказывает ли автор о перипетиях изматывающей позиционной войны подо Ржевом, повествует ли об освобождении польских городов и о штурме Берлина, описывает ли захват рейхсканцелярии и понски нацистских главарей, вспоминает ли встречу с маршалом Жуковым и сложный разговор с ним, всем существом чувствуешь, что писательница нигде не поддавалась искушению сочинительства.

Виталий Семиг, работая над романом о нацистском арбайтслатере, куда подростком он был угнан из Ростова в Германию, признавался в письме другу: «Пишу, понимаешь, с тем чувством (или почти с тем), с которым, наверное, и надо писать... На этот раз предмет изображения значительно важнее меня». Подобным же чувством пронизана проза Ржевской. Эта проза автобиографична. Автор выступает в ней в качестве рассказчика и действующего лица. Но писательница нигде не делает попользований выдвигнутых на передний план и сконцентрированных внимания на себе. Даже в тех случаях, когда ее роль в описываемых событиях неоспоримо велика, она старается остаться в тени и говорит о себе приглушенно. Вот почему я поостерегся бы эту прозу, тяготеющую к объективному мировосприятию, называть «исповедальной».

Письмо Ржевской чуждается живописной размашистости и риторической выпренности. Оно графично, протокольно, порой даже суховадно. Несмотря на то (а может быть, благодаря тому?) что лежащий в его основе жизненный материал исполнен героики и драматизма. Мне кажется, что этими свойствами проза Елены Ржевской сродни поэзии Бориса Слуцкого. И дело не только в том, что тут и там дает себя знать закон контраста или, как говаривали, начало антитезы. Буднично пригашенная интонация Слуцкого и Ржевской связаны с их неодолимой внутренней потребностью предельно честно и точно выразить суть и плоть вещей («предмет изображения»),

избегая какого бы то ни было соприкосновения с монументальной туфтой, которая, беря напрокат исторической пафос, из кожи вон лезет, чтобы предстать в величавом облике некоего генерального постижения событий, очищенного-де от эмпирической шелухи индивидуального опыта. Тщательно воспроизводя ход событий в их последовательном течении, приоткрывая нам факты, о которых мы имели лишь смутные представления, Ржевская не регистрирует, а осмысляет то, что открывается ее взору, стремясь выявить подоплеку и закономерности взлетов и падений духа человеческого. И хотя она не склонна к философским и публицистическим монограммам и скупа на пространные рассуждения, ее прозу без риска ошибиться можно назвать аналитической.

Хронологические и пространственные рамки «Далекого гула» и записок о Берлине конца войны близки, чтобы не сказать тождественны. И естественно напрашивается вопрос: чем вызвано возвращение писательницы к материалу, который она уже однажды успешно освоила? Может быть, опираясь на ранее недоступные ей документы и владея новыми фактами, она стремилась расширить картину изображения и углубить ее трактовку? Но в этом не было как будто особой надобности. Неоднократно выходявшие записки о Берлине сорок пятого не тиражировали механически первоначальный текст, а от издания к изданию обогащались дополнительными подробностями.

Раньше, еще каких-нибудь шесть-семь лет назад, и помышлять было нечего о том, что иные страницы «Далекого гула» могут увидеть свет. На некоторых темах и мотивах, какие в нем затронуты, лежало хоть и негласное, но достаточно твердое табу. И если бы писательница, помня о неумолимых цензурных ножницах, в записках оставила «за кадром» какие-то факты и обстоятельства, а сегодня, когда более вольными стали условия существования печатного слова, заговорила о них во весь голос, в этом не было бы решительно ничего зазорного. Формула «правда, только правда, вся правда», ласкающая наш глаз и слух своей максималистской непреклонностью, вряд ли приложима полностью к литературе, да и не к ней одной. Не думаю, чтобы одному писателю, пусть трижды гениальному, пусть свободному как ветер, было бы под силу выразить всю правду. Если бы это было возможно, его собратьям не оставалось бы ничего другого, как замолчать. Вполне достаточно, когда в произведении наличествует не вся, но правда, только правда, без примесей и вкраплений грубой или утонченной лжи. Именно такая правда — в записках о Берлине сорок пятого.

Однако не столько устранение внешних преград (тем паче, что они стояли тогда во всей отвращающей неприступ-

ности), сколько настоятельная внутренняя потребность побудила Ржевскую вернуться к обстоятельствам и людям, к которым она уже обращалась. Очевидно, существует то, что я назвал бы векторностью зрения и памяти. Писатель в разные периоды своей жизни воспринимает одни и те же явления по-разному. Его зрение вбирает в себя далеко не все, что открывается взору, а в зависимости от опыта, внутреннего состояния, житейского контекста фиксируется по преимуществу на том, на что повернуто его внимание. В соответствии с этим память выталкивает на поверхность то, что хранится в ее глубинах.

В шестидесятые годы — а к этому времени под прессом менявшейся конъюнктуры история Великой Отечественной зияла пробелами и обросла небылками — общественный интерес был сосредоточен на восстановлении хода войны в его неискаженной реальности, и Ржевская видела свою задачу в том, чтобы правдиво воссоздать, если так можно выразиться, фактуру обстоятельств, первооткрывателем которых в литературе ей случилось быть, да еще в том, чтобы попытаться постичь, раз ей довелось проникнуть в тайны берлинского двора, извращенную природу нацистского порядка вещей. Сегодня же писательница стремится понять, почему несмотря на то, что нацистская система потерпела поражение, у питавших ее идей отыскиваются новые приверженцы. Недаром эпиграфом к «Далекому гулу» поставлены пророческие слова Гете: «Прошедшее еще предстоит». Не в этом ли причина того, что авторский голос звучит в повести взволнованнее, чем он звучал в записках?

Война была еще в полном разгаре, когда Хемингуэй писал: «Мы должны победить, не забывая ни на минуту, ради чего мы сражаемся, чтобы, воюя против фашизма, не скатиться к приятию его идей и идеалов».

Ржевская рассказывает, как на улице освобожденного польского города Быдгощ она увидела группу мужчин, сметавших снег с тротуара. На лацканах пальто каждого из них мелом была выведена свастика. Выяснилось, что то были гражданские немцы, которых с помощью такой метки отделили от остального населения. Об этом поразившем ее зрелище писательница упомянула в записках. И тогда оно вызвало у нее такой же протест, какой вызывает нынче. Но если раньше она видела в этом неприглядном факте гримасу войны, то сегодня он воспринимается ею как злоеший символ целной реакции нескончаемой национальной вражды. Те поляки, усилиями которых немцам был придан вид меченых парней, по природе своей вряд ли были человеконенавистниками. Долгих шесть лет немецкие фашисты топтали их родину, жгли и убивали их соплеменников. Шесть лет, терпя муки, подвергаясь уни-

жениям, они жили надеждой, что придет день, когда они сметут с лица своей земли угнетателей. И когда этот вождельный день настал, они тотчас же дали выход чувству мщения. Но добро, как бы трудно ему ни приходилось, перестает быть добром, если берет на вооружение орудия зла. Те поляки, которые чохом пометили свастиками немцев только потому, что они немцы, наверное, искренне возмутились бы, если бы им сказали, что они ведут себя по образу и подобию своих угнетателей. Но ведь так оно и было. Именно нацисты, поставив евреев вне закона, заставили каждого из них носить желтую нашивку с шестиконечной звездой...

В «Далеком гуле» Ржевская пишет об английском многосерийном документальном фильме, посвященном второй мировой войне, в котором ей предложили принять участие. В одной из серий показывается Голландия в первые дни оккупации. На экране — молодой человек respectableй внешности вспоминает, как его вызвал оккупант-бургомистр и спросил: есть ли в муниципалитете еврей? Он ответил, что евреев в нем нет. Казалось бы, ничего предосудительного муниципальный служащий не совершил. Но сам он по прошествии лет казнит себя за давнее поведение: «Тем самым я совершил первое предательство. Я позволил себе дифференциацию людей».

Совсем не случайно Ржевская, вспоминая просмотренные фильмы, останавливается на этом эпизоде. Ее повесть проникнута духом человечности. Там, где люди «дифференцируются» на основании их принадлежности к классовым и расовым, национальным и религиозным общностям, гуманизм неизбежно погибнет. Человечность остается человечностью только тогда, когда она универсальна, когда она распространяется на всех и на каждого, без деления на тех, кем надо или можно пожертвовать, и на тех, во имя кого допустимо жертвовать другими. Человечность в глазах писательницы — абсолютная ценность, выше которой ничего быть не может...

В воспоминаниях о встрече с маршалом Жуковым, думая об уступках, на какие ему пришлось пойти в своих мемуарах, Ржевская пишет:

«Он был полон решимости стоять на своем... И большой, мучимый страстями, желанием увидеть при жизни свою книгу опубликованной, уступил настояниям, советам, замечаниям. Что-то ушло из книги, что-то переакцентировалось, что-то добавлялось... Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги. Вот и подумаешь о писателях: природа сотворила их не из такого крепкого материала, и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой профессии».

Я не уверен, что эти слова можно от-

нести ко всем или даже ко многим писателям. Но, что они справедливы по отношению к их автору, нет сомнений.

Л. ЛЕВИЦКИЙ

Волошин ожидаемый и неожиданный

Максимилиан Волошин. Избранные стихотворения. М., «Советская Россия», 1988; Лики творчества. Л. «Наука». 1988.

Нельзя сказать, что Волошина у нас не издавали. Издавали. В Малой серии «Библиотеки поэта» выходил представительный на первый взгляд сборник его стихотворений. Можно было бы предположить, что нынешние «Избранные стихотворения» (составитель и публикатор А. В. Лавров) являются просто «выжимкой» самого лучшего из прежнего «совписовского» сборника; но это не так — типовое название «Избранные стихотворения» в весьма малой степени выражает суть, содержание и значение этой (долгожданной) издательской акции. Перед нами как бы другая книга как бы другого поэта, и для большинства современных читателей книга новая. И это несмотря на то, что Максимилиан Волошин (1877—1932) — фигура устоявшаяся в современном культурном сознании; круг ассоциаций хорошо известен — Киммерия, Коктебель, акварели, Дом Поэта, «все видеть, все понять, все знать, все пережить»... К сожалению, этот «подцензурный» образ сильно усечен по сравнению с реальной сложностью Волошина, и только сейчас он начинает восстанавливаться в полном объеме¹.

«Подземным классиком» назвал его Евгений Ланн («Писательская судьба Максимилиана Волошина». М. 1926), переадресовав самому писателю его отзыв о Барбэ д'Оревилль: «метче характеристики не придумаешь». Статью Волошина о Барбэ д'Оревилль можно прочесть теперь в сборнике «Лики творчества» (издание подготовили В. А. Мануйлов, В. П. Купченко, А. В. Лавров). Сборник включает в себя четыре книги волошинских статей, из которых только

¹ См. также публикации: «Литературная учеба», 1988, № 5; «Юность», 1988, № 10; «Родник» (Рига), 1988, № 7; «Радуга» (Таллинн), 1988, № 8; «Дружба народов», 1988, № 9; «Новый мир», 1988, № 2; «В мире книг», 1988, № 1; «Литературное обозрение», 1989, № 2.

первая книга была издана в 1914 году, остальные составлены по авторскому плану из периодики: первая книга — о французском театре и Французской революции; об Анри де Ренье, Поле Клоделе.., вторая книга — «Искусство и искусство» — о Сезанне, Ван Гоге, Одилоне Рэдоне и Рерихе, Баксте, Богаевском, Сарьяне, Врубеле, Голубкиной.., третья — «Театр и сновидение» — о Достоевском, Художественном театре, об Айседоре Дункан..; четвертая — «Современники» — о Брюсове, Сологубе, Кузине, Городецком, Ремизове, Бунине, Черубине де Габриак...¹ В приложении можно найти «Хронологическую канву жизни и творчества М. А. Волошина» и библиографию его статей (прижизненные издания). Выпущенная в серии «Литературные памятники», эта книга надолго останется «бесценным справочником и путеводителем по миру одного из замечательных поэтов русского серебряного века», — такую (заслуженно) высокую оценку дает сборнику Н. Богомолов («Литературное обозрение», 1989, № 2).

«Лики творчества» открывают современному читателю Волошина-критика. Парадоксально, что наше знакомство с его наследием идет как бы в обратном направлении по сравнению с его творческой судьбой. До революции Волошин был мало известен как поэт, но зато очень известен как художественный критик. Более того: скандально известен. Так, по поводу покушения А. Балашова на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» Волошин заявил, что поступок этот был спровоцирован художественной сущностью картины, в которой якобы таились «саморазрушительные силы»: «его (Балашова. — А. В.) крик: «Довольно крови! Довольно крови!» достаточно ясно говорит о том, что выбор его не был ни случаен, ни произволен. За минуту перед этим он простоял довольно долго перед суриковской «Боярыней Морозовой», но на нее он не покосился». Репинскому «натуралистическому» способу изображения «ужасного» Волошин противопоставил суриковский «реалистический» метод (монография Волошина «Суриков» была в полном виде издана в 1985 году). Некорректные высказывания критика, вроде того, что репинской картине место не в национальной галерее, а в каком-нибудь европейском паноптикуме, вызвали сбор подписей в защиту Репина и грубые выпады в адрес Волошина. «Наши Аполлоны плохи с колыбели, снявши панталоны, скачут в Коктебеле», — эту характерную эпиграмму того времени с наслаждением приводит Волошин в своей книге «О Репине» (М., 1913; с тех пор не переиздавалась). В наши дни массовое производство

«ужасного» в искусстве достигло такой степени, что волошинские инвективы в адрес классической работы знаменитого художника, выглядя забавными, скорее напоминают нам, что «ужасное в искусстве» остается и сегодня серьезной художественной проблемой.

По ехидному замечанию Эйхенбаума (1915) Волошин старался стать «самым французским из всех русских». Между прочим, ему это удалось, он принадлежал к числу тех немногих, кого французская художественная среда принимала как своих. Но вернувшись (в очередной раз) из-за рубежа, в «обугленной» революцией России Волошин «обернулся» остро мыслящим поэтом с вполне сложившимся национально-историческим сознанием (см., например, историко-софскую поэму «Россия», яркую и весьма «спорную» — «Юность», 1988, № 10). Как написал в 1924 году о Волошине Андрей Белый, «за пять лет революции он удивительно изменился, много и серьезно пережил (...), с изумлением вижу, что «Макс» Волошин стал «Максимиллианом»...» Сказано выразительно. Впрочем, каким Максимилианом? Не Робеспьером ли? Совсем не так. Как позднее вспоминал Волошин, 19-й год толкнул его к осознанной борьбе с террором, независимо от его окраски. Воспевание террора (как это делали некоторые его современники) было для Волошина немислимо, он мог только проклинать «бред разведок, ужас Чрезвычайка».

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» —
Так изменялись из года в год
Речи и быта оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб»,
«разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Правду испытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погонь», «Кройли лампасы»,
«Делали однорогих чертей». Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,
Чтоб разъярить и поднять на ножи
Армии, классы, народы.
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на шивой подстилке,
Всем быть распластанным с пулей в затылке
И со штыком в животе.
(«Терминология», 1921 г.)

Волошин гордился тем, что некоторые его стихотворения одинаково нравились и красным, и белым: «В моменты высшего разлада мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те, и другие. Поэтому же, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой». Автобиография 1925 года («Литературная учеба», 1988, № 5), откуда я процитировал эти строки, много дает для понимания существенных противоречий в

¹ О роли Волошина в мистификации с Черубиной де Габриак см. прекрасную публикацию — Елис. Васил ева «Две вещи в мире для меня всегда были святыми: стихи и любовь» (публикатор В. Тлоцер) — «Новый мир», 1988, № 12.

сознании поэта. Отметим, что революцию он давно ожидал в формах еще более жестоких, Волошин признается, что «почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и идейства. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и купле-продаже (разрядка моя.— А. В.)»; «корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы» (сам поэт жил на «акобеспечение» ЦЕКУБУ). К сожалению, такое же отвращение к «купле-продаже» лежало в основе тогдашней государственной политики («военный коммунизм»). Как же умный и тонкий писатель не видел, что миллионы его соотечественников никак не разделяют отвращения к заработной плате и пр., что они могут быть принуждены к «коммунистической» экономике только насилем, все тем же осуждаемым Волошиным террором (да и то поначалу не удалось — яростное народное сопротивление сорвало политику «военного коммунизма»)?! Такой же «тайной» осталась для него и связь между «коммунистической» экономикой и голодом, отразившимся в его трагических стихах.

Землю тошнило трупами — лежали
На улицах, смердели у мертвецких,
В разверстых ямах гнили на кладбищах,
В оврагах и по свалкам костяки
С обрезанною мякотью валялись,
...Душа была давно дешевле мяса.
И матери, зарезавши детей,
Засаливали впрок. «Сама родила —
Сама и съем. Еще других рожу...»

(«Голед», 1923 г.)

В одном из писем 1922 года Волошин объяснял голод не тем, что нет хлеба (его якобы много), а тем, что люди запа�ают хлеб впрок, создавая дефицит; ему, судя по всему, и в голову не приходило, что и тут замешаны столь милые ему «принципы коммунистической экономики». А впрочем, имеем ли мы право задним числом упрекать давно умершего поэта, если подобная связь остается темной и для многих наших современников?

Благородный гуманистический протест поэта против любого насилия, как мы видим, зависит в воздухе, лишается социально-философского фундамента, ибо любимые идеи Волошина, будучи опущенными на грешную землю, не могут (если вообще могут) быть реализованы иначе, чем с помощью все того же насилия. В сборнике «Избранные стихотворения» напечатана натурфилософская поэма «Путями Каина», по словам Волошина, цикл стихов, «касающихся материальной культуры человечества». В письме В. Вересаеву (1922) Волошин писал: «В ней (поэме.— А. В.), мне кажется, удастся сконцентрировать все мои культурно-исторические и социальные взгляды, как они у меня сложились за 20 лет жизни

на западе и как они выявились в пламенной огне русской Революции (разрядка моя.— А. В.)». Человечество изначально пошло неверным путем, считает поэт, не путем кроткого Авеля, а путем преступного Каина, плодом этого пути стала машинная цивилизация и самоубийственная деятельность человека — мысли, вызывающие сегодня наше сочувствие. «Путями Каина» — поэма дидактическая, «научная», воплощающая скорее мысль логическую, чем поэтическую. Обратимся поэтому к некоторым пунктам ее прозаического плана (приведенного в примечаниях к «Избранным стихотворениям»). «Всякое новое знание и всякая новая сила, не уравновешенные отречением от личных выгод, становятся источником всяческих бедствий и катастроф». Справедливо. Остается добавить, что попытки извне отрешить людей от их личных выгод становятся источником худших бедствий. Здесь же читаем. «Пути мятежа: бунт против формул буржуазной свободы, бунт против заработной платы, против справедливости (!), против собственности, против благодарности (!)...» К сожалению, все это не так оторвано от жизни, как поначалу кажется. В стихотворении «Готовность» (1921) Волошин с верой «в правоту верховных сил» произнес «из недр обугленной России»:

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в пламенной печи мало
Господи,— вот плоть моя!

Увы, для этой «печи» плоти одного поэта слишком мало, совсем ничего; «дрова» в ней — целые народы, они и могли бы судить о «правоте» происходящего. Смелость, с которой поэт благословляет адскую (а вовсе не божественную) «печь», честно говоря, пугает, ведь благословение поэта много весит, особенно в России. Сам Волошин умер в своей постели, но и после его смерти все продолжалась попытка «прокалить всю толщу бытия», насильственно очистить жизнь от презренного торгашества, от скверны буржуазных свобод, от рабства собственности, от личных выгод и много от чего еще. Результаты известны, но иллюзии не изжиты. Отношение к человеку и самому бытию как к материалу для глобальных переустройств ради утопических целей — это такая заразная душевная болезнь, от которой не застрахован никто — самый умный, самый тонкий, самый талантливый. Лев Толстой пронизательно заметил: вред «авторитетов» еще и в том, что сами их ошибки берутся за образцы. Волошин, этот «подземный классик», таким «авторитетом» пока не стал. Надеюсь, что и не станет.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Из почты «Октябрь»

Дорогая редакция! До глубины души возмущен публикацией в № 31 «Литературной России» письма группы «патриотов» — Шафаревича и др..., обрушивших поток немисланных обвинений против журнала «Октябрь» и его редактора А. Анянбева. Доносительское это письмо воспринимается трезвомыслящими, без шовинистической угарности людьми как голос из 1937 года, как рецидив той травы, которой в свое время подвергался «Новый мир» и А. Т. Твардовский.

Редакции «Литературной России» и тем, кто за нею стоит, не по душе новаторская, демократическая позиция журнала «Октябрь». Газета из номера в номер атакует тех, кто стоит за демократизацию, за развитие гласности, за истинный интернационализм. На ее страницах стали появляться развязные, мелочные статьи с обвинениями в антипатриотизме, неуважении к русскому народу. Объектом бульварных наскоков стал теперь и Анатолий Анянбев, независимая позиция которого, его действительно патриотическая боль за Россию, за судьбу крестьянства словно кость в горле мнимых патриотов и их приспешников.

«Октябрь» обнародовал великий роман Гроссмана «Жизнь и судьба», и это бесспорное достижение журнала и его редактора. Это роман подлинно интернациональный, роман боли за русский народ, восхищения его подвигом. И повесть «Все течет» — произведение того же плана. Хотя есть в ней спорные места, есть то, с чем редакция вполне логично не согласилась. Но это не умаляет и больших достоинств этой повести. Где еще до этого с такой болью сказано о беззакониях, творимых во времена сталинщины? Конечно, эта вещь слабее романа «Жизнь и судьба». Но почему надо ее замалчивать?

А какой злой умысел усмотрели «патриоты» в публикации «Прогулок с Пушкиным»? Почему им всюду видится русофобия, даже в иронических замечках, в попытках обойти без хрестоматийного глянца в осмыслении (индивидуальном) Пушкина и его времени? Как же быть тогда с Писаревым, с его статьями о Пушкине? Его тоже обвинять в «русифобии»?

У «Литературной России», по-моему, одна цель — раздуть пламя шовинизма, а может, даже таким путем вызвать и русофобские настроения. Тут «Литературная Россия» полностью смыкается с обществом «Память».

Журнал «Октябрь» заслуженно пользуется уважением читателей. И пытаться превратить его еще в один «Наш современник» — задача непосильная для консерваторов.

С уважением подписчик и читатель журнала

Д.м. Дажин. Член КПСС с 1941г., ветеран войны и труда.
Москва

Уважаемые создатели журнала «Октябрь»!

Добралась «Лит. Россия» и до вас! Синявский, Берберова, Евтушенко, а сейчас вы попали в число «неблагонадежных» и даже поощряющих «русифобию»... Сразу оговорюсь: меня можно больше обвинить в «грузинофобии», т. к. я грузинка, но исповедую интернационализм. Что касается повести «Все течет», спасибо за публикацию. Сейчас этот номер журнала, бережно обернутый (как и все номера), ходит по рукам. Ваш журнал любят, он оценен по достоинству. А что касается травы, то это, по-моему, испытанное средство «заединщиков», старающихся возратить все на сталинские «круги своя».

Желаю вам выстоять без жертв.

Любящая ваш журнал

Н. Д. Ахобадзе.

Тбилиси.

С чувством неловкости и недоумения читал коллективное письмо трех авторов в адрес секретариата правления СП РСФСР с обвинением журнала «Октябрь» в последовательной антирусской политике и русифобии. Как по форме, так и по содержанию это письмо является политическим доносом с требованием раздаться по известным правилам с редакцией журнала и с его главным редактором. Все это напоминает печальные времена расправы с А. Т. Твардовским.

Авторы письма выдают себя за ярых защитников чести русского народа. Но так ли это? Мое сомнение основывается на идеях одного из авторов письма — И. Шафаревича, изложенных в трактате «Русифобия». Этот труд с ярко выраженной антисемитской направленностью издан и широко комментируется в западных странах. Один из комментаторов пишет, что лучшим эпиграфом для трактата Шафаревича была бы фраза «Евреи — это наше несчастье». («Новое время», 1989, № 32, с. 42.)

Ходченко Н. К.

Москва.

Уважаемая редакция!

С некоторых пор в изданиях определенного толка замелькал термин «русифобы». Судя по смыслу, они в одном ряду со средневековыми еретиками (костер!) и более близкими «безродными космополитами» (расстрел!). Полной ясно-

сти, однако, пока нет (но надо же узнать, кто такие. А вдруг это очень приличные люди?..).

Но вот недавно «Лит. Россия» указала адрес, по которому можно найти этих типов. Это журнал «Октябрь»! И так все серьезно, что даже на секретариат СП РСФСР собираются журнал притянуть.

Моя версия антиоктябрьских выпадов следующая. Дело не в «Прогулках с Пушкиным» и не в том, что «Все течет». Дело в «Жизни и судьбе». Во-первых, зависть тех, кто и отдаленно ни на что подобное не способен. Во-вторых, автор сильно прошелся по антисемитизму, а он-то главная идейная основа «заединчиков». А русофобия — повод.

Желаю журналу твердо стоять на своих позициях.

В. Е. Макаров,

русский, все родственники из крестьян б. Новоржевского уезда б. Псковской губернии. (...если б не было на свете этого Новоржевского — Ага! Вот он, русофоб!)
г. Хабаровск

В «Литературную Россию»

Копия: журнал «Октябрь»

Расцениваю письмо М. Антонова, В. Клыкова, И. Шафаревича в секретариат правления Союза писателей РСФСР как элементарный донос на журнал «Октябрь», дабы расправиться с ним за непослушание, как с «Литературной Россией».

Авторы письма — ябеды, они лгут о якобы антирусской позиции журнала. Я, русский, постоянный читатель «Октября», не нахожу ее таковой, все это лишь плод замутненного воображения людей, занятых выискиванием русофобии, в чем особую активность развивает И. Шафаревич. Я ничего антирусского не нашел в повести В. Гроссмана «Все течет». Что же касается «тысячелетнего рабства», с помощью которого наш терпеливый русский народ позволил себя оседлать сталинизму и сделать родину злой мачехой для миллионов, то авторы письма, пожалуй, отнесут к русофобам поэта, назвавшего Россию «немытой» и к тому же «страной рабов, страной господ», и потребуют от правления Союза писателей РСФСР впредь его не печатать в подведомственных журналах.

С уважением **Власов Геннадий Иванович,**
инженер, член КПСС с 1962 г.
Минск

Уважаемый товарищ А. Ананьев!

В № 6 «Октября» только что прочитал повесть Василия Гроссмана «Все течет» и до сих пор нахожусь под впечатлением этого произведения. Считаю публикацию этой повести событием такой же литературной и общественной важности, как и великий роман «Жизнь и судьба».

Однако писать Вам меня заставило, к сожалению, не стремление изложить свои мысли и впечатления после прочитанного (они еще слишком свежи, «не устоялись»), а опубликованное в № 31 «Литературной России» письмо, подписанное тремя учеными. Считаю, что оно, по сути дела, является доносом на журнал «Октябрь». Авторы письма, написанного в стиле застойных (если не более ранних) времен, в стиле, памятном нам по печально знаменитому «Письму 11-ти» в «Огоньке», в основном обрушиваются как раз на повесть В. Гроссмана. Главное обвинение — в «руссофобии». Знакомый тезис: обвинения в «руссофобии» — любимейшее оружие некоей группы литераторов и окололитературных деятелей, группирующихся вокруг известных изданий, к которым в последнее время присоединилась (после разгрома редакции газеты и изгнания из нее главного редактора М. Колосова) и «Литературная Россия».

На этот раз «патриоты» делают «апелляцию к городовому» — в секретариат правления СП РСФСР, кстати, весьма нашим «патриотам» симпатизирующий, судя хотя бы по материалам Рязанского пленума Союза писателей РСФСР.

Не может не навлечь на себя гнев администраторов от литературы журнал, который проявляет независимость в подборе публикаций, не боится печатать авторов, имеющих самые различные взгляды. Авторы же письма, следуя худшим традициям худших времен, требуют от редактора А. Ананьева следовать строго «генеральной линии хозяина» — «без каких-либо поблажек».

Уж если «Октябрь» обвинять в «руссофобии», то почему же тогда не обратить внимание, например, на «Молодую гвардию» или «Наш современник», не брезгающих печатать на своих страницах измышления шовинистического и антисемитского толка?.. А впрочем, Бог им судья, всем этим «заединчикам», пусть все их грязноватые приемы групповой борьбы останутся на их совести.

Пишу это письмо, т. к. опасаясь, памятуя случай с М. Колосовым, что в борьбе «Октябрь» за право «сметь свое суждение иметь» с аппаратом СП РСФСР победит аппарат, и мы потеряем нынешний «Октябрь» и получим «Октябрь» старый, кочетовский, нечто вроде второй «Молодой гвардии» или второго «Нашего современника». Однако надеюсь, что журнал все же выстоит, сохранит свое лицо

и еще одарит своего читателя многими публикациями сродни тем, которые стали основными достижениями журнала в 1-м полугодии этого года: «Школа для дураков» Саши Соколова, повествование И. Волгина о Ф. М. Достоевском, рассказы С. Довлатова и, конечно, «Все течет» В. Гроссмана.

С уважением **Романихин Игорь Викторович**, преподаватель
Пенза.

Я возмущен новой акцией СП РСФСР! Я отправил протест Э. Сафонову по поводу «Письма» Антонова, Клыкова, Шафаревича, помещенного в «Лит. России».

Я обеспокоен судьбой журнала! «Октябрь» собираются разгромить на секретариате СП РСФСР, вернуть к «славным» традициям времен В. Кочетова. Это не что иное, как проявление тоталитаризма СП РСФСР, организации, призванной подавлять свободомыслие.

Знайте, я люблю «Октябрь» и поддерживаю политику возглавляемой Вами редакции! Не допустите второго «Нового мира» 1969 года! И дальше публикуйте вещи, подобные «Все течет» Гроссмана!

С глубочайшим уважением и дружеской поддержкой **М. Князев**
г. Ангрен
Ташкентской обл.

С возмущением и страхом прочитал в «Лит. России» письмо в секретариат правления Союза писателей РСФСР по поводу журнала «Октябрь» (№ 31). С возмущением, потому что с таких писем «возмущенных читателей» начинались разгромы журналов, со страхом, потому что знаю, из кого состоит секретариат Союза писателей РСФСР и чего от него можно ожидать.

Ваш журнал очень интересный, и опубликование в нем произведений, о которых пишут авторы, в наше время глубоко оправдано и закономерно. Не сдавайтесь, читатели с вами!

И. Шевченко, член КПСС, 53 года
г. Донецк

Тов. Шафаревич!

Прочел Ваше письмо в газету «Литературная Россия» от 4 августа с. г. и подумал, как же это так получается. С одной стороны, вы один из самых ранних и последовательных разоблачителей сталинизма, а с другой, судя по этому письму, Вы типичный сталинист. Что это за привычка, если с чем-то не согласны, тут же писать письма-доносы в КГБ, ЦК или газету?

Только что на Западе вышла ваша вещь «Русофобия», эпиграфом к которой можно поставить слова Ю. Штрейхера (казненного как нацистского преступника): «Еврей — это наше несчастье». И что, ну напечатали и напечатали. Израильское правительство не возмутилось, сионистские круги не грозят Вам смертью. Никто не пишет на Вас донос в Союз писателей, газету за то, что журналы «Вече» и «Двадцать два» напечатали эту вещь. Нормальный плюрализм. Но это у них. А у нас сразу срабатывает сталинский капкан — за глотку. И вот уже 5 октября собирается правление СП РСФСР, чтобы разбирать ваше письмо-донос. Можно только себе представить, какой шабаш ведьм там будет! Слава богу, что хоть редколлегия журнала «Октябрь» вся русская...

А. Кричевский
Москва

Получил № 31 газеты «Литературная Россия» и прочитал «Письмо...» Антонова, Клыкова и Шафаревича. Как это похоже на политический донос! Главное же — реакция секретариата правления. Вот обрадовались, видимо! Давно ожидали такого? Мало им того, что сделали с «Литературной Россией»? Во что она превратилась сейчас! Я представляю, как нападут они на своем заседании на журнал и на главного редактора А. Ананьева.

Держитесь, товарищи! Ваш журнал сейчас интересен, он спокоен, не бросается из крайности в крайность. Журнал имеет свою позицию, и никто не имеет права давить на него. Мало нам 30—50-х годов? Мало нам застойных лет? До каких пор мы будем терпеть такое положение?

Я все же надеюсь, что редакция не позволит растоптать себя, как это позволила редакция «Литературной России». Извините за сумбурное письмо, я просто возмущен до глубины души.

Хочу пожелать вам, товарищи, творческих успехов. Ваши планы на 1990 год просто великолепны, и я уже оформил подписку на 90-й год. Держитесь!

С уважением к редакции и журналу
Александров Сергей Георгиевич, учитель истории
ст. Чалганы,
Амурская обл.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Мы обращаемся с этим открытым письмом к читателям газеты «Литературная Россия» и журнала «Октябрь», желая своевременно сказать о той акции, что предпринята названной газетой в связи с опубликованным в апрельском номере «Октября» фрагментом из книги Абрама Терца (Андрея Синяевского) «Прогулки с Пушкиным». Акция эта уже вызвала отклики в печати, редакция «Октября» получает возмущенные письма читателей (некоторые из них публикуются в этом номере).

Мы хотим, чтобы подписчики и журнала, и газеты ясно представляли всю подоплеку дела.

Книга А. Синяевского давно издана на Западе, получила большую прессу. О существовании такого произведения из серии «Мой Пушкин» — нестандартного, субъективного и дерзкого, написанного словно бы в пику той замшелой пушкинистике, которая, по меткому слову Маяковского, превратила живого поэта в «мумию», — понаслышке знали и в кругах советских читателей. Удовлетворяя законный интерес общественности к наиболее популярным произведениям русского зарубежья, «Октябрь» познакомил читателей с фрагментом из «Прогулок с Пушкиным», предварив его словами о том, что лирические произведения Синяевского написаны по законам «утрированной прозы» с высокой долей иронии, парадокса, остранения. Далеко не все в них подлежит буквальному и элементарному пониманию. Чтобы судить, пусть даже опспорить какую-то книгу, надо прежде всего знать ее подлинный текст, не так ли?

Но «Литературная Россия» не сделала и малейшей попытки по существу рассмотреть опубликованный фрагмент, разобраться в концепции и теоретических посылах «пушкинианы» Андрея Синяевского. Она избрала иной образ действий. Из пыли зарубежных архивов была извлечена крайне ругательная статья Р. Гуля: видите, мол, само (!) зарубежье выступило против книги А. Синяевского. В № 23 газета даже предупредила не без угрозы, что подобным образом она собирается реагировать на все другие публикации из литературы русского зарубежья по мере их положения в нашей периодике.

Самое начало этой «кампании» не предвещало ничего хорошего. Предварительно «изничтожив» руками Р. Гуля книгу Нины Берберовой «Курсив мой», с которой «Октябрь» познакомил читателя в прошлом году, газета в № 26 проделала ту же операцию с Синяевским, опять тот же Гуть, одно название статьи которого уже способно привести читателя в шоковое состояние — «Прогулки Хама с Пушкиным». Надо полагать, привлекла она внимание газеты прежде всего тем, что в этом случае автора неугодной публикации можно обозвать «чужими словами» самым nepотpeбным образом: под пером Гуля Синяевский и «хам», и «хамохулиган», в его адрес делаются подлые намеки политического, нравственного свойства, местами же Гуть и вовсе переходит на площадную брань («Признаюсь, прочтя это, я внутренне не мог удержаться от очень крепкого словца на букву м.....!»). Понятно, ни о каком литературном анализе работы А. Синяевского по существу в таком «контексте» не могло быть и речи.

Но самое удивительное состоит в следующем. Напрасно читатель статьи Гуля станет искать приведенный им «криминал» в фрагменте, опубликованном в «Октябре», хотя именно с указания на журнал вся эта «кампания» в газете, собственно, и была затеяна. Перед нами одна из тех недостойных газетных подтасовок, к каким прибегают, когда нужно во что бы то ни стало опорочить противную сторону. Как выясняется, Гуть нападает на те главы «Прогулок», которые у нас никогда не печатались, нашему читателю неведомы, и ему остается лишь целиком довериться вкусу и миропониманию нью-йоркского литератора, его прихотливо надерганым цитатам. Старая, давно проверенная метода, когда выбранные «отдельные выражения» оборачивались для иных художников не только потерей доброго имени, но и кое-чем пострашней!

Задав статьей Гуля общий тон, «Литературная Россия» потом еще трижды(!) возвращалась к «изобличению» «Прогулок с Пушкиным». Обмундированные тенденциозно подобранными «цитатами» читатели газеты стали огульно называть книгу Синяевского (ими не читанную!) то «пасквилем», то прямой угрозой нашей перестройке и гласности. Можно только пожалеть и преподавателя ряжского техникума, и учащихся куйбышевского культурно-просветительного училища, так просто попавшихся на газетную уловку...

Да что учащиеся! Три достаточно взрослых автора специального «Письма» («Литературная Россия», № 31) на основании фрагмента из «Прогулок», повести В. Гроссмана «Все течет» и неизвестной им, лишь анонсированной журналом статьи А. Янова решившие предъявить «Октябрю» не больше не меньше как обвинение в «последовательной антирусской политике», эти трое, не находя для себя пища непосредственно в опубликованном фрагменте, стали привлекать к делу «отдельные выражения» из других, некогда написанных статей Синяевского, опять же вырванные из контекста и препарированные на определенный лад...

Можно предположить, а как бы выглядел в читательских глазах А. Синяевский. пойдя «Литературная Россия» другим, более порядочным путем, опубли-

куй она наряду с тем же Гулем и кое-что другое из многочисленных зарубежных откликов на «Прогулки с Пушкиным», скажем, статью пушкинистки Натальи Рубинштейн «Абрам Терц и Александр Пушкин», которая приходит к выводу, что «писатель и ученый Андрей Синявский вернул русской филологии благородное достоинство науки и изящество искусства слова. По ходу книги он сделал с десятком крупных филологических открытий, пригоршнями разбросал на каждой странице тончайшие читательские наблюдения и сложил поэму о Пушкине, прекрасную, как объяснение в первой любви, ни разу не унизившись до коленопреклоненных банальностей»? Или дай газета слово самому А. Синявскому, который так объяснял свою принципиальную позицию в связи с «Прогулками»: «Пушкин для России настолько чудесное, вселенское и неколебимое явление (это просто смешно — «колебать» Пушкина!), что каждый из нас берет у него понемногу — что кому ближе... Мне дорог не канонизируемый (по тем или иным политическим стандартам) поэт, и не Пушкин — учитель жизни, а Пушкин как вечно юный гений русской культуры... (статья «Чтение в сердцах»)»

Напрасно «Литературная Россия» так «прикипела» к Гулю, одного его выбрала в поводыри по литературе русского зарубежья. Ведь и морки для газеты с ним немало: в той же статье «Прогулки Хама с Пушкиным» ей пришлось на ходу переделывать некоторые пассажи Гуля, опускать целые куски, только бы представить этого литератора как человека, которому, по словам газеты, свойствен «самый широкий и вполне органический демократизм», сочетающийся «с удивительной доступностью выражения». (С «выражениями» Гуля мы уже познакомились выше). А убирать из статьи Гуля изворотливой газете пришлось немало: и брань в адрес Ленина и «партийной шайки», и глобальные суждения о русском народе, в котором, как сказано, «хамство большевизма, как серная кислота, десятилетиями проедало чувство чести, жалости, бескорыстия, благородства, искренности, честности, жертвенности, подлинной дружбы, настоящей любви»; и его высказывание о «всей стране», представляющей всеобщее охамление — явление совершенно страшное: духовно, душевно, культурно, политически, социально, всячески...» Но иной, «неурезанный» Гуль в игре, затеянной «Литературной Россией», неудобен, приходится его то и дело «причесывать», чтобы потом из номера в номер с помощью «улучшенного» Гуля разделяться то с Берберовой, то с Синявским, то с Иосифом Бродским, который у него всего лишь «раб» и «графоман». Поймите нас правильно: Р. Гуль — писатель со своими убеждениями, которые могут нравиться или не нравиться, но они таковы, и мы отнюдь не собираемся заносить его в «черный список», да и сами не исключаем вероятности публикации его произведений на страницах «Октября»; речь о недостойной позиции «Литературной России», мало чем отличающейся от времен «черных списков»: тогда писателя не публиковали, теперь манипулируют им как пешкой в собственной игре.

Судя по исходному заявлению газеты, нам еще предстоит познакомиться с Р. Гулем в «литроссийской упаковке». Читателям «Литературной России» (как и «Октября», который избран газетой в качестве любимой своей мишени) надо быть готовыми к этому, ясно представлять всю подоплеку происходящего. Как и то, куда же в конце концов может завести газету российских литераторов «кампания», так лихо оттолкнувшаяся от лирического фрагмента о Пушкине...

Редакционная коллегия

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **Г. В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ**, **Р. Т. КИРЕЕВ**, **Н. Д. КРЮЧКОВА**, **А. Н. КУРЧАТКИН**, **В. М. ЛИТВИНОВ**, **А. А. МИХАЙЛОВ** (первый зам. главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ**, **В. Я. САВАТЕЕВ**, **И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор **С. И. Су ров ц е в а.**

Сдано в набор 08.08—29.08.89. Подписано к печати 29.08.89. А 07916. Формат 70×108¹/₁₆.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24.

Тираж 385 000 экз. Заказ № 1159. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137. ул. «Правды», 11.

Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64.
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

В 1990 ГОДУ «ОКТЯБРЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах.** Книга вторая;

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет;

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица.** Роман;

Сергей ДОВЛАТОВ (Нью-Йорк). **Иностранка.** Повесть;

Федор КОЛУНЦЕВ. **Свет зимы.** Роман;

Владимир КОРМЕР. **Наследство.** Роман. (Первая эмиграция и инакомыслие 60-х гг.);

Любомир ЛЕВЧЕВ. **Убей Болгарина.** Главы из романа;

И. ПОЛЯК. **Песни задрипанного ДПР.** Повесть;

А. ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты.** Главы из пятитомной книги;

Записки народной артистки СССР Нонны МОРДЮКОВОЙ **«Вот так и живем».** (Часть вторая);

Стихи Б. АХМАДУЛИНОЙ, К. ВАНШЕНКИНА, П. ВЕГИНА, Г. ГОРБОВСКОГО, И. КАШЕЖЕВОЙ, Ю. МОРИЦ, Д. САМОЙЛОВА, В. ЦЫБИНА и других известных и молодых поэтов.

Из литературного наследия: дневники, письма, воспоминания А. БЕЛОГО, М. БУЛГАКОВА, С. ВОЛКОНСКОГО, Б. ЗАЙЦЕВА, В. КОРОЛЕНКО, Б. ПАСТЕРНАКА, А. РЕМИЗОВА, В. С. СОЛОВЬЕВА, В. ХОДАСЕВИЧА, М. ЦВЕТАЕВОЙ.